

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

15

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 4

КАРЛ МАРКС и ФР. Т. ФИШЕР

Эксцерпты Маркса из „Эстетики“ Фишера

Исследование Г. Лукача

I

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР МАРКСОВСКИХ ЭКСЦЕРПТОВ ИЗ „ЭСТЕТИКИ“ ФИШЕРА

Занятия Маркса „Эстетикой“ Фр. Т. Фишера относятся ко второй половине 50-х годов (1857—1858 гг.). В это время его интерес к проблемам эстетики был особенно интенсивен. Важнейшая для марксистского литературоведения дискуссия о „Зикингене“ Лассаля приходится как раз на это время, равно как и чрезвычайно важные принципиальные замечания об эстетике из оставшегося незаконченным введения к „Критике политической экономии“. И в те же годы, в которые Маркс занимался „Эстетикой“ Фишера, он делал эксцерпты из „Большого настольного словаря“ Майера (издание 1840 г.), относящиеся главным образом к истории эстетики. В его переписке с Энгельсом (письма от 23 и 28 мая 1857 г.) мы находим иронические упоминания о просьбе Дана (Dana) написать статью об эстетике для его энциклопедического словаря. Эта ирония [1] относится однако лишь к требованию изложить эстетику на одной странице, а отнюдь не к занятиям самой этой темой.

Марксовские эксцерпты из Фишера принадлежат к той группе его черновых заметок, которые содержат в себе одни только выписки, без всяких критических замечаний. Маркс явно считал Фишера одним из тех мыслителей, по отношению к которым его общая критическая позиция настолько самоочевидна, что он не видел надобности излагать ее в отдельных замечаниях. Фишер, как мы подробно покажем в настоящей статье,— типичный представитель немецкой либеральной буржуазии, типичный также и по ходу своего развития: его путь идет от „теоретического“ республиканизма, на практике вполне мирившегося с умеренным конституционализмом, к признанию бисмарковской „бонапартистской монархии“ и даже к восторженному увлечению германской империей 1870—1871 гг.; в философской же области он эволюционирует от разжиженного, „исправленного“ гегельянства, с уклоном в сторону субъективного идеализма, к позитивизму с полукантианским, полуиррационалистическим налетом. Социальную сущность этого либерализма, представителем которого в области эстетики был Фишер, Маркс неустанно подвергал в тот период такой уничтожающей принципиальной критике, что у него уже не могло быть потребности в детальном критическом разборе „Эстетики“ Фишера.

Впрочем у нас имеются и некоторые высказывания Маркса о деятельности Фишера в начале и в конце его пути, прямо подтверждающие, что в своей критической оценке фишеровской эстетики Маркс оставался в общих рамках своей критики либерализма. 4 декабря 1842 г. Арнольд Руге, бывший тогда другом Маркса[2], пишет ему: „Может быть по эстетическим вопросам для вас написали бы что-нибудь Фишер и Штраус.

Фишер мог бы это сделать". Практических последствий это предложение Руге не имело. В своем ответном письме (от 25 января 1843 г.) Маркс уже сообщает о запрещении „Рейнской газеты", о сотрудничестве в которой шла речь в письме Руге. То, что Руге мог предложить названных сотрудников, вполне соответствует генеральной линии Маркса в тот период. В своем стремлении объединить все прогрессивные, оппозиционные элементы немецкой буржуазии и увлечь их вперед на революционный путь Маркс раздвинул как можно шире идеологические рамки „Рейнской газеты", энергично отвергнув сектантский радикализм Бруно Бауэра и берлинских „свободных". Этой позицией Маркса и объясняется, каким образом Штраус и Фишер могли оказаться в числе его возможных сотрудников. В своих идеологических боях в 40-е годы Маркс не упоминает о Фишере ни разу. Но его отношение к нему (поскольку он вообще уделял особое внимание работам Фишера в этот период) обнаруживается с полной ясностью из его критики Д. Ф. Штрауса в „Святом семействе" и в „Немецкой идеологии": Штраус представляет философски родственный, хотя и менее радикальный, чем у самого Фишера, оттенок либерально-идеалистического развития и разложение гегелевской философии. И поэтому, когда Маркс против Штрауса и Бруно Бауэра выдвигает Фейербаха как мыслителя, действительно преодолевшего гегельянство, когда в Штраусе и Бруно Бауэре он усматривает две стороны, два течения внутри гегелевского идеализма,— то здесь повсюду втихомолку подвергается критике также и Фишер.

Из позднейшего периода, когда Фишер уже целиком перешел в лагерь Бисмарка, мы имеем только одно презрительно-ироническое слово Маркса о нем. Маркс пишет Энгельсу [3] (от 8 марта 1882 г.): „Герой канкана Боденштед и представитель ватер-клозетной эстетики Фридрих Фишер являются Горацием и Виргилием Вильгельма I". Этот отзыв Маркса о Фишере мы можем дополнить его критической оценкой Штрауса, чтобы вполне уяснить себе его отношение к бисмарковскому либерализму Фишера. Во время франко-прусской войны Маркс пишет Энгельсу [4] (от 2 сентября 1870 г.) по поводу завязавшейся тогда полемики между Штраусом и Ренаном: „Обмен письмами между бывшим швабским семинаристом Д. Штраусом и французским бывшим питомцем иезуитов Ренаном — веселый эпизод. Поп остается попом. Повидимому господин Штраус черпает свои исторические сведения из Кольраума или какого-нибудь другого аналогичного учебника". И в том же духе он пишет Энгельсу [5] (от 31 мая 1873 г.) после появления книги Д. Ф. Штрауса „Старая и новая вера" (оценку этой книги Фишером мы подробно разберем ниже): „Я перелистал ее. Тот факт, что никто не разделал под орех этого проклятого попа и почитателя Бисмарка (с важным видом толкующего о социализме), является действительно доказательством большой слабости „Volksstaat'a". Подробный анализ развития Фишера на нижеследующих страницах покажет нам, что со своей уничтожающей критикой либеральных идеологов „бонапартистской монархии" Маркс действительно попал не в бровь, а прямо в глаз.

Такое отношение Маркса к исходному и конечному пункту эволюции Фишера вполне объясняет, почему Маркс и во время своих тщательных занятий его „Эстетикой", когда он делал из его книги подчас весьма подробные выписки, не считал при этом нужным снабжать их критическими замечаниями. Однако и в своем настоящем виде эти эксцерпты — как все эксцерпты Маркса — показывают очень ясно, куда был направлен его интерес. Внимательный читатель может определить по ним, учитывая те места, из которых Маркс не сделал выписок, что именно его интересовало в „Эстетике" Фишера.

Отметим прежде всего интерес Маркса — несомненно эпизодический — к форме и построению четырехтомного труда Фишера. При внимательном просмотре разбираемых эксцерптов сразу бросается в глаза, что Маркс выписывает не только интересующие его места, но отмечает также, и очень тщательно, все заглавия, подзаголовки, названия отдельных глав и т. д. Даже там, где предмет или фишеровский подход к нему его повидимому вовсе не интересует, он добросовестно выписывает заглавия, намечающие общие построения книги. Может быть это объясняется тем, что он хотел зафиксировать в памяти весь комплекс относящихся сюда проблем, как бы заготовить рамку для будущих работ (такое же впечатление производят эксцерпты из „Словаря“ Майера). Вероятнее однако, что этот чисто формальный интерес был у него связан с мыслью о том литературном оформлении, которое он пытался как раз в это время, под сильным давлением внешних обстоятельств, дать своему главному экономическому труду. Во всяком случае намек такого рода содержится в одном письме Маркса к Лассалю, который искал для него издателя (это письмо от 22 февраля 1858 г. относится ко времени возникновения „Критики политической экономии“). Маркс рисует здесь те огромные внешние и внутренние трудности, среди которых создается его творение. И он заключает: „Во всяком случае для меня было бы удобнее всего, если бы я мог издать всю работу отдельными нерегулярными выпусками. Это было бы может быть предпочтительнее и потому, что тогда скорее нашелся бы издатель, так как в дело пришлось бы вложить меньше оборотного капитала. Ты меня конечно очень обяжешь, если посмотришь, нельзя ли найти в Берлине какого-нибудь издателя. Под выпусками я имею в виду примерно такие, какими постепенно выходила „Эстетика“ Фишера“[6]. Вполне понятно, что при таких условиях Маркс очень тщательно изучал построение „Эстетики“ Фишера, чтобы в той крайне неблагоприятной обстановке, в которой он подготовлял издание своего главного экономического труда, найти для него возможно более благоприятную композиционную форму.

Отмеченным интересом Маркса объясняется конечно лишь внешняя форма этих эксцерптов, только тот факт, что в них так добросовестно и тщательно зафиксированы общие рамки, композиция и построение фишеровского труда. Но все же это только преходящий, формальный интерес; он был преходящим потому, что Маркс, как известно, вскоре остановился на принципиально иной композиционной форме. Окончательное литературное оформление его главного экономического труда уже не имеет ничего общего с идеей „выпусков“ à la Фишер.

Если мы теперь подойдем к марксовским эксцерптам со стороны содержания, со стороны интереса Маркса к эстетическим проблемам и к тому, как они трактуются Фишером, то мы должны будем прежде всего посмотреть, какие части фишеровской „Эстетики“ он эксцерптировал сравнительно подробно и мимо каких прошел не останавливаясь, отметив только, как уже сказано, их построение, их место в общем плане книги, их заглавия. Итак, если мы подойдем к нашим эксцерптам с этой стороны и сравним их строчку за строчкой с текстом Фишера, то перед вами совершенно отчетливо выступят две точки зрения, два круга вопросов, интересующих Маркса.

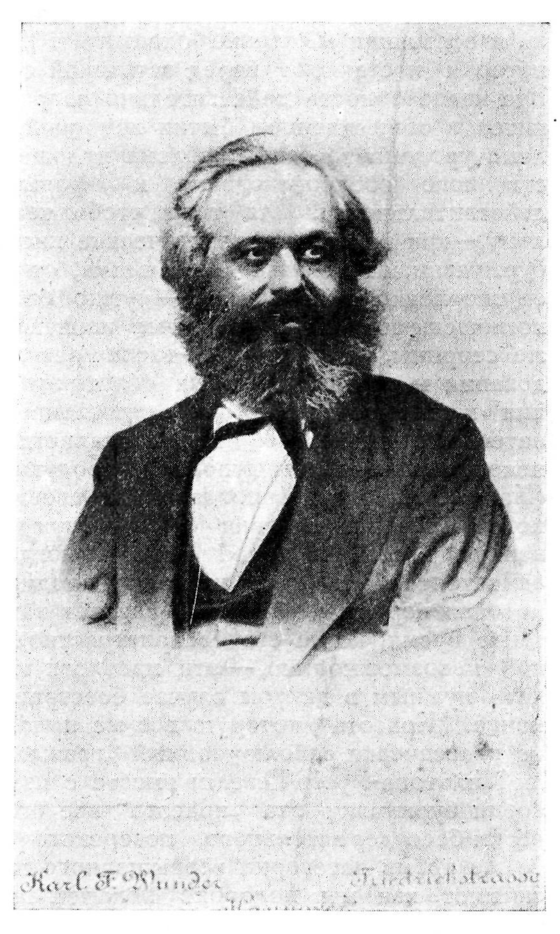
На первый из них указал уже М. А. Лифшиц в своей работе о Марксе[7]. Он пишет очень верно: „Как в подготовительных работах для „Трактата о христианском искусстве“, Маркса интересует в изложении Фишера не столько само „эстетическое“, сколько его прямая противоположность... В эпоху создания „Капитала“ категории и формы, стоящие на грани собственно эстетического, интересуют Маркса по аналогии с

противоречивым и превратным миром категорий капиталистического хозяйства". И действительно, если мы взглянем на наши эксцерпты с чисто количественной стороны, то мы тотчас же заметим, что почти половина заметок Маркса, и как раз те, в которых он больше всего занят фиксированием основных мыслей Фишера и реже всего довольствуется простыми перечнями заглавий, посвящены вопросу о так называемых „моментах прекрасного", проблемам возвышенного и комического. В ходе нижеследующего подробного разбора „Эстетики" Фишера мы убедимся, что тут перед нами важнейший круг проблем не только фишеровского труда, но и всего послегегелевского периода эстетики,— круг проблем, исторически восходящий по меньшей мере к ранней романтике и Жан-Полю: это — формулировка эстетических проблем реализма с точки зрения немецкой буржуазии первой половины XIX в. В виду центральной важности этого вопроса, мы должны сказать тут же несколько слов о его постановке у буржуазных эстетиков и о совершенно противоположном подходе Маркса, при чем заметим, что разобрать этот вопрос по существу мы сможем лишь ниже, когда ознакомимся со взглядами Фишера, с их эволюцией и с экономико-политическими причинами этой эволюции.

В Германии, в виду запоздалого развития германского капитализма, а потому и более позднего и слабого развития германской буржуазии как революционного класса, проблема реализма, правдивого изображения общественной действительности, возникает позже и в более слабом виде, чем в Англии и Франции. Но эта же неравномерность развития привела к тому, что (как Энгельс показал это на общефилософском развитии) вопросы искусства, практическое разрешение которых носило в Германии более отсталый характер, теоретически ставились и разрешались там на очень высоком уровне, хотя, правда, и в идеалистическом духе. „Эстетика" Гегеля подходит к этим проблемам еще с точки зрения наполеонизованной французской революции: центральное положение греческой античности в его эстетике есть наиболее ясное (в области немецкой идеологии) выражение этой стадии развития. У Гегеля развитие истории перерастает область искусства, которое находит свое адэкватное осуществление в Греции. Современность, период реализма, прозы, является для Гегеля такой ступенью в развитии „духа", на который искусство уже не может быть для него центральным, субстанциальным содержанием, — на которой „дух" может найти действительно адэкватное воплощение только в прозаической форме, только в государстве и философии.

Против этого взгляда Гегеля тогда же выступили теоретические защитники современного искусства (Шлегель, Зольгер, Жан-Поль), и эта теоретическая защита усиливается с течением времени, получает все более ясную формулировку как в лагере самого гегельянства, так и у его противников. Не только новые гегельянцы, как Руге („Neue Vorschule zur Aesthetik", 1837), не только так называемый „центр" гегелевской школы (Розенкранц —„Aesthetik des Hässlichen", 1853, а также Фишер), но даже и прямые противники Гегеля (Вейсе —„Aesthetik", 1830) ставят этот вопрос в центр обсуждения, все время полемизируя против Гегеля и его отрицательной оценки возможностей искусства в современную эпоху. Вкратце вопрос можно формулировать так. Современность как содержание и материал искусства делает невозможным такое творчество, к которому была бы применима категория „красоты" в ее традиционном понимании. Этот неблагоприятный для осуществления „красоты" характер современности должен быть признан эстетикой. Но отсюда нельзя делать те выводы, которые сделал сам Гегель, а нужно так расширить

К. МАРКС
Фотография 1867 г.
Музей Маркса-Энгельса-Ленина, Москва



понятие красоты, чтобы оно могло включить в себя — как „момент“ — тенденции современного искусства. Это значит, что понятие уродливого должно быть введено в эстетику как ее интегральная часть, а не как простое отрицание „прекрасного“. Если с классической точки зрения уродливое как контрадикторная противоположность прекрасного лежит вне эстетики, является ее всецелым отрицанием и поэтому должно быть наотрез отвергнуто ею, то перечисленные выше авторы (являющиеся лишь наиболее яркими представителями широкого и многостороннего течения в немецкой эстетике) пытаются конструировать между прекрасным и уродливым отношение диалектической противоположности. Возвышенное и комическое и суть моменты того идеалистически-диалектического процесса, с помощью которого эти мыслители, каждый на свой лад, сперва снимают прекрасное в уродливом, а затем возвращают его к самому себе через положенные и снятые моменты возвышенного и комического, восстанавливают прекрасное диалектическим путем.

Эта постановка вопроса бесспорно является шагом вперед по сравнению с Гегелем. Но это очень неравномерный шаг вперед, таящий в себе элементы непреодоленного гегельянства и даже возврата к догегелевским позициям. Все эти писатели разделяют прежде всего основную идеалистическую установку Гегеля; они даже чаще, чем сам Гегель, обнаруживают неорганическое смешение объективного и субъективного

идеализма. Их диалектика, будучи чисто мысленной, именно поэтому не в состоянии мысленно охватить и проработать основную проблему, которая поставлена перед эстетикой общественной действительностью. Эта неспособность действительно разрешить возникшие проблемы коренится в общественном бытии немецкой буржуазии того периода. Проблема уродливого есть проблема художественного отображения, художественного воспроизведения и оформления капиталистической действительности. Для того чтобы теоретически разрешить эту проблему,—как великие реалистические писатели французской и английской буржуазии, от Лесажа до Бальзака, от Свифта до Диккенса, разрешали ее творчески - практически, — нужно бесстрашно взглянуть в лицо экономически-социальным фактам капиталистического развития. С другой же стороны, оказывается,—таков результат этого бесстрашного исследования и раскрытия самых безотрадных фактов,—что для изображения капиталистической действительности традиционные эстетические категории непригодны, что „капиталистическое производство „враждебно" некоторым отраслям духовной продукции, каковы искусство и поэзия" (Маркс). Идеологи запоздавшей в своем экономическом развитии немецкой буржуазии, которая была вынуждена начать борьбу за государственную власть в такой период, когда пролетариат уже выступил как самостоятельная сила на международной арене классовой борьбы, и которая переживала полный расцвет капиталистического производства в такое время, когда его беспристрастное исследование уже стало классовой невозможностью, — эти идеологи ни в коем случае не могли обладать нужным в данном случае бесстрашием в додумывании вопросов до конца. „Красота", которую все же пыталась спасти их эстетика, это уже не классически-революционный „гражданский" идеал периода Макиавелли-Мильтона-Руссо-Гегеля; вместе с падением революционного подъема среди буржуазии эта „красота" все больше снижается до формалистически-бессодержательного, позерского или слащавого академизма. А в то же время категории возвышенного и комического насильственно втискивают, как мы подробно покажем ниже, все проблемы капиталистической действительности в „эстетические рамки", т. е. эти категории с самого же начала берутся в идеалистически-апологетическом плане, так чтобы было возможно их претворение в „красоту". Впрочем это лишь эстетически-теоретическое выражение общей классовой тенденции буржуазии представлять капиталистическую действительность в „преображенном" виде, рассматривать ее страшные стороны как „уродливые наросты", как „исключения", как нечто, лежащее „вне" типического, вне бога, вне закона. Итак: капиталистическая действительность должна быть введена в эстетику — теоретически и практически — лишь мнимым образом, в лучшем случае лишь наполовину.

Абстрактно-идеалистическая диалектика может лишь кое-как прикрыть сверху эту общественную подоплеку постановки и решения эстетических проблем. Когда Руге[8] выдвигает вслед за Вейсе проблему уродливого и мечет громы и молнии против „отсутствия правды в значительной части новейшей поэзии", он приходит к определению уродливого как „конечного противоречия". (Возвышенное есть „абсолютное противоречие"[9].) А как нужно понимать „конечность", он разъясняет очень отчетливо:[10] „Ибо такова высшая мудрость этих кругов: их герои—мануфактурные герои, крупные сельские хозяева, знаменитый банкир, Фультон и его паровая машина и т. д. Эта мудрость, неспособная подняться над конечностью, разумеется узколоба и не истинна; но злой и уродливой она становится лишь тогда, когда возводит вот этот единичный дух в его бессознательности и ограниченности в прин-

цип, противостоящий всеобщему и абсолютному, когда отрицается существование истинного духа, помимо этих конечных духов, и следовательно утверждается, что этот конечный, неистинный образ духа есть его единственный истинный образ, что конечные цели—суть наивысшие законы". Трагический самообман революционных идеологов буржуазии, якобинцев, нашедший свое художественное выражение в античной концепции теории и практики искусства, превращается здесь в мелкобуржуазное отчитывание капиталистического развития с точки зрения „образования", „честного чиновничьего сознания". „Какая колоссальная ошибка, — пишет Маркс о якобинцах [11], — быть вынужденным признать и санкционировать в „правах человека" современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов, анархии, самой от себя отчужденной природой и духовной индивидуальности, — быть вынужденным признать и санкционировать все это и в то же время аннулировать, в лице отдельных индивидуумов, жизненные проявления этого самого общества, и в то же время желать построить по античному образцу политическую верхушку этого общества". Трагический самообман этого „мечтательного терроризма" уже превратился у Руге в комически-высокомерное чтение нотаций: капиталистическое развитие „признается", от него „только" требуется, чтобы и оно в свою очередь признало превосходство „образования", чтобы оно довольствовалось своей „конечностью" и не притязало на значение самоцели. С этим высокомерием идеологов буржуазия могла помириться тем легче, что ведь „спасение отпавших духом", проповедуемое здесь Руге, сводится в конечном счете к прославлению капитализма. И если к этому прославлению примешана небольшая доза романтической критики капитализма, противополагающей уродство капиталистического общества „красоте" докапиталистических или примитивно-капиталистических условий, то от этого суть дела не меняется нисколько. Очень характерно этот нюанс проявляется у Фишера, когда он, признав необходимость „примирения" в конце гетевского „Фауста", добавляет затем: „Это примирение могло бы осуществиться в результате практически упорядоченной деятельности, но только не прозаической деятельности промышленника" [12].

По возможности еще яснее обнаруживается общественная основа этой постановки вопроса у Розенкранца; недаром его книга написана после 1848 г. Для Розенкранца [13] уродливое „само по себе тождественно со злым". Пытаясь конкретизировать эту мысль в ее применении к поэзии, он делает одно весьма любопытное и характерное замечание: [14] „Склонность к опоэтизированию уголовного преступления" появляется по его словам „лишь с момента выступления пролетариата на всемирно-исторической арене". Розенкранц устанавливает таким образом связь между идеологическим развитием буржуазии, приведшим к постановке проблемы уродливого в эстетике, и подъемом пролетариата, но тут же он суживает и искривляет этот вопрос, чтобы уклониться от действительной критики буржуазного строя. Он называет „социальные романы" периода 1830—1848 гг. (в первую голову романы Эжена Сю) „ядовитым цветком". Но он видит в то же время, что буржуазная литература уже не сможет отвертеться от вопроса о зле, об уродстве в силу развития самого буржуазного общества. Указываемый им выход опять-таки весьма характерен для немецкой буржуазии, которая в тот период быстрого экономического роста готовилась к безоговорочному приятию „бонапартистской монархии" Бисмарка. Розенкранц переносит эстетическое изображение зла из мира „низших" классов, где оно является „ядовитым цветком", в мир „высших" классов, и картина

тотчас же меняется[15]. „Совершаемые преступления по своему содержанию те же". Но так как „с жизнью высоких и в особенности коронованных особ непосредственно связаны крупные изменения в государстве и обществе, то наше участие становится живее". Здесь взгляд на уродливое как на эстетическую категорию уводит таким образом прочь от большого буржуазного реализма. Он теоретически расчищает почву для того направления, крупнейшими представителями которого в Германии были Геббель и Вагнер: художники этого типа изображают разложение старых моральных взглядов буржуазии, вызванное ее перерождением из революционного класса в реакционный, и изображают так, что это разложение по возможности отрывается от его материальной общественной почвы и в этом отрыве эстетически преображается с помощью героизирующей стилизации и психологического „углубления". Розенкранц, который лично склоняется к соглашательскому академизму, в этом пункте менее характерен, чем сам Фишер, о развитии которого в эту сторону мы будем говорить ниже. Но личный вкус Розенкранца, его и теоретически более правая по сравнению с Фишером установка, его неприязнь к Геббелю и т. д. не изменяют основной тенденции развития.

Из сказанного ясно видно, что различные формы идеалистически-формалистической, мнимо-диалектической триады возвышенного, комического и прекрасного имеют у всех этих авторов одну единственную цель: перегнуть в апологетическую сторону центральную проблему современного художественного творчества, проблему изображения капиталистической действительности. Проблема реализма ставится, поставить ее вынуждали общественные условия, но разрешается она так, что ее положительное решение оказывается равносильным отрицанию действительного, общественно-критического реализма.

Теперь становится совершенно ясной диаметральная противоположность между всеми этими эстетиками, представлявшими различные оттенки немецкой либеральной буржуазии до и после 1848 г., и Марксом. Для большей рельефности сопоставим некоторые замечания Фишера и Розенкранца о „Тайнах Парижа" Э. Сю с соответствующими замечаниями Маркса из „Святого семейства". Маркс подвергает сентиментальный и половинчатый псевдореализм этого романа уничтожающей критике с л е в а, Фишер же и Розенкранц критикуют его в очень характерном немецко-либеральном духе с п р а в а. Общая оценка Фишера[16] сводится к тому, что тема романа Сю эстетически невозможна. Вот как он обосновывает это суждение: „Для того чтобы произведение могло быть признано подлинно эстетическим, оно должно давать картину, которая изображала бы процесс движения, приводящего через ужас и бедствия к п р и м и р я ю щ е м у к о н ц у" (подчеркнуто мною.—*Г. Л.*). Такая возможность еще не дана историей: отсюда проблематика современного искусства. Не забудем, что Фишер, при всей его либеральной половинчатости, безмерно превосходит честностью простых апологетов капитализма, например в духе Евгения Рихтера. В экономических причинах общественных ужасов капитализма он не смыслит ровно ничего, но когда он встречается с ними, он не думает просто-напросто отрицать их (по крайней мере д о 1848 г.). Он только состряпал себе из капиталистической отсталости Германии и из своего собственного незнакомства с английским и французским капитализмом, из своего непонимания общих законов капиталистического развития некую либеральную утопию[17], высшим пунктом которой является положение, что „политическая реформа должна быть вместе с тем и социальной; одна из главных причин разрушения всех форм—обнищание народа". Значит

преобразование Германии в либеральном духе должно разрешить все социальные вопросы. А пока это не произошло, „примирение" и вместе с ним снятие уродливого в восстановленной красоте заключается „лишь в чаяниях и требованиях к будущему", т. е. лежит для Фишера за пределами искусства.

Если таким образом с точки зрения Фишера Сю слишком реалистичен, то анализ Маркса дает сокрушительную критику его лживости, его отчасти наивного, отчасти сознательно лицемерного непонимания и извращения всех изображаемых им общественных фактов, связей, типов и т. д. Маркс иронически пишет[18], что „Эжен Сю из любезности к французской буржуазии допускает анахронизм, влагая в уста Мореля.., рабочего, обычную фразу бюргеров времен Людовика XIV: „Ah! si le roi savait!" в модифицированной форме: „Ah! si le riche savait!" В Англии и Франции по крайней мере это наивное отношение между богатым и бедным перестало существовать". Или в другом месте:[19] „Как в действительности все различия все более и более сливаются в различии между бедностью и богатством, так в идее все аристократические различия растворяются в противоречии между добром и злом. Это различение есть последняя форма, которую аристократ придает своим предрассудкам".

Мы не имеем здесь возможности подробно останавливаться на очень важном и в эстетическом отношении отзыве Маркса о романе Сю. Мы хотим только вкратце осветить контраст между марксистским и либерально-идеалистическим подходом к этим эстетическим проблемам. Тот, кто читал „Святое семейство", вспомнит, что в одном пункте, в изображении Флер де Мари, Маркс находит нечто положительное в критикуемом им романисте. „Эжен Сю,—говорит он[20],—поднялся над кругозором своего узкого мировоззрения. Он прямо ударил по предрассудкам буржуазии". Но затем Маркс показывает[21], что в дальнейшем развертывании романа буржуазная лживость Сю проявляется все более ярко. „Здоровая натура" Мари гибнет: „Родольф превратил сперва Флер де Мари в кающуюся грешницу, потом кающуюся грешницу в монахиню и наконец монахиню в труп". Чрезвычайно интересно сравнить с этим суждение Розенкранца о Мари—проститутке, которая, по Марксу, „сохраняет человеческое благородство души, человеческую непредвзятость взгляда и человеческую красоту, импонирующие ее окружающим". Розенкранц говорит: принцесса в роли проститутки „интересна, но отнюдь не поэтична". А о конце романа он отзывается так (давая мимоходом резкую отповедь зачаткам критики общественного строя у Геббеля в его „Марии Магдалине" [22]): „У Сю нашлось по крайней мере достаточно такта, чтобы заставить ее умереть при дворе ее отца, аллегорического немецкого князя Родольфа".

Почему же Маркс заинтересовался больше всего именно этой частью фишеровской „Эстетики", раз, как это ясно видно из всего вышеизложенного, он мог относиться к фишеровским решениям этих проблем только с негодующим презрением? Нам кажется, что это радикально отрицательное отношение Маркса к позициям Фишера и было одной из причин заставивших его так тщательно эксцерптировать отделы о „моментах" прекрасного. Не забудем, что Маркс читал „Эстетику" Фишера в период своих подготовительных работ к „Капиталу", незадолго до окончательного написания „Критики политической экономии". И не забудем также, что в этих своих произведениях он показал с систематической полнотой как отвратительные стороны капиталистического строя, так равно и правильные и в особенности ложные отображения капитализма в его движении, способах проявления и т. д. В „Эстетике"

Фишера он и нашел комплекс таких отображений в самом подробном и педантически систематизированном виде, с богатым материалом конкретных примеров и экскурсов в область истории отдельных проблем. Эта подробность и систематичность, эта попытка охватить все возможные постановки вопроса давали Марксу наглядный материал для иллюстрации ложных идеологий, искаженных отображений объективного процесса искажения (Лифшиц справедливо указывает здесь на проблему „безмерного“[23]). Ложность взглядов самого Фишера не обесценивала для Маркса весь этот материал: он нашел в нем обширную сводку идеологических проблем, возможных постановок и решений эстетических вопросов,—и как бы ложны ни были исходные пункты Фишера, как бы ошибочно ни ставил и ни разрешал он обсуждаемые вопросы, все же это было эстетическим отображением как раз той стороны объективной действительности, к которой Маркс должен был относиться в этот период с совершенно особым интересом.

Вторым главным моментом, несомненно определившим интерес Маркса к Фишеру, была проблема деятельного участия субъекта в возникновении „прекрасного“. Этот интерес Маркса не ограничивается одним только „субъективным отделом фишеровской „Эстетики“—отделом о фантазии. Маркс выписывает из всех частей книги исторически или методологически важные места, относящиеся к активной, деятельной роли субъекта в этой сфере,—как из первой, принципиальной части „метафизики прекрасного“, так и из отдела о красоте в природе и из заключительных глав о художественной технике. Такой интерес Маркса к проблемам, обсуждаемым в книге Фишера, легко понять, если вспомнить, в какой период он читал эту книгу. Маркс в течение всей своей жизни вел неустанную борьбу на два фронта: против идеализма и механического материализма. В 40-х годах, в период преодоления и материалистической перестановки Гегеля с головы на ноги, на первом плане была у него конечно борьба против идеализма. Однако и здесь не следует забывать, что отдел о Фейербахе в „Немецкой идеологии“ и в особенности тезисы о Фейербахе выдвигают со всей отчетливостью вопрос о преодолении „старого“ механического материализма. Именно в этих тезисах старому материализму предъявляется тот упрек, что „деятельную сторону“, практику, он предоставил идеализму, который разумеется мог развить ее только в абстрактном виде, что этот старый, механический материализм игнорирует взаимодействие между человеком и внешними обстоятельствами, „забывает, что обстоятельства-то изменяются людьми“, и т. д. Конкретизация этих взглядов Маркса на широкой исторической основе, начинающаяся в „Критике политической экономии“ и достигающая своей вершины в „Капитале“, свидетельствует о неуклонном проведении этой линии. Конкретизация „деятельной стороны“ в области экономии, сведение фетишистских буржуазных представлений об экономических категориях, как „вещах“, к опосредствованным вещами отношениям между людьми (классами), диалектическое выяснение связи между производством и распределением, обменом и потреблением и т. д., — все эти проблемы из „Критики политической экономии“ заставили Маркса крайне отчетливо выделить „деятельную сторону“ и усилить полемику против ее игнорирования в механическом материализме. Не случайно конечно то обстоятельство, что Энгельс в своем разборе „Критики политической экономии“ так энергично выдвинул на первый план как раз эти моменты и, полностью продолжая борьбу на два фронта, так иронически отзывается о „неповоротливой кляче обыденного буржуазного рассудка“, с которым никак не поскачешь „по сильно пересеченной местности абстрактного мышления“. И одно из

СТРАНИЦА ВЫПИСОК МАРКСА ИЗ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА

С фотокопии Института Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

главнейших препятствий, перед которым останавливается эта „неповоротливая кляча“, Энгельс усматривает в том „рве, который отделяет сущность от явления, причину от действия“. В применении к экономии это означает следующее:[24] „экономия говорит не о вещах, а об отношениях между лицами и в конечном счете между классами; но эти отношения всегда связаны с вещами и являются как вещи“. Если к этому еще добавить, что в своей „Критике политической экономии“ Маркс поставил и разрешил этот вопрос не только применительно к экономической базе, но, исходя отсюда, также и применительно к отношению между базой и надстройкой; если далее вспомнить, что эти исследования приводят Маркса также к вопросу о „неравномерном развитии“ искусства, то интерес Маркса ко всему этому комплексу проблем как раз в этот период его деятельности становится, думается нам, вполне понятным.

И здесь опять-таки дело не в критике взглядов Фишера и цитируемых им авторов. Линия марксовой критики этих взглядов настолько ясна, что Маркс не считал нужным зафиксировать ее хотя бы даже в виде беглых намеков. Интерес Маркса сосредотачивался тут очевидно на тех различных формах постановки и разрешения эстетических вопросов, при которых возникают, хотя и в неправильном освещении, охарактеризованные выше проблемы. Укажем например на весьма интересную подробную выписку, в которой Маркс сводит рассеянные в книге Фишера высказывания Канта из „Критики способности суждения“, чтобы выявить своеобразие кантовской постановки вопроса. Это своеобразие заключается в чисто субъективном исходном пункте при построении эстетики, приводящем однако к тому, что прекрасное (в противоположность приятному) обосновывается не на „чисто личных чувствах“, но делается попытка найти его базу в чем-то общем.

Пожалуй еще интереснее то место, где Маркс особенно подробно выписывает из отдела о „красоте в природе“ то, что относится к „красоте в неорганической природе“ (свет, цвета и т. д.). Приведем несколько важных строк из этого эксцерпта, чтобы потом остановиться на одном месте из „Критики политической экономии“, тоже касающемся вопроса о цветах. Итак, Маркс выписывает из Фишера: „Цвет Colores apparentes (являющиеся цвета). Цвета, связанные с определенными телами,— выражение интимнейшего смешения подлинного качества вещей,—настроения (бессознательная символика), вызываемые белым, черным, серожелтым, красным, синим, зеленым. Их чувственно-нравственное значение. Переходные цвета, оттенки и тона цветов; характерность окраски для каждого индивидуума. Цвета—диференцированный свет и т. д.“ А теперь прочтем следующее место о золоте и серебре из „Критики политической экономии“[25] „...С другой стороны, золото и серебро не только в отрицательном смысле излишни, т. е. суть предметы, без которых можно обойтись,—но их эстетические свойства делают их естественным материалом роскоши, украшений, блеска, праздничного употребления, словом, положительной формой излишка и богатства. Они являются в известной степени самородным светом, добытым из подземного мира, так как серебро отражает все световые лучи в их первоначальном смешении, а золото отражает цвет наивысшего напряжения, красный. Чувство же цвета является популярнейшей формой эстетического чувства вообще. Этимологическая связь названий благородных металлов с соотношениями цветов в различных индо-германских языках была доказана Яковом Гриммом (см. его „Историю немецкого языка“)“.

Не существенно, да и нельзя было бы теперь решить, что явилось непосредственным поводом для этих соображений Маркса—выпи-

санное ли им место из Фишера или книга Гримма. Для нас тут важен контраст между методами Фишера и Маркса. Фишер как идеалистический гегельянец вынужден либо оторвать явления природы от человека и его деятельности, либо внести субъективные элементы и туда, где речь идет явным образом о явлениях, сущность которых заключается в их независимости от субъекта; так он впадает, как Маркс выразился о Гегеле последнего периода[26], одновременно в „некритический позитивизм“ и „некритический идеализм“. Мы увидим ниже, что как раз эта проблема принадлежит к тем мотивам, которые привели Фишера сначала от Гегеля к Канту, а потом от Канта к позитивистическому иррационализму. Маркс, наоборот, обсуждает здесь проблему красоты в природе—вопрос об эстетических свойствах золота и серебра—с помощью той же всеобъемлющей и всесторонней материалистической диалектики, с помощью которой он обсуждал в „Критике политической экономии“ и позже в „Капитале“ отношение между человеком и природой вообще. Повсюду видим то многообразное взаимодействие, посредством которого человек, будучи сам продуктом природы, постепенно овладевает предметами природы в материальном процессе производства. „Из определенной формы материального производства,—говорит Маркс[27],—вытекает, во-первых, определенное расчленение общества и, во-вторых, определенное отношение человека к природе“. Таким образом то обстоятельство, что продукты природы лишь благодаря своим объективным свойствам, независимым от человека, от субъекта, могут быть присвоены и использованы человеком с помощью общественного процесса производства, нисколько не противоречит тому, что их роль в производстве, а значит и в надстройке (эстетике) неразрывно связана с „деятельной стороной“ диалектического процесса, с материальным процессом производства. Там, где идеалистический философ Фишер беспомощно останавливается перед неразрешимой антиномией между механической объективностью (природой, абстрагированной от материального процесса производства) и раздутой субъективностью (человеческим мышлением и ощущением, тоже абстрагированным от материального процесса производства),—там Маркс ставит вопрос с обычной для него диалектической „конкретностью“. Марксу нечего было критиковать здесь Фишера, ибо в своей критике Штрауса и Бруно Бауэра как выразителей двух сторон гегельянства он уже преодолел указанное противоречие. В „Святом семействе“ [28] он говорит о борьбе между Штраусом и Бауэром как о „борьбе внутри гегелевской спекуляции: „Первый элемент это—метафизически вывернутая наизнанку природа в отрыве от человека, второй элемент—метафизически вывернутый дух в отрыве от природы...“

К специфическим чертам фишеровской характеристики красоты в природе, к попыткам молодого Фишера применить это понятие к истории и тем преодолеть Гегеля Маркс не проявляет никакого интереса. Правда, из относящегося сюда отдела „Эстетики“ он выписал кое-что очень важное для него, что затем играет роль и в большом введении к „Критике политической экономии“: это замечания Фишера о мифе и его отношении к старой и новой поэзии. Но здесь следует особенно подчеркнуть, что Маркс не мог заимствовать ничего нового—даже в смысле фактического материала—из „Эстетики“ Фищера, потому что, как мы еще увидим, Маркс пришел к своему пониманию роли мифа в истории гораздо раньше, чем прочел Фишера. Но так как этот вопрос теснейшим образом связан с противоположностью марксистского и либерального взгляда на новую поэзию, то мы сможем разобрать его только ниже, после более близкого ознакомления с развитием этой либеральной философии у Фишера в связи с его политическим развитием.

II
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИШЕРА

Путь политического развития Фишера ведет от либерального демократизма вюртембергского провинциала к безусловному признанию бисмарковской империи. Это, стало быть, типичный путь, который прошла вся либеральная немецкая буржуазия от 1840 до 1870 г. Если мы теперь собираемся ознакомить с ним читателя несколько ближе, то, во-первых, потому, что при этом выяснятся некоторые специфические черты в развитии Фишера, а во-вторых, это поможет нам вскрыть общественную подоплеку развития его эстетических взглядов. Характеристика же классовой борьбы того времени не входит в задачу настоящей статьи, да в ней и нет надобности, ибо ведь подробную историю этих классовых боев читатель может найти в сочинениях и письмах Маркса и Энгельса.

Фишер с самого начала своей деятельности ясно высказал связь между своими эстетическими взглядами и политической позицией (что впрочем отнюдь не значит, что он понимал действительную связь между ними). В своей вступительной речи при занятии профессорской кафедры в Тюбингене (1844) он заявил [29], что эстетика „в высшей степени причастна к учению о различных государственных формах". Он и в этот период видит в республиканском строе единственно возможное решение политических и общественных проблем; выше мы уже привели его слова, что неизбежная революция должна будет иметь не только политический, но и социальный характер. Однако это выступление за республику и революцию ограничивается уже и до 1848 г. типичными южногерманско-либеральными оговорками. В „Эстетике" Фишера вопрос о революции как центральной теме современной поэзии играет большую роль. В общем он эту тему утверждает, но к этому утверждению, носящему очень общий характер, всегда присоединяется такая существенная либеральная оговорка, что утверждение в сущности тут же берется обратно. Приведем хотя бы следующее весьма характерное место [30]: „Борьба за свободу и республика предшествуют в Америке дальнейшему развитию. Если мы утверждаем, что только в республике прекрасная человечность возможна как действительное состояние народа, то мы не хотим этим сказать, что всякая республика, даже и такая, которая основывает купеческую колонию в чужой стране на костях туземцев, являет прекрасное зрелище. Республиканская атмосфера всегда живит и возвышает, но эстетическое может развиться лишь там, где она все пронизывает собою настолько, что ею создаются соответствующие формы.—Так и французская революция сделала только половину дела". И он находит, далее, вполне понятным, „почему эстетический интерес так охотно устремляется к жертвам революции, к дворянству и престолу, к реакции в Вандее, в Бретани... Революция хочет т в о р и т ь историю; творимая история— не эстетика. Революция должна поэтому, после неудачи ее первого, абстрактного взрыва, примириться с природой и преданием..."

В этих положениях мы находим либеральные основы всей философии и эстетики Фишера в чистейшем виде. Мы видим, как основная историко-философская мысль позднего Гегеля — утверждение революции в прошлом, но ее отрицание в настоящем и будущем — подвергается здесь изменению в соответствии с классовой борьбой 40-х годов. Гегель мог воображать, по крайней мере до Июльской революции, которую он пережил лишь на несколько месяцев, что революционный период уже позади и что буржуазное общество постепенно разовьется и в Германии на прусской основе. Но в юные годы Фишера немецкая буржуазия готовилась к буржуазной революции. Неудержимое проникновение капи-

тализма в Германию, последствия таможенного союза и т. д. показывали все яснее, особенно после романтически-реакционных попыток Фридриха-Вильгельма IV, что между старым режимом в Пруссии и Германии и крепнущей буржуазией должен в конце концов разразиться бурный конфликт [31]. И Фишер был потому вынужден перенести революцию из прошлого в настоящее и будущее. Но тем самым такое безоговорочное признание великих революций прошлого, какое еще мог позволить себе Гегель, для Фишера становится невозможным. Он должен изменить лик революции сообразно потребностям либеральной буржуазии (в данном случае — буржуазии южногерманского маленького города). Революция должна быть мирной, органической, верной традициям, „эстетической", т. е. она не должна итти ни на шаг дальше, чем того требуют интересы буржуазии. Да не смутит читателя эстетический характер вышеприведенной цитаты: дело в том, что в этот период Фишер вовсе не был еще таким исключительным „эстетиком". Да и в его более поздний период прямая связь между политической позицией и эстетической оценкой гораздо явственнее видна у него, чем у большинства его современников. Но в начале своей деятельности он пытался еще вдобавок, с одной стороны, политизировать эстетику, а с другой — подчинить интересы искусства общеполитическим и социальным интересам. Так например, он говорит в своей вышеупомянутой вступительной речи: [32] „И если бы кто-нибудь сказал мне, что я должен выбрать между такими возможностями: бедность и одичание, но при этом расцвет искусства, или же благосостояние и счастливая жизнь, но без художественных сокровищ, я охотно швырнул бы в огонь все глипотеки и пинакотеки". Не будем вдаваться в вопрос, насколько серьезно это заявление Фишера. Несомненно во всяком случае, что в этот период он отнюдь не ограничивался эстетической точкой зрения и что отталкивал его от революций вовсе не их не-эстетический характер, а их политически-социальный радикализм. Поэтому для того, чтобы правильно понять вышеприведенные слова Фишера о революции, мы должны прежде всего рассмотреть его политическое отмежевание от левого крыла гегельянства. Все в той же вступительной речи он говорит: [33] „Всем известно также, что мы не желаем перекраивать действительность по абстрактным меркам, что мы ненавидим всякую демагогию, что мы порвали с Руге из-за того способа, каким он соединяет „практику с идеей", и что на наш взгляд надо дать умам медленно достигнуть зрелости, чтобы в свое время плод будущего сам собою упал на землю".

Мы видим таким образом, чего стоит „республиканский образ мысли" Фишера, и видим также, что зародыши его отхода от всякой революции имеются налицо уже в этот „радикальный" период его развития. Если впоследствии даже Руге перешел на сторону Бисмарка, то можно ли удивляться позднейшему бисмаркианству Фишера, который еще в 1844 г. так резко отмежевался от Руге? Ниже мы увидим, что и зародыши иррационализма Фишера имелись уже в этот его гегельянский период: они проявляются в его взгляде на органическое развитие, которого нельзя, мол, „сделать". Эта мысль о невозможности направлять историю приобретает у него потом все более явный характер абсолютной иррациональности. Именно в проблеме иррационализма отражается у Фишера, как мы увидим, противоречие в классовых интересах немецкой буржуазии, которая обеспечивает себе через Бисмарка удовлетворение своих экономических и внешнеполитических интересов, но зато отказывается от политической власти, от скорого выполнения других своих требований и подчиняется государству, грубо противоречащему всей ее

исконной идеологии. Мы должны подчеркнуть это в самом же начале, ибо для всего германского развития чрезвычайно характерно, что важнейшие мировоззрительные основы фашизма складываются на почве идеологии либеральной буржуазии и что, несмотря на всю показную идеологическую войну современного фашизма с либерализмом, фашизм и в идеологическом отношении продолжает главную линию развития немецкой буржуазии.

Но хотя эстетическая позиция Фишера решительно определяется таким образом его классово политической позицией, а не наоборот, однако в центре его интересов с самого же начала стоит разумеется проблема эстетики или, выражаясь несколько шире, проблема культуры. Недаром одно из существенных изменений, внесенных Фишером в эстетику Гегеля, заключается в той мысли, что современность представляет собой новый, самостоятельный период в развитии эстетики. Он ратует [34] за „современность, которая ведет великую, хотя и лишенную красоты борьбу". Эта мысль Фишера о современном периоде наряду с античностью и средневековьем связана теснейшим образом с его политическим представлением о революции, о котором мы говорили выше. Вот как он сам охарактеризировал этот этап своего развития в более поздние годы: [35] „...мы верили тогда, что находимся как накануне политической революции—и в этом мы были правы,—так и накануне рождения совершенно нового искусства, которое мы считали необходимым плодом этой революции, что однако оказалось лишь прекрасной грезой". Надо сказать, что эта греза молодого Фишера носила на себе печать типичной либеральной робости. Он и в 40-е годы отнюдь не был смелым поборником нарождавшейся тогда новой поэзии. В частности он всегда выступал против политической поэзии Гервега и Гейне и противопоставлял ей провинциальных идиллических певцов вроде Мерике. Правда, он боролся в то же время против тогдашних политических порядков, но эта борьба носила с самого начала умеренно-либеральный характер, уклонялась от всякого действительного столкновения. Решительно оппозиционных писателей он воспринимал как не-эстетическое явление в литературе, извиняя их однако тем, что наша эпоха [36] „не имеет настоящего, а только прошлое и будущее". „Мы добиваемся новых форм жизни: как только они появятся—будет материал для искусства". А вместе с материалом и художественные формы. В настоящем же Фишер утешается такими например попытками уклониться от действительной борьбы (правда, он сам относится к ним полуиронически): „Вечного-то солнца у нас во всяком случае не отнимешь, воздух не свяжешь цензурой, деревьям и волнам не помешаешь вести запрещенные полицией тайные беседы, птиц небесных не перенумеруешь и не сошлешь в Сибирь".

Эта двойственность Фишера объясняется не только общей половинчатостью немецкой либеральной буржуазии. Как идеолог буржуазии Фишер хоть и выражает ее общие классовые интересы довольно четко, но у него проявляются и те тенденции, которые характерны для его собственного слоя, для слоя мелкобуржуазных идеологов буржуазии. И его отношение к современности в большой степени определяется именно этим его положением. Как идеолог буржуазии он безоговорочно утверждает капиталистическое развитие Германии, видит в нем единственный возможный путь к будущему. Но как мелкобуржуазный идеолог, как „философ культуры" он зорко видит и „темные стороны" капитализма, неблагоприятные для культуры и особенно для искусства. Однако он связан с буржуазией слишком тесно, чтобы притти из-за этого к романтическому антикапитализму, как это было например некоторое время

Aesthetik

oder

Wissenschaft des Schönen.

Zum

Gebrauche für Vorlesungen

von

Dr. Friederich Theodor Vischer,

ordentl. Professor der Aesthetik und deutschen Literatur an der Universität zu Tübingen

Erster Theil:

Die Metaphysik des Schönen.

Reutlingen und Leipzig.

Carl Mäcken's Verlag.

1846.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА

с Карлейлем. Из противоборства этих интересов у него рождается поэтому некая эклектическая антиномистика, которая в ходе его дальнейшего развития толкает его в свою очередь на путь иррационализма. Но вначале он довольствуется высказыванием самих антиномий, ясно сознавая их неразрешимость [37]. „Страшная истина заключается в том, что интересы культуры и интересы красоты, если понимать под нею непосредственно прекрасное, враждуют друг с другом и всякий шаг культуры вперед растаптывает цветы, расцветшие на почве наивно прекрасного... Это печально, но это так: оба положения одинаково верны, и человеку остается только колебаться между сетованием и резиньяцией“. Эти слова чрезвычайно характерны для Фишера. Он, с одной стороны, слишком глубоко врос в классическую культуру Германии, чтобы в качестве эстетика выступать с апологией весьма неприглядно возрастающего германского капитализма, как это делал после революции в беллетристической форме Густав Фрейтаг; но с другой стороны, он слишком тесно переплетен с классовыми интересами буржуазии, чтобы выступить против самого капитализма с эстетической защитой разрушенной им мелкобуржуазной и крестьянской идиллии. Он ограничивается поэтому тем, что констатирует неэстетический характер капиталистической современности и в этом констатировании, поскольку оно касается чисто фактической стороны дела, он по временам даже соприкасается с Марксом.

Но когда двое говорят об одном и том же — это не одно и то же. В самом деле, Маркс берет диалектику капитализма во всем ее объеме, постигая в его революционном значении единство того колоссального и страшного процесса, который разоряет и порабощает миллионы, ломает все старые идиллические формы, калечит людей, превращает весь мир в товарный склад и торговое предприятие; по Марксу это есть процесс, создающий материальные предпосылки для действительной революции, для той революции, которая уничтожит эксплоатацию и классовую структуру общества и тем самым подготовит почву для появления социалистического „всестороннего человека“. Фишер же как идеолог буржуазии не может подняться над кругозором капитализма. И он вынужден поэтому эклектически колебаться между двумя позициями: то оплакивать разрушенную идиллию, благословляя в то же время ее разрушителя, то ждать от буржуазной революции разрешения такой дилеммы, которую эта революция, даже если бы она закончилась и не так плачевно, как немецкая в 1848 г., может только воспроизвести на более высокой ступени. То, что Фишер, в виду своего особого классового положения, мог увидеть хотя бы самую эту проблему, уже является известной заслугой; но это же классовое положение не позволяет ему дать какой-нибудь определенный ответ на поставленный им самим вопрос.

Таково было мировоззрение Фишера, когда он принял участие в революции 1848 г. в качестве депутата Франкфуртского парламента. После всего вышесказанного не удивительно, что он сыграл там в высшей степени жалкую роль. Энтузиазм первых дней улетучился очень скоро („я был конечно опьянен вином времени, и мои взгляды были неясны, как у всех“, рассказывает он об этом в своей автобиографии [38]). Энтузиазм Фишера прошел так быстро главным образом потому, что и он, как вся немецкая буржуазия вообще, понимал, насколько исход революции зависит от поведения самой буржуазии [39]. „Все же парламент фактически управлял некоторое время, и это порождало такое чувство ответственности, которое еще усиливало лежавшую на мне стопудовую тяжесть... Я принадлежал к „умеренной левой“, нашим принципом была осторожная подготовка республики. Так ли уж постыдно, что в ту пору фантастических увлечений мы не понимали того, что для нас ясно, как

день, теперь, когда мы пережили падение тогдашней французской республики в бонапартовском перевороте, Парижскую коммуну и испанское безумие?"[40] (Из той же автобиографии, 1874 г.) Фишер стыдливо умалчивает здесь о том, что ясно видели более проницательные представители буржуазии — о впечатлении от июньского боя в Париже и о страхе перед восстанием немецкого пролетариата. Он не видит, что весь его тогдашний легалистский и парламентарный кретинизм был только идеологическим выражением того обстоятельства, что немецкая буржуазия из страха перед дальнейшим углублением революции всячески старалась демобилизовать и дезорганизовать уже развязанные силы радикальной буржуазной революции, втиснуть их в „легальные" рамки и в нужную минуту объединиться против них с реакцией. Если Фишер говорит, что он уже через несколько недель ясно понял, что „у нас ничего не выйдет", то эти его слова правильно выражают тогдашнее настроение немецкой буржуазии, не затрагивая однако его действительных причин, которых он и не понимал.

Объективные противоречия в развитии немецкой буржуазии отражаются в голове Фишера — как в головах большинства буржуазных идеологов того времени — в разрыве и противоположении двух сторон единого основного принципа буржуазной революции: национального единства и свободы. Так как от революционного осуществления национального единства Фишер вообще отказывается из страха перед революцией, так как, несмотря на словесное признание республики, он панически боится лассалевской „великой Германии без династий", то принципы свободы и единства он противопоставляет друг другу и из двух членов этой дилеммы выбирает второй. Этим он подготовляет уже в 1848 г. свой переход на сторону Бисмарка. Чрезвычайно характерно он определяет свою тогдашнюю позицию так: „...я не потому примкнул к левой, что был республиканцем, а потому, что надеялся у левых скорей всего найти ту энергию, которая необходима при всяких обстоятельствах". Но эту энергию Фишер думал обрести не там, где ее действительно следовало искать, не в дальнейшем углублении буржуазной революции вплоть до создания единой германской республики, очищенной от всех гнилых пережитков феодально-абсолютистского режима, а в создании верной „традициям" единой Германии, способной вести также и агрессивную внешнюю политику. В своей автобиографии он высказывает это довольно ясно[41]. „В самом деле, из двух выдвигавшихся принципов принцип национального единства и могущества в сущности был мне гораздо ближе, чем принцип свободы. Но я разумеется весьма неясно представлял себе тогда, насколько такой образ мысли отделял меня от демократии, которая всегда стремится к свободе в ущерб единству". Как надо понимать эти слова, видно из позиции, занятой Фишером во Франкфуртском парламенте в итальянском и польском вопросах. В наброске к одной речи он резюмирует свои мысли следующим образом:[42] „Нация должна сохранять за собой то, что принадлежит ей по праву (речь идет о завоеванных Австрией итальянских областях и об аннексированных Пруссией частях Польши. — *Г. Л.*). Высоко держать свое собственное знамя — этот величественный эгоизм есть первая добродетель нации, и лишь во вторую очередь идет справедливое отношение к другим нациям". Таким образом Фишер вполне прав, когда он в своей автобиографии говорит:[43] „...мое отношение к чужим народам было настолько строго немецким, что мои партийные товарищи и я сам легко могли бы предвидеть мое будущее отпадение".

Если Фишер не переметнулся тогда же в лагерь Бисмарка, то это объясняется его вюртембергскими либеральными традициями. Он был

в тот период проникнут глубокой неприязнью и глубоким недоверием к Пруссии и не желал, чтобы национальное единство Германии осуществилось под прусской гегемонией, потому что это не гарантировало бы, по его мнению, сохранение и дальнейшее органическое развитие южногерманских либеральных традиций. Эти традиции несколько мешали ему и после безусловно приветствовать прусскую гегемонию. Но так как действительное политическое содержание его деятельности шло именно по этой линии, то это лишь порождало в его мышлении новую неразрешимую антиномию, являвшуюся искаженным отражением едва ли преодолимого для него объективного противоречия. Исходя из таких предпосылок, он конечно не мог найти ни одного политического аргумента против прусской гегемонии. И поэтому он прибегает к формально логическому аргументу, чрезвычайно характерному для буржуазных последователей Гегеля: „Для меня было несомненно, что часть целого не должна притязать на то, чтобы быть целым, т. е. чтобы главенствовать над ним. В этом была логика; можно сказать, что это была логика вместо политики.“ Эта самокритика в автобиографии Фишера относится уже к его иррационалистическому периоду. И мы увидим, что по мере своего сближения с политикой Бисмарка Фишер все решительней заменяет „логику“ принципиально иррационалистической „реальной политикой“. Это весьма интересная эволюция, ибо она вскрывает социально-политические корни того обстоятельства, что философское вырождение гегельянства в пустую трескотню логических категорий неизбежно превращается под конец в иррационализм: обе формы являются лишь идеологическими отражениями все более решительного отхода немецкой буржуазии от буржуазной революции. На первой стадии маскируемый неясными фразами страх перед революцией еще прикрыт идеалистически-формалистической псевдодиалектикой, на второй же стадии отход от революции обнаруживается уже полностью.

Отношение Фишера к революции 1848 г. становится теперь совершенно ясным. И если мы считаем нужным сказать еще несколько слов о том, как он отнесся к полицейскому разгону штутгартского парламентского охвостья, то лишь потому, что здесь особенно заметно проявилась общественная подоплека одного центрального пункта его эстетики — его теории трагического. В своей статье об Уланде [44] он хвалит его за то, что он пошел на последнее заседание этого парламента. „Просто убежать было бы недостойным концом, а так это был все-таки почетный конец, который остался в памяти людей как яркая точка, как акт мужественной решимости; если для министров (разогнавших парламент.—*Г. Л.*) это был трагический конфликт, то не менее трагичным было положение и для другой стороны; члены парламента не могли отступить, если не хотели оказаться трусами, но и министры не могли оставаться нерешительными и бездеятельными. Я со своей стороны признаюсь, что если бы я мог разделиться на два лица, если бы я шел в демонстрации и одновременно был бы министром, то я применил бы против самого себя как демонстранта военную силу“. (Подчеркнуто мною.—*Г. Л.*) В этих словах, в которых ярко сказывается столь махровое уже тогда лакейство либеральной немецкой буржуазии, проявляется вместе с тем перерождение понятия трагического из революционного принципа в контрреволюционный, в идеологическое восхваление покорности немецкой буржуазии перед прусско-монархической дубинкой. Трагическая необходимость была для Гегеля — яснее всего в „Феноменологии духа“ — выражением революционно-диалектического развития общественной действительности. С одинаковой необходимостью противоположные силы устремляются друг против

друга, и в этом столкновении исторически отсталая сторона, представляющая более низкую ступень в развитии „духа", неизбежно обречена на трагическую гибель. Конфликт Антигоны с Креоном в трагедии Софокла был для Гегеля великим поэтическим выражением развернутого классового общества и его государства, с неумолимой необходимостью торжествующего над принципами благочестия и семьи. Но трагически погибающим старым является у Гегеля, хотя и в идеалистически искаженном виде, всегда лишь докапиталистический строй, трагически уничтожаемый „буржуазным обществом". (За Антигоной в „Феноменологии духа" следует разложение старогреческого мира и образование Римской империи, носящей у Гегеля ярко современные черты. Его понимание Шекспира в „Эстетике" тоже исходит из аналогичного представления о средневековом периоде „героев" и его смене „буржуазным обществом".) Фишер же, с одной стороны, обобщает и формализирует необходимость с помощью тавтологического положения, что все происходящее необходимо, а другой — использует эту формалистическую всеобщность для прославления контрреволюционных жандармов и палачей как лиц, действующих с „трагической необходимостью", как трагических героев. Такое понимание необходимости позволяет в то же время оправдать как „трагически необходимое" действие и то чисто формальное, жалкое сопротивление, которое было оказано контрреволюции представителями немецкой буржуазии. Значит одна и та же „трагическая необходимость" проявляется и в том, что Гогенцоллерны неограниченно властвуют над Германией, и в том, что немецкие буржуа и их идеологи лижут сапоги этих Гогенцоллернов. Этот взгляд Фишера на трагическое обнаруживается, правда, во всей своей классовой наготе только во время революции 1848 г. и после нее. Тем не менее он лежит в основе его теории трагического уже в „Эстетике", где [45] он в „исправление" прежних теорий трагического утверждает, что в наивысшей трагедии герой сам должен быть убежден в необходимости своей гибели. „Если теперь и субъект проникается в своей гибели сознанием этого очистительного бессмертия и справедливости своих страданий, то тем самым наступает полное примирение и субъект сам входит в это увековечение как переживающий себя просветленный образ"... В этих словах немецкая упадочная буржуазия получила теорию трагического, которая проходит через всю деятельность немецких буржуазных писателей от Геббеля до Рильке.

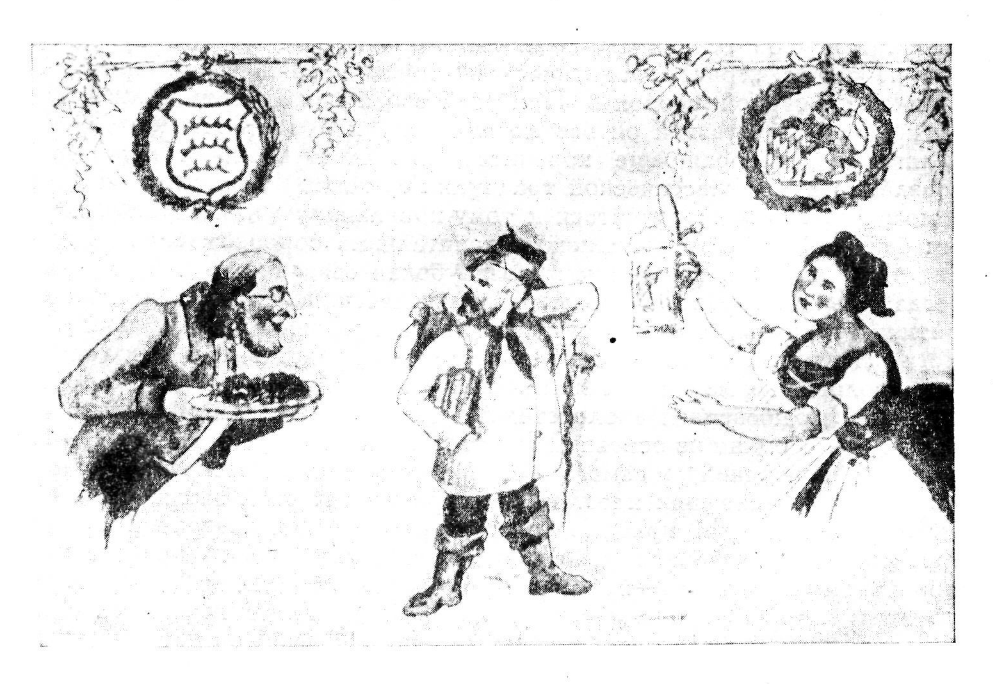
Либерально-контрреволюционный характер этой теории трагического станет для нас ясным, когда мы вспомним, как она „оправдалась" на событиях революции 1848 г. Но еще яснее обнаружится связь между этой теорией и классовой борьбой в Германии, если мы приведем относящиеся сюда замечания Маркса от 1843 г. [46] „Борьба против немецкой политической современности есть борьба с прошлым современных народов... Для них поучительно видеть, как старый порядок, переживший у них свою трагедию, разыгрывает свою комедию в виде немецкого выходца с того света. Т р а г и ч е с к о й была история старого порядка, пока он был предвечной силой мира, свобода же, напротив, — личной прихотью, другими словами: покуда он сам верил и должен был верить в свою справедливость. Покуда старый порядок как существующий миропорядок боролся с миром, еще только рождающимся, на его стороне было всемирно-историческое заблуждение, но не личное. Гибель его и была поэтому трагической. Напротив, современный немецкий режим, этот анахронизм... напоказ всему миру выставленное ничтожество старого порядка, больше лишь воображает, что верит в себя, и требует от мира, чтобы и тот воображал это... Современный ancien

régime скорее лишь комедиант миропорядка, действительные герои которого вымерли. История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда несет в могилу устарелую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия". Ниже, при дальнейшем разборе „Эстетики" Фишера, мы увидим, как Фишер разжижает эстетику Гегеля в либеральном духе и тем самым перегибает ее в контрреволюционную сторону, тогда как Маркс переворачивает эстетику Гегеля на материалистический лад, ставит ее на ноги и этим критически извлекает из нее правильные и ценные элементы для диалектического материализма.

Основная линия эволюции Фишера после 1848 г. заключается в полном раскрытии вышеуказанных тенденций. Фишер идет путем всей либеральной немецкой интеллигенции, т. е. он склоняется, с некоторыми „этическими" угрызениями и с некоторыми философскими оговорками, перед бисмарковской „бонапартистской монархией". Эта капитуляция либеральной немецкой буржуазии перед бисмарковской „реальной политикой" принимает в различных слоях и группах различные идеологические формы. Особенность Фишера состоит в том, что формалистически разжиженное гегельянство своих юношеских лет он перестраивает в иррационализм. Так как этот иррационализм играет большую роль в идеологии империалистической буржуазии Германии в качестве идеологической подготовки фашистского мировоззрения, то мы считаем необходимым вкратце показать, что настоящей причиной этой перестройки фишеровской системы была его политическая эволюция во время и после 1848 г., т. е. в конечном счете развитие его класса. Из множества политических высказываний Фишера приведем лишь несколько наиболее характерных. Он пишет (1859) о прусско-австрийских отношениях, что эта проблема представляет собою неразрешимый узел, и затем продолжает:[47] „такие узлы не может распутать никакой человеческий ум, они должны быть рассечены фактами, должны быть разрублены". (Подчеркнуто мною. — *Г. Л.*) А после австро-прусской войны 1866 г он пишет в одном письме:[48] „Веру в закон, властвующий над историей, я не потерял. Но мы не можем обозреть пути этого закона". (Подчеркнуто мною — *Г. Л.*) И в заключение он формулирует этот взгляд уже чисто принципиально: „Расчет неправилен; не органическим, а лишь хаотическим путем все может устроиться иначе". Тут бывший гегельянец Фишер капитулирует перед историческим мировоззрением Ранке, реакционного антипода Гегеля и кумира идеологов немецкой буржуазии в империалистическую эпоху. Ранке еще в 30-е годы писал о национальном единстве Германии:[49] „Национальность — это темное, непроницаемое материнское лоно, таинственное нечто, сокровенно действующая сила, сама по себе бестелесная, но порождающая и пронизывающая телесные явления... Кто решится назвать и исповедать это? Кто сумеет выразить в понятии или в словах, что такое немец?" И этот иррационализм позволяет теперь Фишеру разрешить свою старую „проблему", основной вопрос немецкой буржуазии в период революции 1848 г. о единстве и свободе, в таком направлении, в каком его разрешил весь буржуазный класс в целом: в направлении безоговорочной капитуляции перед Бисмарком. Патриот, как пишет Фишер в одной статье[50] от 1861 г., „хочет иметь отечество, все равно — свободное или несвободное, хорошее или дурное, и он хочет, чтобы это отечество уважали, как его самого". Так после некоторых колебаний, недостаточно интересных с принципиальной стороны, чтобы на них стоило здесь останавливаться, Фишер доходит до того, что во время войны 1870—1871 гг. он озабочен только одним:

окажется ли германское правительство достаточно „сильным“, чтобы аннексировать Эльзас-Лотарингию [51].

Интересно однако отметить, что это восторженное отношение к бисмарковскому осуществлению германского единства, к созданию империалистической Германии, облекается у Фишера и теперь в известную уже нам теорию трагического. Во время австро-прусской войны 1866 г. он занимал еще благодаря своим южногерманским традициям двойственную позицию. Тем не менее он приветствовал победу пруссаков, его только смущало, что его друг Д. Ф. Штраус в безусловном восторге от этой победы. Вот что он пишет по этому поводу в одном письме: [52] „Я думал, что его победное ликование будет хоть чуточку омрачено чувством трагического. После объявления франко-прусской войны он резюмирует свою „трагическую“ теорию всего этого периода в следующих словах: [53] „Пруссия собирается искупить свою вину. Неправедная, не-святая война будет искуплена праведной и святой...“ Резюмируем „трагическую“ философию истории Фишера словами его политического биографа Раппа: „Объявление войны 1866 г. было виной... Но бывает так, что законно существующее пережило само себя. Мы не сумели поставить на место отжившего новое здание, которое соответствовало бы изменившимся потребностям. Среди 40 миллионов нашелся один Бисмарк, который стал действовать; он взял на себя бремя вины. Бывают осложнения, при которых в случае бездействия старая вина порождает бесчисленные новые бедствия и при которых в то же время нельзя действовать, не повлекши на себя новую вину... Новая вина создала Северный союз. Это создание не мог приветствовать с легким сердцем ни один из тех, кто берет всерьез вечные нравственные понятия вины и неправды. И хорошо, что нашлось немало людей, которые решили выждать, решили убедиться сначала в прочности нового здания. Оно оказалось прочным: вина принесла добрые плоды, война 1870 г. была



КАРИКАТУРА НА ФР. Т. ФИШЕРА 1860-х гг.

искуплением также и для нас; мы могли сказать себе, что мы заплатили кровью за грех бездействия, за нашу отъединенность".

Лакейская сущность этого понимания трагизма не нуждается ни в каких комментариях. И Фишер действительно все больше ликвидирует в ходе своего развития свои старые — робкие и половинчатые — демократические воззрения эпохи 1848 г. Уже в 1863 г. он решительно против демократического решения вопроса. Вот как резюмирует его взгляды, высказанные им в одной речи, вышеупомянутый Рапп:[54] „Фишер боится, что собрание, вышедшее из непосредственных народных выборов, выдвинет наверх безрассудных радикалов, которые не в последнюю очередь виновны в неуспехе мартовского движения. Число демократов, не желающих считаться с событиями, после 1848 г. даже увеличилось. Но новому парламенту нужны люди, которые на практической работе поняли, что пафос и политика — две разные вещи и что одних идеалов недостаточно, когда речь идет о конкретных вопросах". А в одной статье от 1879 г. Фишер проводит параллель между якобинцами Французской революции и современными немецкими социал-демократами. Он рвет и мечет против тех, кто „прибегают к кровавым насилиям, чтобы осуществить невозможный идеал политического благополучия, кто втаптывают в грязь существующие законы, чтобы освободить место для более справедливых и не колеблются обречь настоящее поколение на всевозможные ужасы, чтобы этим подготовить химерическое счастье будущих поколений". Мы видим, куда пришел тот самый Фишер, который до 1848 г. усматривал в революции центральную проблему эпохи. И мы видим также, что этот путь был необходимым путем, путем его класса; зародыши этой эволюции можно найти в нем еще в период до 1848 г.

Итак, Фишер опустился, как правильно говорит Маркс в своем цитированном выше письме, до роли апологета бисмарковского периода. При этом следует однако подчеркнуть, что Фишер не принадлежит к числу его безоговорочных поклонников этого периода, принимающих его целиком, без всякой критики. Если он, как мы видели, критикует этот период с „трагически-этической" точки зрения, то он критикует его и с культурной стороны. При всей своей связанности с либеральной крупной буржуазией он все же является и представителем той интеллигенции, которая еще коренится, интеллектуально и культурно, в разлагающейся классической традиции Германии. И поэтому он никак не может прямо присоединиться к тому крикливому филистерству, которым быстрый расцвет германского капитализма сопровождался во всех областях культуры. Но так как его глубокая связанность с буржуазией всегда мешала ему встать на путь романтически-антикапиталистической критики культуры, то он и тут становится предшественником империалистической идеологии немецкой буржуазии, представителем к о с в е н н о й апологии германского капитализма — апологии, облеченной в форму критики. Эта косвенная апологетика, теснейшим образом связанная, как мы увидим, с одним из основных пунктов фишеровской эстетики, с „косвенной идеализацией", у самого Фишера разумеется далеко не так утонченна, как у позднейших идеологов империалистической эпохи. Он клеймит и бичует — хотя, правда, довольно, робко — некультурность, филистерство, разрушительное действие капитализма; но в то же время он либо принимает все это—как „трагическую необходимость", либо апеллирует к иррациональным силам, которые принесут исцеление. Так, в своем романе „Auch Einer" он почти „пророчески" рисует убожество грюндерского периода. Но тут же его герой заявляет:[55] „Не будем слишком смущаться этим: порядочное меньшинство все же останется, нация не погибнет. Стоит только грянуть беде, а она грянет вместе

с новой войной, и мы должны будем собраться с силами, отдать себя общему делу до последних фибр нашей души. Тогда все выправится и будет в порядке". И таким образом все выводы из фишеровской „критики культуры" расплываются в конце концов в иррационалистическом тумане, в косвенной апологетике капитализма.

III

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИКИ ФИШЕРА

(от Гегеля до Дильтея)

Когда Фишер начал писать свой главный труд по эстетике, он был, как нам уже известно, гегельянцем. Правда, он и в этот период никогда не был действительно ортодоксальным последователем Гегеля; недаром его „Эстетика" создавалась в период наибольшего разложения гегельянства, в период подготовки революции 1848 г. Но критика, которой Фишер подвергал в то время Гегеля, никогда не была принципиальной. Если Маркс говорил о радикальных младогегельянцах, о Бауэре и Штирнере, что их критика Гегеля всегда остается внутри гегелевской системы, то еще в большей мере это следует сказать о Фишере как о представителе либерального „центра" гегельянства. Фишеру ни на секунду не приходит в голову подвергнуть критике идеализм Гегеля. Наоборот, тут он принимает основы гегелевской мысли без малейшей критики. Поэтому перед ним никогда не встает вопрос о методе и системе. Без всякой критики берет он у Гегеля также и основные правила систематического построения. Его критика и дальнейшее развитие гегелевской философии ограничиваются таким образом лишь переделкой отдельных частей, отдельных моментов гегелевской системы в соответствии с тогдашними потребностями либеральной немецкой буржуазии. Мы уже видели, что эта переделка неизбежно приводит у Фишера к ослаблению тех революционных выводов, которые содержались в гегелевской диалектике, несмотря на ее идеалистическое искажение и на политические цели самого Гегеля; при этом у него наблюдается та тенденция, которую несколько позже „ортодоксальный" гегельянец Лассаль[56] отметил у другого представителя либерального „центра", у Розенкранца, т. е. переработка гегелевской системы в кантианство. А во-вторых, фишеровское „исправление" Гегеля разрывает те диалектические связи и переходы между категориями, которые мы находим у самого Гегеля. Несмотря на свой идеализм, Гегель во многих пунктах своей системы мысленно воспроизвел или по крайней мере пытался воспроизвести исторический процесс возникновения буржуазного общества. Фишер, как мы увидим, выбрасывает именно этот диалектико-исторический момент из системы и метода учителя, заменяя его частью абстрактной теорией познания, частью столь же абстрактной и в большинстве случаев очень поверхностной „социологией"; и таким образом диалектические категории превращаются у него в абстрактно-формальные, в формально-логические категории. Сохранение тройственного хода гегелевской системы остается у него поэтому большей частью чем-то внешним, чисто мысленной конструкцией, которой в действительности уже ничего не соответствует, которая уже не является—как это было у Гегеля—хотя бы искаженным и сублимированным отображением объективной действительности и процесса ее развития. И если это превращение диалектических категорий в формально-логические неизбежно вызывалось классовым положением Фишера, то вытекающие отсюда методологические последствия от этого разумеется нисколько не меняются.

Своеобразие фишеровской переделки эстетики Гегеля заключается прежде всего в попытке актуализировать ее, приспособить к потребностям тогдашней либеральной буржуазии, органически ввести в эстетику современность. Первое существенное изменение, внесенное Фишером в эстетику Гегеля, состоит в том, что он дает совсем иное место в системе вопросу о красоте в природе. Фишер не удовлетворен слишком кратким и суммарным рассмотрением этого вопроса у Гегеля (в главе „Определенность идеала“ в I томе гегелевской „Эстетики“). Он справедливо предполагает, что за этим слишком беглым рассмотрением скрывается внутренняя неудовлетворенность Гегеля. А именно, Гегель верно чувствует, что красота в природе обусловлена, с одной стороны, объективными, независимыми от нас природными свойствами предметов, а с другой—неразрывно связана с человеческой деятельностью. Но так как Гегель не понял, да и не мог понять значения материального производства людей как р е а л ь н о г о о п о с р е д с т в о в а н и я между субъектом и объектом естественной красоты, то он неуверенно колеблется здесь между объективностью и субъективностью и старается как можно скорее перейти из этой неудобной для него области в область искусства, где общественные отношения для него уже более доступны. Но эту колеблющуюся позицию Гегеля в вопросе о красоте в природе Фишер критикует с п р а в а. Он и смутно не догадывается о действительной причине гегелевских колебаний, и его переделка гегелевской эстетики приводит лишь к следующему: во-первых, он в этом вопросе еще идеалистичнее, чем сам Гегель, а во-вторых, он односторонне заостряет как субъективный, так и объективный принципы естественнопрекрасного и затем объединяет их эклектическим способом. Это очень ярко проявляется в том, как он вводит в свою систему понятие естественно-прекрасного. В своей „Энциклопедии“ Гегель осуществил, как известно, переход от логики к философии природы по необходимости абстрактно идеалистическим способом на чисто мистический лад. Но весьма характерно для тех реалистических тенденций, которые всегда были очень сильны в Гегеле, что при введении естественно-прекрасного в эстетику он ни единым словом не обмолвился об этом знаменитом переходе от идеи к действительности. И вот великая реформа Фишера заключается в том, что, рассмотрев в первой книге своей „Эстетики“ идею красоты по образцу гегелевской логики, он в начале II тома дает карикатурное воспроизведение только что упомянутого пресловутого перехода из „Энциклопедии“: идея красоты „отпускает от себя“ красоту в природе, как у Гегеля идея—природу. Правда, Фишер пытается тут же ослабить головокружительность этого скачка. Он говорит [57]: „Переход от метафизики к философии природы иной, чем переход от метафизики прекрасного к физическому учению о прекрасном, но о б а п е р е х о д а д о л ж н ы с о в е р ш а т ь с я п о о д н о м у и т о м у ж е з а к о н у и нефилософская попытка обосновать первый переход должна оказаться нефилософской и по отношению ко второму“. (Подчеркнуто мною.—*Г. Л.*) Фишеровская попытка ослабить неясность в этом пункте сводится, стало быть, к тому, что нечистая гносеологическая совесть Фишера заставляет его дополнить взятую у Гегеля мистику иррационалистической оговоркой.

Второе существенное изменение, вносимое в этом пункте Фишером, заключается в том, что он всю общественно-историческую действительность включает в область естественно-прекрасного. Таким образом в отделе о красоте в природе он рассматривает весь мир природы и общества как предмет искусства и дает при этом общий обзор тем, мотивов и т. д. художественного творчества, поскольку они, по его мнению, существуют независимо от человеческого сознания, сами по себе, в

СТРАНИЦА ВЫПИСОК МАРКСА ИЗ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА

С фотокопии Института Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

природе. При этом неизбежен эклектический произвол в оценке различных явлений природы и исторических эпох, ибо ясно, что ни из свойств крокодила, ни из истории средних веков Фишер не может почерпнуть объективные принципы для суждения о том, прекрасны ли они или уродливы: он может только судить с точки зрения своей эпохи (как он ее понимает), годятся ли в качестве тем для поэзии, ваяния, живописи и т. д. те или другие явления природы и истории. Так из абстрактного формально-логического перегиба и опустошения гегелевских понятий рождается эмпирически-позитивистический социологизм.

С методологической точки зрения следует еще отметить, что недиалектическая роль, которую поневоле играет здесь у Фишера понятие случая, уже содержит в себе зародыши его позднейшего поворота в сторону иррационализма. Фишер упрекает [58] Гегеля за то, что он в своей системе не уделяет достаточно внимания случайности: „Недостаток гегелевской системы не в том, что в ней нет места случаю, а в том, что она принимает его лишь на миг как способ рассмотрения, как взгляд на вещи с точки зрения „дурной конечности“, и затем тотчас же разрешает это представление в мыслящее созерцание... Природу и необходимость случая следовало обосновать в логике, и именно, думается нам, в учении об идее“. Чрезвычайно интересно, что Фишер совершенно игнорирует те важные места в „Логике“ Гегеля, в которых случайность рассматривается как нечто объективное. Сошлемся здесь только на изложение и дальнейшее развитие, которое этот взгляд Гегеля на случайность получил у Энгельса в „Диалектике природы“: „...Гегель выступает с неслыханными дотоле утверждениями, что случайное имеет основание, потому что оно случайно, а также и не имеет основания, потому что оно случайно; что случайное необходимо, что необходимость сама определяет себя как случайность и что, с другой стороны, эта случайность и есть абсолютная необходимость“ [59]. Но отнюдь не случайно, что по Фишеру рассмотрение случайности должно относиться к третьей части „Логики“; Гегель же рассматривает это понятие во второй части как главу из диалектики сущности и явления. Ибо у Гегеля случай представляет собою — как это ясно видно из энгельсовской цитаты — диалектический момент в осуществлении, в самопроявлении закономерности. В третьей части „Логики“, где обсуждаются те вопросы (жизнь, индивидуум и т. д.), ради которых Фишеру и нужна случайность, Гегель имеет дело уже с проявлением закономерностей, содержащих в себе случай как снятый момент. Фишеру же случай нужен для установления связи между родом и индивидом [60]: „Художник... исходит... в своем творчестве из случая. Но почему всякое художественное творчество становится безжизненным, когда жертвует характером случайности, это должно быть разъяснено в метафизике прекрасного. Дело в том, что идея кажется нам чем-то несуществующим, когда выключается то, что как будто мешает ее осуществлению... И так как в образе всегда объединяется то и другое—правило, даваемое родом, и отклонение, даваемое случайностью индивида,—то ясно, что нельзя найти никаких определенных черт, которые могли бы считаться признаком или нормой прекрасного“. (Подчеркнуто мною.—*Г. Л.*) Ясно что Фишер впадает здесь в ту ошибку идеалистического умозрения, которую Маркс так метко и беспощадно осмеивает в „Святом семействе“, в главе о „тайне спекулятивной конструкции“. Фишер не видит, что род (всеобщее) возникает из реального, объективного диалектического развития индивидов (частного), из диалектического переплетения случайности и необходимости в этом процессе,—и что поэтому то среднее, всеобщее, не подверженное случаю, что мы называем родом, есть не что иное, как

мысленное отображение общих черт индивидов. Так как Фишер исходит из гипостазированного понятия рода, якобы образуемого „правилом“, которое уже не подвержено никаким случайностям, и так как он хочет спуститься от этого родового понятия к индивиду, то случай неизбежно становится у него чем-то самостоятельным, чем-то замкнуто противостоящим необходимости правила и поэтому заключает уже в себе сильную примесь иррациональности. Это ложное воззрение на род характерно для всего разложения гегельянства. Даже Фейербах не свободен от этой ошибки. „Человеческая сущность“—говорит Маркс,—может быть понята у него только как „род“, как внутренняя, немая, лишь естественно связующая многих индивидов всеобщность“. Еще хуже обстоит дело у идеалистических эпигонов Гегеля. Но если радикальные младогегельянцы, и особенно Бруно Бауэр, рабски копируют в этом вопросе мистифицированно-диалектические выводы Гегеля, то Фишер отходит здесь даже к догегелевским позициям и конструирует с помощью недиалектически понятого случая отношение между индивидом и родом по образцу „интеллигибельной случайности“ Канта. Стало быть, он и здесь, сам того не зная или не желая, уже вступает, подобно Розенкранцу и всему либеральному „центру“ гегельянства, на путь, ведущий от Гегеля к Канту.

В этих попытках перестройки гегелевской эстетики у Фишера ясно обнаруживаются все те противоречия, которые мы уже разобрали, когда говорили о его политическом развитии. С одной стороны, он хочет актуализировать и историзировать эстетику Гегеля. Поэтому он вводит в эстетику современное искусство как нечто самостоятельное. Заметим мимоходом, что так как Фишер рабски придерживается тройственного хода гегелевской диалектики, то это вынуждает его крайне неисторично включить все восточное искусство в античный период, благодаря чему смазываются и пропадают некоторые очень ценные достижения Гегеля в области истории. Ниже, при разборе понятия о символе, мы еще будем подробно говорить о значении этого пункта. Отмеченная ошибка была бы однако чисто эпизодической, если бы Фишер сумел занять решительную и принципиальную позицию в вопросе о современном искусстве. Но по причинам, изложенным в предшествующей главе, он не мог этого сделать. Он колеблется между утопически-апологетическим утверждением капитализма и романтической критикой его „дурных сторон“. И поэтому его собственный взгляд на введенный им в эстетику период современного искусства остается шатким и эклектичным.

С другой стороны, именно потому, что он вводит в свою систему центральную эстетическую категорию этого периода, категорию уродливого, он этим окончательно уничтожает исторический характер, который еще имела гегелевская эстетика, несмотря на ее идеалистическую искаженность. Это происходит от того, что те конкретные эстетические категории возвышенного и комического, в которых у Фишера, как и у его предшественников (Жан-Поля, Зольгера, Вейсе, Руге и т. д.) эстетически осуществляется уродливое, совершенно теряет у Фишера свой исторический характер. В своем „Плане нового разделения эстетики“ Фишер очень резко ополчается против Гегеля за то, что он использует понятия возвышенного и комического как эстетические категории только в конкретно иллюстрирующей части своей „Эстетики“. В противовес Гегелю он полагает, что общая часть эстетики, „логика“ эстетики, именуемая у него „метафизикой прекрасного“, должна быть построена на диалектике прекрасного, возвышенного и комического. Благодаря этому общая часть эстетики трактуется у него так отвлеченно, так формалистически-идеалистично, что в этом отношении Фишер перещеголял здесь

самого Гегеля. Но таким образом вся диалектика превращается в формалистическую псевдодиалектику. Отрицание отрицания совершенно перестает быть мысленным отображением реального диалектического процесса. Как плохо Фишер понимает при этом зачатки истинной диалектики у Гегеля, до какой степени он и здесь критикует Гегеля „справа", это лучше всего показывают его собственные рассуждения. В важнейшем параграфе своей „Эстетики", говоря об отрицании отрицания, он пишет: „Положение: duplex negatio affirmat (двойное отрицание равносильно утверждению) всегда считалось лишь формально-логическим (а у Гегеля? — *Г. Л.*): здесь мы убедились в его объективной истинности. Отрицание было, правда, всякий раз лишь отрицанием одного момента в прекрасном, но так как последнее заключается лишь в чистом единстве обоих моментов, то всякий раз отрицалось прекрасное в целом, т. е. оно хоть и не уничтожалось, но существенно нарушалось и этим тотчас же приводилось в движение для восстановления нарушенного. Не будь в возвышенном и комическом этого движения, прекрасное всякий раз бывало бы уничтожено, но вторгающееся отрицание уже содержит в себе и необходимость своего собственного уничтожения"[61]. Эта диалектика стоит—и это весьма характерно для всех последователей Гегеля, остановившихся в тот период на буржуазной точке зрения,— примерно на уровне прудоновской диалектики. Марксова критика этой псевдодиалектики в „Нищете философии" является таким образом заодно и диалектической критикой фишеровского „исправления" Гегеля. Для всякого, кто прочтет приведенную только что цитату, сразу же станет ясно, что и у Фишера мы имеем дело с противопоставлением „хороших" и „дурных" сторон. Маркс пишет о Прудоне:[62] „По его, г-на Прудона, мнению всякая экономическая категория имеет две стороны: хорошую и дурную... Хорошая сторона и дурная сторона, выгода и вред составляют, по мнению г-на Прудона, противоречие, свойственное каждой экономической категории. Сущность диалектического движения заключается как раз в сосуществовании двух взаимно противоречивых сторон, в их борьбе и слиянии в одну новую категорию. Как только ставят себе задачей удалить дурную сторону, так диалектическое движение разрывается пополам. Это уже не категория, которая в силу своей противоречивой природы и полагает себя и противополагает себя самой себе: это лишь г-н Прудон, который мечется взад и вперед между обеими сторонами, мучится и выбивается из сил".

В этих словах Маркс вскрыл с величайшей ясностью слабый пункт всех подобных попыток развить дальше гегелевскую диалектику: он показал—и Энгельс подчеркнул это впоследствии в своей критике Фейербаха,—что великая заслуга Гегеля и заключалась как раз в обнаружении диалектически движущей роли отрицательного принципа („дурной стороны"). Гегель мог еще стоять на этой точке зрения потому, что он, подобно его современнику Рикардо, еще мог классово утверждать развитие капитализма со всеми его страшными последствиями. Правильная оценка роли отрицательности в диалектической логике есть лишь мысленное отображение непредвзятого, „классического" (в смысле классической экономии), еще не искаженного апологетизмом отношения к развитию капитализма. Ясно, что для либерального Фишера такое отношение уже невозможно. Его апологетизм еще был прикрыт в 40-е годы его утопическими надеждами на социальные последствия ожидавшейся буржуазной революции; он был вероятно еще неясен для него самого. Но так как этим утопическим надеждам не соответствовало ничего реального в тогдашней немецкой действительности, так как Фишер хоть и безусловно утверждал капитализм, но в то же время желал бы иско-

ренить его „дурные стороны“ и поэтому стремился уничтожить их также и идеологически, с помощью своей псевдодиалектики,—то поэтому он был вынужден формалистически исказить гегелевское отрицание отрицания.

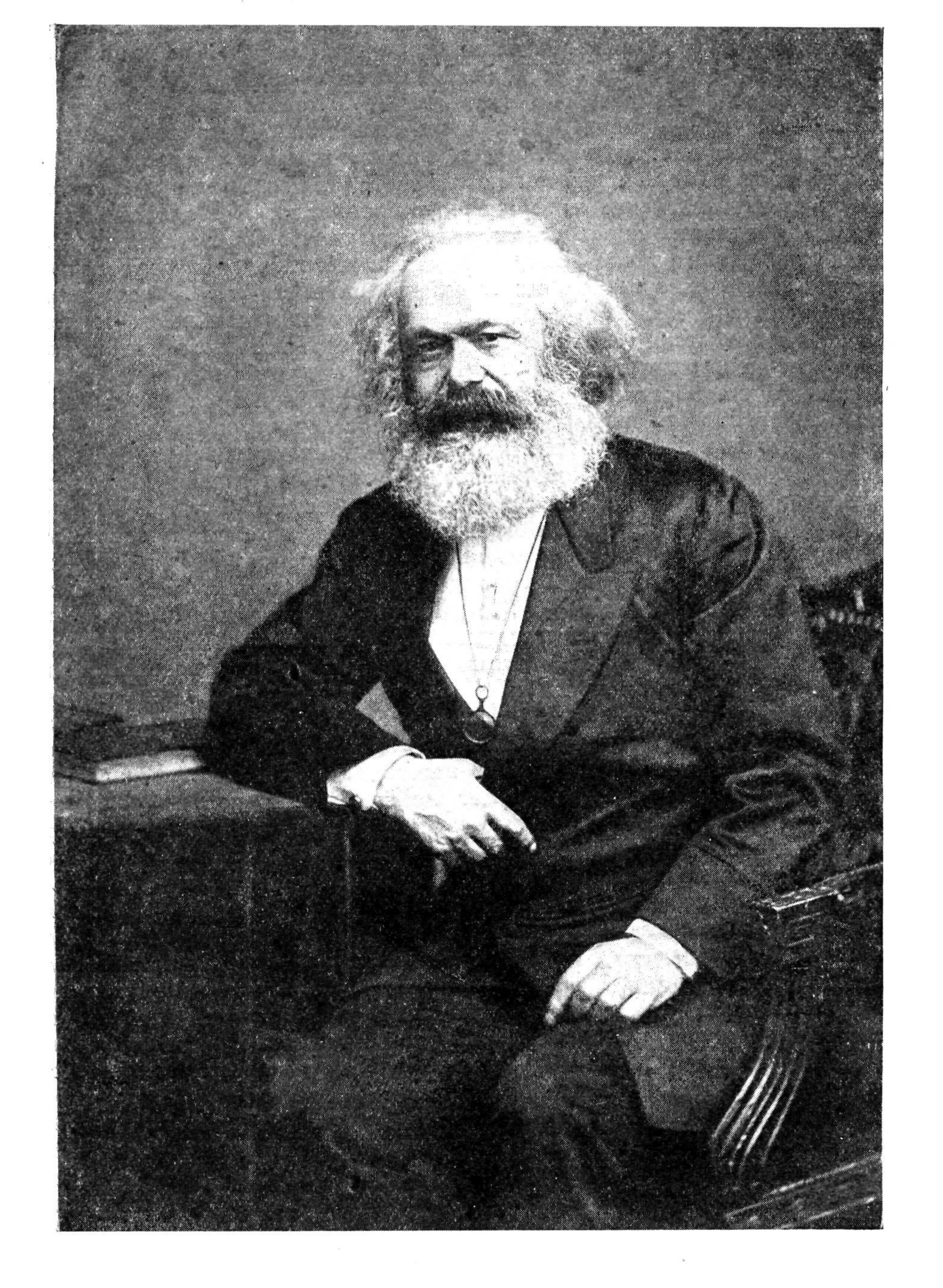
Уже в первой главе мы сказали несколько слов о возникновении и трактовке проблемы уродливого в немецкой эстетике первой половины XIX в. Теперь, давая краткий обзор систематического построения фишеровской эстетики, мы можем сделать несколько дополнительных замечаний. Проблема уродливого в эстетике связана с правдивостью художественного воспроизведения капиталистической действительности, развитие которой все больше препятствует применению старых творческих методов искусства как унаследованных от докапиталистических периодов, так и связанных с гражданским идеализмом великих революционных эпох (Мильтон, Давид и т. д.). Ясно, что при этом и у художников, и у эстетиков реальное классовое отношение к этому развитию будет определять творческий метод и теоретические размышления о нем. Умеренный либерал Фишер, представлявший к тому же в рамках общебуржуазных интересов особый нюанс академической интеллигенции, мечтавшей о гармоническом слиянии „имущества и образования“ в капиталистическом обществе, никоим образом не мог додумать эти проблемы до конца и решительно сделать из них все выводы. Фишер должен был, наоборот, — как впрочем и все его немецкие предшественники, — с самого же начала строить свои понятия так, чтобы они без остатка уложились в понятие красоты. Как в политической области он стремится к капитализму без „дурных сторон“, так и в эстетике он вводит уродливое лишь *кажущимся образом*. Возвышенное и комическое служат у него с самого начала для эстетического ослабления уродливых черт капиталистической действительности, для их полного уничтожения в чистой красоте.

Но Фишер может при таких условиях притти лишь к эклектическому решению вопроса. В самом деле, во-первых, его категории возвышенного и комического являются с самого же начала принципами эстетического ослабления, а не эстетического оформления уродливого, т. е. это с самого начала апологетические категории, а во-вторых, их снятие в чистой красоте тоже остается мнимым. Чистая красота, понятием которой заканчивается первая часть „Эстетики“ Фишера, совершенно пуста и бессодержательна. Эта эклектическая двойственность фишеровского решения эстетической проблемы отражает очень ясно тогдашнее состояние классовой борьбы в Германии. Экономически отсталая немецкая буржуазия еще не перестроила жизнь сообразно своим экономическим потребностям, как то уже успела сделать буржуазия французская и английская. Поэтому в Германии и не мог возникнуть такой смелый и решительный реализм, как во Франции и Англии. Но Фишер как апологетический идеолог своего класса видит в этой робости реалистического немецкого искусства его э с т е т и ч е с к о е п р е и м у щ е с т в о. Как критик он никогда не выходит за те пределы, которые классовое развитие в Германии поставило перед поздней реалистической романтикой (Уланд, Мерике и т. д.). Эта немецкая буржуазия, так поздно вступившая на арену классовой борьбы, стала готовиться к своей первой буржуазной революции в такой перид, когда французский и английский пролетариат уже развернул знамя классовой борьбы, когда и по Германии начал бродить призрак коммунизма (восстание силезских ткачей). При таких условиях, при которых измена буржуазии своей собственной буржуазной революции, ее соглашение со старым порядком было с самого начала заветной мечтой широких слоев буржуазии, никоим образом не могло возникнуть буржуазное якобинство. Если, как правильно указал Маркс, радикальные мелкие буржуа 1848 г. во Франции были карикатурой на „гору“ 1793 г.

то немцы были карикатурой на эту карикатуру. Во что должно было при таких обстоятельствах превратиться в Германии идеалистическое гражданское искусство? Фишеровская теория восстановленной красоты показывает это очень ясно: в пустой академизм. „Красота“ Фишера есть не что иное как бледный идеал процветания интеллигенции в приснившемся ему гармоническом царстве капитализма. Эстетика Фишера занимает таким образом эклектически примирительную позицию между умеренным идеализмом и идеализирующим академизмом.

Эта эклектическая двойственность отражается и в псевдодиалектике общей части его „Эстетики“. Снимая вышеуказанным способом возвышенное и комическое в чистой красоте, он не в состоянии вложить в эту красоту какое-либо действительное и подлинное содержание. Восстановленная этим путем красота [63] „не есть новый, особый образ прекрасного“. Она есть „не что иное как дух целого, который существует именно в этих противоположностях, проходит через них и из них возвращается к себе“. В своей позднейшей работе „Критика моей эстетики“ (мы сейчас будем говорить о ней подробнее) Фишер пишет [64] о полемике Шаслера против этого диалектического вывода красоты: „Шаслер говорит, что трудно не написать сатиру по этому поводу; ну что же, написать сатиру я мог бы сам“. Но мало того, что с этим своим „снятием“ возвышенного и комического в красоте Фишер остается далеко позади Гегеля. Это мнимое снятие приводит еще и к тому, что при конкретном изложении эстетики комическое оказывается кульминационным пунктом фишеровской системы. При этом проявляется чисто эклектически и наперекор формальным рамкам системы романтически-реалистическая тенденция Фишера. Что и этот реализм носит либерально-апологетический характер, мы уже видели выше. О том особенном оттенке этого апологетизма, который обусловлен верховным положением комического в системе Фишера, мы еще будем говорить подробней.

В 1866 г. Фишер опубликовал свою вышеупомянутую самокритику. С эволюцией, которую он проделал за это время мы ознакомились в предшествующей главе. Теперь мы можем вкратце резюмировать последствия, которые эта его политическая эволюция имела для его эстетики. Решающим пунктом, в котором Фишер отвергает свою первоначальную концепцию и пытается ее исправить, является вопрос о субъективности эстетического. Он пишет: [65] „Эстетика должна с первых же своих шагов уничтожить иллюзию, будто существует прекрасное без активного участия... созерцающего субъекта... Словом, прекрасное есть попросту особый вид созерцания“. (Подчеркнуто мною.— *Г. Л.*) Тут Фишер совершенно ясно и открыто возвращается от Гегеля к Канту, к „Критике способности суждения“. При разборе первоначальной системы Фишера мы убедились, что как раз вопрос о субъективности и объективности искусства был наиболее неясным пунктом в его системе, что он решался наиболее эклектично. Фишер конструировал там для каждого из обоих принципов особую область: для принципа объективности—красоту в природе, для принципа субъективности—фантазию; первая область была для него чистым объектом, вторая—чистым субъектом, который сам создает свой объект. И вот теперь Фишер думает, что недостаточность и односторонность обеих этих сфер, с вытекающей отсюда потребностью в их взаимном восполнении, и служит как раз диалектической предпосылкой для их действительного единства в искусстве. (Мы видим, что и здесь перед нами все та же псевдодиалектика „хороших“ и „дурных“ сторон.) Неудивительно, что главы, в которых Фишер излагает систематическую связь этих областей между собой, принадлежат к самым темным и запутанным во всем его сочинении.



КАРЛ МАРКС
Фотография 1880 г.
Музей Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

Естественно-прекрасное должно быть чем-то объективно данным. В дальнейшем однако Фишер объявляет эту данность иллюзией, но такой иллюзией, которая безусловно необходима для эстетики. Он пишет:[66] „Прежде чем субъект может быть введен мною, он должен иметь свою почву, свой материал, свой исходный пункт; я не могу поставить его в пустое пространство, где он ткал бы из пустоты свои бесплотные образы. Иллюзия — думать, что красота есть данное, но эта иллюзия есть первое, она необходима“. Здесь совершенно ясно видно, к какой путанице должна была привести последователей Гегеля их полная неспособность понять значение материального производства. Молодой Фишер старается соединить посредством эклектически-формалистической вербальной диалектики такие области, которые несоединимы без соединительного звена, связующего их в действительности, т. е. без материального производства. В те годы он еще старается уклониться от неизбежного последствия своей позиции — от субъективного идеализма. Поэтому он конструирует сферу красоты в природе как нечто чисто объективное и воображает, что с помощью этой конструкции он преодолел Гегеля. Но мы видели, что это было с его стороны лишь самообманом, что его „чисто объективная“ сфера красоты в природе была в действительности случайной смесью субъективных точек зрения (заимствованных из практики художественного творчества).

Теперь Фишер радикально делает все выводы из своих предпосылок, отрицает *всякую* объективность за красотой в природе:[67] „оказалось... что так называемая красота в природе уже *предполагает фантазию*“. (Подчеркнуто мною. — *Г. Л.*) Таким образом для Фишера вся область эстетики становится продуктом художественной фантазии (что у него значит — продуктом „чистого созерцания“). Неразрешимую для него дилемму субъективности и объективности он разрешает тем, что покаянно возвращается к субъективному идеализму. Отсюда вытекает прежде всего то важное обстоятельство, что Фишер решает в чисто субъективистском духе и вопрос об эстетической иллюзии. Как все эпигоны Гегеля, Фишер никогда не мог действительно понять решающие пункты гегелевской логики — диалектику явления и сущности, вопрос об объективности явления, подлинное преодоление Канта. Поэтому его попытки все-таки спасти в эстетике объективность иллюзии тоже остаются эклектичными. И это не случайно. Не случайно, что Энгельс выше всего ценил именно эту часть гегелевской логики, как не случайно и то, что Маркс все время — от „Немецкой идеологии“ до „Капитала“ — материалистически переворачивал и углублял вопрос об объективности явления и пользовался им для выявления специфических категорий капиталистической экономики. Без такой материалистической перестановки гениальный замысел „Логики“ Гегеля неизбежно должен привести к мистифицированно застывшей неподвижности. Так это и произошло у молодого Фишера. Но когда он до известной степени осознал противоречивость своей позиции, что было теснейшим образом связано с развитием его класса и с его очерченным выше личным политическим развитием, тогда он радикально ликвидировал и в этом пункте свое плохо понятое, эклектическое гегельянство. Он говорит в своей самокритике:[68] „В слове *иллюзия* надо различать два значения: иллюзию, которая нас действительно обманывает, и иллюзию, которой мы отдаемся, хотя и знаем, что это только иллюзия... Теперь мы требуем... чтобы возникла свободная иллюзия, чтобы явилась красота, которая была бы утверждена среди предметов и шла бы нам навстречу с наивностью чего-то найденного, как явление природы, неожиданному впечатлению которого мы отдаемся целиком, но с ясным и свободным сознанием, что это только образ,

только созданная человеческим духом и сотворенная человеческой рукой иллюзия". Это уже совершенно явственно Кант и Шиллер, а не Гегель. И Фишер критикует с этой точки зрения свою „Эстетику", находя ее слишком *объективной*, делающий слишком большие уступки теории мысленного *отображения* действительности. Стало быть, он „очищает" свою систему в том самом смысле, в каком, по словам Ленина, последовательные идеалисты и агностики всегда „очищали" системы вроде кантовской от непоследовательной примеси материализма. Неясность Фишера в вопросе о „данном" аналогична в эстетической области тем колебаниям, которые так характерны для Канта в вопросе о „вещи в себе". Поэтому он очень правильно говорит в своей самокритике:[69] „Действительно, моя система так упорно устремлена к искусству, которое черпало бы свое содержание только из подлинно действительного, из источника природы, из настоящей жизни, что она как будто не оставляет места для деятельного вымысла. Недаром меня так часто упрекали, что по моей эстетике выходит, будто *жизнь просто отражается* в духе художника, который, правда, претворяет ее в идеальную форму, но не прибавляет к ней от себя никакого дальнейшего содержания". (Подчеркнуто мною. — *Г. Л.*)

Итак, можно подумать, что дилемма реализма и идеализма в искусстве, оставшаяся эклектически неразрешенной в первый период Фишера, будет теперь четко разрешена им в духе идеализма. И действительно, одновременно с политическим поправением Фишера и с его философской эволюцией к ясно выраженному субъективному идеализму у него и в эстетической области ослабевают реалистические тенденции и усиливаются тенденции в сторону академического идеализма. Тем не менее двойственность его тенденций продолжает сохраняться и впредь, только теперь он гораздо сильнее подчиняет все свои реалистические устремления своему общему идеализму, принимающему все более апологетический характер. Это яснее всего обнаруживается в его знаменитом романе „Auch Einer". Здесь Фишер показал в очень ясных образах, что́ именно он понимает под идеалистической сущностью реализма, под реализмом как „косвенной идеализацией" согласно его собственному выражению. И столь же ясно обнаруживается в этом романе, почему Фишер отводит комическому высшее место в художественном оформлении уродливого и почему у Фишера, как и у других немецких эстетиков, сатира всегда принижается как нечто не вполне художественное, а юмор признается художественной вершиной в области комического. Основной темой фишеровского романа является комическая борьба индивида с мелкими житейскими злоключениями—с потерей пуговиц, с перьями, которые не пишут, с не во-время случившимся позывом к кашлю и т. д. Убогая мелочность этой темы уже сама по себе показывает, как низко пала к середине XIX в. буржуазия, породившая когда-то Свифта и Вольтера. Но от других немецких юмористов Фишер отличается тем, что он дает этой убогой мелочности философское обоснование, подводит под нее в виде базы целое мировоззрение. Он различает в своем романе два мира. Низший мир — это тот, в котором царит демоническое „коварство объекта". Это — сфера восстания злых сил природы против их порабощения человеческим духом. Это восстание может поставить человека в такие положения, в которых он субъективно отдается полному отчаянию. „И тем не менее,—говорит герой романа и вместе с ним Фишер[70],—они могут сколько угодно терзать и мучить человека, но уже не могут свалить его, *не могут разрушить верхнюю часть здания: закон, государство, дело, любовь, искусство*; мы должны стремиться, бороться, сражаться, не считаясь с ними.

Более того, эти духи и их злые дела, хоть мы и не можем помешать им, вынуждены служить нам: мы познаем их, мы пользуемся ими—в искусстве". (Подчеркнуто мною.—*Г. Л.*)

Ясно, что Фишер перегибает здесь юмор в сторону апологетики. Все сферы человеческой деятельности, важные для сохранения капиталистического общества, принадлежат к высшему миру и не могут поэтому быть предметом комически-критического изображения (закон, государство и т. д.). А с другой стороны, все житейские беды сводятся к мелким личным неприятностям, носящим к тому же чисто стихийный характер и, стало быть, принципиально никак не связанным с капиталистическим строем. В своем романе Фишер подходит таким образом к „жизни" с юмористической критикой, но эта критика ставит себе целью апологию существующего общества и даже более того: возвышение этого общества над всякой критикой. Не случайность, что бывший гегельянец Фишер неоднократно и с полным признанием цитирует в этом романе Шопенгауэра. Структура демонически-иррационального низшего мира и высшего мира идей в самом деле близко соприкасается со структурой шопенгауэровской философии. Эту последнюю Фишер перестраивает лишь постольку, поскольку у него государство, закон и т. д. *определенно включаются в высший мир:* его апологетика существующего строя гораздо наивней и непосредственней, чем шопенгауэровская. Он приспосабливает таким образом—как и Эдуард фон Гартман, но только тоньше—пессимизм Шопенгауэра к идеологическим потребностям немецкой буржуазии, переживавшей быстрый экономический подъем. Но не случайно и то, что Шопенгауэр, у которого косвенная апологетика капитализма проведена гораздо решительней и утонченней, чем у Фишера, приобрел гораздо большее влияние в империалистскую эпоху, особенно вначале, чем его усовершенствователи времен „бонапартистской монархии".

Все это должно было конечно усилить в Фишере тенденции в сторону иррационализма. Его полемика с Гегелем в вопросе о случайности становится еще более резкой в его критической работе о самом себе. И теперь, когда мы ознакомились с его политической эволюцией, нас не может удивить, что он особенно подчеркивает важную роль случая в истории, все больше приближаясь к пониманию истории как области иррационального. Естественно, что случайность индивида, которую он, как мы знаем, подчеркивал уже в своей „Эстетике", превращается теперь в чистый иррационализм [71]: „То, что делает индивида индивидом, само по себе всегда иррационально..." Фишер соприкасается здесь уже чрезвычайно близко с Лотце, подлинным родоначальником югозападно-германского реакционного крыла империалистского неокантианства (Виндельбанд, Риккерт и т. д.).

Это развитие в сторону иррационализма становится вместе с тем базой для фишеровской теории „косвенной идеализации", для подчинения реализма главенствующему принципу идеализма. Тут Фишер последовательно идет до конца по пути изгнания истории из эстетики. Правда, он не может не видеть, что в развитии современной буржуазии преобладает реалистическая тенденция. Но он тут же затушевывает этот исторический момент и превращает реализм и идеализм в два „вечных" принципа. При этом критерием для их различения служит уже не то, дается ли реалистическое отображение или идеалистическая стилизация действительности, а то, насколько в творчестве данного художника учитывается иррациональность индивида [72]. „Перед нами два различных художественных стиля: идеалистический, классический стиль больше действует количественной энергией односторонней характеристики; ре-

алистический, современный стиль—качественной непредвидимостью индивидуального. Когда иррациональный скачок переходит известную границу, получается оригинал в комическом смысле слова... Но слаб ли или силен иррациональный момент в этом сочетании, он никогда не бывает всецело проникнут единством в действительности и не должен быть всецело проникнут им в искусстве. Полная гармония уничтожила бы индивидуальность; быть совершенным—значит раствориться в роде". Этим Фишер, во-первых, снова обосновывает свой взгляд на комическое как на высшую точку реализма: ведь реализм возникает у него из учитывания иррационального элемента; чем реалистичнее художественное изображение, тем больше в нем юмора. А как Фишер понимает общественное значение юмора, мы уже знаем по его роману. Во-вторых же, Фишер превращает противоположность реализма и идеализма в вопрос художественной техники. Он использует соответствующие мысли из своей „Эстетики" для создания такой теории искусства, в которой различные роды художественного творчества рассматриваются с той точки зрения, подходят ли они по своей формальной сущности, т. е. с художественно-технической стороны, для прямой или для косвенной идеализации. (Так например, пластика идеализирует по преимуществу прямо, а живопись косвенно и т. д.) Таким образом Фишер остался и в этот период все тем же выразителем немецко-буржуазного убого умеренного реализма. Он попрежнему борется против формалистических эстетиков (особенно против гербартианца Циммермана), которые в теории отстаивают чистый формализм, а практически протаскивают в искусство чисто академический идеализм. Фишер ясно видит узость этого взгляда и знает, что для общественных потребностей буржуазии нужно реалистическое искусство. Но в своей борьбе против формализма он создает эстетическую теорию, обосновывающую реализм так, что в нем с самого же начала эстетически отвергаются даже самые скромные попытки общественной критики, которая могла бы быть неудобной для буржуазии.

В 1873 г. Фишер опубликовал продолжение своей самокритики, в котором он делает эстетические выводы из последней стадии своего политического и общефилософского развития. (Вышедшее в 1887 г. сочинение Фишера „Символ" представляет собой последнюю попытку привести в систему эти взгляды и стоит в общем на той же точке зрения, что и вторая работа, посвященная самокритике.) Философски существенно в этих сочинениях только то, что Фишер эволюционирует дальше от своего неокантианского агностицизма к эмпиристическому и в то же время мистическому позитивизму, при чем его агностические основы остаются те же и даже еще углубляются. На первый взгляд может показаться, что Фишер готов теперь решительно приблизиться к действительности. Но, как мы увидим, это только кажущееся впечатление. Эмпирического материала в работах Фишера всегда было вдоволь. „Некритический позитивизм" Гегеля был в нем всегда очень силен, и его трактовка истории как области „естественно прекрасного" представляла собой уже в его „Эстетике" главу из эмпиристической „социологии". Поворот в сторону позитивизма не дает в этом отношении ничего нового, он означает только дальнейшее усиление иррационалистических и агностицистских тенденций Фишера. Это совершенно ясно обнаруживается из слов, в которых он принципиально высказывает этот поворот [73]: „Начало эстетики должно быть совершенно эмпирическим; собрав индуктивно все то, что содержит в себе опытное впечатление прекрасного, эстетика должна затем пойти вглубь, должна показать, почему установка, подобная эстетической, необходимо коренится в человеческой натуре. Далее она должна заимствовать из метафизики как вспомогательную лемму идею

единства вселенной и связать ее с антропологическим обоснованием..." Чтобы правильно оценить этот поворот Фишера к позитивизму, надо вспомнить, какие люди работали в то время параллельно с ним над построением специфически немецкого позитивизма, т. е. позитивизма на базе мистической метафизики или с мистико-метафизическим увенчанием. Эдуард фон Гартман создает свою „индуктивную" философию, Лотце сколачивает из неясной метафизики, из обновленного кантианства и психологии так называемую систему, „позитивистский" период Ницше относится к этому же времени („Человеческое, слишком человеческое", 1878 г.), и т. д. И наконец Дильтей, один из влиятельнейших философов империалистской эпохи, тоже впервые выступивший как раз в этот период, высказывает совершенно ясно тайну этого немецкого позитивизма: „реальное иррационально" [74]. Таким образом позитивистский „поворот к действительности" оказывается на деле иррационалистическим отказом от всякой попытки разумно отобразить действительность в мыслях.

Основную мысль фишеровской эстетики этого последнего периода можно кратко охарактеризовать как крайне идеалистическое, резко заостренное проведение антропологического принципа. Уже в своей „Эстетике" Фишер писал: [75] „Панантропизм есть точка зрения прекрасного по отношению к природе". Но в самой „Эстетике" эта мысль используется лишь бессознательно и фрагментарно; мнение Глокнера, будто Фейербах оказал решающее влияние на юношеское развитие Фишера, совершенно ошибочно и объясняется стремлением Глокнера завоевать и Фейербаха для гегельянства, обновленного в духе „философии жизни". В действительности антропологическая точка зрения проступает у Фишера с полной ясностью и отчетливостью как раз в его последний период, когда уже завершился его переход к иррационалистическому агностицизму. У Фишера эта точка зрения облекается в форму новой теории символа и кладется в основу эстетики под названием вчувствования — названием, которое Фишер заимствовал у своего сына, находившегося под его сильным влиянием, историка искусств Роберта Фишера и которое приобрело впоследствии такое важное значение. Теория вчувствования сводится к тому, что действительность, как она есть, не может быть ни познана нами, ни отображена, что все, выдаваемое нами за отображение действительности, все, кажущееся нам восприятием внешних предметов, есть на самом деле лишь перенесение наших мыслей, чувств и т. д. на окружающий нас внешний мир. Фишер говорит о совершенстве: [76] „оно не обретается в готовом виде, а порождается, создается нами". И это вполне согласуется с началом: „идеальное созерцание вкладывает в объект то, чего в нем нет". (Подчеркнуто мною.—*Г. Л.*) В следующей главе мы увидим, как тесно это эстетическое воззрение Фишера связано с его пониманием мифа и религии вообще. Но и здесь уже необходимо отметить, что когда Фишер пытается выразить факт вчувствования в понятиях, он исходит из мифа. Миф, как говорит Фишер, [77] „основан на вкладывании человеческой души в то, что само по себе безлично". Эта психология мифа возводится позитивистом Фишером на степень вечного свойства человеческой души, продолжающего существовать и действовать и после того, как вера в миф давно исчезла. Но акт наделения внешних вещей душой сохраняется в человечестве как естественно необходимая черта и после того, как оно давно уже переросло всякий миф; только теперь этот акт сопровождается тем, что мы называем оговоркой. Поэтому и я, подставляемое нами под безличную природу, уже не становится божеством, нет больше поэтических вымыслов, не возникают новые мифы, хотя и воз-

никает нечто, подобное мифам..." Этот психологический акт наделения предметов душой Фишер называет символикой, вчувствованием.

Все это воззрение представляет собою, с одной стороны, последовательное доведение до конца иррационалистических тенденций Фишера, а с другой—момент в развитии того немецкого течения, которое можно было бы назвать „религиозным атеизмом" и которое заключается в том, что буржуазные идеологи признают неизбежный идейный распад положительной религии, но признают его так, чтобы при этом одновременно сохранить „сущность" религии. Особенный оттенок, представляемый Фишером в этом значении и сделавший теорию вчувствования на много лет влиятельнейшей эстетической теорией, состоит в том, что главными носителями этого „религиозного атеизма" являются у него искусство и эстетика. Уже в своей первой критической работе о самом себе он пишет: [78] „Если бы не существовало прекрасного, то не было бы той точки, в которой сходятся, воистину и целиком сливаясь воедино, обе крайние стороны человеческой натуры: дух и чувственность,—не было бы точки, в которой раскрывалось бы совершенство, гармония, божественность вселенной". Это возобновление религиозной стороны немецкой романтики надо привести в связь с позитивистским поворотом Фишера, чтобы правильно понять значение его теории „вчувствования". Цель этой теории—спасти содержание религии, разрушенное общественным развитием и сопровождающей его научной мыслью. Фишер говорит: [79] „Символическим является миф для образованного свободного сознания". А другая цель этой теории—хотя впрочем тут ее выводы идут гораздо дальше того, что мог в свое время иметь в виду сам Фишер,—заключается в том, чтобы в империалистический период эстетически возвеличить ультра-субъективистское, психологистическое разложение действительности на бессвязные клочки впечатлений как единственно возможную, как подлинную форму реализма. Фишер лично резко выступил против этого нового искусства, но то обстоятельство, что он не сумел принять по-

Zur Kritik

Politischen Oekonomie

Karl Marx.

Berlin.
Verlag von Franz Duncker.
1859.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «К КРИТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» МАРКСА

следние выводы из своей собственной теории, не уничтожает его „заслуг“ в деле ее обоснования. Протест Фишера (хотя бы, например, против молодого Либермана) означает только, что представитель более низкой ступени в процессе идеологического упадка либеральной немецкой буржуазии не сумел подняться на более высокую ступень—более капиталистическую и крупногородскую—того же самого процесса.

* * *

Ясно само собой, что в этот свой последний период Фишер продолжал ликвидировать остатки своего гегельянского прошлого. Ведь в эстетике Гегеля символ тоже играет крупную роль. У Гегеля он представляет собой специфическую форму выражения восточного искусства, т. е. такой стадии в развитии человечества, на которой, по Гегелю, искусство возникает как раз из непонимания действительности и из неспособности овладеть ею. Легко сообразить, что такой взгляд на символ должен был теперь внушать Фишеру величайшее отвращение. Как он уже и прежде старался изгнать из Гегеля исторический элемент, так теперь он превращает символику в „вечное“, психологическое, эмпирически и позитивистически открываемое свойство человека вообще. То, что у Гегеля было историческим периодом господства символики, он превращает в антропологическую „вечную истину“. И благодаря этому он становится важнейшим эстетиком ближайших десятилетий, хотя его влияние и сказывалось скорее косвенным образом. Лишь теоретики зарождавшегося экспрессионизма, и прежде всего Вильгельм Воррингер, выступили против теории вчувствования, как они же сознательно выступили за искусство древнего Востока, за символическое искусство, в котором впрочем и они усматривают некий „вечный“ тип человеческого отношения к действительности.

IV

МИФ И РЕАЛИЗМ У ФИШЕРА И МАРКСА

Фишеровская теория мифа в своей первоначальной форме, представляющей собой соединительное звено между эстетикой Гегеля и позднейшей фишеровской теорией вчувствования, теорией универсальной символики, изложена в „Эстетике“ Фишера, в отделе об „истории фантазии или идеала“. Маркс эксцерптировал относящиеся сюда места особенно подробно. Такой повышенный интерес Маркса к этой теме связан вероятно с теми частями большого фрагментарного введения к „Критике политической экономии“, которые касаются вопроса о мифе. При этом всякий, кто хоть сколько-нибудь знает Маркса, сразу же поймет, что его мог тут интересовать только специфически фишеровский вариант теории мифа, ибо ведь Маркс всегда очень усердно занимался этим вопросом и, как мы покажем ниже, своим деалектико-материалистическим объяснением мифа совершенно упразднил его идею. Это упразднение мифа, теснейшим образом связанное со всем взглядом Маркса на капиталистическое общество и на роль религии в нем, объясняет в то же время те формы мифа, которые продолжают жить и в капиталистический век. Фишеровская теория вчувствования представляет другую линию в истолковании мифа—буржуазную, идеалистически-мистифицирующую, апологетическую линию. Ниже мы увидим, что революционно-материалистический и либерально-идеалистический взгляды на миф тесно связаны с двумя диаметрально противоположными взглядами на реалистическое искусство.

В виду важности этого пункта мы приведем весь марксов эксцерпт из соответствующей части „Эстетики“ Фишера:

В. История фантазии или идеала

Всеобщая фантазия создает религию, и т. п. Сотворенный ею новый мир предметов становится между первоначальным предметным миром и особенной фантазией; возникают две сферы—религиозная и мирская или естественная. Фантазия народов не может и в своих более высоких образах освободиться от хаотически несвободной силы воображения эпохи религиозно направленной и светски свободной фантазии. Всеобщая фантазия есть фантазия народа в движении его исторической жизни.

а) Идеал объективной фантазии античного мира. (Эта эпоха фантазии развертывается особенно в изобразительной области.)

б) Расширяющая символическая фантазия Востока. Ограничивается сферой неорганической и зоологически-органической красоты; поэтому символична. От символа идет дальше к мифу (изображение идеи как действия абсолютного личного существа); не доходит до чистого отделения формы богов от безличного образа; символ мешает зачатку мифа развиться полностью. (В случае символа образ имеет значение только ради tertium comparationis). Далее — сага, которая идеализирует начатки истории, тогда как миф стремится объяснить какое-нибудь существующее положение тем, что переносит его идею как нечто историческое в первобытное время. Сага имеет своим предметом действительных людей, но усиливает их в трансцендентности второго фикционального предметного мира: миф присоединяется к саге и завершает это усиление. Дуалистична восточная фантазия: 1) в своем символическом методе и 2) в своем материале. Пустая бездна высшего единства и рядом—множество богов, противопоставление мужеских и женских божеств; борьба доброго и злого бога.

Дальнейших рассуждений Фишера, в особенности столь существенных для его тогдашнего развития гегелевской теории соображений о средневековой и новой фантазии, Маркс уже не выписывал. Он довольствуется здесь, как и в других местах, выпиской важнейших заглавий. Его интересует таким образом в воззрении Фишера два пункта: вопервых, те места, в которых Фишер еще удерживает до известной степени исторический характер гегелевской эстетики, и во-вторых, взгляд Фишера на современную эпоху как на эпоху „светски свободной“ фантазии в противоположность „религиозно направленной“. Характерно, что более подробное развитие этих мыслей у Фишера его не интересует: почему это так, выяснится в ходе нашего дальнейшего изложения.

Замечания Маркса во введении к „Критике политической экономии“ отграничивают чрезвычайно четко эпоху мифа от современного периода, в котором мифу нет места. И столь же четко отграничивают они период греческого мифа от восточного. Маркс пишет[80] о значении мифа для греческого искусства: „Предпосылкою греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом в народной фантазии. Это его материал. Но не любая мифология и не любая бессознательная художественная обработка природы. (Здесь под последнею понимается все предметное, следовательно включая общество). Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Однако во всяком случае им должна была быть какая-нибудь мифология. Следовательно такое общественное развитие, которое исключает всякое мифологическое отношение к природе, всякое мифологизирование природы, которое требует от художника независимой от мифологии фантазии, не могло бы ни в коем случае быть основой для греческого искусства“.

Невозможно не видеть, что в изложении Маркса и Фишера имеются

некоторые—правда, весьма общие—совпадающие черты. Это совпадение самых общих черт обнаружится еще ярче, если мы возьмем теперь те места, в которых Маркс и Фишер наглядно изображают отсутствие мифа в новое время. При этом конечно обнаружится заодно и глубочайшее различие между взглядами обоих, различная классовая основа этих взглядов и соответственно их диаметрально противоположная тенденция. Маркс говорит [81]: „Разве тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, лакомотивов и электрического телеграфа? Куда уж Вулкану против Roberts & C⁰, Юпитеру против громоотвода и Гермесу против Crédit Mobilier!.. Что сталось бы с богинею Фамою при наличии Printinghouse square?.. Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще Илиада наряду с печатным станком и типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки этической поэзии, с появлением печатного станка?“ Возьмем теперь параллельные рассуждения Фишера в его „Эстетике“ (не эксцерптированные Марксом). Он тоже говорит [82] о новом времени как материале для художественного творчества: „Порох здесь следует назвать прежде всего. Он уничтожает наглядный характер индивидуальной храбрости: простой нажим разряжает ружье, слабый человек может убить величайших силачей и храбрецов... Об искусстве книгопечатания мы не можем здесь сказать ничего доброго. Это первое изобретение, которое особенно ясно показывает, насколько обратно пропорциональны друг другу, начиная с известного пункта, культура и эстетика. Если несомненно, что разговор живее, чем письмо, печатание и чтение, то сказание, переходящее из уст в уста, живее, чем газета, что герольд живее, чем правительственное сообщение, то столь же несомненно, что красота явлений проиграла от искусства книгопечатания настолько же, насколько культура сама по себе выиграла от него“.

Здесь видно совершенно ясно, что если дать высказаться двум лицам, говорящим как будто одно и то же, то окажется, что это вовсе не одно и то же, что их мысли могут быть даже прямо противоположны. И Фишер, и Маркс одинаково признают, что миф разрушается капитализмом. Но если Маркс как представитель революционного пролетариата видит капиталистический процесс в его единстве и при всей, самой беспощадной критике его некультурности никогда не забывает, что процесс разрушения старого означает огромный исторический шаг вперед как в материальном, так и в идеологическом отношении, — то положение либерального буржуа Фишера неизбежно остается двойственным: он оплакивает разрушительные для культуры последствия капитализма, но одновременно выступает его апологетом. Для Маркса капитализм есть та ступень в развитии человечества, на которой создаются материальные предпосылки для уничтожения эксплоатации, в глазах же Фишера капитализм представляет собою окончательный порядок человеческого общества. Очень характерны жалобы Фишера в другом месте по поводу губительных для культуры последствий капитализма. Он сетует о том [83], что никого не интересует „не уничтожает ли фабричная система добрые старые нравы широчайших слоев населения, честность ремесленника, душевное проникновение в характер труда... не разоряет ли она великое множество людей ради обогащения немногих...“ Сравните это мелкобуржуазное хныканье Фишера, никогда впрочем не колеблющее его безусловного утверждения капитализма, хотя бы со следующими словами из „Коммунистического манифеста“ [84], чтобы ясно увидеть весь контраст между либеральным и революционным взглядом на ка-

питализм: „Все прочные, заржавелые отношения, с соответствующими им исстари установившимися воззрениями и представлениями разлагаются, все вновь образовавшиеся оказываются устарелыми, прежде чем успеют окостенеть. Все сословное и неподвижное испаряется, все священное оскверняется и люди вынуждаются наконец взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и взаимные отношения“.

Ясно, что из этих двух диаметрально противоположных мировоззрений должны вытекать диаметрально противоположные методы оценки современного искусства, и особенно современного реализма, правдивого художественного отображения капиталистического общества. Метод и взгляды Маркса и Энгельса общеизвестны. Укажем здесь только на их оценку Бальзака как великого историка развития буржуазии (письмо Энгельса к M. Harkness). Со взглядами Фишера на реализм мы познакомились выше. Отметим еще его критический отзыв о „Марии Магдалине“ Геббеля, одной из немногих в Германии попыток реалистически изобразить разложение и распад мелкой буржуазии. Фишер говорит [85] об одном из главных действующих лиц этой драмы, мелкобуржуазном авантюристе, вполне уже приспособившемся к новым условиям, что его „обнаженная низость изображена с такой правдивостью, в поэтической дозволительности которой можно усомниться“. Это замечание Фишера показывает между прочим, как проблематично, в виду своего изначально апологетического характера, было введение уродливого в эстетику, предпринятое послегегелевскими буржуазными эстетиками в Германии. Фишер, который вообще ценит Геббеля очень высоко, упрекает далее разбираемую драму в целом за ее попытку изобразить актуальную современную борьбу; по его мнению, поэт должен „очистить“ свою тему настолько, чтобы предметом его изображения было только „вечное“ содержание данного конфликта. Эти замечания Фишера проливают яркий свет на сказанное нами выше о его понимании комического. В другом месте [86], и именно в связи с вопросом о комическом, он еще ярче выражает идеологический упадок либеральной немецкой буржуазии по сравнению с революционным периодом Англии и Франции: „Действие комического проявляется в особом смехе; я говорю „особом“, потому что не всякий смех имеет комический характер, и поэтому было бы неправильно называть комическое „смешным“. Совсем приходится выключить из области „комического“, и стало быть из эстетической области вообще, такой смех, который вызывается каким-нибудь горестным аффектом, как то: злобный смех сурового сатирика, злорадный смех и фривольное хихикание. Утверждение Гоббса, Аддисона и других, что смех вызывается чувством превосходства над осмеиваемым предметом, не заслуживает опровержения в эстетическом исследовании“. Итак, смелая юмористическая и сатирическая критика общественных явлений, которая в революционный период буржуазии бичевала разлагавшийся мир феодального абсолютизма с беспощадностью оправданного историей победителя, — эта критика вообще выключается Фишером из области художественного творчества. Сравните с этим отзывы Маркса и Энгельса о „Племяннике Рамо“ Дидро, о сатирических рассказах Бальзака, Э. Т. А. Гофмана и т. д. Как высоко ценили Маркс и Энгельс — не только эстетически, но и политически — это чувство собственного превосходства в революционном классе, проявляющееся также и в юморе, видно из одного письма Энгельса к Бебелю [87] после германских выборов, происходивших в эпоху закона против социалистов. Энгельс пишет (11 декабря 1884 г.) о немецких рабочих: „Этот уверенный в себе, победный и именно поэтому веселый и юмористический размах их движения образцов и несравненен“.

Принципиально противоположные взгляды Маркса и Фишера на капитализм и на порождаемые им идеологические формы находятся в теснейшей связи с их принципиально противоположными взглядами на миф и со взглядом Маркса на условия и формы его необходимого разложения. Маркс последовательно сводит мифологию как всякую идеологию, к материальному процессу производства и его изменениям. В неоднократно уже цитированном нами введении к „Критике политической экономии“ он говорит: [88] „Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; поэтому она исчезает с появлением действительного господства над этими силами природы“. Это конкретное материалистически-диалектическое объяснение того, как возникает и исчезает миф, Маркс конкретизирует затем в „Капитале“ [89], показывая, как возникают, сохраняются и под конец исчезают все религиозные представления. Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою и с природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободно обобществившихся людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем“. В политических сочинениях Маркса и Энгельса и в особенности их величайшего ученика и продолжателя Ленина практические задачи пролетариата конкретизируются, далее как, задачи активной борьбы за ускорение распада и ликвидации всех мифических представлений.

Марксова теория мифа разъясняет не только материальные причины его возникновения, но заодно и ту неотразимую притягательную силу, которую до сих пор не потерял греческий миф и возникшее на его почве греческое искусство. „Почему, — спрашивает Маркс [90], — детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Нормальными детьми были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, при которых оно возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова“. А в своей материалистически-диалектической проработке создавших эпоху исследований Моргана Маркс и Энгельс показали совершенно конкретно, на каких общественных условиях основана неотразимая привлекательность античной Греции, этого прекраснейшего проявления родового строя. Мы можем здесь привести только несколько характерных мест [91]. „И какая удивительная организация во всем ее младенчестве и простоте, этот родовой строй! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без процессов — все идет своим заведенным ходом. Всякие раздоры и столкновения решаются коллективом тех, кого они касаются... Хотя общих дел существует гораздо больше, чем в настоящее время... все же обходится и без тени нашего широко разветвленного и сложного аппарата управления. Заинтерисованные лица сами все решают... Бедных и нуждающихся не может быть... Все равны и свободны — не исключая женщин. Для рабов нет еще места... А каких мужчин и женщин порождает такое общество, показывает восхищение всех белых, соприкасавшихся с неиспорченными индейцами, перед чувством собствен-

ного достоинства, прямодушием, силой характера и храбростью этих варваров... Самый жалкий полицейский служитель цивилизованного государства имеет больше „авторитета“, чем все органы родового общества вместе взятые; но самый могущественный князь и крупнейший государственный деятель или глава военной власти эпохи цивилизации могли бы позавидовать тому не из-под палки приобретенному и бесспорному уважению, с каким относятся к скромнейшему родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как они вынуждены представлять собой нечто вне его и над ним“. Как ни далеки Маркс и Энгельс от всяких романтических жалоб по поводу неизбежной гибели этого общественного порядка (ведь именно они экономически доказали неотвратимую необходимость его разложения), все же они ясно видят, что это общество было уничтожено [92] „влиянием, которое нам непременно должны казаться деградацией, грехопадением с простой нравственной высоты древнего родового общества“. И далее Маркс и Энгельс показывают диалектикоматериалестическим способом, что миф был необходимым продуктом этого родового общества, той низкой ступени развития производительных сил и власти над природой, которая составляет его материальную базу. Они показали, что миф, как всякая идеология, не может быть оторван от материального процесса производства [93]. „Далее надо еще заметить г-ну Гроту, — прибавляет Маркс, — что хотя греки и выводят свои роды из мифологии, эти роды древнее ими самими созданной мифологии с ее богами и полубогами“. А Энгельс [94] уточняет этот взгляд применительно к мифологии героического периода: „Тогда как, по замечанию Маркса, положение богинь в мифологии рисует нам более ранний период, когда женщины пользовались еще более свободным и почетным положением, мы застаем женщину в героический период уже приниженной господствующим положением мужчины и конкуренцией рабынь“.

Благодаря тому, что с развитием цивилизации производство перерастает через голову производителей и порождает „противостоящие им призрачные чуждые силы“, создается новая, измененная почва для религиозных представлений, для различных форм мифов, в которых искаженно отображаются изменения материального процесса производства и задачи, выдвигаемые этими изменениями перед различными классами. Но Маркс и Энгельс никогда не подходили к истории с формалистической общей меркой. Теория необходимо возникающего „ложного сознания“ (Энгельс) никогда не превращалась у них в „социологическую“ теорию,— нет, они и тут всегда последовательно проводили свой собственный метод, так ясно формулированный Марксом в введении к „Критике политической экономии“[95]. „Трудность заключается только в общей формулировке этих противоречий. Стоит лишь выделить каждое из них, и они уже объяснены“. И Маркс дает в своих исторических экскурсах блестящие образцы того, как надобно выделить данный вопрос, вопрос о мифических представлениях, как он должен быть конкретно формулирован на данном уровне классовой борьбы. Приведем в качестве примера только блестящий анализ,[96] в котором Маркс противопоставляет мифические представления великой английской и французской революции карикатурному якобинству французских революционеров 1848 г.: „Однако, как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов. В классически строгих преданиях римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы

удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Так одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда английское общество было переделано на буржуазный лад, пророка Аввакума вытеснил Локк. Таким образом в этих революциях воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для парадирования старой, служило для того, чтобы преувеличить значение данной задачи, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности,— для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы вызывать ее призрак".

С тех пор как развитием классовой борьбы „мечтательный терроризм" буржуазии был снят с порядка дня, Маркс мог уже тольке беспощадно издеваться над всеми формами буржуазного мифотворчества, ибо они служат лишь средством для бегства от решения действительных революционных задач, лишь пародиями на прошлые революции. Так он говорит в одном письме к Энгельсу[97] о „современной мифологии" о том, что „вновь появились богини справедливости, свободы, равенства и пр."

Маркс подвергает также — и очень рано — уничтожающей принципиальной критике все современные теории мира. Прудон пытался вывести важнейшие экономические категории из какой-то мистически вывернутой робинзонады, из новоиспеченного мифа о Прометее. Этого прудоновского Прометея Маркс называет престранным святым, „столь же слабым в логике, как и в политической экономии". Способ Прудона „объяснить вещи, отчасти греческий, отчасти еврейский, является мистическим и аллегорическим в одно и то же время". Разобрав затем весь прометеевский миф Прудона и конкретно разъяснив действительные экономические корни интересующих Прудона вопросов (излишек продуктов труда), Маркс говорит в заключение: „Что же такое наконец этот воскрешенный г-ном Прудоном Прометей? Это — общество, это — основанные на антагонизме классов общественные отношения, т. е. не отношения одного отдельного лица к другому лицу, а отношение рабочего к капиталисту, арендатора к землевладельцу и проч. Уничтожьте эти общественные отношения и вы уничтожите все общество. Ваш Прометей превращается в приведение без рук и без ног, т. е. без машин и без разделения труда, наконец без всего того, чем вы заранее его наделили, чтобы получить излишек продуктов труда"[98]. Таким образом глубочайший источник современного мифотворчества заключается по Марксу в страхе перед действительным раскрытием экономико-социальных корней общественных явлений, а этот страх все усиливается по мере обострения классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом. Чем определеннее становятся апологические тенденции в буржуазной экономической науке, тем больше увеличивается склонность к мифическому объяснению общественной деятельности, к идеализированию капитализма с помощью новых или подогретых мифов.

Но пролетарская революция, носители и выполнители которой, т. е. рабочий класс и его авангард, основывают свои действия на правильном познании экономического процесса, которая может сразу же правильно определить свои цели, опираясь на это познание,— пролетарская революция не нуждается для возбуждения энтузиазма в „ложном сознании", не нуждается в мифе[99]. „Социальная революция XIX столетия может черпать свою поэзию не из прошлого, а только из будущего. Она не может стать самой собой, не отказавшись от всякого суеверного почи-



Фр. Т. ФИШЕР
С портрета 1840-х гг. — времени его профессорства в Тюбингене

тания старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о прошлом мировой истории, чтобы заглушить в себе напоминание о своем собственном содержании. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе свое собственное содержание".

Соприкосновение „Эстетики" Фишера (или, точнее, тех ее частей, которые были написаны до 1848 г.) с интересами Маркса обусловлено взглядом Фишера на современный период как на период „светски свободной фантазии" в противоположность прежней фантазии, „религиозно направленной". Однако это соприкосновение было, как мы уже видели и еще увидим, совершенно абстрактным. Оно объясняется тем, что немецкая буржуазия до 1848 г. чувствовала себя революционным классом, что объективные задачи революции 1848 г. были задачами буржуазной революции. Но, как об этом с самого же начала свидетельствовала политическая линия „Новой рейнской газеты", буржуазная революция могла бы победить в Германии только в том случае, если бы плебейским элементам удалось сломить сопротивление буржуазии. Тень этого неизбежного предательства немецкой буржуазии ложится и на идеологические высказывания ее либеральных кругов накануне 1848 г., ибо это предательство было необходимым последствием запоздалого развития капитализма в Германии, последствием того, что германская буржуазная революция совпала с подъемом классовой борьбы на гораздо более высокую ступень (июньский бой в Париже), когда уже грозило выступление и германского пролетариата. Сообразно этой классовой ситуации

Фишер с самого начала не мог сделать все выводы из своего тезиса о периоде „светски свободной фантазии“, не мог действительно до конца очистить эту фантазию от религиозно-мифических представлений прошлого. Некоторый приступ к такому очищению мы, правда, у него находим. Вместе с Гегелем он видит в реформации начало нового периода в Германии. И он идет дальше Гегеля, включая сюда же и крестьянскую войну и резко порицая Лютера за позицию, занятую им в этой войне. Он пишет в своей „Эстетике“[100]: „Крестьянская война означает прежде всего пробуждение народа... Духовное освобождение, принесенное реформацией, расширяется благородными агитаторами до идеи политической свободы, и разражается война — короткая, страшная, неумно ведшаяся крестьянами и так жестоко законченная вооруженной силой дворянства, которое здесь впервые выступило в роли внутренней полиции... С подавлением этого столь законного движения, во время которого Лютер своим раболепным поведением навеки запятнал свой великий характер, выяснилось, что реформация, не развившись до идеи истинной свободы, остановилась на полпути, сузилась до половинчатого освобождения внутренней жизни души в религиозной сфере“. (Подчеркнуто мною.— *Г. Л.*) Хотя и тут проскальзывает либеральная робость Фишера, он все-таки решительно поднимается над Гегелем. Поэтому он и критикует вполне правильно гегелевский взгляд на средневековье „на самом деле... не завершение антропоморфизма, а лишь робкое начало этого завершения... Природа отнюдь не обезбожена, старые боги и полубоги мелькают за каждым кустом... Это лишь потускневшее, лишь ставшее бесплотным и призрачным многобожие“[101].

Однако Фишер и в этот период не принадлежал к наиболее радикальному крылу немецкой буржуазии. В идеологических боях гегелевской школы за разрушение старых богословских и религиозных представлений он никогда не подымался до высоты Фейербаха. Он не поднялся даже до уровня радикальных младогегельянцев. (Напомним только, как резко он отмежевался от Руге в своей вступительной университетской речи.) По существу он остается на точке зрения своего личного друга и земляка Давида Штрауса. Правда, в этом отношении он проделал до 1848 г. некоторую эволюцию в сторону более радикальных взглядов. В своей работе „Доктор Штраус и вюртембержцы“ (1838) он еще доказывает [102] в защиту Штрауса, что тот борется „не против, а за правильно понятые интересы религии“. Но в добавлении к новому изданию той же работы он замечает [103]: „впрочем, мне решительно все равно, согласится ли кто-нибудь называть религией то, что останется после критики мифов“. Как мы видим, позиция Фишера до 1848 г. заключалась в либерально-скептическом отрицании религии с целым рядом оговорок, со всевозможными „постольку—поскольку“, но в основном он все-таки стоял тогда на точке зрения штраусовской критики религии.

Развитие Фишера после 1848 г., приведшее к уже известным нам политическим, философским и эстетическим результатам, сопровождалось и в религиозном вопросе глубоким изменением его прежней позиции. Теория „чувствования“ в эстетике означает с этой точки зрения превращение мифа в „вечную“ категорию, при чем эта категория движется по линии „религиозного атеизма“, не достигая впрочем и здесь мнимого радикализма какого-нибудь Шопенгауэра или Ницше. Фишер ограничивается тем, что отклоняет веру в положительные религии, пытаясь в то же время с помощью своих эстетических теорий подвести базу под „истинную религию“. В подробном разборе книги Давида Штрауса „Старая и новая вера“ (1873) он пишет по этому поводу

следующее[104]: „Ему не нужны ни боги, ни полубоги, ни чудеса, ни священники, чтобы перед лицом одухотворенного... мирового целого ощущать себя чем-то исчезающе малым... Но именно в этом и заключается религия. Религия там, где сломан лед эгоизма. Религиозной душа бывает в каждый момент, когда, потрясенная трагическим чувством конечности всего единичного, размягченная и сломанная в самом средоточии упрямого, горделивого я, она спасается из мира печали, заключенного в этом чувстве, утешным словом: будь добра, живи не для себя, а для великого целого!“ Как мы видим, фишеровская теория трагического, а заодно и комического („высший мир“ из „Auch Einer“), органически врастает здесь в „истинную религию“ „ограниченного верноподданнического рассудка“, немецко-буржуазного лакейства.

Но и такой взгляд еще слишком радикален для Фишера этого периода. Эта „истинная религия“ существует только для образованных, для духовных избранников. Для массы должна быть сохранена старая религия. В дальнейшем Фишер начинает выступать против „чересчур радикальной“ критики религии у Канта и Штрауса и заодно ревизует свой собственный прежний взгляд на реформацию как на половинчатое дело. Половинчатость реформации признается им, правда, и теперь, но со своей новой точки зрения (иррационализм и философии, бисмаркианство в политике) он именно в этой половинчатости усматривает преимущество реформации. „Вопрос в том, нельзя ли совместить с радикальной остротой мысли участие к большинству, которое вечно нуждается в том, что Лессинг называет временной опорой религии... Имеем ли мы право... отвергать всякую половинчатость также и в наших суждениях? Ведь человек нуждается в половинчатости, человечество ведь не может вынести ничего цельного... В истории религий мы имеем ряд фазисов развития, на которых миф и магия не были устранены, а были только урезаны, сокращены наполовину, но с этим сокращением, с этой половинчатостью были связаны самые благодетельные нравственные кризисы. Последним большим сдвигом такого рода была реформация... Нельзя ли предположить, что новый кризис, столь же могущественный, подготовляется в нынешнем неясном брожении— кризис, который снова несколько урежет мир чувственных религиозных образов, но вместе с тем принесет столь нужное нам обновление нашей нравственной и политической жизни? Это будет опять половинчатость, но добрая и здоровая“[105].

Тут перед нами в чистом виде либеральная идея о необходимости увековечения мифа. В том возобновлении теории мифа, которое достигло ныне в Германии своего наивысшего пункта в официальной философии фашизма, Фишер занимает таким образом своеобразное место. Он еще весьма далек от „создания“ новых мифов, в реакционной актуализации религии он далеко не так радикален, как его младший современник Ницше. Но именно бессодержательность фишеровского понятия о мифе, превращение мифа в „современную теорию познания“ (у Фишера, правда, главным образом в эстетической области) делают его одним из важнейших предшественников тех мыслителей, тоже либеральных, которые в век империализма подготовили фашистскую философию, выработали для нее методологическую базу из сочетания иррационализма и теории мифа. Мы видели в самом деле, что фишеровская теория „вчувствования“ отнюдь не есть только эстетическая теория. Она все время перерастает из методологии в мировоззрение. Когда Фишер говорит по поводу мифа о „поэтической вере“, это означает в его устах нечто гораздо большее, чем просто методологию художественного творчества. Чрезвычайно характерны его слова о

действии символа и мифа[106]: „Связанный с мифом обман есть более высокая истина, чем та истина, которую он искажает. За обманом таится и оправдывает его истина всех истин, гласящая, что вселенная, природа и дух должны быть в корне чем-то единым. Итак, перед нами противоречие: символика и вместе с тем не-символика в том смысле, что обман, создаваемый символичностью метода, имеет за собой истину идеального оправдания. И это противоречие живет и сохраняется". Фашистский неогегельянец Глокнер вполне прав поэтому, усматривая в развитии Фишера после 1848 г. важную подготовительную ступень для влиятельнейших „философов жизни" и агностиков империалистской эпохи, для Лотце и Дильтеев, для Виндельбандов и Риккертов[107]. Неизбежная измена немецкой буржуазии революционному движению 1848 г., та политическая форма, в которой было осуществлено ее основное требование национального единства, толкнули либеральных идеологов на путь, в конце которого находится (чего, правда, они сами долго не сознавали) фашистское мировоззрение. На этом пути Фишер представляет не только идеологически важный промежуточный этап, но и весьма поучительный пример. Мы видели, что во всем его мировоззрении до 1848 г. отразилось колеблющееся отношение либеральной немецкой буржуазии к буржуазной революции: стремление изменить германские порядки, ставшие невозможными в виду роста производительных сил германского капитализма, и страх перед радикальным доведением этих перемен до конца. Из крушения революции Фишер сделал для себя все выводы, и весьма интересно следить за тем, как при этом перестроились все понятия его эстетики и его общего мировоззрения—перестроились в решительно реакционную сторону. Если до 1848 г. он занимал в вопросе о мифе хоть и не радикальную, но все же для тогдашнего времени сравнительно прогрессивную позицию, то теперь он именно в этом пункте резко повернул назад: со своею характеристикой мифа как „вечной категории" он перешел, хотя и в либеральной форме, в разряд откровенных реакционеров и обскурантов.

V

ФИШЕР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Указанное выше влияние Фишера на нынешнюю фашистскую идеологию, в особенности на процесс фашизации в неогегельянском движении послевоенного времени, имеет длинную и сложную подготовительную историю, которую мы можем набросать здесь только в самых общих и беглых чертах. Время, наступившее тотчас же после смерти Фишера, было весьма неблагоприятно для его непосредственного влияния. Его „Эстетика", его критические статьи были позабыты в широких кругах интеллигенции, к ним подходили чисто академически, да и этот академический подход был не слишком благоприятен для него. Только его роман „Auch Einer" оставался вплоть до самой войны своего рода „народной книгой" либеральной буржуазии. Он был распространен в десятках тысяч экземпляров, и едва ли нашелся бы в довоенное время хоть один немец из образованного среднего класса, который не прочел бы его в юности. Но как официальная научная философия, так и новое художественное творчество, казалось, решительно ушли от Фишера и предали его окончательному забвению. Неокантиантсво, а равно и возникший одновременно с ним и связанный с ним многочисленными нитями немецкий позитивизм (Мах, Авенариус) относятся вначале отрицательно к классической немецкой философии и в особенности к Гегелю. И поэтому большинство фило-

софов этого времени просто отмечает Фишера как гегельянца. „Литературная революция“, начавшаяся в Германии во второй половине 80-х годов, находится наружно в самой резкой оппозиции к предшествующим течениям. Она проповедует „радикально новое“ искусство (натурализм, позднее символизм и т. д.) и считает литературное и художественное развитие Германии второй половины XIX в. окончательно превзойденным. Фишер как художественный критик, стоявший за позднюю романтику и вышедших из нее писателей (Келлера, Геббеля и т. д.), казался совершенно устаревшим и с этой стороны.

Однако фактическое положение, фактическое влияние Фишера на теорию и практику художественного творчества отнюдь не соответствует этой картине. Его система в том перестроенном виде, который он сам придал ей после революции 1848 г. и который мы подробно изложили выше, продолжает влиять гораздо сильнее, чем это кажется снаружи, она влияет „подземными“ путями. Как его взгляд на трагическое и комическое, так и его теория „косвенной идеализации“ и „вчувствования“ остаются основными тенденциями художественной теории и практики, хотя имя самого Фишера упоминается сравнительно редко. Правда, иногда его заслуги отмечаются прямо. Так, философ Дильтей, приобретающий с 1900 г. все более широкое влияние, подчеркивал еще в 80-х годах, что открытие „косвенной идеализации“ есть „настоящее эстетическое открытие“ Фишера. Теория вчувствования начинает все сильнее господствовать как в сочинениях по эстетике, так и в психологии и в истории искусства (Липпс и др.). Правда, она приобретает при этом все более резко выраженный психологический, даже экспериментально-психологический характер и как будто все решительней удаляется от умозрения. Но мы уже видели, что этот поворот теории вчувствования в сторону позитивизма вовсе не противоречит видам самого Фишера в последний период его деятельности.

Еще сильнее—но, правда, и гораздо более „подземными“ путями—влияли эстетические теории Фишера на практику художественного творчества. Ведь относящиеся сюда мысли Фишера суть не что иное, как мысленные формулировки идеологических потребностей либеральной буржуазии бисмарковской эпохи. Значение Фишера в истории упадка немецкой мысли, ее перехода на реакционный путь, заключается в том, что он ясно и последовательно формулирует целый ряд этих идеологических потребностей: он отливает шаткость и неясность мысли либеральной буржуазии в теоретические формы. И именно поэтому писателям и художникам этого периода вовсе не надо было читать Фишера или хотя бы только знать его имя, чтобы осуществлять в своей деятельности его принципы. Как самые теории Фишера, так и их последующее „применение“ в художественном творчестве были ведь порождены дальнейшим развитием классовой практики немецкой буржуазии. Мы не можем дать здесь даже самого беглого обзора тех творческих методов, которые сменяли друг друга в Германии, начиная с 90-х годов. Но теперь стало уже общим местом утверждение, что творческий метод натурализма и еще больше сменившего его импрессионизма, символизма и т. д. глубоко родственен теории „вчувствования“. То, как натурализм живописует своих героев, как он уклоняется от постижения объективных, экономически-общественных мотивов, определяющих мысли и действия людей, как он изображает их общественный характер только в форме субъективистски-эмоциональной характеристики среды,—все это обнаруживает исключительную практическую близость к теоретическим требованиям принципа „вчувствования“. И та легкость, с какой этот натурализм перерос в мистический символизм, то, что ему

не пришлось при этом принципиально изменить свой творческий метод, что он мог использовать все те же натуралистические средства для выявления этого мистического символизма (Гауптман), обнаруживает еще яснее, что мы имеем здесь дело не только с эстетической родственностью, но и с родственностью общего мировоззрения. Если все эти направления воспринимают одинаковым образом необходимость поступков действующего человека, то это лишь подтверждает, что теория всеобщей символики, „вчувствования“ неразрывно связана с фишеровской теорией трагического не только у самого Фишера, что принадлежность обеих теорий Фишеру отнюдь не есть случайная черта его биографии, результат его личного развития, а представляет собою отображение объективных условий германской классовой борьбы в сознании германской буржуазии. В самом деле, почти на всех натуралистических и посленатуралистических художественных произведениях в Германии этого периода очень легко подметить, что понимание необходимости в действиях эксплоататоров и угнетателей неизменно и все в большей мере приводит к апологии эксплоатации и угнетения. Эксплоататоры и угнетатели всегда изображаются как „жертвы необходимости“, автор „вчувствуется в них“, „понимает“ их положение и необходимость их действий, окружает их привлекательно-меланхоличным ореолом „трагической“ неизбежности. Эти мировоззрительные, апологетические результаты „вчувствования“ выходят далеко за пределы натурализма, распространяются даже на Рильке и Верфеля.

У откровенно реакционных теоретиков искусства и художников связь с Фишером еще гораздо теснее, хотя и здесь почти нигде нельзя констатировать прямое и сознательное усвоение его мыслей. Такие писатели, как Адольф Бартельс и Пауль Эрнст, ставшие впоследствии фашистскими знаменитостями, возвращаются по линии литературной критики к фишеровским традициям. Они критикуют и отвергают современное искусство—критикуют, правда, справа—и возвращаются при этом не к периоду Гете и Шиллера, а к так называемому „серебряному веку“ немецкой поэзии, к периоду 50—60-х годов, к Геббелю, Келлеру и т. д., к умеренному немецкому реализму, развившемуся из поздней романтики и сохранившему его традиции. Тут перед нами другой политический оттенок внутри немецкой буржуазии. Если натурализм был идеологическим выражением левой немецкой буржуазии, постепенно осознавшей, что политическая надстройка Германии должна быть „надлежащим“ образом приспособлена к переросшему в империализм капитализму, то Бартельс и Эрнст представляли то крыло немецкой буржуазии, которое было против изменения политических форм бисмарковской Германии и даже предлагало по возможности урезать ее „чрезмерную демократичность“. Принятие литературной традиции 50-х годов как образца для современного искусства означает таким образом „надлежащее“ оживление бисмарковских традиций германской политики, вернее сказать—дальнейшее усиление реакционности в угоду интересам империалистской буржуазии. При этом имевшиеся в литературе 50-х годов (и у Фишера) элементы романтической критики „дурных сторон“ капитализма могли быть использованы для первоначальной критики либерализма, для показной атаки на капитализм и фактического провозглашення новой, еще более реакционной формы господства капитала под флагом „оздоровления“ и „органического прогресса“.

Однако настоящее „возрождение“ Фишера произошло лишь в послевоенные годы, в теснейшей связи с неогегельянством. Начинают выходить полные и избранные соченения Фишера; Герман Глокнер, один из виднейших теоретиков неогегельянства, издатель Гегеля, посвящает

Фишеру целых две книги. Это не случайно. Связь всего развития Фишера с фашистским неогегельянством послевоенной империалистской Германии объективно огромна. Здесь мы можем лишь вкратце отметить важнейшие точки соприкосновения. Во-первых, неогегельянство стремится к полнейшему объединению Канта и Гегеля. „Каким бы парадоксом это ни звучало,—говорит Глокнер,—вопрос о Гегеле является сейчас в Германии прежде всего вопросом о Канте". Тут нам остается только напомнить читателю уже известный ему факт, что Фишер после революции 1848 г. перешел от Гегеля к Канту. Глокнер[108] особенно подчеркивает именно эту заслугу Фишера: „Первая часть его самокритической работы от 1866 г. принадлежит, чего еще никто не отметил, к истории неокантианского движения". Во-вторых, главное устремление неогегельянцев заключается в том, чтобы вытравить диалектику из гегелевской системы и заменить эту „алгебру революции" реакционной псевдодиалектикой. Ограничимся за недостатком места ссылкой на пресловутого Зигфрида Марка, который вытравляет из диалектики принцип отрицания отрицания; читатель припомнит при этом то, что сказано выше о подходе Фишера к этому принципу. Словом, из диалектики удаляется как все, что связано с насильственным переходом, так и все элементы прогрессивного преобразования истории. Не случайно, что возрождению Гегеля предшествовало возобновление Гете в духе „философии жизни". Ибо Гете, несмотря на все его, подчас грандиозные, попытки ввести в естественные науки идею развития, остановился все-таки в страхе перед принципом насильственного перехода, перед диалектикой как теорией истории, и поэтому он представляет по сравнению с Гегелем более низкую форму диалектики. Реакционные неогегельянцы и ухватываются за эту отсталость Гете. И как в области теории познания они превращают Гегеля с помощью Канта в субъективного идеалиста, так они сводят диалектику Гегеля с помощью Гете к мнимому движению в духе „философии жизни"; при этом конечно и сам Гете фильсифицируется в угоду реакционным потребностям. Диалектика превращается таким образом у Глокнера в мистический „первичный фономен". Он цитирует[109] как образцовую картину диалектического процесса стихотворение „Римский фонтан" Конрада-Фердинанда Мейера (к слову сказать, тоже поэта „серебряного века"):

Aufsteigt der Strahl und fallend giesst
Er voll der marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfliesst
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite giebt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und giebt zugleich
Und strömt und ruht*.

Непрерывное движение воды в фонтане дает таким образом в целом состояние покоя. Первичный феномен состоит, по словам Глокнера, в „красоте эволюции", вернее сказать — в красоте спокойной неподвижности при видимости движения. В-третьих, и это самое важное, — неогегельянство примыкает к фишеровской идее иррационального. Кронер, другой лидер неогегельянцев, говорит:[110] „Диалектика это и есть иррационализм, возведенный в метод и рационализованный". В этих словах

* Струя взлетает вверх и, ниспадая, наполняет влагой круглую мраморную чашу, откуда, перелившись через край, стекает на дно второй чаши; вторая, переполнившись, отдает свою влагу третьей, и так каждая берет и отдает одновременно, струясь и покоясь.

содержится очень существенная часть программы неогегельянства, которое хочет быть объединяющей идеологией нынешней фашистской буржуазии. В своей речи на первом гегелевском конгрессе [111] Кронер сказал, говоря о различных реакционных направлениях современной философии от неокантианства до неоромантической „философии жизни“: „они в раздоре между собой только потому, что не сознают своей потребности во взаимном восполнении, не проникают друг в друга и не объединяются друг с другом“. Неогегельянство и ставит себе задачей осуществить это объединение. А при быстром процессе фашизации, охватившем в послевоенный период всю общественную жизнь Германии, ясно само собой, что в этом объединении различных течений философская гегемония должна принадлежать иррационализму. Но не следует забывать, что возобновление гегельянства в работах Вильгельма Дильтея было уже в довоенное время возобновлением молодого Гегеля — совершенно искаженного — в духе иррационализма. Глокнер лишь последовательно продолжает линию Дильтея, когда он открывает и у старого Гегеля иррационалистическую струю.

В этой связи Глокнер пытается воскресить Фишера. Он говорит: [112] „Гегель прошел через раннюю романтику, Фишер вырос из поздней романтики“. *Первая половина этого утверждения* есть типичная неогегельянско-фашистская фальсификация истории; вторая же дает правильную, как мы видели, оценку развития Фишера. То преобразование Гегеля, которое выполнил Фишер и которое, несмотря на все его критические выпады, никогда не порывало внешнюю, формалистическую связь с гегелевской философией, фактически является важной подготовительной ступенью к нынешнему фашистскому неогегельянству. Поэтому Глокнер и говорит [113] вполне последовательно о Фишере, что он представляет собою „ключ к пониманию XIX века как гегельянец и путеводитель к проблеме иррациональности“. Фишер действительно является ключом, центральной фигурой для неогегельянского крыла фашизма, для той части немецкой буржуазии, которая пытается включить в фашизм свои либеральные традиции, органически соединить эти традиции с фашизмом. И если Глокнер прославляет Фишера как философского представителя „серебряного века“ немецкой поэзии, представителя „культуры“ бисмарковского периода, то он лишь последовательно проводит в философской области ту линию, которую буржуазия этого периода проводила в политике. Напомним только о возрастающем культе Бисмарка в последние послевоенные годы — культе, всецело разделяемом и социал-фашистами. Мы не можем здесь подвергнуть этот культ подробному анализу, поэтому отметим только, что он имеет другую окраску, чем преклонение перед Бисмарком со стороны гитлеровцев и единомышленников Гугенберга. Последние преклоняются перед мужем „крови и железа“, первые — перед „великим дипломатом и государственным деятелем“, человеком „истинной культуры“, сумевшим проводить свою политику „крови и железа“ в „цивилизованных формах“. В прославлении „серебряного века“ немецкой культуры выражается таким образом стремление одной части немецкой буржуазии осуществлять диктатуру над рабочим классом так, чтобы при этом интересы отдельных групп буржуазии (перерабатывающей промышленности) не были целиком подчинены диктатуре тяжелой индустрии и аграрного капитализма, — террористически подавлять все возможности выступления революционного рабочего класса, но так, чтобы при этом не нарушались интересы не-гитлеровской интеллигенции. Это есть, другими словами, стремление проводить фашистскую диктатуру хоть и в видоизмененных сообразно потребностям времени, но столь же „цивилизованных“ фор-

мах, в каких проводил свою политику, по мнению этих кругов, Бисмарк в эпоху „закона против социалистов". Особенная симпатия, которой пользуется в этих кругах интеллигенции Фишер, связана с тем обстоятельством, что хотя они тоже восторженно приветствуют обскурантскую ликвидацию научной мысли и утверждение господства мифа, однако им хотелось бы и в области мифа спасти либерально-буржуазную „свободу мысли", отстоять право каждой группы буржуазии на свой собственный миф против тирании официального гитлеровского мифа. И то, что фашистские идеологи могли без особой фальсификации Фишера включить его в свой идейный арсенал как важную составную часть, доказывает лишний раз, как беспредметна их идеологическая борьба против либерализма, какой лживой демагогией является их отождествление марксизма с либерализмом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т.XXII, стр. 205.
2 Marx—Engels Werke, MEGA, I, I, II, стр. 290 и 293.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 550.
4 Там же, стр. 391.
5 Там же, стр. 415—416.
6 Lassalles nachgelassene Schriften und Briefe, Berlin—Stuttgart 1929, III, стр. 116.
7 Лифшиц, М., К вопросу о взглядах Маркса на искусство. Стр. 103 сл.
8 Ruge, Neue Vorschule zur Aesthetik, Halle 1837, стр. 96.
9 Там же, стр. 92.
10 Там же, стр. 97.
11 К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство. Сочинения, т. III, стр. 150.
12 Vischer, Kritische Gänge, München 1922, II, стр. 211.
13 Rosenkranz, Aesthetik des Hässlichen, Königsberg 1855, стр. 325.
14 Там же, стр. 327.
15 Там же, стр. 329.
16 Vischer, в указ. соч., стр. 152.
17 Vischer, Aesthetik, Reutlingen-Leipzig 1846, II, 378.
18 К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство. Сочинения, т. III, стр. 77.
19 Там же, стр. 236.
20 Там же, стр. 203.
21 Там же, стр. 208.
22 Rosenkranz, в указ. соч., стр. 106/7.
23 Энгельс, Ф., Über den Materialismus und die Dialektik bei Marx u. Feuerbach, Moskau 1932, стр. 123.
24 Там же, стр. 125.
25 Маркс, К., К критике политической экономии. Партиздат, 1933.
26 Маркс, К., Экономически-философские рукописи. Сочинения, т. III, стр. 637.
27 Маркс, К., Теория прибавочной стоимости. Партиздат, 1932, I, стр. 246.
28 К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство. Сочинения, т. III, стр. 168.
29 Vischer, Kritische Gänge, I, стр. 173.
30 Vischer, Aesthetik, II, § 374, прибавление.
31 Ср. по этому поводу недавно найденную важную статью Энгельса „Der status quo in Deutschland", MEGA, I, VI, стр. 231, сл.
32 „Kritische Gänge", I, стр. 170/171.
33 Там же, стр. 143.
34 Цитируется у Глокнера, Vischer und das XIX Jahrhundert, Berlin, 1931, стр. 6.
35 „Kritische Gänge", V, стр. IX.
36 Там же, стр. 38—40.
37 Там же, стр. 399.
38 Там же, VI, стр. 487.
39 Там же, стр. 489.
40 Там же, III, стр. 77.
41 Там же, VI, стр. 490.
42 Цитируется у Адольфа Раппа, Vischer und die Politik. Tübingen 1911, стр. 22.
43 „Kritische Gänge", VI, стр. 490.
44 Там же, II, стр. 382.
45 Vischer, Aesthetlk, I, § 126.
46 Маркс, К., К критике гегелевской философии права. Сочинения, т. I, стр. 402—407.
47 Цитируется у Раппа, в указ. соч., стр 84.

48 Письмо Фишера Гюнтеру от 10 июля 1866 г. Цитируется там же, стр. 135/136.
49 Ranke, Trennung und Einbeit, 1831 г. Цитируется у Мейнеке, Wetbürgertum und Nationalstaat, Берлин, 1928, стр. 291.
50 Цитируется у Раппа, в указ. соч., стр. 98.
51 Цитируется там же, стр. 145.
52 Цитируется там же, стр. 136.
53 Цитируется там же, стр. 153.
54 Там же, стр. 115/116.
55 Vischer, Auch Einer, Stuttgart — Berlin, 1914, стр. 60/61.
56 Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften, Berlin 1919, VI, стр. 17 сл.
57 Vischer, Aesthetik, II, § 232, приб. I.
58 Там же, I, § 41, приб. 2.
59 Энгельс, Ф., Диалектика и природа. „Архив Маркса - Энгельса“, II, стр. 193—195.
60 Vischer, Aesthetik, I, § 34, приб. и § 35.
61 Там же, 230, приб.
62 Маркс, К., Нищета философии. Сочинения, т. V, стр. 365—367.
63 Vischer, Aesthetik, I, § 231.
64 „Kritische Gänge“, IV, стр, 406.
65 Там же, стр. 224.
66 Vischer, Aesthetik, II, § 383, приб. 2.
67 „Kritische Gänge“, IV, стр. 222.
68 Там же, стр. 222/223.
69 Там же, стр. 225/226.
70 „Auch Einer“, стр. 64/65.
71 „Kritische Gänge“, IV, стр. 297.
72 Там же, стр. 297.
73 Там же, стр. 406.
74 Dilthey, Randbemerkungen zur Poetik. Gesammelte Schriften, VI, стр. 310.
75 Vischer, Aesthetik, I, § 19, приб. 2.
76 „Kritische Gänge“, III, стр. 305/306.
77 Там же, IV, стр. 434/435.
78 Там же, стр. 239.
79 Там же, стр. 431.
80 Маркс, К., К критике политической экономии. Стр. 36.
81 Там же, стр. 36.
82 Vischer, Aesthetik, II, § 364, приб. 2.
83 „Kritische Gänge“, V, стр. 71.
84 „Коммунистический манифест“. Госиздат, 1926, стр. 33.
85 „Kritische Gänge“, VI, стр. 48/49.
86 Там же, IV. стр, 149/150.
87 Marx—Engels Briefe an Bebel, Liebknecht, Kautsky ets., Москва, 1933, стр. 380.
88 „К критике....“, стр. 36.
89 „К критике....“. Партиздат, 1932, стр. 37.
90 „К критике....“, стр. 37.
91 Энгельс, Ф., Происхождение семьи....Партиздат, 1933, стр. 120 и 202.
92 Там же, стр. 122.
93 Там же, стр. 125.
94 Там же, стр. 84.
95 „К критике“, стр. 36.
96 Маркс, К., Восемнадцатое брюмера. Партиздат, 1933, т. II, стр. 247.
97 Письмо от 1 августа 1877 г. Сочинения, XXIV, стр. 489.
98 Маркс, К., Нищета философии. Сочинения, т. V, стр. 356.
99 „Восемнадцатое брюмера“, стр. 248.
100 Vischer, Aesthetik, II, § 368, приб. 2.
101 Там же, 448, приб., и 449, приб.
102 „Kriticshe Gänge“, I, стр. 72.
103 Там же, стр. 106.
104 Там же, стр. 283.
105 Там же, стр. 292/2 3.
106 Там же, IV, стр. 434.
107 „Протокол 1-го гегелевского конгресса“. Тюбинген, 1931, стр. 79.
108 Glockner, там же, стр 141.
109 Glokner, Vischers Aesthetik in ihrem Verhältnis zu Hegels Phänomenologie des Geistes. Leipzig 1920, стр. 19.
110 Kroner, Von Kant zu Hegel. Tübingen 1921/1924, II, стр 272.
111 „Протокол 1-го гегелевского конгресса“, стр. 25
112 Glockner, Vischer und das XIX Jahrhundert. Стр. 121.
113 Там же, стр. IX.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЕЖАЕВА

Публикация Н. Бельчикова

Полежаев — несправедливо забытый и неправильно оцененный поэт. Эстетам и либеральным историкам литературы не по душе был этот протестант, ранний бунтарь, который заявил в своих стихах, что „жизнь страшнее ста смертей".

А. Н. Пыпин, объясняя причины забвения Полежаева, так определил место его творчества в общей картине развития литературы: „Поэтическая деятельность Полежаева, вследствие несчастной личной судьбы писателя, являлась чем-то недовершонным и стояла в стороне от общего хода литературы... наконец, широкое развитие литературных интересов с той поры, как закончилось его поприще, так поглотило внимание литературных кружков и общества, что начинания Полежаева остались в тени" („Вестник Европы" 1889, март, стр. 153). А. Н. Пыпин прав в одном, что поэзия Полежаева в 30-х годах не была столбовой дорогой литературы. В годы расцвета дворянской по характеру и составу авторов литературы эта поэзия была одинокой, это была поэзия ранней поры разночинства. Творчество Полежаева в те годы было идейным выражением настроений и взглядов той группы демократических слоев разночинной молодежи, которая вступила в жизнь после 1825 г.; это была поэзия первого поколения разночинцев, которое пошло после разгрома декабризма в революцию.

Еще студентом Московского университета „уволенный из мещан", „незаконнорожденный" сын помещика Л. Н. Струйского и дворовой крепостной девушки Полежаев быстро сходится с группой студенческой почти исключительно разночинной молодежи, которая выделила из себя членов тайных обществ бр. Критских (1827), Сунгурова (1831), Соколовского, Утина, Герцена и Огарева (1834). Будучи рядовым и сидя в тюремной яме, Полежаев привлекается по делу Критских, а от следствия по делу Соколовского, Герцена и других его избавил вынужденный отъезд с полком из столицы в 1834 г. Слияние с разночинной средой, которой свойственны были демократические настроения, и личная трагедия (Полежаев по личному распоряжению царя был сдан в солдаты) определили содержание творчества Полежаева.

В своей первой большой поэме „Сашка" он резко обрушился на тогдашний общественно-политический строй, его основы—самодержавие, религию, церковь, и Николай не без основания увидел в ней отголоски декабризма, с которым он боролся всеми силами своей власти. Полежаев оказался продолжателем и носителем в период 1825 — 1834 гг. той политической, „гражданской" (как любили раньше говорить) поэзии, расцвет которой пал на 60-е годы. И либеральный историк литературы А. Н. Пыпин глубоко ошибся, утверждая, что „начинания Полежаева остались в тени". Нет, их поддержали и по-своему развили и воплотили в своей поэзии поэты 60-х годов во главе с Некрасовым.

Протесты против самодержавия, самовластья ни у кого не нашли столь яркого выражения, как у Полежаева в те годы. Он умел в безобидном по тематике стихотворении как „Кремлевский сад" (1828), хотя бы в одном стихе выразить глубокую ненависть к „самовластительным злодеям":

Дарую счастье миллионам,
Проклятья посылаю тронам

(стихи 26—27).

В его стихах есть прямые отклики на расправу Николая с декабристами:

И Русь, как кур, передушил
Ефрейтор-император.

(„Рок", 1826, стихи 31—32).

В то время, когда Полежаев резолюцией Николая был после нового суда и расследования по делу Критских брошен „в рядовые без выслуги", у него вырывается не менее сильное негодование и протест против Николая и его внутренней политики:

О ты, который возведен
Погибшей вольности на трон,
Или, простее говоря,
Особа русского царя...
Поймешь ли ты, что царский долг
Есть не душить, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Миллионы страждущих людей...

(„Арестант", 1828, IV, 1—4).

Демократизм, ненависть к царю, стремление развенчать ореол самодержавия — эта программа при всей ее неопределенности, свойственной идеологии разночинства ранней поры в дореформенную эпоху, была для того времени глубоко прогрессивной и не мирилась с церковными суевериями, с ограниченностью церковного учения о мире, о боге, о промысле. В поэме „Арестант" (1828) Полежаев с большой смелостью для того времени трактует сложные проблемы религии, свободы воли. Краткая формула его ответа на вопросы религиозного мировоззрения блистает смелостью и глубиной мысли:

Когда я волен — он [бог, провидение] тиран,
Когда я кукла — он болван.

(„Арестант", V, стихи 69—70).

Полежаев шел дальше. Он следил за достижениями тогдашней науки, — и впервые публикуемое здесь стихотворение „Гальванизм" есть яркий пример его увлечения и преклонения перед научным естествознанием и попытка в поэтической форме раскрыть влекущую всех загадку электричества (молния) как естественного явления природы.

Отсюда понятны сорвавшиеся с уст поэта слова об одиночестве, о ненависти к окружавшей действительности:

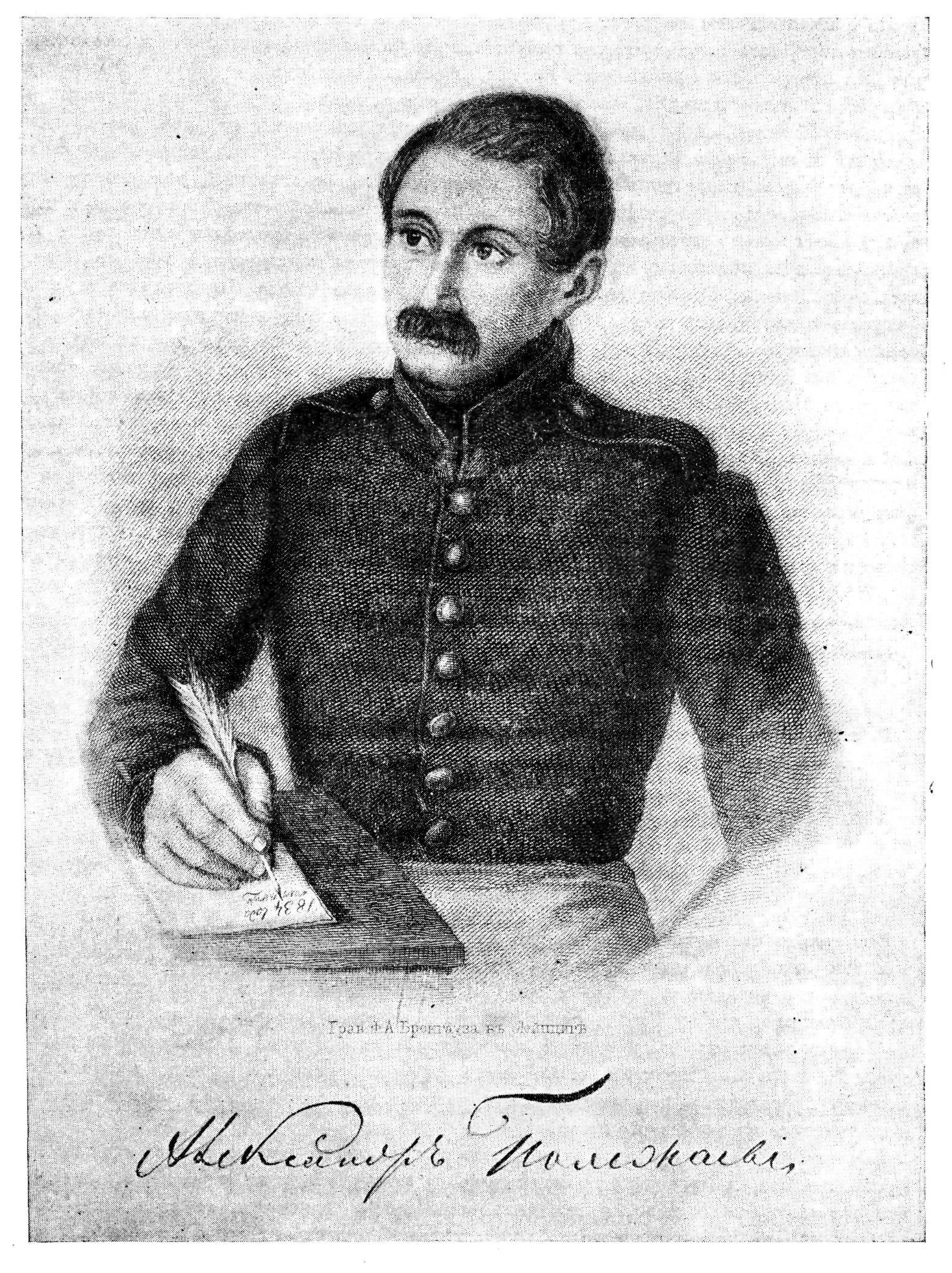
Мне противно смотреть
На блаженство других

(„Вечерняя заря", стихи 59—60).

И

Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!!
Где вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Властелины на земле!

(„Негодование", стихи 41—52).



А. С. ПОЛЕЖАЕВ

Гравюра с портрета неизвестного художника, приложенная к собранию стихотворений Полежаева в издании 1899 г.

Первое стихотворение, из которого взята цитата, относится к 1826 г., а второе — 1834 г. Из этого видно, что протест против существующего порядка — основной мотив поэзии Полежаева и что вырос он на почве глубокого социального расхождения поэта с николаевской Россией. Герцен, вспоминая о том времени, когда слагалось мировоззрение этого поколения, так рисует показную, внешнюю сторону жизни в стране: „На поверхности официальной России, „фасадной империи", виднелись только одни потери, свирепая реакция, бесчеловечные преследования, усугубление деспотизма... Виднелся Николай, окруженный посредственностями, солдатами парадов, балтийскими немцами и дикими консерваторами, — сам недоверчивый, холодный, упрямый, безжалостный, с душою, недоступной высоким порывам, и посредственный, как его приближенные. Непосредственно ниже его выставлялось высшее общество, которое при первом ударе грозы, разразившейся над головой 14 декабря, потеряло едва перед тем приобретенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не поднялась при Николае, она отцветала: все, что имелось в ее среде благородного и великодушного, находилось в рудниках или в Сибири... Казарма и канцелярия сделались основаниями политической науки Николая. Слепая и бессмысленная дисциплина в соединении с мертвым формализмом австрийских счетных конторщиков — таковы основы знаменитой сильной власти в России". А за этим фасадом шли глубокие социально-политические и экономические сдвиги: дворянские поместья разлагались, феодальный строй рушился, капитализм прокладывал себе дорогу, обостряя противоречия. В социальной жизни последние особенно резко сказывались, толкая передовую молодежь на борьбу против безыдейной действительности, чудовищного деспотизма самодержавия, против неслыханного подавления личности, человеческого достоинства. „Полежаев, — по меткому определению Н. П. Огарева, — заканчивает в поэзии первую, неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век".

И Полежаев сообщает друзьям про себя, что он:

В руках едва ль полулюдей...
(„Арестант", IV, стр. 48).

В стихотворениях, созданных через год — два после разгрома декабристов и вскоре после личной трагедии поэта, у Полежаева найдем жалобы по поводу силы самодержавия:

Изменила судьба,
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.

Эти только что приведенные строки до сих пор остаются неизвестными читателю, так как они в изданных до революции собраниях стихотворений Полежаева не могли появиться, а уцелели случайно в деле III Отделения в списке этого стихотворения, приложенном к доносу 1828 г. на Полежаева известного „печальной памятью" Шервуда-Верного. Они сохранились еще в экземпляре стихотворений поэта, которым пользовался П. Ефремов, внесший сюда, на основании рукописей поэта, теперь к сожалению утраченных, немало подобных разночтений, выражающих политические и атеистические взгляды этого поэта.

Подлинного Полежаева мы еще не знаем и подлинных текстов многих его стихотворений, особенно содержащих политическую тематику, также не имеем. Его резкие, бичующие самовластье Николая, самодержавный строй, религию и ее слуг стихи были скрыты. Облик непримиримого до конца жизни борца за свободу с отсталыми сторонами русской жизни — с грубым самовластьем, с суевериями церкви и ее отрицательным влиянием на быт, борца с позиций не либерально-дворянских, а резко радикальных — должен привлечь внимание нашей современности.

Издания Полежаева прежнего времени — редкий пример жестокой расправы цензуры с писателем. Лично сломленный солдатчиной и преследуемый николаевским правительством в течение ряда лет, наказанный шпицрутенами незадолго перед смертью, Поле-

жаев был лишен и читателя, а последний был лишен наиболее ярких страниц творчества этого поэта. В течение одного года (1837/38) цензура задержала три сборника стихотворений Полежаева: „Часы выздоровления", „Последние стихи Полежаева", „Разбитая урна" и поэму „Царь охоты".

Один из этих сборников — „Часы выздоровления", представленный в цензуру в марте 1837 г., задержанный тогда и выпущенный в свет в изуродованном виде в 1842 г., находится сейчас в нашем распоряжении.

Открывается этот сборник стихотворением „Венок на гроб Пушкина". Отношение Полежаева к Пушкину было сложным. В поэтической практике Полежаев как бы следует во многом за Пушкиным —в ритме, рифмах, размерах стихов чувствуется влияние Пушкина. Но идейное содержание и социально-политический смысл творчества Полежаева противостоит Пушкину. Поэма Полежаева „Сашка" (1825 г.) являлась сатирой на феодальную Россию, направлена против „Евгения Онегина" (точнее говоря, пародируются только-что увидевшие свет 1-я глава и начало 2-й главы романа Пушкина). Чопорному дэнди Онегину Полежаев противопоставляет студента Сашку" „доброго молодца", который „не был от роду бон-тон". Полежаев бросал вызов Пушкину и великосветскому кругу, порицая узы дворянской общественности и его героя. И тем не менее Полежаев пристально следил за творчеством и жизнью Пушкина, ценил его гений. „Венок" говорит о преклонении Полежаева перед погибшим за год до его смерти поэтом. *До последнего времени полная редакция этого стихотворения оставалась неизвестной.* В собраниях стихотворений Полежаева 1889 и 1892 гг. оно печаталось не полностью. Семистишие из него („И поэтические вежды"), что составляет здесь стихи 11—17, печаталось отдельно. Датировались обе части стихотворения также неточно: в издании Ефремова (1889 г.) — „Венок" 1837 г., а семистишие неопределенно — 1835 — 1837 гг.; в издании „Нивы" (1892 г.) под ред. А. Введенского обе части датированы неточно — 1835—1837 гг. „Утешение"—финал этого стихотворения, в подлинности которого усумнился Ефремов, в нашем автографе налицо (с несущественными вариантами). Подробная печатная история этого стихотворения изложена в статье Н. О. Лернера („Русская Старина" 1916 г., VII), но Н. О. Лернер основывался не на автографе, а на списке и должен был отметить ошибки, вкравшиеся в текст по вине переписчика.

В нашем автографическом сборнике стихотворение датировано точно: „2 марта [1837 г.]". Текст стихотворения, данный в нашем сборнике, должен быть признан основным: он писан рукою самого поэта. Содержащиеся в нем варианты и отличия однако не очень многочисленны. Не был известен до сих пор эпиграф из Гюго; впервые публикуются стихи 15—19; в дальнейшем имеются незначительные варианты к стихам 110, 112, 124, 145, 209, 214, 237. Полностью этот автографический текст воспроизводится в редактируемом нами собрании стихотворений Полежаева в „Библиотеке поэта"; здесь мы ограничиваемся первым его разделом, содержащим упомянутые неизвестные до сих пор стихи.

Небольшое стихотворение „Три нации" представляет собой сокращенную переделку „Четырех наций". Последнее не могло появиться в печати из-за резкого содержания строфы о России. Полежаев решил ограничиться тремя строфами, где речь идет о французе, немце и англичанине, но переделал текст, упростив его и нейтрализовав всю политическую направленность стихотворения.

Большинство остальных печатаемых здесь стихотворений является переводом из Виктора Гюго. Все они публикуются здесь впервые. (Переводы эпиграфов принадлежат мне.—*Н. Б.*). Напомним, кстати, что известен ряд других переводов из Гюго, сделанный Полежаевым в последние годы жизни. Все эти переводы говорят о постоянном пристальном интересе Полежаева к Гюго. Характерно тяготение Полежаева к тем стихотворениям Гюго, которые связаны с именем Наполеона, как человека, подобно Полежаеву имевшего „печальную судьбу". А тема трагической гибели поэта — „неизменного друга свободы" — особенно настойчиво и часто привлекала внимание этого загубленного самодержавием поэта, подлинного „свободной вольности певца" в мрачную эпоху николаевской реакции после разгрома восстания декабристов в 1825 г.

Н. Бельчиков

1

ВЕНОК НА ГРОБ ПУШКИНА

Oh, qu'il est saint et pur Transport du Poête,
Quand il voit en espoir, bravant la mort muette,
Du voyage de temps sa gloire revenir!
Sur les ages futurs, de sa hauteur sublime.
Il se penche, écoutant son lointain souvenir;
Et son nom, comme un poids jeté dans un abime,
Eveilla échos au fond de l'avenir!

V. Hugo *

Эпоха! Год неблагодарной!..
Россия, плачь!.. Лишилась ты
Одной прекрасной, лучезарной,
Одной брильянтовой звезды.

На торжестве великом жизни
Угас для мира и отчизны
Царь сладких песен, Гений лир:
С лица земли, шумя крылами,
Сошел, увенчанный цветами,

Народной гордости кумир!
И поэтические вежды
Сомкнула грозная стрела,
Тогда как светлые надежды
Вились вокруг его чела!

Когда рука его сулила
Нам тьму надежд, тогда сразила
Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...

О плачь, Россия,—долго плачь!
Давно ль тебя из недр пустыни полудикой
Возвел для бытия и славы Петр Великой,
Как деву робкую на трон!
Давно ли озарил лучами просвещенья

С улыбкою отца, любви и ободренья
Твой полунощный небосклон.
Под знаменем наук, под знаменем свободы
Он новые создал великие народы;
Их в ризы новые облек;

И ярко засиял над царскими орлами,
Покрытыми всегда победными громами,
Младой поэзии венок.

---

* О как свят и чист восторг поэта, когда в своих мечтах поэт зрит как слава его, презрев немую смерть, возвращается из странствия времен. С блистательных высот своих склонившись к будущим векам, он внемлет дальним о себе воспоминаниям; и имя его, подобно тяжести, сбрасываемой в бездну, пробуждает эхо в глубинах грядущего.

В. Гюго

2

ГАЛЬВАНИЗМ
или
ПОСЛАНИЕ К ЗЕВЕСУ

Le monde est plein de
trompeurs et de trompes.
N. M.*

И так, узнал я наконец
Тебя, Зевес самодержавный!
Узнал, что мир—большой глупец,
А ты—проказник презабавный!

Два металлических кружка
Да два телятины куска
С цепочкой медной за ушами—
Вот тайна молний и громов,
Которыми, как чудесами,

Ты нас стращал из облаков.
Гальвани с мертвою лягушкой
В лаборатории своей
Нам доказал, что ты людей
Всегда считал одной игрушкой!

Сын праха, слабый и глухой,
Под руководством гальванизма
Едва ль, Зевес почтенный мой,
Я не сойду до атеизма!
К чему мне ты? Я сам Зевес!

Перуны, молнии и громы
Мне без обмана и чудес
Теперь торжественно знакомы!
Огонь и блеск в моих очах
И гром, и треск в моих ушах!

Я весь: разгульный шум Содома
И мусульманский вертоград
С тех пор, как дивный препарат
Из мяса, шелку и металла
Уснувших сил моих начала

Электризует и живит,
И все вокруг меня нестройно,
Разнообразно, беспокойно,
Но гармонически звенит!
И так, Зевес, мое почтенье!

Тебе я больше не слуга!
Я сам велик—еще мгновенье...
И—вознесусь на облака!
Тогда, как вздорного соседа,
Тебя порядочно уйму,
А молодого Ганимеда,
Орла и Гебу отниму.

* Мир полон обманщиков и обманутых. — Н. М.

3

ТРИ НАЦИИ

I

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь,
Он любит есть,
И после сесть
На пароход.

II

Француз: герой!
Он вам порой
Грозит бедой.
Как великан.
Встает, как лев,
Откроет зев,
И... прямо в хлев,
Баран, баран!

III

Германец смел,
Но поседел
От важных дел.
Заботы тма:
Сиди, кури,
Пиши, да ври —
Да и умри!
Сошел с ума!

4

АНТИХРИСТ

Après que les milles ans seront accomplis, satan sera délié; il sortira de sa prison, et il seduira le Nations, qui sont au quatre coins du Monde, Gog et Magog!

Saint Jean. Apocalipse*.

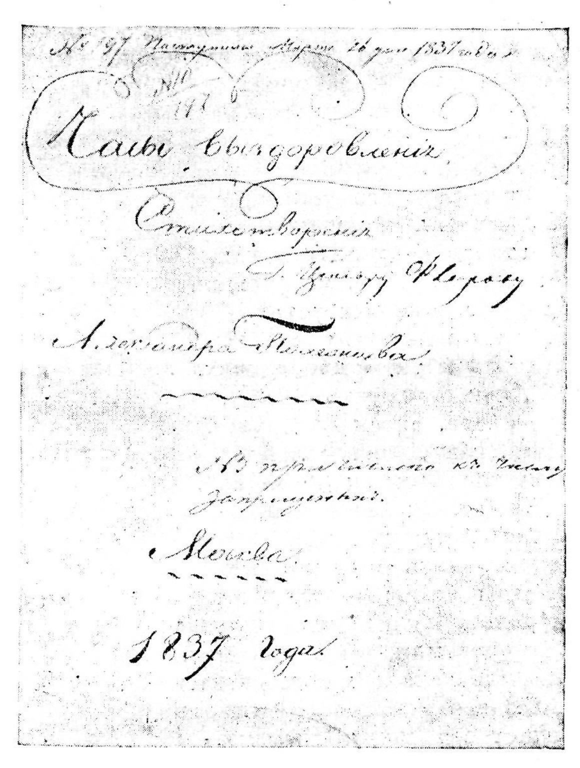
I

Придет на землю он, придет с последней тьмою,
Когда светило дня без жизни и лучей
Померкнет навсегда под черной пеленою —
Как взор блуждающих очей!
Когда заговорят встревоженные бездны,
И перечтет свирепый Ад

* Когда исполнятся тысячелетия, дьявол будет освобожден, он выйдет из темницы своей и соблазнит пребывающие в четырех концах света народы, Гого и Магог!

Апокалипсис Св. Иоанна.

Своих неистовых солдат,
И наконец, тяжелый свод надзвездный,
Как колесница древних лет,
Засыпанная прахом,
Падет на ось свою — и страхом
Объяты будут мрак и свет. —
Придет, — когда младенец затрепещет
В утробе матери своей, —
И факел горести в последний раз заблещет
Над гробом праведных людей!



ОБЛОЖКА АВТОГРАФИЧЕСКОГО СБОРНИКА ПОЛЕЖАЕВА «ЧАСЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ», ЗАПРЕЩЕННОГО ЦЕНЗУРОЙ В 1837 г.
Центрархив СССР, Москва

Когда, воззрев на океан безбрежной,
С его бездонной глубиной,
Увидит человек корабль свой ненадежный,
Над грозной Вечности волной.
Придет, — когда порок и преступленья
Сильнее утвердят торжественный Союз, —
И поразит земные поколенья
Огонь и мор и глад и трус.
Когда миры преобразятся в степи,
И отпадут от звен великой цепи;
Когда в пути, пространном, огневом,
Сойдутся вдруг кометы и светила —
И над землей таинственная сила
Прострет крыле в молчаньи роковом.

Когда тоске, когда оцепененью
Не будет мест в измученных сердцах —
И божий дух неизмеримой тенью
Носиться будет в небесах

II

Как дивный знак узрят его народы,
Он нивы и поля у бедных разорит;
Он навсегда надежды и свободы
Рабов и пленников лишит.
Никто не будет знать, — в какой стране далекой,
В каком миру носил он цепи иль венец,
И в гимнах торжества и горести глубокой
Народы спросят наконец:
Лучи ли солнца золотые
Или — символ властительного зла,
Две молнии багряно-голубые
Горят вокруг его чела[?]
Он у небес похитил украшенья!
Блистая в радужных лучах,
С улыбкой ангела, с речами утешенья
На светлорозовых устах,
Он разольет источник обольщенья,
С слезой жемчужною в очах.
И будет он, как благодать святая,
Прекрасен, дивен под луной
И юн, как флора молодая,
На мураве лугов роскошною весной.
Или ночей любовник безобразной
Приняв дракона гнусный вид,
Он, чешуей сверкнув разнообразной,
Крылом железным зашумит
И, тайной роковой как будто устрашенной,
С лица земли, им оскверненной,
Он прах и вихрь столпами закрутит.
Природа глаз его могущий, чудотворный
Узнает с трепетом немым —
И будут перед ним без ропота покорны
И облака и ветер горный,
Как Эфиоп, уродливый и черный,
Перед владыкою своим.
Он воздух рассечет волшебной колесницей:
Огонь и волны покорит;
Все царства обоймет могущею десницей;
Под тяжкою пятой цветы произрастит.
Из ярких звезд и светлых метеоров
Сольет себе венец
И вздрогнет от его преследующих взоров
Под хладным мрамором мертвец.
О реки бурные! О пламенные лавы!
Не будет он иметь друзей!
Он будет жить для гордости и славы
Среди рабов, среди цепей!
Он мир почтет завоеваньем,
Добычей смелости своей —

И править им не будет со страданьем.
Как бог — владыка всех царей,
Но как свирепый повелитель
И непреклонный судия
В странах, где царствует блюститель
И добрый пастырь бытия.
Заклятый враг порабощенным,
Он тайным бременем, он жизнию другой
Всегда ни древний ни младой,
Казаться будет изнуренным.
На все с улыбкой гробовой
Он бросит взор негодованья,
И проклянет с отчайнной тоской
Красу великого созданья,
И будет всем в природе он чужой!
Далеко от себя лучи святой надежды
Отбросит он, надменный великан;
Высокий ум его сорвет, как ураган,
С закрытой истины одежды;
Постигнет все — и между тем,
Не для него потерянный Эдем —
И будут щастливы в очах его невежды.
Давно готов ужасный приговор —
Он у него висит над головою...
Но — он бесстрашен, тверд, как в море пред грозою;
Безмолвнее гробов — пойдет наперекор
И неба и земли! — Вся жизнь его: позор!
А сердце: твердая арена,
Где ад, коварство и измена
В ужасной битве с божеством,
И наконец — где совести мученья
Уступят силе преступленья
И увенчают зло последним торжеством.
Тогда удержит он оставшееся время;
В последний раз зажжет у пристани маяк.
И бог, который сам носил земное бремя,
Допустит, — чтобы враг страдающего племя
Воссел на жертвах и гробах!
И сядет он, как ястреб кровожадной,
И отразятся в вечной мгле,
На роковом его челе
И грусть, и ложь, и стыд гордыни безотрадной!
. . . .
Мессия тьмы, апостол отверженья —
Рассеет он цветы между шипов;
Он осквернит фиалом заблужденья
Уста безумных мудрецов;
Между землей и небом он поставит
Незыблемый гранит, печальное: прости!
И атеист хулителя прославит
И — „Вот мой бог“ — дерзнет произнести!

III

Потом, когда по воле провиденья
Он на земле свой подвиг совершит;

Когда в сердцах святые помышленья
И добродетель умертвит;
Когда клеймом убийства и проклятий
Запечатлеет навсегда
Своих наперсников и братий
И перечтет их мрачные стада,
Тогда, сын ада и бесславья,
Узнает он удел свой роковой,
И краткий миг самодержавья
Потонет в вечности немой.

5

ПИР ДУХОВ

Hic chorus ingens.
.......Jovis orgia.

A. Vienus *

Смотрите, как над черными стенами
Сокрытого во мгле монастыря
Дрожит луна неверными лучами—
Как будто страх невольный затая.
Дух полночи коснулся диких башен,
И, овладев чугунным языком,
Двенадцать раз, торжественен и страшен,
Пронес свой гул в безмолвии ночном.
Грохочет он в пространстве необъятном;
Звучит, ревет протяжно этот гул—
Как ярый лев под острием булатным,
И, наконец—ослабленный уснул.
Внимайте: где? Откуда эти стоны
И вопль и вой!—Какой ужасный вид:
Гранитный дом, верхи его колонны—
И весь он, весь блистанием облит;
И вспенилась и бьет вода святая,
Как белый ключ в сосуде вековом;
И, между тем, как лава огневая
Везде кипит, в мерцаньи голубом—
Рыданья, свист, неистовые клики
Со всех сторон внезапно раздались...
И злых духов торжественные лики
Из вод и гор в обитель принеслись!
Волшебницы, вампиры, змеи, гномы,
Чудовища—исчадья сатаны,
Гремящие скелеты и фантомы—
И мрачные безбожия сыны,
Лукавые, как адские обманы,
С таинственной тиарой на челе,
В магических покровах некроманы—
И сонмы ведьм, проклятых на земле;
И демонов клубящиеся волны—
Сквозь трещины и окон, и дверей
В священный дом, пустынный и безмолвный,
Внеслись, как вихрь при зареве огней!

* Здесь огромный хор... праздник Юпитера.—А. Виенус.

Вот Люцифер—их грозный повелитель;
В порфире он—в короне золотой;
И на алтарь, святыни осквернитель,
Он наступил преступною пятой!
О ужас! вот их хоры загремели
На месте том, где бодрствует сам бог:
Рука с рукой, стремясь к нечистой цели,
Они сошлись, как бездна и порок...
Как смерть и грех... и демонские пляски
Вдруг начались!.. По очереди глаз
Встречает их кружащиеся маски,
Все дивные в полночный этот час.
Смотря на них, представить смело можно,

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АВТОГРАФИЧЕСКОГО СБОРНИКА ПОЛЕЖАЕВА «ЧАСЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ», ЗАПРЕЩЕННОГО ЦЕНЗУРОЙ В 1837 г.
Центрархив СССР, Москва

Что самый ад, рассея вечный мрак,
Вращает здесь, с оргиею тревожной,
Свой пагубный и страшный зодиак.
Все в цепь одну свилися неразрывно,
И сатаны услышан глас призывной!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

Хор демонов

„Безобразною толпой,
„Без порядка и разбора,
„В кликах радостного хора

„Мы забудем век позора,
„О наш царь, перед тобой!
„Это время—время мира,
„И багровая порфира
„На плече твоем средь пира
„Блещет райскою красой!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„О стекайтесь же на пир,
„Наши сестры, наши братья,
„Заклейменные печатью
„Громогласного проклятья—
„Здесь другой, отрадный мир!
„Вы, суровые мегеры,
„Без надежды и без веры,
„Бросьте темные пещеры
„И почтите свой кумир!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„Приноситесь же сюда,
„Торжествуйте вместе с нами:
„Карлы с козьими ногами
„И с кровавыми устами,
„Гробовыходцев толпа!
„Вы—седые кровопийцы,
„Заговорщицы, убийцы—
„Что не мчат вас кобылицы
„Без узды и без седла.
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„И сатиры, и козлы,
„И русалки молодые,
„Соблазнительницы злые,
„Бросьте волны голубые,
„Бросьте темные углы.
„И кагалом беспокойным,
„Разноцветным и нестройным—
„Воспоем хвалу достойным
„Нашей демонской хвалы.
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„Пусть же в грозный этот час
„Проповедник волхованья
„Воскурит благоуханья
„Не блюстителю созданья,
„Отвергающему нас,
„Но—владыке нашей жизни,
„Аду—ярости отчизне,
„Где в огне и в укоризне
„Луч бессмертья не угас!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„И могущий сатана,
„Издеваясь над святыней,
„Полон мести и гордыни,

„Произносит, как в пустыне,
„Здесь ужасные слова.
„Взор отчаянья он мещет;
„Но—не бледен, не трепещет
„Перед книгою, где блещет
„Имя: вечный Эгова!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„И, восставши из гробов,
„С жизнью новой и тревожной,
„Пусть хулит неосторожно
„Дух лукавый и безбожной
„Веру дедов и отцов.
„И под ризою священной,
„Блеском ада озаренной,
„Пусть смеется дерзновенно
„Над создателем миров.
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„Вас заметит сатана!
„Вы тяжелыми руками,
„Непонятными чертами
„Начертите между нами
„Слово тьмы: Абракарда!
„Птицы ночи и боязни!
„Прилетайте же!—не казни,
„Но веселью, но приязни
„Эта ночь посвящена!
И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
„Вот знамение чудес,
„Вот и клятва роковая:
„Пусть невинная, святая,
„С сей поры душа живая,
„Не достигнет до небес!
„Но чтоб луч надежды ясной,
„Для отшельницы прекрасной
„В мраке вечности ужасной,
„Потерялся и исчез!“
Заря осветила туманное зданье;
Сокрылись виденья и сонмы духов!
Опять воцарились и сон и молчанье,
Ничто не тревожит покоя гробов.

6

ГИМН НЕРОНА

Nescio quid molle atque facetum.
Horac*

I

Друзья! Не мудрым угрожает
Тяжелой скуки длинный час!
Вам пир роскошный предлагает
Нерон и консул в третий раз.

* Не знак: нечто изнеженное и насмешливое.—Гораций.

Нерон, владыка полумира,
В руках которого гремит
Перун и греческая лира,
Животворящая гранит.

II

Услышьте голос мой призывный!
Нет, никогда и слух и взор
Не услаждали вы так дивно,
Паллас и милый Агенор!
Ни эти шумные обеды,
Где наш Сенека заседал
И чаши дружеской беседы
Вином фалернским наполнял.

III

Ни вечера, когда Аглая,
В галере легкой и цветной,
Пленяла нас полунагая
Своей волшебною красой!
Ни цирк воинственно мятежной,
Где сонмы гнусные рабов
Встречались с смертью неизбежной
Между когтями диких львов.

IV

Ко мне! Мы сверху этой башни
В огне увидим целый Рим!
Что зубы тигра! Пламень страшный,
Как самый ад неодолим!
Я образую цирк широкой
Между семи священных гор,
Где озарится в тьме глубокой
Весь Рим, как светлый метеор!

V

Так — мира сильный обладатель
Досуг печальный усладит!
Так — землю он, как бог каратель,
Перуном грозным поразит!
Но время! Гидра огневая
Шумит торжественным крылом,
И вот, хребет свой извивая,
Зарделась в сумраке ночном.

VI

Смотрите! Вот она не дремлет!
И блеск и дым ее бойцы!
И будто с лаской объемлет
Она и стены и дворцы.
О для чего мои лобзанья,
Как пламень серный, не горят;
Не могут в душу лить страданья,
Не пожирают, не мертвят?

VII

Внемлите голосу молений —
И воплю старцев и детей!
Смотрите бледные, как тени,
Они мелькают средь огней!
Колонны, двери золотые,
Трещат, колеблются, падут
И в волны Тибра голубые
С рекою бронзовой текут.

СТРАНИЦА АВТОГРАФИЧЕСКОГО СБОРНИКА ПОЛЕЖАЕВА «ЧАСЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ» ЗАПРЕЩЕННОГО ЦЕНЗУРОЙ В 1837 г.
Центрархив СССР, Москва

VIII

И гибнут в лавах бесконечных
Парфир, и мрамор, и гранит —
И вас, о статуи предвечных,
Победный пламень не щадит!
Руководим моею волей,
Он все до хижин обоймет;
И Аквилон в широком поле
Останки Рима разнесет.

IX

Прости надменный Капитолий!
Нерон сказал — и совершит!
Вот арка Суллы! Грозной доли
Теперь она не избежит!

Пылают портики и храмы,
Весь Рим! — Властительный Зевес,
Ужели эти фимиамы
Не достигают до небес?

X

И что пророчества Сивиллы,
И где судьба семи долин?
Она сказала: „Вражьи силы
Тебя возвысят, исполин!
О Рим, удел твой: бесконечность!
Ты сын бессмертья и веков!“
— Друзья мои! Вся эта вечность
Продлится несколько часов!

XI

Прекрасны пламенные воды,
Тебя я понял, Герострат!
Повсюду вас, мои народы,
Они, как змеи, окружат!
Освободите от короны
Мое горящее чело!
Венок мой свежий, благовонный
Золой и пеплом занесло!

XII

Окровавленные одежды
Вином душистым обольем!
Одни безумные невежды
Облиты кровью за столом!
В высоких, сильных наслажденьях
Забудем злобную игру
И станем жить не в сожаленьях,
Но в упоеньи на пиру!

XIII

Я наказую Рим державной!
Я омрачу его звезду!
Он жертвы робкие бесславно
Приносит Зевсу и Христу!
Что ж алтарей не воздвигает
И мне, властителю рабов,
Когда вседневно умножает
Число героев и рабов!

XIV

Я уничтожу Рим — и смелый
Восстановлю его опять!
Но христиане!.. Копья, стрелы
Должны их всюду поражать!
На смерть их всех — на поруганья!
Они зажгли великий Рим!
Гей, раб мой! Где благоуханья?
Мне запах дыма нестерпим!

7

ДВА ОСТРОВА

Dites moi d'où il est venu,
je vous dirai où il est allé.
E. H.*

I

Огромный мир два океана
Землею твердой разделил,
Но есть на них два великана
Страшнее призраков могил!
Смотря на них, мечтают смело,
Что бог из бездны поседелой
Их с дивной целию воззвал.
Чело их молниями блещет;
По голым ребрам их трепещет
Неукротимый, вечный вал!

Те острова между скалами
Подобны буйным кораблям,
Которых крепкими цепями
Не допускают к грабежам!
Быть может, неземная сила
Брега их ужасом покрыла
Затем, чтоб после сотворен
Там был отважный Бонапарте —
И, грозный бич народных партий,
Скончался царь Наполеон! —

Вот колыбель, — а вот гробница!
Вот все!.. Довольно для веков!
Не истребит судьба-царица
С лица земного этих слов!
Сюда, на зов великой тени,
Сыны грядущих поколений
Стекутся в ужасе немом,
И громы, молнии и бури,
И говор волн, и блеск лазури —
Все будет памятью об нем!

Далеко от брегов священных,
Где он свой жребий разгадал,
Предвечный, в тайнах сокровенных,
И жизнь и смерть ему послал,
Чтобы без сильных потрясений
Приял могущественный Гений
Великий дар: миг бытия,
И чтоб с воинственного ложа,

---

* Скажите мне, откуда он пришел, и я скажу вам, куда он ушел.—Е Х.

Земли смятенной не тревожа,
Уснул, покоен как дитя!

II

Как сладко он мечтал весною юной жизни!
Как грустно разорвал покров земной отчизны,
Обманчивого сна отравой упоен,
Познал он суету владычества и славы!
Печально презирал удел свой величавой—
И видел в наготе ничтожество времен!

Младенец — он, давно виденьями томимый,
Завидел яркий луч минутной диадимы
И крылья золотых империи орлов!
Он слышал наперед: народы полвселенной,
Покорно окружив шатер его военный,
Поют всеобщий гимн мильоном голосов!

III

Восклицания

„Хвала царю царей! Хвала Наполеону!
„Сам бог ему вручил державную корону!
„И Нил и Борисфен его великий щит
„Кропят своей волной!— Цари объяты страхом —
„И в Риме он, меча размахом,
„Младенцу трон соорудит!

„Блюстители громов, над мертвыми странами
„Парят его орлы с широкими крылами!
„Он устрашил конклав; он изумил Диван!
„К победным знаменам, в трудах неимоверных,
„Он приковал луну неверных —
„И крест твой, северный Иван!“

„Свирепый мемелюк, зингари полудикой,
„И доблестный сармат с сверкающею пикой
„Имеют все один торжественный закон,
„И дружно, за лучем звезды его приветной
„Течет народов безответной,
„Необозримый легион, —
„Рука его грозит униженному миру;
„Он воину дает с улыкою порфиру —
„И ждут его лица собрания царей;
„Лишь только б он сбирал насильственные дани,
„И мог заснуть на поле брани,
„Как рыболов среди сетей!

„И как же он вознес дворец империальной!
„О нет, там никогда, как в сфере идеальной,
„Перун не загремит в блистании лучей!
„Давно уж попрана гроза его пятою;

„И чтоб шуметь над головою,
„То вновь подняться должно ей!“

IV

И страшно поднялась! — С обрушенного трона
Скатилась, зазвенев, блестящая корона;
Цари сказали: он тиран!
Рассеялся туман великого обмана —
И твердию землий под стражу океана
Был отдан грозный великан!



А. И. ПОЛЕЖАЕВ В ГРОБУ
Акварель неизвестного художника
Исторический Музей, Москва

О как пренебрегал он жизнью на Елене.
Когда по вечерам один в своей арене
Встречал он солнечный закат;
Бродил среди песков, печальный и угрюмой,
Пока не разлучал с таинственною думой
Его Британии солдат.

Снедаемый тоской, с улыбкою презренья
Он слышал вокруг себя хулы и обвинения
Освободившихся рабов;
Союзная вражда народов угнетенных

На мрачную главу, в отзывах повторенных
Звала *проклятия* веков.

V

Укоризны

„Анафема! Позор! Добыча поношенья!
„Пусть небо и земля разят без замедленья!
„Свершилось, наконец — обрушился Колосс!
„Пади же на него, свирепого злодея,
„Вся кровь, которой, не жалея,
„Он проливал с реками слез.
„Пусть с именем его — от Волги, Тибра, Сены,
„От грозных пирамид, Алгамбры и Винсены,
„От Яффы и Кремля, долин и берегов,
„Свидетелей побед, величия и славы —
„Несется и гремит, протяжный, величавый.
„Гул укоризны мертвецов!

„Пусть видит он всегда закланные им жертвы!
„Восставши из могил, унылый, полумертвый,
„Пусть легион теней, свиреп, как самый ад,
„В дыму, в огне, в цепях, в неволе изнуренный,
„Представит между скал Елены изумленной
«Отступнику людей — живой Иосафат.

„Пусть вживе он умрет; пусть вечно умирает,
„Пусть гордый исполин и плачет и страдает!
„Тяжелая рука тюремных сторожей
„Холодной цепию ту руку оковала,
„Которая еще недавно преклоняла
„Главы венчанные царей!

„Он думал, оглушив победами свободу,
„Казаться божеством великому народу,
„Но пламенник его всевышним погашен,
„И, Рима и Петра соперник нечестивой,
„Увидел пред собой в тоске красноречивой
„Лишь горсть земли, где ляжет он!

„И гробу на скале предшествует забвенье,
„И царский катафалк, его приготовленье,
„В священном Сен-Дени чела не вознесет;
„Там *призраки* царей витают в час урочный,
„И никогда во тьме холодной и полночной
„Тень наглая его — пред ними не мелькнет!

VI

Как горек выпитый фиал! И как ужасно
Нас мучит иногда сон дивной и прекрасной!
Младая жизнь цветет надеждой золотой!

А после — трепет, страх душою овладеют,
Когда пред нею засветлеют
Чертоги вечности святой!

———

Так точно, если вы завистливое око
Вперите иногда в верхи горы высокой,
Возникшей из земли, в величии немом;
В леса ее, как плащ висящие над бездной,
И в облака, венок надзвездной,
Над голубым ее челом.

———

Взойдите на нее! — Лазурное ли небо
Узрите вы тогда!... О, нет! Покров Эреба!
Расстанется гора с одеждою цветной:
Она — седой вертеп, где, низвергая сосны,
И гром, и вихрь молниеносный
Играют с мутною волной!

VII

Вот образ славы! Лучезарна,
Как призма яркая, она,
Но — и как зеркало коварна,
И очистительно-страшна.
То исполин, то без эгиды
Он поле чести и обиды
Прошел с великим торжеством;
Он ждет истории двуличной:
Сперва — он славой был обычной,
Потом — мечтами о былом.

———

И на скалах святой Елены —
Иль в Корсике во тьме ночей,
Завидя путник устрашенный
Зиянье молнийных лучей —
Всегда об нем воспоминает...
И видит: будто он скрещает
Уныло руки на груди —
И воцарился в буре грозной,
Как будто в битве смертоносной
В свои щастливейшие дни!

———

Он, царство потеряв, имеет две отчизны:
Достойны ли они хвалы иль укоризны —
Не знаем мы! — Одной прославлен Аннибал;
Другою овладел непобедимый Васко —
И именем его, как будто дивной сказкой,
Весь мир детей своих стращал.

———

Так бомба иногда, свершая путь суровый.
Чертит на небесах свой радиус багровый;
Трепещет и дрожит над крепкою стеной —

И, наконец, как вран с железными когтями,
Над нею, размахнув пушистыми крылами,
Шумит и падает смертельною стрелой,
И долго черный зев мортиры безобразной,
Дымяся, издает свой гул однообразной,
И бомбы роковой стремительный полет,
Как бурный вихрь в земной утробе —
Как бледный свет в печальном гробе,
Зажжется, вспыхнет и умрет!

8

ВИДЕНИЕ

I

Внемлите вы, о поколенья,
О чада жалкие земли,—
Что в миг чудесный вдохновенья
Пророки мудрые рекли:
„Когда угаснет для вселенной
Маститый век, обремененный
Позором, славой иль стыдом,
Тогда с ответом он предстанет
Перед того, который грянет
Великим, праведным судом!"
Узнайте ж, чада заблужденья,
Добыча гроба и червей,
Что мне открыли сновиденья,
Послы неведомых властей:
То было в царстве бесконечном,
Где, потонув в блаженстве вечном,
Горит без солнца яркий день;
Где разлилась в начале мира
Зари румяная порфира
И где мертва ночная тень.
Боготворя вину созданья,
Святые сонмы с облаков
Взирали полные вниманья
На тайный угол трех углов;
И трона, где почиют громы,
Крылатым ангелом ведомый,
Предстал внезапно дух седой —
И ангел с светлым покрывалом,
Перед державным трибуналом
Стоял с поникшею главой.
На небесах и в безднах черных
Тогда услышан дивный глас —
Он самый ад в цепях позорных
До основания потряс;
И серафимов колесницы,
Блестя очами, как зарницы
На перламутровой оси —
И колесо в лучах огнистых;
И крылья в радугах волнистых,
Все стало вдруг на небеси.

Голос

„Семнадцать раз оборотилась
„Страница книги вековой;
„Моя божественная милость
„Иль казнь — удел твой роковой!
„Смотри: пред этими весами
„Нагой с едиными делами
„Ты предстаешь теперь, о Век!
„Приблизься, с славой иль позором,
„Ответствуй мне,— перед которым
„Ничто и ты, о человек!

Век

„Я все в мечтаниях высоких
„Соединил и разделил;
„Я в изысканиях глубоких
„Уму природу подчинил;
„Я был судья твой самовластной.

Голос

„О призрак жалкой и несчастной!
„Остановись! Ты ужаснешь
„Моих святых хулой надменной;
„Ты в бытии моем презренной
„Здесь сомневаться не дерзнешь!“
„Не ты ли, бед исполнив меру,
„Уставы мудрые поправ,
„Отверг: меня, закон и веру —
„Опору нравов и держав;
„Не ты ль, неистовая злоба,
„Пределы смерти, тайны гроба
„В безумстве диком возмутил?
„И осквернил потом без страха
„Останки царственного праха?

Век

„О боже! день твой наступил!

Голос

„Так плачь, о Век! сперва несмелый
„Ты был загадкой для людей —
„Потом — отступник поседелый
„Потом — убийца и злодей!
„Был царь с прекрасною царицей;
„Я их любил; моей десницей
„Им диадема вручена;
„Скажи, что сделал ты с святою,
„Благославенною четою?

Век

„Я вижу, бог мой! — здесь она!

Голос

„Да! Наконец тебя объемлет
„Священный ужас!— это я!

„Владыка твой, который внемлет
„Мольбам и стону бытия,
„Который шлет и воздаянье,
„И смерть, и жизнь, и наказанье
„Одною молнией очей!
„Мое дыханье гасит пламень
„И зажигает хладный камень,
„Как метеор во тьме ночей!
„Да истребит тебя забвенье!..

Век

„Господь, помилуй! Вечный бог,
„Даруй проклятому прощенье!

Голос

„Я приговор тебе изрек!

Век

„Так век грядущих поколений
„Меня от тяжких преступлений
„Освободит рекою зла?“

Тут ангел мира и надежды
Сокрыл божественные вежды
Под сень лазурного крыла.

Голос

„Иди! Я пропасти ревущей
„Бездонный зев тебе открыл —
„И знай, проклятый — Век грядущий
„Тебя родясь уж обвинил!“
И будто ропот урагана
Над черной бездной океана,
Его преследовал тогда
Громовый голос беспощадный,
И Век преступный, безотрадный
Скатился в вечность навсегда!“

ДОСТОЕВСКИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КРУГИ 1870-х ГОДОВ

Статья Леонида Гроссмана

I

Достоевский дважды приобщался к ходу современной политики: в начале и в конце своего литературного пути. Если в 40-е годы он принимает заметное участие в кружках русских фурьеристов и даже оказывается замешанным в революционную пропаганду петрашевцев, его ранняя оппозиционность не успевает проявиться в действии и сравнительно быстро обрывается апрельским арестом 1849 г. Но в последнюю эпоху своей биографии Достоевский входит в среду государственных деятелей царской России и в согласии с общим направлением петербургских правительственных кругов ведет свою публицистику и заостряет идеологически свои художественные произведения. В беседах с представителями династии, в общении с министрами, в очередных выпусках „Дневника писателя“, наконец в своих общественных романах Достоевский становится своеобразной и крупной политической силой: активным деятелям момента он вырабатывает общие философские идеи, во имя которых возможно проведение той или иной практической меры. Под деловые задачи текущей государственности он подводит широкие исторические принципы и обобщающие политические гипотезы о всеславянском единении, о призвании русских в Азии и на Босфоре, о святости войны, о цивилизаторской миссии России на Ближнем Востоке. Он как бы вменяет себе в задание привести отвлеченную мысль на службу царизму и укрепить его верховное влияние своим авторитетным словом знаменитого писателя. Это та особая „политика идей“, которая часто как бы парит над фактами и делами, не вникая в детали и не занимаясь проблемами осуществлений, но обобщая патриотические предания и маскируя исторической философией программу и практику правящих кругов.

Свойственная биографии Достоевского контрастность эпох и моментов с особенной силой сказалась под конец его жизненного пути. Участник социалистического кружка 40-х годов, где обсуждались вопросы о цареубийстве, об истреблении всей царской фамилии и всего высшего правительства, Достоевский в 70-е годы входит в придворные круги и находится в близких отношениях с виднейшими представителями царствующего дома. Мало известный эпизод его духовного руководительства младшими великими князьями, его знакомство с братом царя генерал-адмиралом Константином Николаевичем, его дружба с молодым Константином Романовым и наконец непосредственное общение с наследником престола и „государыней-цесаревной“ завершают целую полосу его идейных и личных сближений с такими деятелями эпохи Александра II, как К. П. Победоносцев, Тертий Филиппов и М. Н. Катков. В третьем поколении царизм, приговоривший в 1849 г. Достоевского к расстрелу и каторге, не только снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его в степень выразителя своих осново-

положных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сберечь для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов.

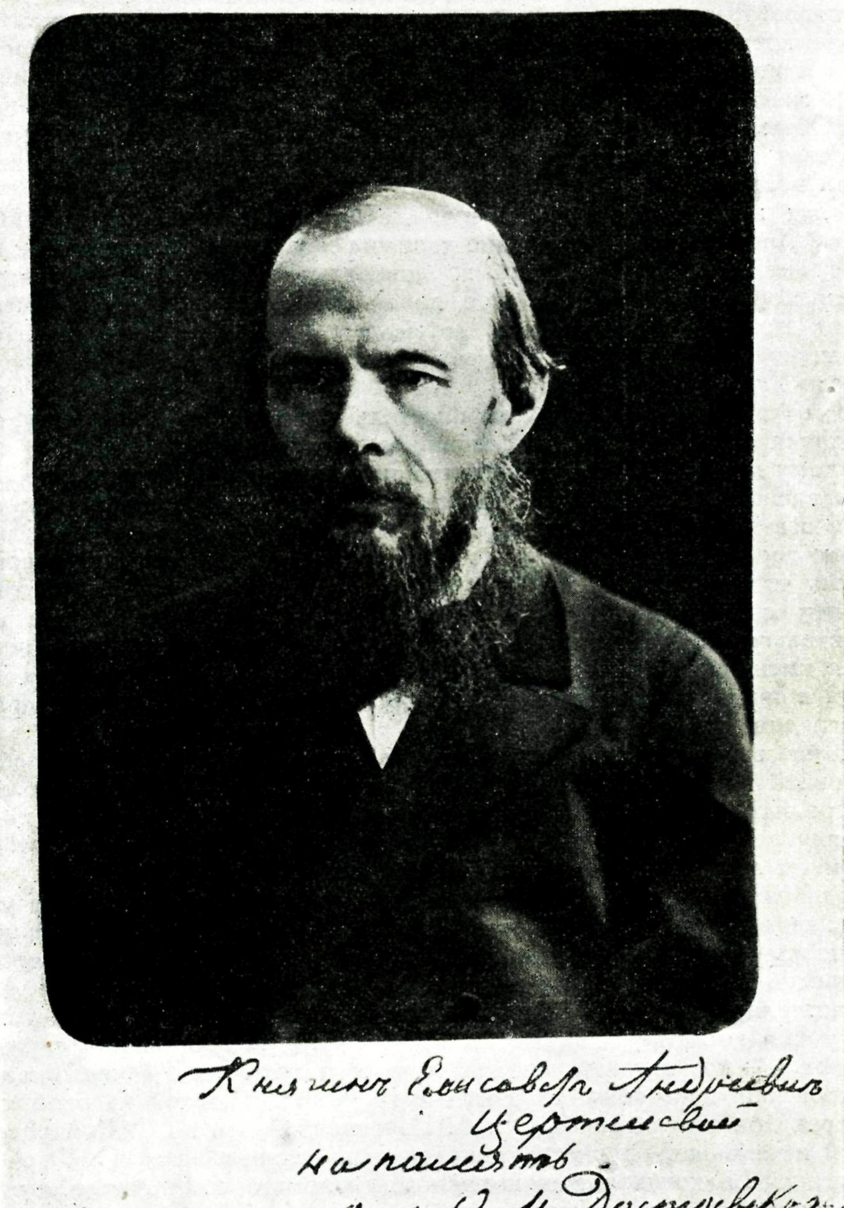
Недаром на другое утро после смерти Достоевского, 29 января 1881 г., наследник пишет К. П. Победоносцеву: „... очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря и положительно никто его не заменит". Имеется в виду конечно не литература, которою „цесаревич" интересовался весьма мало, а высшая государственная политика, к которой вплотную приблизился в своей публицистике только что скончавшийся писатель. И если бы Достоевский не умер за месяц до вступления на престол Александра III, мы вероятно увидели бы его в 80-е годы открытым соратником наступающего самодержавия, тревожно ищущего после потрясения 1 марта новых прочных основ для укрепления своей зашатавшейся мощи.

Близость к верховной власти широко раскрывает перед Достоевским и замкнутые круги столичной аристократии. Никогда не принадлежавший ни по своему происхождению, ни по профессии, ни по сложившемуся быту к высшему дворянству, Достоевский под конец жизни преимущественно вращается в этом кругу, стремясь стать выразителем его социально-политических воззрений. В качестве редактора „Гражданина" он сближается с рядом крупных правительственных деятелей, сотрудничающих в органе Мещерского и участвующих в политических салонах столицы. Отдел „Гражданина" — „Еженедельная хроника", являясь преимущественно обзором великосветской и правительственной жизни в духе известных обозрений французской газеты „Фигаро", в свою очередь приближал Достоевского к высокопоставленному Петербургу. Здесь постоянно назывались имена представителей этого мира, среди которых мы встречаем ряд фамилий будущих титулованных корреспонденток Достоевского.

Если в начале 70-х годов Достоевский сближается с государственными публицистами, конец десятилетия ознаменован его непосредственным общением с высшими представителями власти и знати. Верный своим сложившимся политическим убеждениям и принятой им в последнюю эпоху общественной программе, Достоевский сближается в свои последние годы с обширными слоями петербургского света, сословные и государственные интересы которого он считает себя призванным защищать. Этим как бы завершается издавна намечавшаяся тенденция: еще в 1860 г. он составлял своему приятелю барону Врангелю для собрания дворян Петербургской губернии блестящую речь о вольностях и правах дворянства. В 1869 г. в письме к Страхову он выражает свое восхищение новой драмой, в которой показана „сановитость боярская безо всякой карикатуры" и развернута картина русского „джентльменства" и московского „grand monde'a" XVII в. „в высшей и правдивейшей степени". И в полном согласии с этими воззрениями он в планах „Бесов" намечает образ одного из главных положительных героев как „новую форму боярина".

Такова одна из господствующих социальных симпатий Достоевского после 40-х годов.

Характерно, что сообщая родным о своем предстоящем браке, он, вопреки фактам, заявляет, что будущий тесть его „внук французского эмигранта в первую революцию, дворянина, приехавшего в Россию" и что сыновья этого потомка легитимистов служат в гвардии. Когда под конец жизни один из его собеседников заявил ему, что Мещерский смешон со своими дворянскими затеями, Достоевский перебил его: „Разве вы не



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография 1880-х гг. с дарственной надписью кн. Е. Цертелевой

Музей Государственного Академического Большого Театра, Москва

находите необходимым собрать в какую-нибудь организацию лучших людей?“ И сам он в это время уже состоит видным членом союза, объединившего славянофильских представителей правительственного и военного мира с правыми кругами журналистики и науки. Это — Славянское благотворительное общество, возникшее из старинного Московского комитета, который стремился противопоставить силы русской государственности и церковности западным организациям латино-иезуитской пропаганды между славянами. К концу 70-х годов Достоевский — вице-президент Общества; он составляет адрес царю к его 25-летию, он делегируется в Москву на открытие памятника Пушкину. Он признан выразителем мысли всего объединения [1].

И как многие случайные и спорные представители господствующего класса, Достоевский чрезвычайно дорожил своей принадлежностью к нему; у нас нет никаких оснований не доверять свидетельству его дочери: „Отец мой высоко ставил свое дворянское звание, и перед смертью просил мою мать внести нас, детей, в ту же книгу, что ею и было исполнено“ (речь идет о книге московского дворянства, в которую был записан Достоевский).

Так отчетливо определял сам писатель свою классовую природу, словно отводя от себя будущую тенденцию исследователей относить его к „мелкому мещанству“. И действительно, сын мелкопоместного дворянина, владевшего именьицем в Тульской губернии, Достоевский и сам оставался всю свою жизнь бедным дворянином, тоскующим в капиталистическом городе по усадебному быту, страстно мечтающим о большом поместьи, чтоб выйти из материального и сословного упадка и слиться наконец с крупным дворянством. К концу жизни цель эта была им в значительной степени достигнута. Он умирает среди забот о приобретении имения, накануне получения по наследству земельного владения, войдя в придворные круги и лично общаясь с представителями царствующего дома.

Но все это уже не в состоянии изменить его прочно установившейся сословной психологии и социального характера. Несмотря на столь успешное материальное и общественное восхождение, Достоевский по своему внутреннему облику остается до конца „бедным рыцарем“, убогим потомком литовских маршалов, мелким российским дворянином.

Под конец жизни выраженное сословное самосознание писателя заметно сказывается на его личных связях. Сравнительно мало общаясь с литературным Петербургом конца 70-х годов, Достоевский преимущественно вращается в эту эпоху в кругах петербургской знати, весьма сочувственно принимающей знаменитого романиста в свою неприступную среду. Великосветские верхи столицы, круг придворной или служилой олигархии — вот человеческое окружение его старости. В конце 70-х годов Достоевский постоянно общается с гр. С. А. Толстой (вдовой поэта Алексея Константиновича), с Е. А. Нарышкиной, гр. А. Е. Комаровской, женой начальника Главного управления по делам печати Ю. Ф. Абаза, с княгиней Волконской, женою видного дипломата С. П. Хитрово, с бывшим попечителем Виленского учебного округа И. П. Корниловым, со славянофильствующим генералом Черняевым, будущим министром финансов И. А. Вышнеградским, дочерью дворцового архитектора Е. А. Штакеншнейдер, с председательницей Георгиевской общины графиней Е. А. Гейден, председательницей Общества ночлежных приютов Ю. Д. Засецкой и пр. Некоторые либеральные знакомства допускаются лишь в том же кругу, как например с А. П. Философовой или А. Ф. Кони.

Так создавался в последние годы его жизни особый „Петербург Достоевского“, уже ничем не напоминающий нищие кварталы, отображенные в его ранних повестях и первом большом романе. Произошла резкая перестановка декораций и в плане его политической жизни. Скромная обстановка его молодых выступлений в бедных кварталах столицы сменилась теперь парадным фоном царской резиденции. Покосившийся деревянный домик в Старой Коломне с чадящим ночником и разодранным диваном, где учился социализму и проповедывал молодой Достоевский, уступил место залам Мраморного дворца и приемным палатам Аничкова и Зимнего. Последняя глава биографии Достоевского

РАСПИСКА КН. В. П. МЕЩЕРСКОГО, СВЯЗАННАЯ С УЧАСТИЕМ ДОСТОЕВСКОГО В «ГРАЖДАНИНЕ»

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

приобретает от этого столь несвойственный всей его бродячей, каторжной и трудовой жизни пышный и торжественный колорит, что сам писатель скрывал от своей исконной литературной среды этот неожиданный поворот судьбы, приведший его от каторжных и солдатских казарм, игорных домов и редакций в гостиные Растрелли и Ринальди, где певцу униженных и оскорбленных благосклонно внимали теперь высшие представители династического и сановного мира империи.

II

Этот социальный фон последнего периода биографии Достоевского не остается безразличным для его литературной деятельности. В 70-е годы он открыто выступает с поднятым забралом бойца за сильную государственную власть. Наступает период его заметного участия в политической жизни страны. Редактирование „Гражданина“, систематическое ведение единоличного издания, дающего отклик на все волнующие вопросы внутренней и зарубежной жизни, личное общение с виднейшими руководителями правительственного курса, наконец художественная пропаганда руководящих государственных идей в своих романах, — все это ставит его в исключительно благоприятные условия для воздействия на

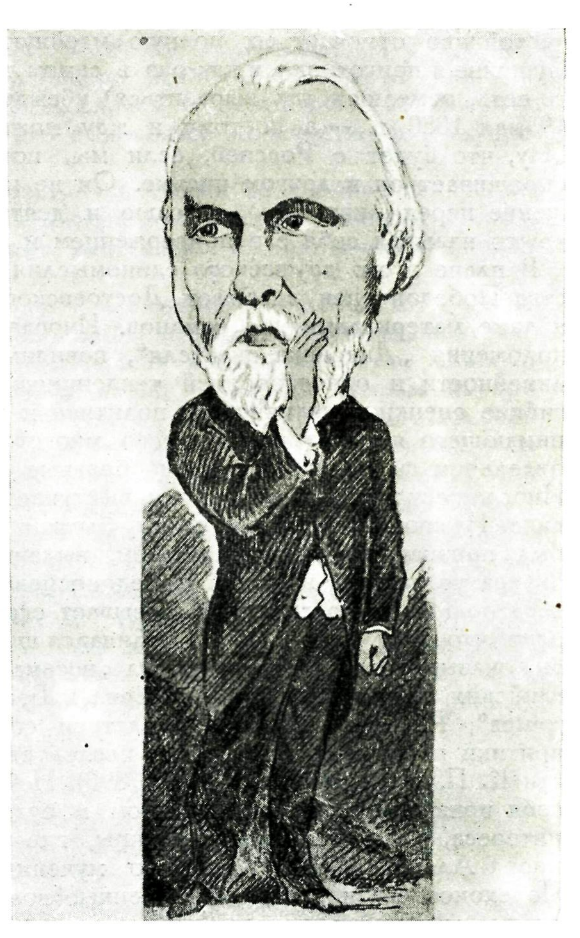
общественное умонастроение. В монархической России, где государственная деятельность была доступна лишь тесному кругу царской семьи и ее личных друзей, автору „Дневника писателя“ удалось создать себе настоящую политическую трибуну.

С подлинным чутьем общественного деятеля Достоевский в своих выступлениях ищет единомышленников и влечется к союзникам. Пятницы Петрашевского и редакции полуправительственных изданий 70-х годов — вот идейные очаги двух эпох его политической биографии. Но если на заре его литературной деятельности идейным соратником, а отчасти и политическим руководителем для него явился „первый русский коммунист“ Спешнёв, на закате аналогичную миссию выполнял знаменитый законовед и придворный педагог Константин Петрович Победоносцев.

В качестве государственного деятеля, еще далеко не достигшего в то время высших постов, будущий прокурор Синода весьма считался с публицистом и редактором „Гражданина“ Достоевским. В эпоху возникновения их дружбы знаменитый впоследствии руководитель верховной политики, состоявший до 1872 г. в звании сенатора, только что был назначен членом Государственного совета. Как преподаватель законоведения великим князьям он уже пользовался признанием при дворе, хотя Александр II и не любил его „за ханжество“. Как известно, подлинного влияния и власти Победоносцев достиг только в следующее царствование, но к этой цели он стремился издавна, скрыто и упорно. Союз с крупным писателем, примкнувшим к правительственному курсу, мог во многом привлечь тончайшего политического комбинатора, втайне претендовавшего на министерские посты. Уже летом 1873 г. Победоносцев активно помогает Достоевскому составлять выпуски „Гражданина“, „работает с ним вместе“, стремится облегчить ему трудность редакторского дела. Это сотрудничество представляет тем больший интерес, что на почве редакционно-журнальных взаимоотношений возникает близость, переходящая вскоре в настоящую дружбу на основе идейного единомыслия и в целях совместного политического влияния.

Основная идея Победоносцева о создании сильной монархической России путем восстановления допетровской церковности в русской жизни была родственна славянофильским или „почвенническим“ взглядам Достоевского. На этой основе они легко заключили союз: „Культуры нет у нас, дорогой Константин Петрович, а нет через нигилиста Петра Великого“, пишет Победоносцеву Достоевский в 1879 г., выражая одно из своих давнишних воззрений, мелькающее в его записных книжках середины 60-х годов. Из их переписки видно, что Победоносцев чрезвычайно зорко следил за публицистической деятельностью Достоевского, сообщал ему материалы для „Дневника писателя“ (например о самоубийстве дочери Герцена), давал обстоятельную оценку почти каждому выпуску его издания, был негласным консультантом писателя по важнейшим вопросам текущей государственной политики, о чем Достоевский с признательностью писал ему: „С будущего же года, уже решил теперь непременно, возобновлю „Дневник писателя“. Тогда опять прибегну к Вам (как прибегал и в оны дни) за указаниями, в коих, верю горячо, мне не откажете“ (19 мая 1880 г.). И Победоносцев, нисколько не отказывая в напутствиях и советах, всячески содействовал успеху „Дневника“ Достоевского. Есть основание предполагать, что большое количество представителей духовенства среди подписчиков „Дневника писателя“, в том числе и высоких иерархов, как наместник Киево-печерской лавры или епископ астраханский и енотаевский, объясняется рекомендацией издания Достоевского святейшим Синодом.

М. Н. КАТКОВ
Карикатура из «Будильника» 1880 г., № 15



Таким же советником писателя Победоносцев выступал и по вопросам творческого порядка. „Своего „Зосиму“ он задумал по моим указаниям,— сообщал обер-прокурор Ив. Аксакову. — Много было между нами задушевных речей“. В письме от 10 марта 1904 г. Победоносцев, выражая свою благодарность А. Г. Достоевской за присылку „Братьев Карамазовых“ в новом издании, пишет: „Помню, когда Федор Михайлович писал эту книгу, в ту пору ходил он ко мне по субботам вечером и с волнением рассказывал новые сцены романа“. Еще подробнее об этом Победоносцев пишет А. Г. Достоевской 24 ноября 1906 г., т. е. за несколько месяцев до смерти. „Немного уже осталось старых друзей его — и я еще доживаю, и думаю, что счастливы многие, не дожившие до нашего времени. Мое знакомство с ним не с ранних годов. — Оно началось с вечеров у Мещерского, а потом сошлись мы ближе, и я помогал ему работать, когда свалился ему на шею Гражданин. А в последние годы часто приходил он ко мне по субботам вечером на беседу — и как теперь помню, как бывало, одушевляясь и бегая по комнате, рассказывал он главы Карамазовых, которых писал тогда“.

Сохранившиеся письма свидетельствуют о том, что Победоносцев не переставал направлять Достоевского даже в процессе его работы над „Братьями Карамазовыми“. И знаменитый романист принимает это руководительство, просит отзывов, разъясняет свои позиции, ищет поддержки, делится своими планами и замыслами. Он не скрывает, что приезжает к Победоносцеву „дух лечить“, ловить „слова напутствия“ и

настойчиво отмечает их полную идейную солидарность: „Мою речь о Пушкине я приготовил, и как-раз в самом крайнем духе моих (наших то-есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, — пишет он в письме от 19 мая 1880 г., — а поэтому и жду может быть некоего поношения". „Ну, что будет с Россией, если мы, последние могикане, умрем?" — спрашивает он в другом письме. Он не перестает выражать свое восхищение перед личностью, мыслью и деятельностью Победоносцева, открыто называя себя его приверженцем и почитателем.

В плане этого дружеского единомыслия и политического руководительства Победоносцев снабжает Достоевского соответственными статьями и даже материалами для романов. Иногда он оспаривает те или иные положения „Дневника писателя", повидимому противопоставляя прямолинейности и односторонней тенденциозности публициста свои более гибкие оценки практического политика и искусного дипломата, воспринимающего явление во всей его многогранности и усматривающего в отдельном факте все его разнообразные возможности и последствия [2]. Иногда государственный деятель выступает и в роли художественного критика. Нужно помнить, что своим ближайшим окружением Победоносцев был признан крупным писателем, выдающимся стилистом и знатоком литератур. Лично знавший Победоносцева французский дипломат и литератор Мельхиор де Вогюэ называет его „русским де Местром" и уверяет, что этот „Торквемада" отличался широкой начитанностью в поэзии: он, оказывается, особенно любил „весьма далеких от православья" английских поэтов Шелли, Суинберна и Броунинга (E. M. de Vogüé. „Les routes", P., 1910, 136). Впоследствии современные правительственные критики посвящали даже целые исследования „литературной деятельности К. П. Победоносцева" (П., 1896). Неудивительно, что сам он считал себя призванным быть советчиком и судьей Достоевского. Не лишено интереса, что знаменитые страницы, где Иван Карамазов развертывает перед Алешей картину детского мученичества, встретили со стороны Победоносцева чисто художественные возражения. Некоторое нагнетание ужасов и напряжение драматических эффектов в монологе Ивана Карамазова вызывает с точки зрения законов художественного самоограничения критическое замечание Победоносцева. В другом месте он правильно отметил безукоризненную художественность „Преступления и наказания", где самые кровавые и жестокие сцены подчинены строгой организованности. Невольно вспоминается тонкий стилист Тихон, отмечающий в „Исповеди Ставрогина" недостаточную эстетичность преступления и погрешности в самом слоге рассказа [3]. В беседах Победоносцева с Достоевским было нечто, напоминающее философские диалоги, диспуты или исповеди его последних романов.

III

Вскоре после их знакомства Победоносцев начинает направлять Достоевского и по трудному пути придворной карьеры. Еще не занимая высших государственных должностей, он уже умело действует за кулисами верховной политики и пользуется несомненным влиянием при дворе наследника. Вскоре это начинает сказываться и на биографии автора „Бесов".

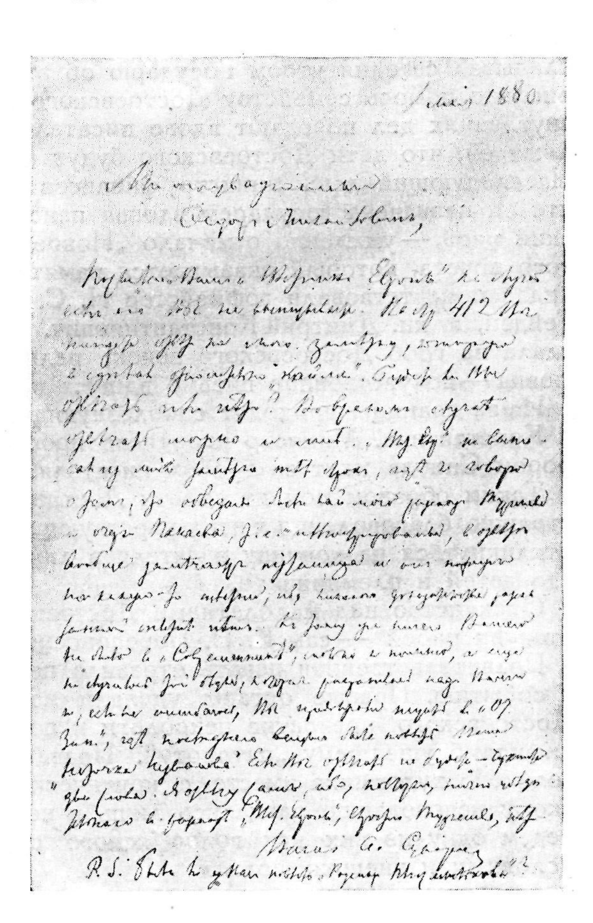
Нужно думать, что Победоносцев, дававший царям ряд советов в области их культурных интересов и отношений, подал мысль Александру II пригласить Достоевского для бесед со своими младшими сыновьями. С начала 1878 г. начались собеседования писателя с вел. князьями Сергеем и Павлом, продолжавшиеся и в последующие годы. Достоевский уже после первой встречи нашел, что „они обладают добрым сердцем

и недюжинным умом“ (что впрочем не нашло подтверждения в будущей деятельности „героя Ходынки“). Вскоре после этого Достоевский, по приглашению брата царя генерал-адмирала Константина Николаевича, выступает в той же роли перед его сыновьями Константином (будущим „К. Р.“) и Дмитрием.

Воспитательное значение этих встреч всячески подчеркивалось свыше. Знаменитый писатель призывался раскрывать великим князьям их роль в современной истории, морально наставлять и политически направлять их.

По-особому слагались отношения с наследником Александром Александровичем, которому Достоевский подносит „Бесы“, „Дневник писателя“, „Братья Карамазовы“. Первые подношения сопровождаются разъяснительными письмами, последний роман подносится лично. Выражение преданности наследнику достигает апогея в 1876 г., когда Достоевский, спрашивая разрешения на поднесение великому князю „Дневника писателя“, пишет ему: „Я давно думал и мечтал про себя о великом счастьи представить скромный труд мой В. И. В., которого я столь люблю и за которого часто и много молюсь и малейшее внимание Ваше, еслиб я имел счастье возбудить его, ценю как величайшую честь себе и как величайшую радость мою... Ваш благодарный, Ваш верный и Вас беспредельно любящий слуга Ваш Ф. Д.“ (Цитируем по черновику.)

Личное знакомство не заставило себя ждать. На одном из закрытых вечеров, где Достоевский читал „Братьев Карамазовых“, присутствовала вел. кн. Мария Федоровна, на которую это чтение произвело сильное впечатление.



ПИСЬМО А. С. СУВОРИНА К ДОСТОЕВСКОМУ

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

Анна Григорьевна сообщает, что в доме графини Менгден 22 декабря 1880 г. Достоевский „был приглашен во внутренние комнаты, по желанию императрицы [4] Марии Федоровны, которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала“.

Сохранились свидетельства, что в декабре 1880 г. „их высочества“ оказали писателю „милостивый прием“: характерно, что „Достоевский, бывший в эту эпоху глубоким монархистом, не пожелал следовать придворному этикету и держал себя во дворце так же, как он имел обыкновение вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, встал, когда нашел, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с царевной и ее супругом, оставил дворцовый зал, как гостиную своих друзей“... Александр III якобы не был этим шокирован и впоследствии отзывался о Достоевском с достаточным уважением.

После этого представления Достоевскому оставалось переступить еще одну только последнюю ступень, чтоб восхождение его по лестнице придворных сближений было завершено: ему оставалось еще знакомство с самим царем. Но через месяц после приема у наследника нестало Достоевского, через два месяца — Александра II. Автор „Дневника писателя“ ушел в самую горячую минуту, среди террористических актов, беспомощных попыток к реформам и великой растерянности верховной власти, словно предчувствующей неизбежность подступавшего 1 марта.

Вообще близость Достоевского к правительственным кругам заметно сказалась в момент его смерти. С утра 29 января, т. е. уже через 12—15 часов после смерти Достоевского, правительством принимается ряд мер, имеющих целью отметить его участие в событии. Наследник сообщает К. П. Победоносцеву на его запрос: „Гр. Лорис-Меликов уже докладывал сегодня утром Государю об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского“. Утром 29 января от министра внутренних дел передают вдове писателя сумму на похороны и объявляют ей, что дети Достоевского будут воспитываться на казенный счет. На следующий день министр финансов извещает А. Г. Достоевскую, что ей назначена государем вдовья пенсия в две тысячи рублей. „Русский царь, — умиленно отмечало „Новое Время“, — становится во главе того почета, который оказывается памяти русского писателя“. На панихидах присутствовали гофмейстер Н. С. Абаза, адъютант граф Н. Ф. Гейден, в. кн. Дмитрий Константинович. Принцесса Ольденбургская прислала на гроб Достоевского венок, великая княгиня Александра Иосифовна — сочувственное письмо вдове.

Из-за границы приходят соболезнующие телеграммы от Сергея, Павла и Константина. Министр народного просвещения вместе с обер-прокурором Синода идут за гробом писателя.

Таким образом момент смерти Достоевского как бы вызывает демонстрацию благоволения к нему царствующей династии, признавшей нужным откликнуться на кончину писателя в лице самого царя, его министров, его детей и племянников.

Опекунство над малолетними Достоевскими принимает на себя „наставник царей“ — сам К. П. Победоносцев [5].

Правительственная печать отразила полностью эти отношения „сфер“ к событию. Правые органы уделили исключительное внимание смерти Достоевского, превратив некрологи и поминальные статьи в сплошной дифирамб ушедшему „патриоту“. Правдивые ноты глубокого признания великого художника вместе с критическим отношением к его политическому исповеданию раздались лишь в немногих оценках умершего. Приведем одну из них как голос ясного суждения среди обычного хора условных и внешних похвал.

А. С. СУВОРИН
Шарж из «Искры» 1909 г.



„Страстная ненависть к лучшим идеям нашего времени, которая так часто проявлялась в произведениях Достоевского, не вызывает в нас обидного чувства. Достоевский по своей глубокой натуре и не мог иначе чувствовать. Чему он верил, он верил со страстью, он весь отдавался своим мыслям; чего он не признавал, то он часто ненавидел. Он был последователен и, раз вышедши на известный путь, мог воротиться с него только после тяжелой, упорной борьбы и нравственной ломки“...[6] Но такого внутреннего кризиса Достоевский в 70-е годы не переживал. Открыто выйдя в начале десятилетия на путь борьбы с „европейнствующими“ течениями русской мысли, он уже до конца не слагал оружия, не сдавал позиций и не знал возврата к политическим идеям и социальным верованиям своей „фурьеристской“ молодости [7].

IV

Таково в основном было человеческое окружение стареющего Достоевского.

Мир „властителей и судей“, к которым он обращал в молодости

гневные инвективы державинского псалма, стал его миром. Он вошел в этот круг и превратился в одну из сильнейших его опор.

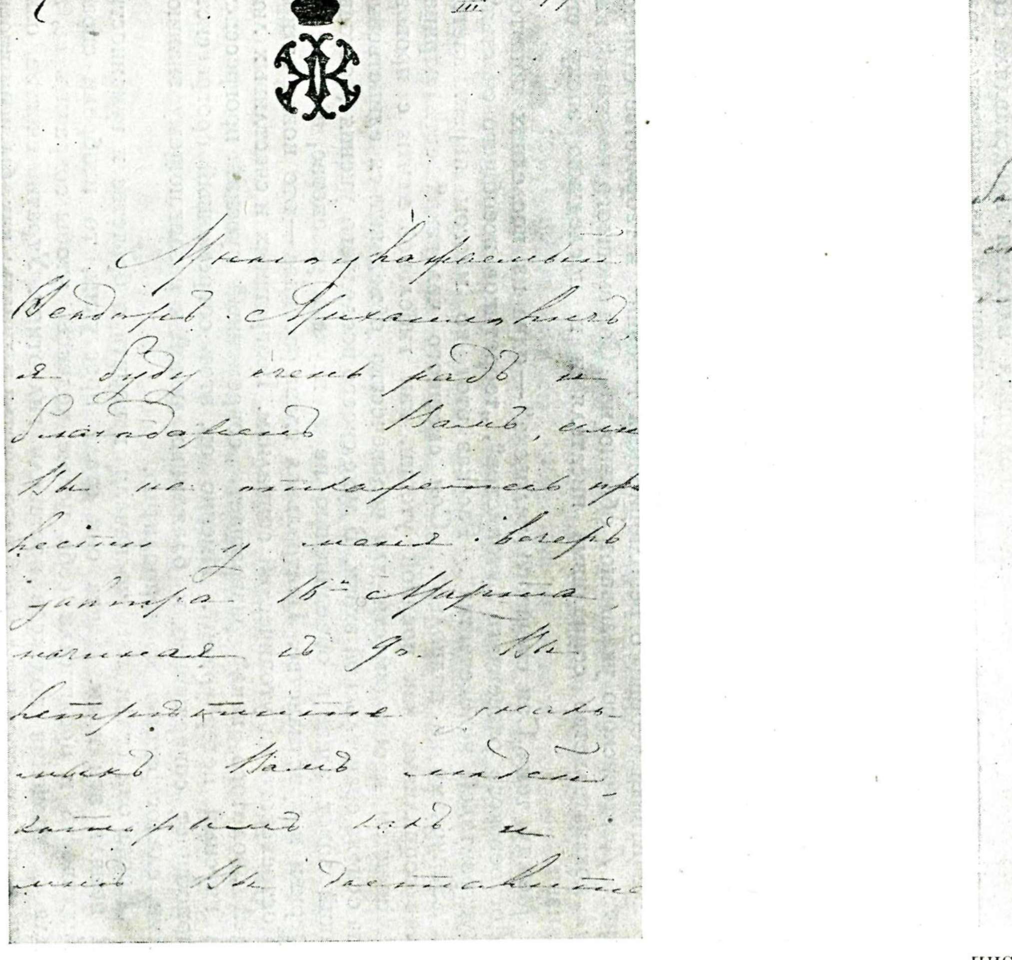
Нужно признать, что российский монархизм на закате царствования Александра II сделал величайшее идеологическое приобретение, завоевав для своего дела перо Достоевского. Он это сделал с максимальной искусностью, не превратив Достоевского в редактора правительственного официоза и сохранив за ним видимость литературной независимости, обеспечивающей столь нужную верхам популярность писателя в широких кругах молодого поколения[8]. В отличие от правительственных публицистов типа Каткова и Мещерского, Достоевский сохранял до конца более свободную позицию правого славянофила, философски идеализирующего царизм и православие. Его реакционная публицистика 70-х годов в целом не перешла еще границ самостоятельного изложения его государственной философии и, к счастью для его памяти, не превратилась в официальное оружие российской императорской системы. В этом направлении на него только возлагались надежды, его исподволь готовили к предстоящей миссии и лишь отчасти испытывали к ней, осторожно направляя его перо публициста и постоянно напоминая ему о благосклонном внимании к его деятельности высочайших особ и их ближайших сподвижников. И если Достоевский к концу жизни и не стал придворным писателем, иные страницы его общественных записей подготовлялись в официальных кругах и инспирировались их вождями.

Вот почему политическая позиция Достоевского в 70-е годы представляет значительный интерес, проливая свет на высшую правительственную механику конца царствования Александра II и одновременно освещая пути мысли и истоки тем воинствующего автора „Дневника писателя".

Не превращая свой единоличный ежемесячник в официозный орган, Достоевский в эту эпоху выступает все же активным реакционным публицистом.

Следует отказаться для последнего периода биографии Достоевского от обычного представления о том, якобы рядом с реакционером в нем уживался революционер, а публицистика его одновременно отливает и черным и красным. Взгляд этот, как известно, был высказан Д. С. Мережковским в его статье „Пророк русской революции", где впрочем имелась в виду только революция 1905 г.: „Достоевский — пророк русской революции, — писал Мережковский, — но, как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств... Он был революцией, которая притворилась реакцией..." Статья Мережковского представляла собою модный в те годы вид субъективного этюда, построенного на положениях, отражающих личное воззрение автора, не подкрепленное объективной системой доказательств. Но мысль Мережковского, эмоционально и импрессионистски выраженная, разрабатывалась и позднейшими исследователями, которые впрочем не подвели под этот парадоксальный тезис достаточной документальной аргументации[9].

Между тем установление политической позиции Достоевского в 70-е годы представляет первостепенный интерес для его биографии, для истории его творчества, для изучения русской литературной, общественной и журнальной мысли 70-х годов. Это — большая и ответственная тема, требующая от исследователя прежде всего фактических доказательств и документального подкрепления своих выводов. Обращение же к источникам здесь неизбежно опрокидывает все заманчивые и обманчивые теории о скрытой революционности стареющего романиста. Достоевского-



15/III 1879

Многоуважаемый Федор Михайлович,

я буду очень рад и благодарен Вам, если Вы не откажетесь провести у меня вечер в пятницу 16-го Марта, начиная с 9 ч. Вы встретите только знакомых Вам людей, которым так же, как и мне, Вы доставите

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

большое удовольствие своим присутствием.

Преданный Вам

Константин

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ (ВТОРАЯ СТРАНИЦА)

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

жертву и Достоевского - заговорщика следует решительно оставить при изображении последнего десятилетия его жизни. Данных к этому нет, а в прикрасах он не нуждается. Постараемся же из уважения к его творческому облику с возможной точностью установить последнюю стадию его политической эволюции.

Исходя из особого „христианского социализма" 40-х годов, Достоевский в дальнейшем стремился строго диференцировать эти два начала своего раннего исповедания и первым победить второе. „Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством, — пишет он в „Дневнике писателя", — и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 1848 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей".

Достоевский и был в молодости приверженцем того „зарождавшегося социализма", который через тридцать лет представлялся ему „розовым и райски нравственным". Но только теперь, на склоне своей жизни, он признает, что эта благодушная идиллия представляла собой по существу „мечтательный вред" и готовила человечеству „мрак и ужас в виде обновления и воскресения его". Теперь „христианский социализм", пленивший его в конце 40-х годов, представляется ему величайшей опасностью и гибельнейшим соблазном именно потому, что, баюкая мысль привычными гуманистическими идеалами, он приводит к безбожию и крови.

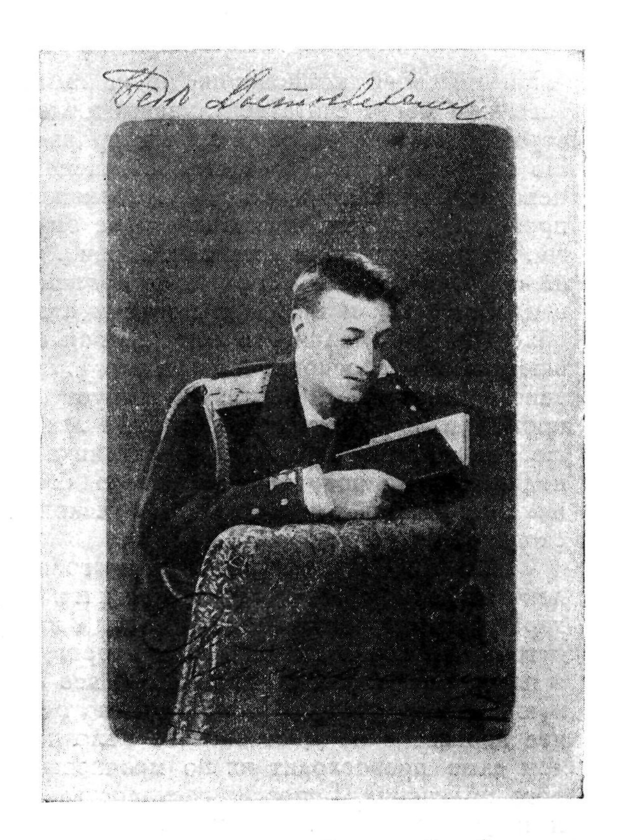
Один из героев „Братьев Карамазовых" замечает, что среди революционеров есть несколько особенных людей: „это в бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты... Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника".

Едва ли этими словами Достоевский не произносит осуждения своему собственному политическому исповеданию 40-х годов.

Защитники теории о революционных течениях в творчестве стареющего Достоевского указывают обычно на „Сон смешного человека" как на доказательство социализма писателя и в последнюю эпоху его жизни.

Между тем „Сон смешного человека" — одна из последних попыток Достоевского развенчать „утопистов", „теоретиков всеобщего счастья", „устроителей человечества". Рассказ этот во многом перекликается с „Записками из подполья". „Сон смешного человека" есть отрицание социализма как вредной утопии, как гибельной мечты с провозглашением необходимости для человечества объединиться единственно на основе евангельской этики. В духе своего последнего учения Достоевский зовет здесь к объединению не в науке и равенстве, а только в церкви и христианстве. Центральная глава рассказа — это новая сатира Достоевского на утопический социализм. Безгрешных и счастливых людей „золотого века" развращает „современный русский прогрессист и гнусный петербуржец". Именно он, этот современный прогрессист, приобщает совершенных и блаженных людей к разлагающему знанию, лжи, сладострастью, кровопролитию.

„Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Утратив счастье, они стали поклоняться идее всеобщего счастья и думать: как бы всем вновь



КОНСТАНТИН РОМАНОВ
Фотография 1880-х гг. с дарственной надписью сыну писателя Ф. Ф. Достоевскому

Институт Русской Литературы, Ленинград

так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела „премудрые" старались поскорее истребить всех „непремудрых" и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего".

Так преломляются в сновидении смешного человека реминисценции ранних увлечений Достоевского фурьеризмом и родственными ему учениями.

В земной рай социализма Достоевский не верит и открыто говорит об этом устами своего героя („...не бывать раю ведь уж это я понимаю"), а выход из тупика истории он намечает теперь только в христианстве, очищенном от всякого социализма: „главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться". Таким поучением завершается рассказ о счастливом человечестве, утратившем свое счастье. Вскоре в „Братьях Карамазовых" этот принцип христианской этики отольется в отчетливую формулу теократии: „Церковь должна заключать сама в себе все государство". Так в последней стадии мировоззрения Достоевского христианство, некогда незаконно приобщенное к учению теоретиков-утопистов, окончательно очищено от всякой примеси социализма. Последний роман Достоевского возвещает об этой полной победе теократического идеала над ранней формацией его утопического миросозерцания.

V

Ни по своей композиции, ни по своим тенденциям „Братья Карамазовы“ не могут считаться лучшим созданием Достоевского, хотя в ряде страниц мастерство романиста и проявляет себя здесь в полной силе. Но великий мастер романа Достоевский вообще не может быть признан непогрешимым. Напротив, своеобразнейшая черта его дарования — это право на ошибку, обеспечивающее ему свободу, непосредственность и горячность его художественной речи. Последний его роман, несмотря на исключительные творческие подъемы, не свободен от перебоев как в идейном, так и в художественном плане. Изучение писателя не может обходить и замалчивать этих сторон его творчества, нередко раскрывающих самые основы его проповеди. Анализ шедевра не исчерпывается панегириками в его честь, но требует пристального рассмотрения всего произведения, не исключая из поля зрения и его патологических тканей. Не ловить ошибки великого художника собираемся мы, а только осветить подлинную природу его последнего создания для правильного понимания творческой и мировоззренческой драмы умирающего Достоевского.

Обширный, многопланный и многоликий роман о карамазовщине далеко не равноценен в своих частях и компонентах. Необычайная острота характеристик, напряженный трагизм изображенных страстей и пороков, отточенная диалектика бесед и споров, гениальная богословская критика в поэме о Великом инквизиторе — все это заслоняет от нас политическую природу романа. Между тем по основной тенденции своей последнее произведение Достоевского мало чем отличается от „Бесов“, а кое-чем даже превосходит их по мрачности и безотрадности своего жесткого обличения. Вопросы государства и церкви, суда и печати, школы и национальностей, словом, почти все основные проблемы внутренней жизни самодержавной России здесь разрешаются в строгом духе официальной программы и нередко воплощаются в традиционные маски романистов-обличителей из „Русского Вестника“. Для правильного понимания „Братьев Карамазовых“ необходимо всмотреться в эту политическую основу всего произведения и ощутить за волнующим уголовным сюжетом, за образами исключительной силы и жизненности, за исповедями горячего сердца и бунтами возмущенной совести идеи и тенденции того правительственного круга, с которым постоянно общался Достоевский в эпоху написания своей последней эпопеи.

В сопроводительных письмах при посылке рукописей романа в „Русский Вестник“ Достоевский раскрывает до конца эти публицистические устремления своего эпоса: он называет бунт Ивана Карамазова „синтезом современного русского анархизма“ (т. е. революции): „Современный отрицатель, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому, но страшному социализму (потому что в нем молодежь) — указание, и кажется энергическое: хлебы, Вавилонская башня (т. е. будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист.

Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилятина, — вы знаете это) — сознательные иезуиты и лгуны не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческою совестью и низведение человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) — человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом „Великого Инквизитора“ на человечество, и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ГОДЪ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ. II-й.

1877.

МАРТЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго
„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ"
НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ А. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногороднихъ", Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ", Никольская, д. Славянскаго Базара.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Соловьева, Жиҗарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева, Юрьева, Александрова, Гагохина и др., въ Казани у Дубровина и въ магазинѣ „Восточная Лира", въ Кіевѣ у Гинтера и Маценкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Гесоваго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ у Аносова, въ Тамбовѣ у Зотова, въ Перми у Иаумова, въ Смоленскѣ у Лаврова, въ Тифлисѣ у Беренштама, въ Чернигонѣ у Даниловскаго, въ Варшавѣ у Истомина, въ Томскѣ у Макушина, въ Саратовѣ у [illegible]

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ»
Первая страница мартовского выпуска 1877 г.

Дашкевичкаго въ Хотинскомъ, въ Острогожскѣ у Новгородова, въ Козловѣ у Муравьева, въ Вильнѣ у Сыркина, въ Нѣжинѣ у Куриленко.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6. Ѳедору Михайловичу Достоевскому.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Еще разъ о томъ что Константинополь, рано ли поздно ли, а долженъ быть нашъ.

Прошлаго года, въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ іюньскомъ № моего „Дневника", я сказалъ, что Константинополь „рано ли, поздно ли долженъ быть нашъ". Тогда было горячее и славное время: подымалась духомъ и сердцемъ вся Россія и народъ шелъ „добровольно" послужить Христу и православію противъ невѣрныхъ, за нашихъ братьевъ по вѣрѣ и крови славянъ. И хоть и называлъ тогдашнюю статью мою „утопическимъ пониманіемъ исторіи",—но самъ я твердо вѣрилъ въ свои слова и не считалъ ихъ утопіей, да и теперь готовъ подтвердить ихъ буквально. Вотъ что я написалъ тогда о Константинополѣ:

„Да, золотой рогъ и Константинополь, все это будетъ наше... И во первыхъ, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дѣйствительно время уже близко, всѣ къ тому признаки. Это выходъ естественный, это, такъ сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрѣло еще время".

Затѣмъ я тогда разъяснилъ мою мысль почему не созрѣло, да и не могло созрѣть прежде время. Еслибъ Петру Великому (писалъ я) и пришла тогда мысль,

вмѣсто основанія Петербурга захватить Константинополь, то, мнѣ кажется, онъ, по нѣкоторомъ размышленіи, оставилъ бы эту мысль тогда же, еслибъ даже и имѣлъ на столько силы чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дѣло это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель Россіи.

Ужь когда въ чухонскомъ Петербургѣ мы не избѣгли вліянія сосѣднихъ нѣмцевъ, хотя и бывшихъ полезными, но за то и весьма парализовавшихъ русское развитіе прежде чѣмъ выяснилась его настоящая дорога, то какъ въ Константинополѣ, огромномъ и своеобразномъ, съ остатками могущественной и древнѣйшей цивилизаціи, могли бы мы избѣгнуть вліянія грековъ, людей несравненно болѣе тонкихъ чѣмъ грубые нѣмцы, людей, имѣющихъ несравненно болѣе общихъ точекъ соприкосновенія съ нами чѣмъ совершенно непохожіе на насъ нѣмцы, людей многочисленныхъ и царедворныхъ, которые тотчасъ же бы окружили тронъ и прежде русскихъ стали бы и учены и образованы, которые и Петра самого очаровали бы въ его слабой струнѣ уже однимъ своимъ знаніемъ и умѣніемъ въ мореходствѣ, а не только его ближайшихъ преемниковъ. Однимъ словомъ, они овладѣли бы Россіей политически, они стащили бы ее немедленно на какую нибудь новую Азіатскую дорогу, на какую нибудь опять замкнутость и ужь, конечно этого не вынесла бы тогдашняя Россія. Ея русская сила и ея національность

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ»
Вторая страница мартовского выпуска 1877 г.

он на самом деле. Вопрос ставится у стены: „Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?“

В одном из этих писем Достоевский прямо заявляет, что считает задачу свою в „Братьях Карамазовых“ (разбитие анархизма) „гражданским подвигом“.

Попытаемся проследить основные этапы публицистической работы Достоевского в его последней хронике.

В эпоху Александра II одной из больных проблем внутренней политики являлся новый суд, вызывавший непрестанную тревогу правительства слишком свободными формами судоговорения и английским принципом общественных судей. В знаменитом совещании высших государственных чинов 8 марта 1881 г., предопределившем направление всей внутренней политики Александра III, Победоносцев в программной речи, подводя свои неутешительные итоги только что закончившемуся царствованию, между прочим заклеймил своим осуждением и новые судебные учреждения, эти „говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными“. Это характерная точка зрения для реакционера 70-х годов, требующего пересмотра реформ начала царствования и в частности яростно нападающего на суд присяжных как на некоторую форму народного представительства в отправлении государственных обязанностей.

Эту точку зрения усваивает себе понемногу и Достоевский. Сторонник судебной реформы в начале 60-х годов, он в 70-е годы выступает решительным противником присяжной адвокатуры и общественных судей. Уже в № 2 „Гражданина“ 1873 г. он возражает против института присяжных (якобы испытывающих „ощущение самовластия“ и одержимых „манией оправдания“) и дискредитирует деятельность адвокатов („лжет против своей совести“ и пр.). К этой теме он возвращается в „Дневнике писателя“ 1876 г., критикуя выступление Спасовича („юная школа изворотливости ума и засушения сердца“) и пр..

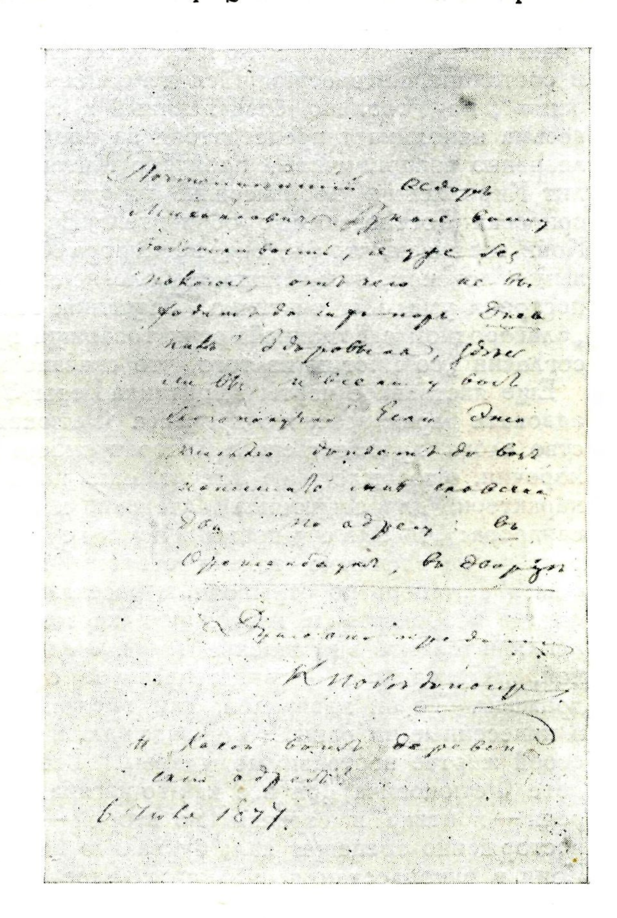
К концу жизни Достоевский успел и художественно оформить эту критику русского суда. В заключительной книге романа, в изображении дела Митеньки Карамазова, Достоевский развертывает в тончайших деталях ироническую картину состязательного процесса по судебным уставам 1864 г. При этом он не идет легким путем изображения кричащих отрицательных явлений, поражающих своим уродством или отсталостью. Все дано в образцовых формах. Раскрывается механизм как бы некоторого совершенного трибунала. Выдающийся адвокат, поражающий умом, эрудицией, красноречием; достойный соперник его в лице талантливого прокурора; образованный и гуманный председатель суда, человек „самых современных идей“; чуткая и внимательная медицинская экспертиза, настроенная всецело в пользу подсудимого, тончайшая система судебного следствия, блещущая остроумием и находчивостью приемов, наконец возбуждение к процессу общественного внимания всей России, всячески повышающее качество этого турнира талантов. И в результате не только преступление остается нераскрытым, но вся эта сложнейшая машина усовершенствованного судопроизводства приводит к нелепой и трагической ошибке: невинного человека признают виновным в отцеубийстве, лишают его „малейшего снисхождения“ и приговаривают к двадцати годам каторжных работ.

Как же это происходит? На чьей стороне вина?

Ответ Достоевского совершенно точен: виною всему — суд присяжных. Эффектная казуистика адвоката, этого „прелюбодея мысли“, для которого всякое явление — палка о двух концах. Но главное — самый

институт присяжных судей, выбранных от населения, вмешательство малосведущих представителей общества в принадлежащую государству и церкви функцию суда и кары над виновными. Кто судил Митю Карамазова? — четыре мелких чиновника, два купца и шесть городских крестьян и мещан. „Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение таким судьям?“ — вполне разделяет это тревожное недоумение публики на карамазовском процессе сам Достоевский. Случайные члены населения, неподготовленные к общественным делам, выполняют верховные и самые ответственные функции государственной власти. Они только и могут, что „прикончить нашего Митеньку“ вместо вынесения ему ожидаемого всеми „неминуемого“ оправдательного приговора. Невольно вспоминаются слова Победоносцева о том, что суд „родит толпу адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, чтобы действовать на массу“; в лице присяжных „в нем действует пестрое смешанное стадо, собираемое или случайно или искусственным подбором из массы, коей недоступно ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки“.

Нужно помнить, что в эпоху написания романа вопрос об общественном суде стоял особенно остро: только что была оправдана присяжными Вера Засулич и политические дела изъяты из ведения суда присяжных. Случай карамазовского процесса — но в обратном смысле — имел место на знаменитом политическом процессе 1878 г.: несмотря на


Почтеннейший Федор
Михайлович! [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Здоровы ли, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] по адресу: в
Ораниенбаум, в [illegible]

[illegible]
К. Победоносцев

[illegible]
[illegible]
6 июля 1877.

ПИСЬМО К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА К ДОСТОЕВСКОМУ
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

„неминуемый“ обвинительный приговор, тщательно подготовленный правительством, присяжные оправдали террористку. Правая печать признала приговор, освободивший Веру Засулич, „чудовищным делом“, и органы Каткова и Мещерского открыли яростную кампанию против суда присяжных. В процессе Митеньки Карамазова Достоевский отражает этот поход правительственной прессы против общественного суда.

Нетрудно заметить, что в изображении пореформенного трибунала Достоевский, присутствовавший среди представителей печати на разборе дела Веры Засулич 31 марта 1878 г., использовал ряд бытовых деталей знаменитого процесса. Дело Дмитрия Карамазова тоже „получило всероссийскую огласку“, „потрясло всех и каждого“: в суде присутствовало„ несколько знатных лиц“, „сановные старички со звездами на фраках“ (на процессе Засулич — канцлер Горчаков, государственный секретарь Сольский, А. Г. Строганов, А. А. Абаза, сенатор Арцимович, петербургский губернатор и несколько членов Государственного совета). Здесь впрочем близость к действительности могла бы вызвать некоторые возражения: вполне понятно присутствие сановников в столичном суде на разборе политического дела о покушении на петербургского градоначальника; но откуда им взяться в глухом захолустном Скотопригоньевске на разборе частно-уголовного случая?

Близки к обстоятельствам процесса 1878 г. и другие черты описания Достоевского. „Особенно много оказалось дам“ (в воспоминаниях А. Ф. Кони сохранился длинный перечень представительниц сановного Петербурга, получивших билеты на процесс); большое количество юристов. Председатель суда на карамазовском деле — „человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей“, имеющий связи и состояние, интересующийся делом как „продуктом наших социальных основ“, но довольно безразличный к личной трагедии его участников, весьма напоминает председателя на процессе Засулич А. Ф. Кони. Болезненно восприимчивый прокурор Митеньки „самолюбивый наш Ипполит Кириллович, произнесший умную и дельную речь“, вероятно был срисован Достоевским с обвинителя Веры Засулич. Из воспоминаний Кони мы знаем, что товарищ прокурора Кессель был угрюмым и строптивым человеком, отличавшимся болезненным самолюбием. Речь свою он построил умело и тактично. Защитник Александров начал с похвалы „благородной сдержанной речи товарища прокурора“ и заявил о своем согласии „со многим из того, что сказано им“.

Еще явственнее черты защитника Веры Засулич Александрова в лице адвоката карамазовского процесса Фетюковича[10]. Выдающееся мастерство слова, художественная литературность речи, высший подъем красноречия, ошеломляющее впечатление на слушателей — все это так же характерно для защитника Митеньки, как отдельные места речи Александрова: „то был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл“; „теперь по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно вообразить и настоящую картину экзекуции“. Речь произвела исключительное впечатление и была единодушно признана блистательной. „Александров, — свидетельствует один из очевидцев, — был неподражаем. То он извивался, как змея и вливал свой смертоносный яд в нанесенные им раны, то он вздымался, как орел, и сверху вниз наносил своей жертве неотразимые удары...“ Все эти приемы уловлены в портрете Фетюковича; „он все как-то изгибался спиной“; в первой половине речи — критика и сарказм, во второй — высокая патетика, от которой восторженно трепещет зал; буквально воспроизводится и вмешательство Кони в рукоплескания публики по адресу Александрова, нарисовавшего

яркими красками картину экзекуции (в романе: „председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда“...).

Осуждение европейски-либерального суда присяжных в последних главах „Карамазовых“ производится во имя положения, высказанного в начале романа: „суд церкви есть суд, единственно вмещающий в себе истину“. Характерно, что философ романа Иван Карамазов выступает



К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

Карикатура из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в город Глупов от высшего начальства поставленных» (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину), 1907 г.

в печати со статьей о церковно-общественном суде. Достоевский затрагивает по этому поводу одну из главных тем реакционного исповедания эпохи.

Краеугольным камнем своей программы Победоносцев считал вопрос о церкви и государстве. Борьбу этих начал он признавал знаменательнейшим явлением своего времени, утверждая, что „церковь как общество верующих не отделяет и не может отделять себя от государства как

общества, соединенного в гражданский союз". Иван Карамазов развивает аналогичное положение, в котором Достоевский сходится с Победоносцевым и Тертием Филипповым: „церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол". Монахи в романе утверждают, что не Рим и не Лютер, а православие обратит государство в церковь. В плане этих обсуждений в роман вводится эпизод, вызвавший целую главу в „Дневнике писателя", весьма одобренную Победоносцевым: о русском солдате Фоме Данилове, умерщвленном азиатами за отказ перейти в магометанство; на эту тему, как известно, развивает свою скептическую „контроверзу" Смердяков.

Во всяком случае заканчивая роман, Достоевский в письме к Победоносцеву просит его обратить особое внимание на сентябрьскую книжку „Русского Вестника", где кончается 4-я и последняя часть „Карамазовых": „в этой Сентябрьской книге будет суд, наши прокуроры и адвокаты — все это выставлено будет в некотором особенном свете". Но и без этого свидетельства мы знаем, что сатира на современный суд в карамазовской „Судебной ошибке" вполне соответствует церковно-юридическим воззрениям знаменитого цивилиста, возглавлявшего с весны 1880 г. святейший Синод.

VI

Наряду с новым судом бдительное внимание власти привлекала и русская либеральная печать. К этому весьма робкому способу создать в России подобие общего мнения Победоносцев относился с величайшей подозрительностью и предвзятым осуждением: „Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени". Любой уличный проходимец „может, имея деньги, основать газету и с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность". Победоносцев особенно нападает на „корреспонденции из разных углов", равносильные анонимным пасквилям, и яростно клеймит „гнусный промысел шантажа", свивающий себе гнездо в недрах современной газеты.

В полном согласии с этими воззрениями правительственной реакции на печать охранительный роман-памфлет создает бродячий тип газетного деятеля, отмеченного всеми указанными свойствами. Образ прогрессивного журналиста, являющего в жизни черты моральной нечистоплотности, бытует в консервативных романах Лескова. Таков уездный учитель Зарницын в „Некуда", посылающий обличительные заметки в катковские „Московские Ведомости", Тишка Кишенский в „На ножах", мелкий газетчик и полицейский сотрудник, открывающий кассу ссуд и участвующий в трех разных газетах противоположного направления, Варнава Препотенский в „Соборянах", посылающий в Петербург „резкие статейки" о жизни своего захолустья и наконец попадающий в столицу, где он становится редактором большого органа. Таков же в „Панургове стаде" Крестовского литератор-провинциал Ардальон Полояров, пишущий статьи „о немецко-татарском деспотизме петербургского царизма" и продающий богатым откупщикам за крупные суммы пасквили, написанные на них. Черты маски однородны: продажность, карьеризм, крайняя неразборчивость в средствах, доходящая до уголовщины, при демонстративном исповедании „прогрессивных идей". Достоевский зачертил мимоходом этот тип в „Идиоте", изобразив здесь боксера Келлера, который помещает в „еженедельной газете из юмористических" (очевидно в „Искре") статью пасквильного и шантажного характера под заглавием „Пролетарии и отпрыски, эпизод из дневных и

Ваше И. Высоч-во

Милостивейший Государь

[illegible]

ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОГО АЛЕКСАНДРУ III В БЫТНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО НАСЛЕДНИКОМ (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЧЕРНОВИКА)

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОГО АЛЕКСАНДРУ III В БЫТНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО НАСЛЕДНИКОМ
(ВТОРАЯ СТРАНИЦА ЧЕРНОВИКА)

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

вседневных грабежей. Прогресс! Реформа! Справедливость!“ Достоевский полностью воспроизводит в романе эту статью, давая в ней сгущенную и резкую пародию на обличительную корреспонденцию 60-х годов.

В „Братьях Карамазовых“ этот тип представлен „семинаристом-карьеристом“ Ракитиным. Это попович, ставший сотрудником столичных изданий. Он посылает в журнал корреспонденцию о процессе Дмитрия Карамазова, охотно играя на прогрессивной теме „застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений“. Он, по замыслу и выполнению Достоевского, оказывается хищником, сводником, торгашом своими мнениями. Сотрудник радикальной прессы, он пишет брошюры, издаваемые епархиальным начальством „с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному“[11]. Сам он излагает Алеше меткую характеристику, данную ему Иваном: „примкну к толстому журналу“, „буду его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком“, „но держа ухо востро, то-есть, в сущности, дружа нашим и вашим“, „пока не выстрою капитальный дом в Петербурге“... Алеша подтверждает, что „это, пожалуй, как есть все и сбудется“.

В программе реакционеров особое внимание уделялось вопросам народного просвещения в целях ограждения подрастающего поколения от „революционной заразы“. Имена соответственных министров — „классика“ Толстого и врага „кухаркиных детей“ Делянова — надолго сохранились в памяти русской интеллигенции. Победоносцев в статьях о народном просвещении пытался оберечь русскую школу от „лукавой диалектики современных просветителей“. Охранительный роман, отвечая на эту задачу царского правительства, вводил в круг своих персонажей учащуюся молодежь (стриженые курсистки, студенты-естественники и пр.). Особую „маску“ представляет здесь гимназист-обличитель, рано приобщившийся к революционной доктрине. В „Панурговом стаде“ гимназист Шишкин бредит „дарованием новых прав и диктатурой над русской землею“... Аналогичная фигура выведена и в „Мареве“ Клюшникова — гимназист, „известный в свете под именем нигилиста Коли“, „дерзко заявляющий почтенным гражданам: „Я вас в ведомостях обличил да еще в воровстве“.

Этому типу соответствует в „Братьях Карамазовых“ мальчик Коля Красоткин, видимо революционер в зародыше, подросток-гимназист, заявляющий о себе „я социалист“, считающий себя знатоком народа, цитирующий Белинского и Вольтера, заявляющий Алеше, что „христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс“... Достоевский изображает его без обычной злобной иронии, но не без тенденции указать на „больное явление“ русской действительности и раннюю зараженность подрастающего поколения гибельными революционными теориями.

Наконец в романе „катковской“ школы обычно выводятся положительные образы русского духовенства, как бы в противовес всем представителям бесовских ратей и „панурговых стад“. Здесь сосредоточивается моральный пафос обличительной сатиры. Евангел („На ножах“), Иосаф („Панургово стадо“), игуменья мать Агния („Некуда“) — вот те опорные пункты, откуда раздаются голоса поучения и проповеди.

В романах Достоевского образы Тихона и Зосимы выполняют ту же композиционную функцию в общей системе изображения новых людей, и недаром часть романа, озаглавленную „Русский инок“, Достоевский считал краеугольным камнем всей эпопеи.

Есть в „Братьях Карамазовых“ один образ, словно вобравший в себя в максимальном напряжении весь запас гневной ненависти автора к разрушителям алтаря и престола. Для окончательного поругания и посрамления идейного врага — материализма, атеизма, космополитизма и теории борьбы и разрушения — все эти мятежные течения, идущие войной на ветхий мир старорусского деспотизма, косности и невежества, воплощены в отвратительной фигуре Смердякова.

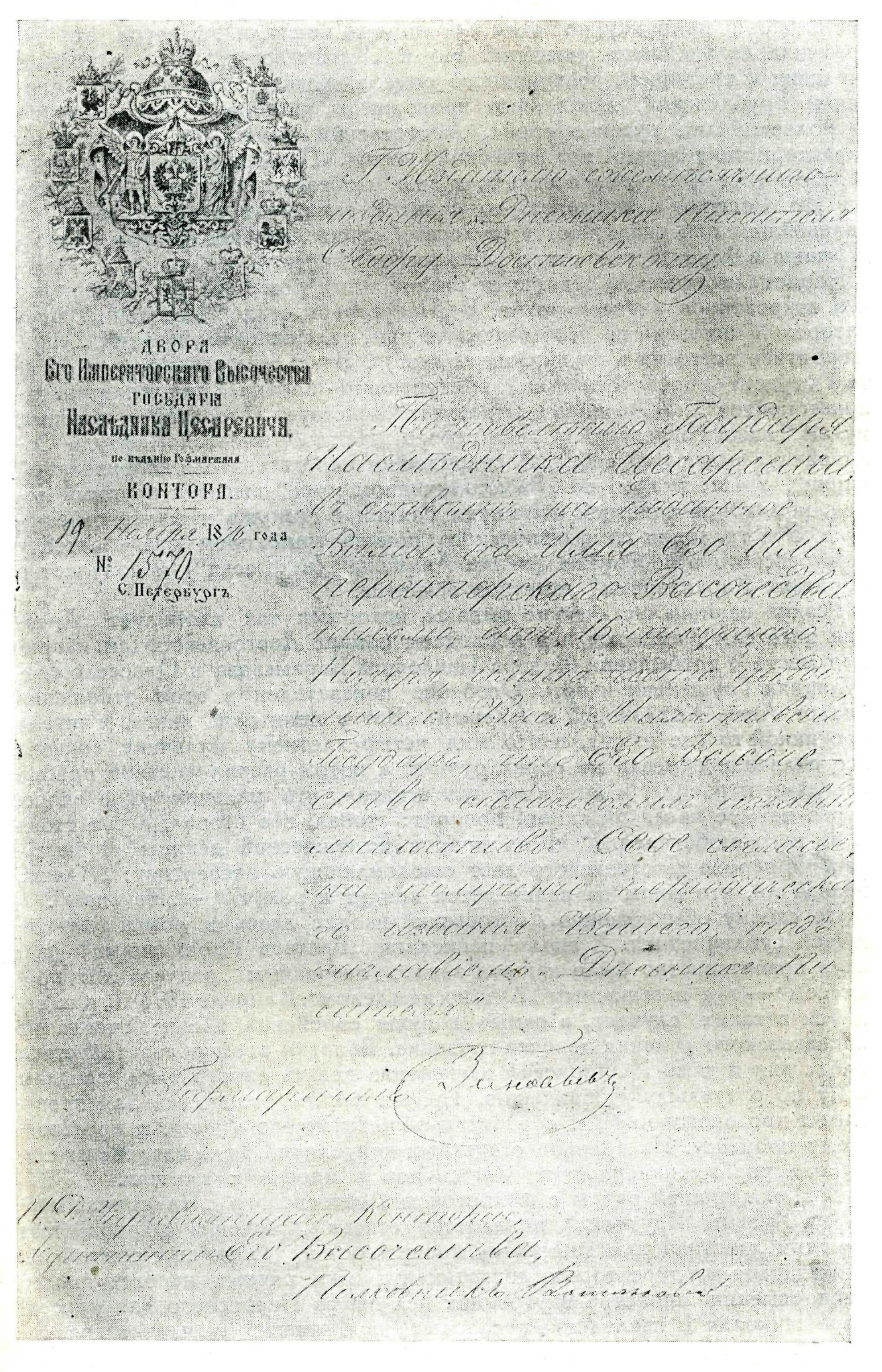
Лакей распутного вольнодумца Федора Павловича Карамазова, сын его от идиотки Лизаветы Смердящей, эпилептик, отцеубийца, моральное чудовище и духовный труп, разлагающийся на глазах читателя, — вот в какой синтетической фигуре олицетворяет Достоевский всех новейших представителей „левого доктринерства“ и „европействующей интеллигенции“. Смердяков представлен в романе крайним западником, ненавидящим царскую Россию и желающим ей погибели. Это — по-своему тончайший аналитик и диалектик, рассекающий своей элементарной, но не лишенной гибкости мыслью все церковно-национальные и государственно-патриотические предания, которые стремится сохранить и сберечь в своем предсмертном романе Достоевский.

VII

Обличение нигилизма шло в „Братьях Карамазовых“ и по национальному признаку — Достоевский был одним из сторонников реакционной легенды, что все социально-революционное зло исходит от еврейства. Несмотря на его осведомленность в социалистической литературе 40-х годов в лице французских по национальности авторов — Фурье, Консидерана, Прудона, Луи Блана, несмотря на его личное участие в кружке Петрашевского, где не было ни одного еврея, вопреки наконец его пристальному вниманию к таким фигурам русской революции, как Герцен, Бакунин, Огарев, Нечаев, Каракозов, Чернышевский, — автор „Бесов“ поддерживал утверждения Мещерских и Сувориных о юдаистической природе социализма в теории и действии. В этом отношении характерно письмо Достоевского к редактору „Гражданина“ В. Ф. Пуцыковичу от 29 августа 1878 г. „о Лассалях, Карлах Марксах“ и пр.

В письме мимоходом названы поляки — главная тема воинствующего шовинизма Каткова. Польский вопрос был одной из наиболее больных и острых тем тогдашнего правительства. После восстания 1863 г. в Западном крае проводится жестокая руссификаторская политика, вызывающая естественное возмущение коренного населения. Русская правофланговая беллетристика вводит в круг своих привычных персонажей шаблонную фигуру героя-поляка, подрывающего основы русской государственности. Лесков выводит в „Некуда“ студента Костана Слободзиньского и старого офицера бывших польских войск Владислава Ярошиньского, который оказывается переодетым иезуитом. В „Панурговом стаде“ Крестовского фигурируют в тех же предательских ролях полковник Пшециньский и ксендз Кунцевич. В „Мареве“ Клюшникова действуют граф Владислав Бронский, провокатор, приветствующий крестьянские восстания и тайно пересылающий оружие в Польшу. Он литографирует для подпольных кружков Фейербаха и состоит на секретной службе у губернатора. Среди студенческой оппозиции здесь выступают товарищи Пшиндишкевич, Джемпиковский, Вшисцинский. Все это карикатурные персонажи традиционного и условного порядка.

Следуя этому канону, Достоевский выводит гротескные фигуры „полячков“ на тризне по Мармеладову и намечает аналогичный образ в „Бесах“. Об этом имеется беглое указание в начале романа: „Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его



ДВОРА
Его Императорского Высочества
ГОСУДАРЯ
Наследника Цесаревича
по ведению Гофмаршала
КОНТОРА.
19 Ноября 1876 года
№ 1570
С. Петербургъ

Г. Издателю-ответственному редактору «Дневника писателя» Федору Достоевскому.

По повелению Государя Наследника Цесаревича, в ответ на письмо Ваше на имя Его Императорского Высочества от 16 текущего Ноября, имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что Его Высочество соизволил изъявить милостивое свое согласие на получение периодического издания Вашего, под заглавием «Дневник писателя».

[illegible] Зиновьевъ

И. Д. [illegible] Конторою Его Высочества,
Полковник [illegible]

ОТНОШЕНИЕ ДВОРЦОВОЙ КОНТОРЫ К ДОСТОЕВСКОМУ
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

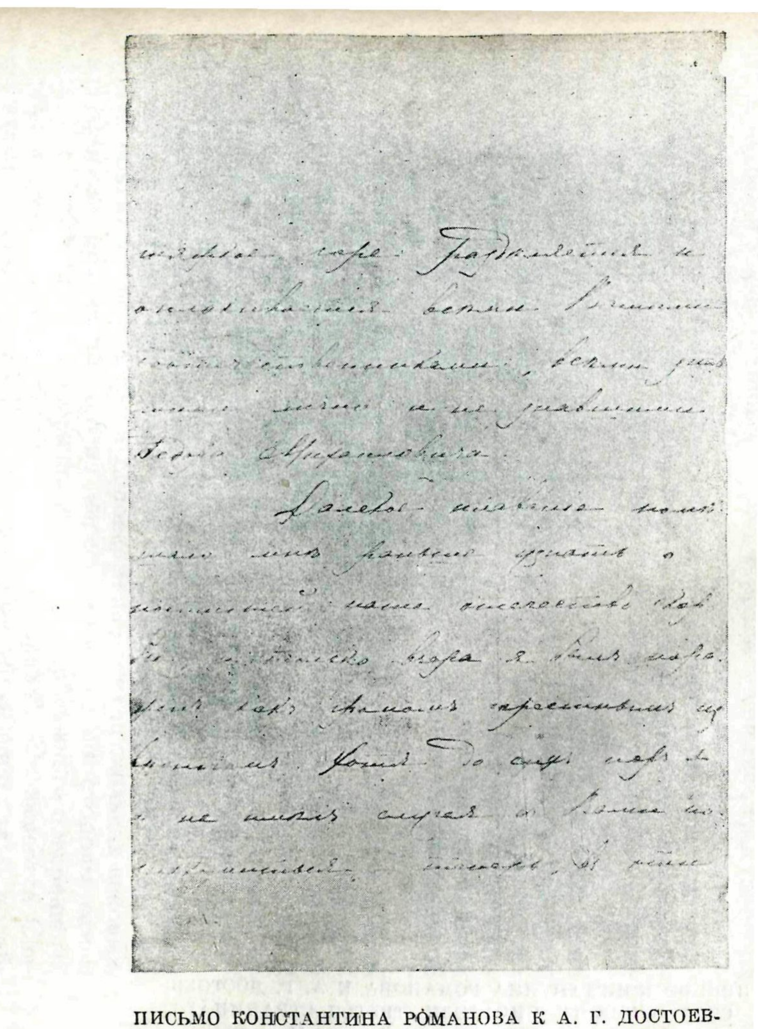
принимали по принципу, но потом и принимать не стали". Фигура эта не получила дальнейшего развития. Но в „Карамазовых", уже в полном согласии с традицией реакционного романа, выведены поляки Муссялович и Врублевский, засаленные проходимцы, намеренно коверкающие на польский лад русские слова. Достоевский мимоходом вносит в их характеристику легкий политический штрих. Паны отказываются поддержать тост Мити за Россию и, в виде любезности, поднимают стаканы „за Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года". В дальнейшим они оказываются шулерами. Эпизодические фигуры, они выдержаны в характерном стиле „катковского" романа.

Националистические тенденции реакционных романистов сказываются и в откровенном антисемитизме. В „Панурговом стаде" выведен „губернаторский чиновник по особым поручениям, маленький черненький Шписс (вероятнее всего из могилевских жидков)". Здесь же фигурирует и богатый студент еврейского типа, выступающий против „беложилетников-аристократов"... У Лескова в „На ножах" действует литератор-ростовщик, иудей Тишка Кишенский. Среди героев „Некуда" имеется Нафтула Соловейчик, выдающий себя „за озлобленного представителя непризнанной нации". У Писемского во „Взбаломученном море" выведен крупный делец, коммерции советник Эммануил Галкин в ермолке и шелковом сюртуке. Эта традиция памфлетического романа мимоходом сказывается у Достоевского в персонаже „жидка Лямшина" (в „Бесах") и получает в „Братьях Карамазовых" заметное развитие.

Резкие националистические выпады, которыми так изобилует „Дневник писателя", имеются и в последнем романе Достоевского (см. например места о пребывании Федора Павловича Карамазова в Одессе, о спекуляциях Грушеньки и пр.). Особенно показателен в этом отношении диалог Лизы Хохлаковой с Алешей: „Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, и потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эк скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался..." И на вопрос истерической девицы любимейший из героев Достоевского дает ошеломляющую экспертизу: „Алеша, правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?" — „Не знаю".

По своему обыкновению Достоевский вводит здесь в роман тему текущей публицистики. В эпоху написания „Братьев Карамазовых" царское правительство было как раз занято очередным „ритуальным процессом" — так называемым „Кутаисским делом". В апреле 1878 г., как водится в таких случаях, в самые кануны еврейской пасхи исчезла из закавказского селения девочка-грузинка. Вопреки всем обстоятельствам следствия и даже медицинской экспертизе девять евреев были преданы суду по ритуальному обвинению. Правая печать оживилась для пропаганды кровавого мифа и обработки общественного мнения к предстоящему процессу. Из архивов секретных канцелярий были извлечены старинные упражнения царских чиновников в кровавых наветах.

В „Гражданине" рядом с фельетоном Достоевского „Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова" появляется статья „Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови (составлено тайным советником Скрипицыным, директором департамента иностранных исповеданий, по распоряжению министра внутренних дел графа Перовского для императора Николая I, наследника-цесаревича, вел. князей и членов гос. совета)", а в одном из следующих номеров „Подробное изложение фактов об убийствах евреями христиан для добывания крови". Продолжением этих публикаций в начале следующего года явилась статья „Жиды-изу-



ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ О СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ О СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ (ВТОРАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

грустныя минуты я не мо-
гу отказать себѣ въ непреодоли-
момъ желаніи выразить Вамъ
все мое глубокое, искреннее, ду-
шевное участіе въ поразившей
Васъ печали. Какъ Русскій вообще,
и какъ знакомый и искренно сер-
дечно любившій Вашего незабвен-
наго мужа я не могу не вы-
сказать Вамъ моего соболезно-
ванія въ Вашемъ душевномъ горѣ,
всего что я теперь чувствую
а этого слова не могутъ пер-

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ О СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ (ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

дать. Христіанство [illegible] вѣ-
[illegible] къ которой я обращаюсь
къ Вамъ въ эти [illegible], тя-
желыя минуты, когда ничто
земное не можетъ дать
Вамъ утѣшенія, и вѣрьте
чистосердечности моихъ чувствъ

Всегда преданный Вамъ

[illegible]
Константинъ

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ О СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ (ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

веры и их защитники. По поводу дела о новом убийстве христианской девочки для добывания крови". Как характеризовала сама редакция, это — „ряд статей, в коих изложены на основании официальных данных ужасающие читателя подробности обо всех убийствах христиан, преимущественно детей, жидами для добывания христианской крови"... („Гражданин" 1879, № 4).

Причины такого усиленного внимания „Гражданина" к этой теме вскоре разъяснились. В начале 1879 г. журнал Мещерского сообщал: „Мы еще не кончили статей по этому вопросу, как уже в Кутаисе назначено к слушанию новое, самое, так сказать, современное, весьма интересное дело в этом роде: несколько жидов обвиняются в убийстве малолетней христианской девочки с целью добывания христианской крови" („Гражданин" 1879, стр. 60).

Все это естественно вызвало широкие общественные отклики и протесты. Недаром адвокат Александров (незадолго перед тем защищавший Веру Засулич) заявил на суде, что Кутаисское дело — первый гласный процесс по обвинению евреев в ритуальных преступлениях и что обязанность судебного деятеля не только защищать подсудимых, но и способствовать разъяснению вопросов, представляющих исключительный общественный интерес.

Против выдвинутых обвинений одновременно раздались энергичные возражения в печати. По словам самого „Гражданина" (1879, стр. 60) „на-днях появилось решительное опровержение этих нескольких вековых, международных обвинений против евреев — уже не со стороны самих евреев, а со стороны г. Спасовича, известного присяжного поверенного, писателя и бывшего профессора уголовного права". Оказывается Спасович заявил в печати: „по своему глубокому убеждению, дела, подобные настоящему, доказывают только непомерную живучесть легенд прошлого времени, как бы нелепы эти легенды ни были". Орган Мещерского ответил знаменитому криминалисту жестокими издевательствами над его адвокатской деятельностью.

В этой тревожной и разгоряченной атмосфере, среди напряженных споров и борьбы за истину, малейшее колебание которой повлекло бы осуждение невинных и может быть неисчислимые кровавые последствия, великий писатель, к которому страстно прислушивались широкие читательские круги, поднялся и произнес свое „не знаю". В религиозно-философском романе о „раннем человеколюбце" он счел возможным использовать злобствующую кампанию „Гражданина". В печатавшихся Мещерским „сведениях об убийстве евреями христиан" автор „Карамазовых" почерпнул материал для своего комментария к Кутаисскому процессу. В статьях „Гражданина" в огромном количестве приводились дикие измышления о еврейских „изуверствах" вроде таких якобы признаний: „одного ребенка я велел привязать к кресту, и он долго жил; другого велел пригвоздить, и он скоро умер" („Гражданин" 1878, № 2—25) и проч. Сведения эти почти буквально повторяет в романе Лиза Хохлакова перед безмолвствующим Алешей.

Приходится отметить, что даже суд оказался в эту трудную минуту выше печати: обе инстанции вынесли всем обвиняемым оправдательные приговоры. В Тифлисской судебной палате прокурор даже отказался поддерживать обвинение. Но „Братья Карамазовы", писавшиеся в этой атмосфере яростного националистического похода правой печати, отчетливо отражают это течение и совершенно недвусмысленно примыкают к нему. Внешне пассивный и по существу момента убийственный ответ Алеши Карамазова на вопрос Лизы звучит в полном согласии с кампанией официозов и поддерживает кровавый миф, наново обработанный

царскими чиновниками и правительственными публицистами в целях обоснования погромной политики царизма.

Таковы были общие тенденции романа. В традициях „Панургова стада“ и „На ножах“ строятся здесь образы, обличающие нигилизм, или возвеличивающие русскую церковность и монархическую государственность; в духе крайней политической реакции трактуются больные и острые темы тогдашней общественности, якобы ведущей страну к разрушению и гибели. Богоборческая философия Ивана Карамазова и вся его критика евангелия, являя высочайшие вершины интеллектуальных бунтов, не могут поколебать прочных позиций политической реакции, глашатаем которой выступает в своем последнем романе Достоевский. Своей жестокой эпопеей многогрешной, но богоспасаемой России умирающий писатель стремится дать новый решительный отпор „бесовским ратям“ очнувшейся революции. Недаром отдельные образы и эпизоды романа обсуждались до написания в кабинете Победоносцева, который с таким пристальным вниманием следил за публикацией „Карамазовых“. Основные выводы предсмертной хроники Достоевского неощутимо охвачены безотрадными поучениями его последнего друга, вкрадчиво излагавшего ему своим витийственным слогом непререкаемые каноны самодержавной программы о беспощадном повороте вспять Российской империи, расшатанной реформами и истощаемой революциями. И кажется грозные выводы синодального обер-прокурора об „омерзительном лабиринте“ российской современности выражает в паническом финале своего обвинения прокурор романа, вызывая перед слушателями образ бешено скачущей тройки, вселяющей омерзение и ужас в сторонящиеся от нее народы.

Во всяком случае не подлежит сомнению, что Достоевский занес отголоски этих бесед в своей последний роман. Осмеяние в „Карамазовых“ прогрессивной печати и общественного суда, вражда к „иноверцам“ и провозглашение теократии высшей формой государственного бытия для России — вот те подводные течения романа, которые в движении и лицах, в драме и образах так выпукло отражали сущность разделяемой его автором официальной программы.

Такова была книга, которую 16 декабря 1880 г. Достоевский лично представил в Аничков дворец в собственные руки его высочества наследника. Направление романа вполне оправдывало такое высокое подношение. По своим политическим установкам это была в полном смысле книга ad usum debphini, особенно же того российского дофина, который через два месяца стал Александром III.

VIII

„Бесы“ писались в эпоху Парижской коммуны. „Братья Карамазовы“ создавались в накаленной атмосфере народовольческого наступления, под выстрелы, взрывы и казни последних лет царствования Александра II.

Политическая программа Достоевского в последний год его жизни отражает возникшие колебания правительственного курса. С большой пристальностью следит он за событиями, готовясь снова приступить к ведению своего „Дневника писателя“. По свидетельству современников, он радовался „замирению“ (т. е. „диктатуре“ Лорис-Меликова).

В праздник 25-летия Александра II, т. е. через несколько дней после объявления нового курса, он был необыкновенно весел; он говорил „Вот увидете, начнется совсем иное“. Покушение на жизнь начальника „верховной комиссии“ его смутило. „Сохрани бог, если повернут на старую дорогу“... Он чрезвычайно интересовался, какими людьми окружает себя Лорис. „Я ему желаю всякого успеха“, повторял он.

Самый монархизм Достоевского приобретает в эту эпоху новый оттенок. Непоколебимый сторонник самодержавия и враг конституции, он в полном согласии с правительственными видами высказывается за патриархальные формы совещания с „землею“; об этом, как известно, он говорит в последнем выпуске „Дневника писателя“: „Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, и они скажут вам правду“. Но это отклонение отнюдь не было уступкой либерализму. В том же выпуске „Дневника писателя“ Достоевский с обычной неприязнью отзывается о „европейских русских“, мечтающих об „увенчании здания“, о „говорильнях“ и пр. Работая над этим последним выпуском „Дневника писателя“ за десять дней до смерти, Достоевский говорит „о земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям“, при чем конституцию он называл „господчиной“ и особенно настаивал на том, что свобода в России установится по особому, не по западному образцу — „без всяких революций, ограничений, договоров“. Сочувствие новому правительственному курсу нисколько не свидетельствовало о внутренних политических „сдвигах“ Достоевского. Диктатура Лорис-Меликова была установлена по мысли реакционнейшего наследника-цесаревича (вскоре Александр III) [12], проект „диктатора“ о привлечении к управлению страной представителей земств и городов был принят и одобрен Александром II; наконец крупнейший публицист монархии Катков горячо поддерживал все мероприятия начальника верховной комиссии. Сочувствие Достоевского к Лорису и его проекту совещания с землею нисколько не выводило „Дневник писателя“ из высочайше одобренного круга правительственных мероприятий. Так хотели при дворе, в этом направлении поддерживали правительство „Московские Ведомости“.

В 1880 г. правительственная партия вынуждена взять либеральный курс, она скрепя сердце высказывается за реформы, за увенчание здания, за привлечение населения к управлению страной. Сам Катков сочувственно приветствует мероприятия Лорис-Меликова, а на пушкинских торжествах в Москве произносит покаянную и примирительную речь с прогрессивными намеками („...все шире и шире будет становиться область, в которой люди разных мнений могут сходиться мирно и даже дружно“)[13].

В атмосфере растущего революционного террора за конституцию высказываются великие князья, влиятельнейшие сановники, вожди охранительной печати, сам царь. Руководящие круги понимают практическую целесообразность этого правительственного маневра для успокоения общества и изоляции революционеров. Достоевский произносит свой призыв „серых зипунов“ не вразрез с высочайшими предначертаниями, а среди сочувственного хора высокопоставленных единомышленников. В полном согласии с правительственным оркестром он выражает высочайшую волю накануне ее официального изъявления. Здесь не только нет и намека на оппозицию, но, как и во всем „Дневнике писателя“, прокламируется и пропагандируется дело власти. При этом правительственные круги даже оказались фактически левее Достоевского, шире его понимая объем и пределы народного представительства. В то время как Валуев, Меликов и даже Константин Николаевич предлагают в разных вариантах призвать к управлению выборных от земств и городов и Александр II соглашается принять один из этих вариантов, Достоевский считает вполне достаточным опросить народ на местах. В то время как правительственные проекты открывают путь интеллигенции к участию в „комиссиях“, Достоевский тщательно оговаривает устранение интеллигентов от предстоящего совещания с предоставлением в нем голоса одному крестьянству и даже его наиболее реакционным слоям.

Из всех „конституций" 1880 г. проект Достоевского — самый робкий, умеренный и консервативный. Как ни кургузы были предложения Лориса, Константина и Валуева, они все же призывали к участию в управлении выборных представителей города и деревни, от чего тщательно предостерегает петербургскую власть „Дневник писателя".

Революционный террор ставит в эти дни перед Достоевским опаснейшую этическую проблему о праве „предупреждать" политические покушения. Его исключительно волнуют все террористические акты у нас и на Западе — Вера Засулич, выстрел в германского императора, выступления анархистов в Европе. Об его отношении к убийству шефа жандармов Мезенцова мы можем судить по его сочувствию к поминальной речи на эту тему московского проповедника Амвросия, в которой говорится о „невинной жертве, закланной за благо отечества" и о ворах, „расхитивших наше лучшее достояние". События политического дня вырастают в эти годы для Достоевского в мучительную проблему личного долга, жертвы и подвига. Суворин оставил интереснейшую запись о своей беседе с Достоевским 20 февраля 1880 г. (т. е. через две недели после халтуринского взрыва в Зимнем дворце и в самый день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова), свидетельствующую о величайшем смятении в душе писателя. „...Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?" — „Нет, не пошел бы"... „И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас! Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода... Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые бы мне не позволяли это сделать. Это причины—прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком"... и пр. Если сравнить эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 г., придется пожалеть об упавшей политической морали великого романиста. Он словно не замечает, что „предупреждение" неизбежно повлечет казнь нескольких революционеров („причины прямо ничтожные"). Он не чувствует, что вполне уподобляется столь ненавистному ему Петру Верховенскому, задающему на собрании у Виргинского свой коварный вопрос: „если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий..."

В таком состоянии тревоги и растерянности Достоевский вырабатывает последний вариант своей политической программы, ни в чем не меняющий ее основных положений. В своем проекте реформы (опрос правительством крестьянства на местах) Достоевский исходит из представления об особом виде патриархального монархизма с преимущественной заботой царя о крестьянах. Это одно из положений правого славянофильства, в исповедании которого Достоевский ближе всего к Тертию Филиппову.

Но вообще он не доверял народу. Во время политических выступлений наших, он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. — „Вы не видели того, что я видел, — говорил он. — Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи". Вероятно Достоевский, говоря так, вспоминал убийство своего отца крестьянами или некоторые эпизоды своей каторжной жизни.

Во всяком случае предполагаемая им „свобода" не выходила за пределы семейственной идиллии верховной власти и населения. В своем последнем „Дневнике" он призывал даже не к земскому собору, не к

крестьянскому съезду или сходу, а к всероссийской сельской анкете: „не нужно никаких великих подъемов и сборов: народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам". Только не допускать к этому делу интеллигенцию, — „высказаться должен один только заправский мужик"[14]. „Правда, — продолжает Достоевский, — с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот же мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят и правдивое слово скажут — такова уже наша народная особенность". Вот о каком „земском представительстве" думал в свои свободолюбивые минуты умирающий Достоевский!

Произнесенная за полгода до смерти знаменитая речь о Пушкине понималась самим автором как провозглашение партийной программы. К этому отчасти обязывало его выступление от имени Славянского общества. Мы уже видели, что в письме к Победоносцеву от 19 мая 1880 г. Достоевский признавал речь о Пушкине написанной в самом крайнем духе своих — „н а ш и х, то-есть осмелюся так выразиться, убеждений". Почти накануне произнесения речи А. Г. Достоевская пишет мужу: „ничего бы так не желала, как торжества вашей партии, а вместе и твоего" (из письма А. Г. Достоевской от 3 июня 1880 г.).

На приветствия А. Суворина после произнесения речи Достоевский отвечает: „А, каково? наша взяла!" По свидетельству жены Суворина, „Алексей Сергеевич передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я это совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывает такое тщеславие. Но мой муж объяснил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей. Торжество закончилось апофеозом Достоевского, и все перед ним побледнело" (А. И. Суворина. „Воспоминания о Достоевском"). Так же воспринял речь о Пушкине и Победоносцев. С высоты своего государственного поста он приветствует Достоевского за то, что ему удалось „отодвинуть назад безумную волну, которая готовилась захлестнуть памятник Пушкина"; „радуюсь за вас и особливо за правое дело, которое вы выручили".

Мы видим, что знаменитую пушкинскую речь 8 июня произносил представитель определенной партии. Исключительный дар изложения и свойственное Достоевскому умение „коснувшись одних струн души заставлять звучать все остальные" совершенно скрыли от слушателей эту программную тенденцию его слова. Впрочем иные из них, как Глеб Успенский и Салтыков, отнеслись скептически к проповеди „всечеловеческой" любви, пока Победоносцев и Суворин приветствовали победу своего единомышленника. Заключительный литературный триумф Достоевского оказался одновременно и одним из его крупнейших политических успехов[15].

Сохранившиеся воспоминания о беседах с Достоевским к концу его жизни свидетельствуют о сгущающейся мрачности его политического пессимизма, затемняющего даже его обычно безошибочные художественные оценки. В последние годы Достоевский принимает для своей поэтики опаснейший и весьма спорный принцип, который, к счастью, ему не удается полностью приложить к своему творчеству, но который весьма плачевно отражается на его читательских вкусах и отзывах: „я с т а в л ю з а н и м а т е л ь н о с т ь в ы ш е х у д о ж е с т в е н н о с т и".

Великий мастер романа, до конца не знавший поражений в своем искусстве, Достоевский пережил некоторую эпоху упадка в своей литературной эстетике. Это снижение было обусловлено и политическими соображениями. Писатели и журналисты реакционного лагеря становятся его любимцами, разночинная литература с гневом отвергается. Он чрезвычайно хвалит роман Мещерского „Граф Обезьянинов на новом месте",

считая, что эту книгу надо пропагандировать [16]. Бесцветного нововременского беллетриста Н. К. Лебедева-Морского, автора романов „Содом" и „Аристократия гостиного двора", Достоевский признавал очень большим талантом и видел в нем „своего прямого преемника в разработке известных литературных задач". Он ценит и неоднократно цитирует в „Дневнике" фельетоны „всем известного Незнакомца" и лично завязывает дружеские отношения с А. С. Сувориным. Не лишено характерности, что в эту эпоху Достоевский особенно ценит Буренина, считая его и Страхова „единственными у нас серьезными и талантливыми критиками". В противовес этому он с величайшей враждой отзывается о представителях левого направления: „Семинаристы, вот кто погубил Россию — Чернышевский, Добролюбов и т. д." Когда его собеседник удивился его словам, он сказал, что „когда-то был петрашевцем, но давно излечился и от души ненавидит всех революционеров".

Так, роняя последние остатки гуманического идеализма 40-х годов, закатывалась политическая мысль Достоевского [17].

IX

Можно отводить за бездоказательностью все предположения о том, какую политическую позицию занял бы Достоевский в два последующие за его смертью царствования. Авторитетное свидетельство Победоносцева впрочем решительно указывает на вероятное продолжение взятого курса. По поводу отказа А. Г. Достоевской дать Мещерскому для напечатания в „Гражданине" неизданные стихи Достоевского Победоносцев писал ей: „Я уверен, что Федор Михайлович, если б был жив, непременно принял бы в нем [в „Гражданине"] деятельное участие и одобрил бы его направление" (15 декабря 1882 г.). (Разрядка подлинника.)[18]

Необходимо во всяком случае признать, что русская правительственная жизнь конца XIX в., руководимая ближайшими друзьями и единомышленниками Достоевского, не переставала в течение целого двадцатипятилетия осуществлять принципы государственной программы, прокламированные „Дневником писателя". Ограничение прав общественного суда, наступательная правительственная политика в национальном вопросе, охрана подрастающего поколения от социализма и атеизма—вся эта деятельность русского царизма между 1881 и 1905 гг. находится в полном согласии с политическими тезисами „Дневника" и „Братьев Карамазовых". Сопоставляя тексты с фактами, можно заключить, что правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского, образ которого и лично запомнился многим виднейшим представителям династии. Политическая пропаганда Достоевского пустила корни в русскую жизнь и принесла свои плоды.

И если современная Достоевскому власть, при всем уважении к нему, недостаточно отчетливо приобщила его к своему официальному делу, отводя ему преимущественно роль духовного наставника молодых Романовых и свободного пропагандиста монархических идей, в последующее царствование его загробное влияние явственно ощущается на общем направлении внутренней политики страны. Восьмидесятые и девяностые годы—эпоха государственного осуществления идей Достоевского под непосредственным воздействием его единомышленников — Победоносцева, Мещерского, Тертия Филиппова, Суворина, Вышнеградского, Черняева, Константина Романова, Сергея Александровича и наконец самого царя, недавно лишь получившего из авторских рук семейную хронику Карамазовых.

Мы считали существенным проследить связь писателя с правительственными кругами 70-х годов, расширяющую наше понимание одного

из его крупнейших произведений. Не менее важно точно установить и политический баланс его публицистики, ибо на Достоевского ложится часть ответственности за русскую государственную политику последующих лет. В исторической перспективе очевидно, что „Дневник писателя“ не был безобидным словесным упражнением его автора. Достоевский в 70-е годы как бы подготовляет реакционную политику конца столетия. В духе государственных идей Победоносцева он отстаивает для верховной власти принципы византийского „цезарепапизма“, восхищаясь Павлом I, облачавшимся в далматик первосвященника; во внешней политике он ратует за старинную традицию российской великодержавности, направленную к захвату Константинополя и проливов, и одновременно за новую завоевательную экспансию в Азии в противовес колониальному влиянию Великобритании. Во внутренних делах он не только „ставит точку реформам“, но требует обратного хода: назад к сильной власти эпохи его детства и молодости, когда на русском престоле высилась столь импонировавшая ему фигура „монарха, верившего в свой сан и в свое право“ и властвовавшего на основе уваровской триединой формулы о самодержавии, православии и народности. Именно ее воскрешает „Дневник писателя“, восполняя новую теократию принципом опроса земских в целях придания петербургской власти и византийской церковности русского народного стиля. Этот политический эклектизм, лоскутно сочетающий Петербург, Византию и русскую избу, усвоила себе эпоха Александра III[19].

Таков в общих чертах эпилог Достоевского. Длительный процесс обращения к самодержавию и решительной „измены прежним убеждениям“ завершается в эпоху подношения наследнику „Бесов“, „Дневника писателя“ и „Карамазовых“, духовного воспитания великих князей и литературных чтений в залах Мраморного дворца. Этот последний „закатный“ и темнеющий облик Достоевского подлежит такому же изучению, как и другие фазы его идейной и жизненной эволюции. Не для обличения и развенчания великого романиста перед лицом нашей революционной современности необходимо такое рассмотрение последней стадии его идей, а лишь для раскрытия одной из самых глубоких драм его столь богатой мучениями биографии.

В политическом плане, как и в сфере личных переживаний, судьба Достоевского была трагичной. Жестоко пораженный воинствующим самодержавием, еле оставившим ему жизнь и беспощадно отнявшим у него молодость, он отказался от социально-утопического миросозерцания своих ранних лет и под грубым нажимом царизма принял и пережил трагедию политического отступничества. Это была кара не менее тяжкая, чем мертвый дом, но Достоевский безропотно принял ее, вырвав из своего сердца влечение к тем освободительным учениям, которые по его собственному слову он в молодости страстно принял в сердце свое. И если классические темы утопистов о золотом веке и всеобщем счастьи еще звучат подчас в поздних произведениях Достоевского сквозь проповедь победоносцевских тезисов об укреплении самодержавия и сокрушении всяческой революции, — это только тоска апостата по отвергнутому мировоззрению, сообщившему в свое время столько вдохновенных устремлений его раннему творческому полету.

Вот почему в своих самых беспощадных нападках на революцию Достоевский неизменно сохраняет стремление понять и направить по новому пути „заблудившееся“ молодое поколение. Его сочувствие правдоисканию и жертвенности современной молодежи, не находящей, по мысли Достоевского, верного пути в своих моральных и умственных скитальчествах, нередко звучит в писаниях его последнего десятилетия и

полнее всего раздается в его главном антиреволюционном произведении— в „Бесах". Именно здесь Дон-Кихот российского гегельянства 40-х годов Степан Трофимович Верховенский находит для своего суждения о Нечаеве и нечаевцах проникновенные и очистительные слова, которые сам автор уже от своего имени повторяет в наброске предисловия к своей памфлетической эпопее [20]. Таковы немногие страницы стареющего Достоевского, в которых неугасимый гений великого художника пытается мучительно преодолеть реакционного публициста и идеолога типа де Местра.

Но основное направление пути прочерчено теперь с неумолимой прямолинейностью. Эволюция идей завершилась кристаллизацией исключительной твердости. Несколько смутное брожение теорий и утопий и горячее увлечение социалистическими романами, когда юный Достоевский по-своему, по-художественному, отвлеченно-мечтательно и все же искренне и горячо воспринимал уроки фурьеризма, миновали навсегда. С тех пор Достоевский-художник успел пережить крутой поворот в искании романических форм, а параллельно и двигавшей их идеологии. От Жорж-Занд и Фурье, учивших молодого Достоевского вносить в свои страницы вдохновляющий трепет социальной современности и революционных мечтаний, стареющий Достоевский обращается к Стебницкому, Крестовскому, Клюшникову. Новые каноны обличительного романа придают подчас двигательную силу и сообщают волнующую актуальность его последним романическим композициям. Но вместе с техническими приемами и композиционными завоеваниями они способствуют созданию той мрачной общественной философии, которая отбросила свои густые тени на его последние книги. Великий писатель не преодолел этих отравленных течений современной реакции и, проникнувшись ими, фатально снизил общий план своего творческого дела.

В этом не только личный трагизм его писательской судьбы, но быть может и одна из глубоких катастроф русской литературы. Стоит на мгновенье представить себе, какую могучую эпопею для будущего человечества оставил бы нам мудрец и трагик Достоевский, если бы он продолжал жить социалистическими увлечениями своей молодости, чтоб понять огромные размеры этого события и весь печальный смысл этой утраты.

Но литературные судьбы сложились иначе. Гениальный романист был сломлен своей эпохой и уже не мог отважно и дерзостно пойти свободным путем Герцена, Гейне или Гюго. Мертвая хватка царизма прервала наметившийся рост вольнолюбивых мечтаний юного Достоевского, жестоко изломала его молодую судьбу, властно приковала к своему жестокому делу и вероятно одержала мрачнейшую и печальнейшую из своих побед, насильственно отторгнув эту огромную творческую силу у той литературы „грядущего обновленного мира", к которой так жадно прильнул на заре своей деятельности молодой ученик Белинского и Спешнева.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Незадолго до смерти, в начале января 1881 г. Достоевский, произносит в совете Славянского благотворительного общества „горячую речь" о необходимости Обществу иметь свой орган „который проводил бы русскую идею" („Полярная Звезда" 1881, II, стр. 150—151).

2 В самом „Дневнике писателя" имеются указания на интерес к этому изданию К. П. Победоносцева: „На-днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне: „Я только что прочел статью вашу о „среде" и о приговорах наших присяжных („Гражданин" № 2-й). Я с вами совершенно согласен но статья ваша может произвести неприятное недоразумение"... и пр. („Дн. пис." 1873 г., IV).

В „Дневнике писателя“ 1876 г.: „Некоторым из друзей моих я тогда же сообщил об этом (спиритическом) сеансе; один человек, суждением которого я глубоко дорожу, выслушав, спросил меня: намерен ли я описать это в „Дневнике“? Я ответил, что еще не знаю. И вдруг он заметил: „не пишите“. Он ничего не прибавил, и я не настаивал, но я понял смысл: ему, очевидно, было бы неприятно, если б и я хоть чем-нибудь поспособствовал распространению спиритизма“ („Дн. пис.“, 1876, апр., гл. 2, III).

Таким образом Победоносцев влиял и на выбор тем „Дневника“, налагая свои запреты на те или иные вопросы или сообщая Достоевскому газетные материалы для разработки в его ежемесячнике.

[3] Отмечаем эту родственность в стиле бесед „у Тихона“ и у Победоносцева вне всяких хронологических связей: „Исповедь Ставрогина“ писалась лет за восемь до „Карамазовых“.

[4] Описка А. Г. Достоевской: Мария Федоровна в о время еще не была императрицей.

[5] В архиве А. Г. Достоевской сохранилась следующая справка: „К. П. Победоносцев состоял опекуном над малолетними Достоевскими, сыном и дочерью Ф. М. Достоевского. Как опекун, он проверял отчеты издательницы полного собрания сочинений Федора Михайловича, издаваемого его вдовой Анной Григорьевной Достоевскою, и весной, при отъезде ее из Петербурга, принимал от нее на хранение квитанцию от процентных бумаг, принадлежавших изданию. Квитанции эти в запечатанном его печатью конверте Константин Петрович вкладывал в несгораемый ящик кассы св. Синода с правом получить конверт мне в любое время. Этот конверт относится к 26 мая 1885 г.— Вдова Федора Михайловича Анна Достоевская“. Справка эта приложена к конверту с надписью (рукою А. Г. Достоевской): „Тридцать две росписки Государственного Банка на различные % бумаги на сумму шестьдесят девять тысяч 500 рублей (по номинальной стоимости), принадлежащие кассе по изданию п. с. сочинений Ф. М. Достоевского, 25 мая 1885 года“. Тут же надпись К. П. Победоносцева: „Прошу сохранить до осени и возвратить мне или Анне Григорьевне Достоевской. К. Победоносцев. 26 мая 1885 г.“

[6] „Молва“ 1881, № 31.

[7] Оставив редактирование „Гражданина“ в апреле 1874 г., Достоевский продолжал в нем сотрудничать почти до самой смерти. Его участие сказывалось преимущественно в отделе еженедельного фельетона „Последняя страничка“, который велся коллективно самим Мещерским, Достоевским, Порецким и вероятно Пуцыковичем. Один фельетон из указанной серии („Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова“), напечатанный в „Гражданине“ 1878 г., был давно известен и неизменно включался во все посмертные собрания сочинений Достоевского. На другой фельетон Достоевского в том же отделе (о ветлянской чуме и конституции) указал редактор „Гражданина“ В. Ф. Пуцыкович в „Берлинском Листке“ 1906 г., № 2; фельетон этот действительно напечатан в „Последней страничке“ „Гражданина“ 1879 г., № 2—3. В третьем фельетоне той же серии („Гражданин“ 1877 г., № 2) находим почти буквальные совпадения с „Дневником писателя“, 1876, дек., по вопросу об участии Достоевского в журнале „Свет“ проф. Н. П. Вагнера. Исходя из этих трех фельетонов „Последней странички“ и обращаясь ко всей серии (110 фельетонов), мы на каждом шагу находим здесь темы, вопросы и имена чрезвычайно характерные для публицистики Достоевского. Ряд фактов весьма показателен и в автобиографическом отношении. Имеются литературные и чисто стилистические совпадения (образы, диалоги, описания, цитаты, синтаксические и интонационные ходы фразы). В авторстве Достоевского относительно части фельетонов „Последней странички“ не приходится сомневаться. Это отчасти подтверждается и личной перепиской Достоевского. Так В. Ф. Пуцыкович сообщает ему, что „Катков в восхищении от летних номеров „Гражданина“ и „Последнею страничкою“ тоже доволен“. Весьма существенна также выраженная Достоевским готовность сотрудничать в берлинском „Русском гражданине“ Пуцыковича в 1879 г. Подробная статья об этих „неизвестных фельетонах Достоевского“ сдана нами редакции сборников „Звенья“.

[8] Об этом признании своего писательского дела современной молодежью Достоевский писал Победоносцеву 13 сентября 1879 г.: „Мое литературное положение (я Вам никогда не говорил об этом) считаю я почти феноменальным; как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки Бесами, т. е. ретроградством и обскурантизмом — как этот человек, помимо всех европействующих их журналов, газет, критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот этою самой расшатанной молодежью, нигилятиной и проч.? Мне уже это заявлено ими, из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями. Они объявили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим руководящим писателем. Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати, и они очень этим поражены, не то дали бы мне они писать свободно. Заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет“ („Красные архив“ 1923, II, 246).

Об этом же признании Достоевского молодежью Победоносцев писал 29 января 1881 г. наследнику: „Смерть его — большая потеря для России. В среде литераторов он едва ли не один был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отече-

ству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно.. Теперь некому заменить его..."

9 Мы считаем правильным основной вывод А. Г. Цейтлина в его статье „Достоевский и революция": „Свой творческий и жизненный путь Достоевский кончает на крайне правом фланге тогдашнего общества... Глубочайшим образом неверен взгляд на Достоевского как на революционера и реакционера в одно и то же время, как на писателя, глубочайшей пропастью отделенного от реакционеров 60-х годов, как на пророка современной нам революции. Авсеенку, Крестовского и Лескова с Достоевским объединяла (а не разъединяла) ненависть к революции, которая только получила у последнего гораздо более острое и художественное выражение" („Литературная газета" 1931, № 8/107).

10 Мы отмечали в свое время, что прототипом Фетюковича мог быть и В. Д. Спасович, о котором Достоевский неоднократно писал в „Дневнике писателя". В настоящее время мы думаем, что на первое место здесь следует поставить Александрова, имея в виду, впрочем, что множественность прототипов для отдельного художественного образа— обычное явление в творчестве Достоевского.

11 А. В. Амфитеатров отметил, что в фигуре Ракитина Достоевский смешал слухи, „ходившие в ретроградных кругах о прошлом Елисеева и Благосветлова".

В одном анонимном фельетоне „Гражданина" 1878 г. приводится выдержка из статьи А. С. Суворина в „Новом Времени": „Если б г. Елисеев продолжал попрежнему писать такие сочинения, как „Жизнеописания святителя Григория, Германа, Варсонофия Казанских и Свияжских" и посвящать эти сочинения архиепископам с таким обращением: „приношу сию малую лепту моего деланья. Высокосвященнейший владыко, примите со свойственным вам снисхождением мое скромное приношение, да вашим снисхождением ободрится к большим трудам недостоинство трудящихся". [Примечание редакции „Нов. врем.": „Это подлинные слова г. Елисеева из посвящения его книги архиепископу Казанскому и Свияжскому Владимиру; г. Елисеев был тогда баккалавром Казанской духовной академии"] Если б г. Елисеев продолжал свою литературную деятельность в этом тоне и направлении, то никогда бы не сделался сотрудником ни „Современника" ни „Отчественных Записок"... Я не знаю, когда г. Елисеев был искренним человеком, тогда ли, когда в нем кипела юношеская кровь и он писал „малые лепты", или теперь, когда опыт жизни умудрил его и он пишет внутренние обозрения..."

Независимо от указанных здесь материалов В. С. Дороватовская-Любимова в статье „Достоевский и шестидесятники" (М., 1928, стр. 14—16) показала, что Ракитин в ряде черт списан Достоевским с публициста Г. З. Елисеева.

Отметим, что Достоевский лично знал Елисеева. В письме к жене из Эмса 21 июля (и августа) 1876 г. он между прочим сообщает: „Здесь вчера утром на водах я встретил Елисеева (обозревателя „внутренних дел" в Отеч. Записках); он здесь вместе с женой, лечится и сам подошел ко мне. Впрочем не думаю, чтоб я с ними сошелся: старый „отрицатель" ничему не верит, на все вопросы и споры, и главное совершенно семинарское самодовольство свысока."(Ф.М. Достоевский.„Письма"под ред. А. С. Долинина, М.-Л., 1934, III, 233). В письме от 30 июля (11 августа) отзыв гораздо резче (там же, 240).

12 Переписка Александра III с Лорис-Меликовым свидетельствует не только о глубоком интересе будущего царя к деятельности Лорис-Меликова, но и о сочувствии его либеральным планам „диктатора". Последний же прямо заявлял своему высокому корреспонденту: „С первого дня назначения моего на должность главного начальника верховной распорядительной комиссии я дал себе обет действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении, находя, что от этого зависит успех порученного мне дела и успокоения отечества" (9 апр. 1880 г). „Красный архив" 1925, кн. I (VIII), стр. 101.

Вполне сочувственным к Лорису было и отношение целого крыла „правых". Уже по выходе Лорис-Меликова в отставку в мае в 1881 г. Иван Аксаков в „Руси" поместил хвалебную статью о „высокочтимом графе", „который оставляет по себе блестящий след" и „много истинно полезного успел совершить в краткий период своего нахождения у дел". Мещерский перепечатал целиком отзыв Аксакова о Лорис-Меликове в своем „Дневнике".

13 „Голос" по этому поводу писал: „Катков публично на обеде, в присутствии всех, у всех же просил прощения, молил о забвении, протянул руку, но никто не пожал этой руки". „Тяжелое впечатление производит человек, переживающий свою казнь и думающий затрапезною речью искупить предательства двадцати лет" („Голос" 1880 г., № 158). Тургенев, как известно, отвернулся от протянутого ему „кающимся" Катковым бокала.

14 „Никто решительнее, энергичнее Достоевского не восставал на европейский либерализм русской интеллигенции,—писал 7 февраля 1881 г. Ив. Аксаков:—он в душе своей был искренним врагом всякой политической формальной свободы, которая бы могла лишь усилить власть и значение нашей европействующей интеллигенции и исказить органический саморост русскаго народа, своеобразность и свободу его духовного развития".

[15] Ряд интересных сообщений о впечатлении от речи о Пушкине сообщает Е. П. Леткова: „Левая молодежь „сразу встала на дыбы“ от первых же слов речи Достоевского, увидела в ней ряд „выпадов против западников“, осудила его за то, что он явился на пушкинский праздник „не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества“. Об известном месте „Речи о Пушкине“ (о том, что современные Алеко „ударяются в социализм“ и пр.) мемуаристка отмечает: „это было сказано с тончайшей иронией“, кроме насмешки над „русским скитальцем“, его резкие выпады против западников, проповедь „смиренного“ общения с народом и личного совершенствования в христианском духе рядом с презрительным отношением к общественной нравственности определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи“... (Е. Леткова. „О Ф. М. Достоевском“.—„Звенья“, 1, 459—477). Сам Достоевский писал 8 июня жене о своем выступлении: „Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!“ („Письма Достоевского к жене“, ред. Н. Ф. Бельчикова и В. Ф. Переверзева, М.-Л., 1926, стр. 304).

[16] „Граф Обязьянинов на новом месте. Фантастический этюд в пяти частях Продолжение сочинения „Один из наших Бисмарков“. Соч. кн. В. Мещерского. СПБ., 1879“.

[17] Приведем отрывок из малоизвестной статьи о Достоевском, основные выводы которой представляются нам верными для последнего периода жизни писателя: „Достоевский может быть и верит в существование рая, может быть и знает о возможности рая, но Достоевский не хочет рая... Проводника в рай он себе представляет не иначе, как в виде отвратительного длинноухого Шигалева из „Бесов“... Герой Достоевского не только не мечтает от избавления из ада, но над этой мечтой о счастьи, о рае больше всего издевается, больше всего эту мечту не любит... Основное, главное, что дает право на жизнь всем героям Достоевщины: страдание и порок“. Учение это создано своей эпохой: „как устами Данте, по выражению Карлейля, внезапно заговорили десять молчавших столетий средневековья, так и устами Достоевского заговорило последнее столетье умирающего буржуазного, предсоциалистического периода“. (А. Лейтес. „Достоевский в свете революции“. — „Зори грядущего“, Харьков, 1922, стр. (102—103).

[18] Необходимо также учитывать письмо, написанное Достоевским всего за полтора года до смерти редактору „Гражданина“ В. Ф. Пуцыковичу для напечатания в возобновившемся в Берлине журнале: „Я рад возобновляющемуся „Гражданину“. Вы обещаетесь говорить в нем еще с большею твердостью, чем прежде; тем лучше“ и проч. Ссылаясь на усиленную работу по „Братьям Карамазовым“ и ухудшающееся здоровье, Достоевский „пока“ не обещает „сколько-нибудь значительного и определенного сотрудничества“. „Но наше время,- заключает он,—такое горячее и такое возбуждающее время, что, в виду какого-нибудь факта, какого-нибудь нового явления, которые вдруг поразят и о которых неотразимо захочется сказать, не отлагая, несколько слов, конечно напишу что-нибудь. Тогда прибегну к гостеприимству вашего журнала и в нем напечатаю. Во всяком случае искренне желаю вам успеха“. (Письмо от 28 июля/9 августа 1879 г.—„Русский Гражданин“, Берлин, 1879, № 5.) Проектируя с 1 января 1879 г. издание „Гражданина“ в виде ежедневной газеты, В. Ф. Пуцыкович сообщал Достоевскому, что „в случае решения можно сказать, что будут принимать участие Ф. М. Д., И. С. Акс., А. У. Порецкий, кн. В. П. Мещ.“ и т. п. (Письмо от 20 июня 1878 г.). В письмах от 31 августа 1878 и 1 мая—19 апреля 1879 г. Пуцыкович просил Достоевского „обновить журнал чем-нибудь своим“, „прислать какую-либо заметку, наставление“ и проч. В 1877 г. Достоевский приглашает к себе на вечер „нашего милейшего князя“, т. е. Мещерского („Письма“ под ред. А. С. Долинина, III, 255). Все это указывает на сохраняющуюся до самого конца 70-х годов связь Достоевского с кружком „Гражданина“. Нет основания предполагать, что убийство Александра II и вступление на престол Александра III изменило бы эту политическую ориентацию Достоевского.

[19] В 70-е годы национализм Достоевского становится воинствующим. Он выдвигает особый принцип „высокомерия“ в сознании собственного мирового значения для каждой великой нации. „Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так „высокомерны“ в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными“ (Ф. М. Достоевский. „Письма“ под ред. А. С. Долинина. М.-Л., 1934, III, 50). Мысль эта видимо господствовала в беседе Достоевского с французским дипломатом и писателем Мельхиором де Вогюэ (впоследствии автором известной книги „Русской роман“) 17—29 января 1880 г. См. ниже примечание 7-е к 34-му письму Победоносцева.

[20] Об этом подробно в моей вступительной статье к „Бесам“ в издании „Academia“. Приведем этот неизданный отрывок Достоевского: „В Кириллове народная идея—сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный слепой самоубийца 4 апреля [Д. Каракозов] в то время верил в свою правду (он, говорят, потом раскаялся—слава богу), а не прятался, как Орсини, а стал лицом к лицу. Жертвовать собою и всем для правды—вот национальная черта поколения. Благослови его бог и пошли ему покойной правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман“.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. ПИСЬМА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

1

Любезнейший Федор Михайлович. Спешу послать несколько строк для Гражданина. Чем богат, тем и рад. Поспешите напечатать чтобы не простыли известия [1]. Постараюсь прислать еще, если успею. Надеюсь вернуться около 20 июля [2]. Обнимаю вас от души.

Ваш К. Победоносцев

Припомните, что я не подписываю своего имени под статьями.

21 июня / 3 июля [1873 г.]

Шелкаин на остр. Вайте

[1] Статья „Из Лондона" появилась в № 27 „Гражданина" от 2 июля 1873 г. за подписью***. Ей предпослано следующее редакционное предисловие, вероятно написанное Достоевским: „Мы только что получили из Лондона от 19 июня корреспонденцию с новыми и весьма характерными подробностями о пребывании персидского шаха в столице Великобритании. Нам показались некоторые из этих подробностей особенно любопытными. Спешим сообщить их нашим читателям". Интерес статьи заключался в сообщении о пропаганде английского духовенства против России в пользу Персии. В корреспонденции дается также отзыв о книге Рольстона „Русские народные сказки" (Russian Folk-tales by W. R. S. Ralston). Корреспонденция Победоносцева датирована 19 июня (1 июля); очевидно он начал писать ее за два дня до отправки письма.

[2] Победоносцев вернулся в Петербург 25 июля 1873 г. Об этом в письме Достоевского к жене от 26 июля 1873 г.: „Вчера приехал Победоносцев, был в редакции, ждал меня, но я не был и просил запиской заехать к себе в 9-м часу. Я был у него вчера и сидел до 12. Все говорил, много сообщил и ужасно просил опять сегодня приехать. Если же я буду болен, то дать ему знать и он сам ко мне приедет сидеть" и проч. („Письма Ф. М. Достоевского к жене", пред. и примеч. Н. Ф. Бельчикова. М.-Л., 1926, стр. 85—86. В комментариях дана заметка об истории отношений Победоносцева и Достоевского (стр. 340); ср. с заметкой того же автора в „Красном архиве" II (1923), стр. 210—211 (при публикации шести писем Достоевского к Победоносцеву).

2

Почтеннейший Федор Михайлович. Премного благодарю за доставление листов Гражданина. Сегодня получил 32-й номер, со статьей „Вестминстер аббатство"[1]. Есть в ней две довольно значительные опечатки изменяющие смысл. На 872 стр., 2-я колонка, 18-я строка снизу напечатано: За незрелость, в чем и смысла нет; а у меня сказано: „Замерзелость" — слово, употреблявшееся у нас в 18 столетии в официальных актах, когда говорилось о грубости нравов и обычаев простого „подлого" народа. Вот почему оно у меня и в кавычках поставлено. (Да в этой же фразе сказано: здешнюю простоту церковную. Мне сдается, что [у меня что-нибудь не так сказано. Не красоту ли? но это не так важно).

Другое: на стр. 873, 1-я колонка, 9-я строка снизу.

Чиновных форм. У меня сказано было: условных форм.

Не мешало бы в следующем № под IX статьей сделать оговорку об этих опечатках [2].

Несмотря на что* другие дела нудят, я неутерпел здесь написать вам еще 3 статейки „Листков"[3], и уже пакет запечатан, да нет оказии послать.

Готовлю еще статейку, очень по-моему любопытную, о новой английской книге „Свобода, братство и равенство"[4]. Не знаю, удастся ли кончить.

Пишет сегодня Т. И. Филиппов из Москвы. Он готовит биографическую статью о покойном гр. А. П. Толстом[5], к чему я и возбуждал его.

Он пишет, что №№ со статьями о единоверии в большом спросе в Москве, и за них платят очень дорого. „Перепечатка их, продолжает он, могла бы доставить Гражданину большое подкрепление".

---

* Так в подлиннике.

Статью о Толстом он намерен был прислать вам к номеру 13 августа, но вероятно— говорит—что на нумер опоздает.

Здравствуйте и благодушествуйте. Я надеюсь быть в П-бурге около 20 числа.

Душевно уважающий и преданный

К. Победоносцев

Среда 8 Авг./73
Мерекюль, близ Нарвы.

[1] „Русские листки из-за границы". III. „Вестминстерское аббатство" („Гражданин" № 32, 6 августа 1873 г., стр. 870—873) за подписью В.

[2] Достоевский исполнил пожелание Победоносцева. В следующем № 33 „Гражданина" от 13 августа 1873 г. к статье „Русские листки из-за границы". IV. „К вопросу о воссоединении церквей" сделано следующее примечание: „В предшествовавшей статье „Русских листков" „Вестминстерское аббатство" в 32 № „Гражданина" вкрались две крупные опечатки" (следуют исправления по письму Победоносцева).

[3] Следующие „Русские листки из-за границы"; V. „Противоречия в Англиканской церкви". VI. „Ирвингиты в Лондоне". VII. „Деисты и унитарии в Лондоне". VIII. „Воровской ужин". IX. „Новая вера и новые браки".

[4] Имеется в виду книга Джемса Стифена под указанным заглавием („Liberty, equality, fraternity" by James Fitzjames Stephen. Lond., 1873). Отзыв о ней Победоносцева явился в № 37 „Гражданина" от 10 сентября 1873 г. в отделе „Критики и библиографии" за подписью*,*.

[5] Толстой, Александр Петрович—обер-прокурор святейшего Синода с 1856 по 1862 г. затем член Государственного совета. Воспоминания Т. И. Филиппова о Толстом появились в „Гражданине" 1874 г., № 4 от 29 января.

3

Почтеннейший Федор Михайлович. „Видите колицеми книгами писах вам моею рукою". Сверх чаяния вчера, начитавшись газет, написал статью, которую спешу послать, и которая может несколько пополнить недостаток политич. обозрения, ибо речь идет о важнейшем событии нашего времени. Думаю, что ни в одной газете не было еще обстоятельного обозрения по этому предмету. Статья кстати: не замедлите ее напечатать[1].

Кончил еще для вас большую вещь[2], которую привезу с собою. Надеюсь быть в Пб. в понедельник, 20-го числа. Зайду в контору[3] часов около 3 пополудни. Авось либо найду вас.

13 августа [1873 г.] Душевно преданный
Понедельник. Победоносцев

[1] Речь идет о статье „Борьба государства с церковью в Германии", которая начинается словами, вполне соответствующими характеристике события в записке Победоносцева. В „Гражданине" читаем: „Война государства с католическою церковью в Германии разгорается все сильнее и сильнее и становится одним из самых интересных и важных по последствиям политических явлений нашего времени"... Достоевский напечатал статью в ближайшем же № 34 „Гражданина" от 20 августа 1873 г. в виде передовой; статья подписана ZZ. Статьи Победоносцева в „Гражданине" шли за различными подписями: ZZ, *,*, В, В. П-ч, иногда без всякой подписи. Различье подписей объяснялось и тем, что нередки были случаи, когда в одном номере „Гражданина" появлялось две статьи Победоносцева.

[2] Статья Победоносцева о книге Джемса Стифена „Свобода, равенство и братство". Статья печаталась в трех номерах „Гражданина" (35, 36 и 37 от 27 августа, 3 и 10 сентября) под особыми подзаголовками: I. Свобода. II. Равенство. III. Братство (за подписью *,*). Обзор касался также книги J. H. Kirchmann „Das Prinzip des Sittlichen", Berlin, 1873.

[3] Т. е. в редакцию „Гражданина", Невский проспект, 77, кв. 8. Главная контора журнала находилось при книжном магазине А. Ф. Базунова.

4

Почтеннейший Федор Михайлович. Я приеду в П-бург завтра, бог даст, в четверг, к ночи. Надеюсь привезти вам статью: Испания[1], в параллель статье о Франции[2]. Если вы считаете возможным и нужным набрать ее для следующего номера, то благо-

волите прислать за нею ко мне в [понедельник] пятницу, часов в 10 утра. В противном случае я сам вам ее доставлю не спеша.

Так как я уже окончательно переезжаю то и нет нужды пересылать мне в Мерекюль следующие №№ „Гражданина".

Ваш К. Победоносцев.

Среда
29 августа 73

[1] Статья Победоносцева „Испания" напечатана в № 37 „Гражданина" от 10 сентября 1873 г. за подписью ZZ, с редакционным примечанием, очевидно написанным Достоевским: „Мы особенно рекомендуем вниманию читателей „Гражданина" эту статью нашего почтенного сотрудника ZZ, в которой чрезвычайно ярко изображены главнейшие существенные обстоятельства одного из самых любопытнейших и знаменательных явлений в современной истории европейского человечества. — Ред."

[2] Статья „Франция (взгляд на теперешнее ее состояние)" за подписью ZZ напечатана в № 35 „Гражданина" от 27 августа 1873 г. Статья трактует о борьбе политических партий вокруг кандидатуры графа Шамборского на королевский престол под именем Генриха V. Об этом же сам Достоевский писал в своих „Обзорах иностранных событий".

5

Посылаю вам, почтеннейший Федор Михайлович, дополнение к статье об Испании[1]. Его неудобно вставить в текст, но жаль упустить, и потому я полагал бы поместить его в виде подстрочного примечания к той строке, где говорится об участии агентов Интерналки в беспорядках.

Потом в последней (III) статье о книге Стифена (Братство) в самом конце, в заключительных словах автора я пропустил и напутал. Благоволите исправить. Тут сказано: что нам делать? И затем должно стоять следующее.

„Будь тверд и мужествен, не страшись и не бойся" (Второз. XXXI 6. 7. Слова Моисея Иисусу Навину)[2].

У меня для текста оставлено место, ссылка сделана: но кажется прибавлено, совершенно неправильно, что это относится к переходу через Чермное море. Это потрудитесь вычеркнуть.

Следующие №№ газеты потрудитесь присылать сюда на квартиру (Больш. Конюшенная, д. Финской церкви).

Душевно уважающий и преданный
К. Победоносцев.

Пятница
[1 сентября 1873 г.]

[1] Дополнение Победоносцева к его статье об испанских делах представляет несомненный интерес: „До 1868 г. в Испании не было слышно об Интернационалке, а в настоящую минуту Испания считается главным гнездом ее. Таким быстрым развитием нового учреждения Испания, по словам женевского корреспондента газеты „Таймс", обязана известному русскому политическому выходцу Бакунину. Он придумал воспользоваться распространившимся в народе равнодушьем к политическим вопросам для образования союзов рабочих с целью увеличения рабочей платы и уменьшения рабочих часов. В Барселоне и Мадриде организовал он центральные комитеты из докторов, адвокатов и журналистов. Эти комитеты взяли на себя пропаганду рабочих союзов, тщательно избегая всяких политических вопросов и потому без затруднения склоняли рабочих соединяться для упомянутой практической цели. Правительство не видело ничего опасного в этой пропаганде, не касавшейся до политики, и кортесы стали преследовать союзы рабочих только в настоящее время, когда уже поздно стало им противодействовать. По сведениям, объявленным на нынешнем конгрессе Интернационалки в Женеве, успехи ее в Испании идут очень быстро..." (Следует ряд цифр.)

Достоевский последовал полученному указанию и поместил „дополнение" в виде подстрочного примечания к следующему месту злобствующей публицистики Победоносцева: „Как вороны на мертвечину, собрались сюда же агенты Интернационалки, поднимают чернь и рабочих и устраивают, где можно, Коммуну со всеми ее ужасами..." („Гр." 1873, стр. 992).

[2] Указанные исправления внесены в текст („Гр." 1873, стр. 1010).

6

Посылаю вам, почтеннейший Федор Мих., другое дополнительное примечание к статье об Испании. Его можно поместить в другую выноску, там, где помянуто о Дон Карлосе[1]. Думаю, что оно не лишнее, ибо объяснит многим, не следящим за журналами, кто таков Дон Карлос.

Душевно преданный

К. Победоносцев.

Воскресенье
[3 сентября 1873 г.]

[1] Второе примечание к статье „Испания", присланное при сопроводительной записке представляет собой биографическую справку о Дон Карлосе с изложением его прав на корону и общей характеристикой его политических идей. Примечание было помещено в соответственном месте („Гр." 1873, стр. 993).

7

Почтеннейший Федор Михайлович.

Посылаю вам обещанную статью в „Русские листки из-за границы"[1].

Душевно уважающий и преданный

К. Победоносцев.

14 сентября [1873 г.]

[1] Напечатано в № 39 „Гражданина" от 24 сентября: „Русские листки из-за границы" IX. „Новая вера и новые браки" за подписью В.

8

Видите, почтеннейший Федор Михайлович, что я вас не забываю. Все хочу сказать баста,—и продолжаю покуда могу. Посылаю вам вещь, на недостаток которой вы как-то жаловались: Обзор важнейших узаконений[1]. Он разделен на 12 рубрик, без оглавлений.

Душевно преданный

К. П.

18 сент. [1873 г.]

[1] Статья „Обзор важнейших узаконений за летние месяцы (с 18 мая по 11 сентября)" напечатана в № 39 „Гражданина" от 24 сентября 1873 г. без подписи и с редакционным примечанием: „Такие обзоры мы надеемся и впредь помещать в „Гражданине" примерно за каждую четверть года.—Ред."

9

Почтеннейший Федор Михайлович.

Посылаю еще статейку[1].

В сегодняшней (39 №)[2] я заметил, что наборщики иногда неправильно разбивают текст и помещают в ту же строку то, что в оригинале начинается новою строкою, и наоборот. От этого иногда извращается или ослабляется смысл.

Душевно преданный

К. П.

24 сент. 73

[1] „Церковь и государство в Германии". Статья напечатана в № 40 „Гражданина" от 1 октября 1873 г. без подписи. В оглавлении помечена обычным псевдонимом Победоносцева — ZZ.

[2] В № 39 „Гражданина" две статьи Победоносцева: „Обзор важнейших узаконений" (без подписи) и „Русские листки из-за границы". IX. Новая вера и новые браки" (за подписью В.).

10

Почтеннейший Федор Михайлович. Посылаю прилагаемую вещь [1]. Но еще раз, и в особенности по поводу этой вещи, прошу наблюсти величайшее молчание относительно автора [2]. Это очень для меня существенно.

Вторник
[23 октября 1873 г.]

Душевно преданный

К. П.

[1] Победоносцев направил к Достоевскому статью „Съезд юристов в Москве“ с эпиграфом: „И, бабушка, затеяла пустое...“ Она вызвана предположением юридического факультета Московского университета созвать в 1874 г. съезд русских юристов в Москве. Очевидно опасаясь нежелательных выступлений и заранее считая своим долгом дискредитировать всякое общественное начинание, Победоносцев выступает с резкой критикой проекта. В качестве бывшего профессора Московского юридического факультета Победоносцев был хорошо знаком с его личным составом, и в эту сторону он и направил свои критические стрелы. Этим конечно и объясняется его требование строжайшего анонимата. Не лишено интереса, что в своей критике факультета Победоносцев называет и своего будущего помощника по управлению Синодом и преемника на посту обер-прокурора В. К. Саблера („кафедра уголовного права занята была в течение одного года молодым доцентом Саблером; но он долее года не выдержал и оставил академическую деятельность“). Победоносцев заключает, что намеченный съезд, созванный факультетом, „существующим более по имени, нежели в действительности“, сведется к „праздным речам со взаимным величанием и взаимным обольщением под покровом нарядного знамени“. „Не лучше ли обойтись без представления, которое может еще оказаться комическим?“

[2] 23 октября 1873 г. Достоевский сообщал Победоносцеву: „В квартире редакции живет один писарь; ему без означения разумеется вашего имени и дана ваша статья для переписки. Завтра она, переписанная чужой рукой, поступит в типографию. В типографии же вашу руку знают еще с прошлого года и именно корректорша, которая имеет в городе некоторые литерат. сношения (с От. Записками наприм.). Таким образом никто не будет знать на этот раз, что статья ваша, кроме меня и секретаря редакции“ и проч. (Ф. М. Достоевский. „Письма“, под ред. А. С. Долинина. III, 87.) Статья Победоносцева появилась в № 44 „Гражданина“ от 29 октября 1873 г. за подписью * * *.

11

Почтеннейший Федор Михайлович, сегодня, видевшись с Мещерским[1], я передал ему статью очень любопытную об автобиографии Милля[2]. Уведомляя вас об этом, *покорнейше прошу, если возможно, не ставить ее в рубрику* „*Критика и библиография*“—так как, по мнению моему, под этою рубрикой она мало заметна будет для читателей[3].

Завтра мож. быть увидимся.

Душевно преданный

К. П.

Вторник
[30 октября 1873 г.]

[1] Мещерский, Владимир Петрович (1839—1914)—основатель реакционнейшего еженедельника „Гражданин“. Сближение с Мещерским относится к последнему периоду биографии Достоевского. Ближайшие друзья, с которыми он так усиленно переписывался из-за границы, А. Н. Майков и Н. Н. Страхов вероятно ввели его вскоре по его возвращении из Германии в кружок князя В. П. Мещерского, который осенью 1871 г. был занят организацией задуманного им журнала с „охранительными боевыми задачами“.—„Восприемниками [нового издания],—свидетельствовал впоследствии Мещерский,—были К. П. Победоносцев, А. Н. Майков, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, Н. Н. Страхов, М. О. Коялович, Б. М. Маркевич. Тогда же основались мои среды. Они назывались литературными. Но вернее их было назвать политическими, ибо главными предметами бесед и споров, главною причиною оживления была политика дня в жизни государственной и в жизни печати“.

В редакторы был приглашен Г. К. Градовский. Но уже к концу первого года издания обнаружились расхождения редактора с издателем, и осенью 1872 г. наступил редакторский кризис „Гражданина“. В этот момент Достоевский предложил Мещерскому взять на себя редактирование его органа. Предложение это было весьма сочувственно принято как издателем, так и всем его кружком.

Наиболее тесное сотрудничество установилось у Достоевского на первых порах с его непосредственным шефом по „Гражданину“. Достоевский не мог не считаться с Мещерским как с инициатором и собственником издания, близким к придворным лицам и интересам. Но сравнительная молодость Мещерского (в момент знакомства с Достоевским ему было 32 года) и недостаточная литературная опытность нередко вызывали Достоевского на авторитетное вмешательство в разрешении возникавших редакционных проблем. Он считал необходимым отменять чересчур резкие реплики Мещерского в полемических статьях („Ответ на запрос С.-Петербургских Ведомостей“), но в некоторых случаях проверял у Мещерского верность своих решений (напр. по поводу рассказа

„Картинки из офицерской жизни"). (См.: Ф. М. Достоевский. „Письма" под ред. А. С. Долинина, М., 1934, 86—88, 313—316). В своих „Воспоминаниях" Мещерский оставил следующую характеристику Достоевского: „Я не видел на своем веку более полного консерватора, не видел более убежденного и преданного своему знамени монархиста, не видел более фанатичного приверженца самодержавья, чем Достоевский... Мы все были маленькими перед его грандиозной фигурой кансерватора... Достоевский был как аскет строг и как неофит фанатичен в своем консерватизме".

Личность Мещерского получила впоследствии достаточно полную оценку со стороны близко наблюдавших его современников. А. В. Богданович отмечает в своем дневнике к концу царствования Александра III: „Все чувствуют, что ненормально ведется дело, что назначения на высшие места не выдерживают критики. В Мещерском, в его „Гражданине" видят силу, все знают, что за грязная личность этот князь, все волнуются, что нет человека открыть глаза царю, который принимает его и беседует с ним". С. Ю. Витте в своих воспоминаниях сообщает, что Кривошеин был назначен министром путей сообщения при поддержке редактора „Гражданина" В. П. Мещерского, как видимо и Плеве. По свидетельству Витте отношения „Мещерского к монархам и власть имущим имеют одну цель: получить денежные субсидии на его журнал „Гражданин", субсидии, на которые князь Мещерский живет вместе со своими молодыми людьми, а с другой стороны, для того, чтобы наиболее любимых молодых людей возможно более награждать за счет казны" (Витте. „Воспоминания", т. II, стр. 370).

[2] Статья называлась: „Картина высшего воспитания. Автобиография Дж.-Стюарта Милля" (J.-St. Mill. Autobiography. Lond., 1873). Статья появилась в № 55 „Гражданина" 1873 г. от 5 ноября за подписью В.

[3] Просьбу Победоносцева Достоевский исполнил: он не включил статьи в отдел „Критики и библиографии", а поместил ее на видном месте, сейчас же после передовой статьи.

12

Достопочтеннейший Федор Михайлович.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы эти строки застали вас в добром здоровьи.

Опасаюсь, что вы на меня сердитесь, и вот почему спешу изъяснить вам дело.

На праздник я уезжаю обыкновенно в монастырь. Вернувшись оттуда 25 числа нашел я у себя записку Мещерского, наскоро написанную им перед отъездом, где он умоляет дополнить его Петерб. обозрение подробностями о приезде Эдинбургского принца[1]. За эту записку я посердился на Мещерского, как он меня обременяет делом, которого я не умею и не хочу делать. Да и подробностей этих я не знаю и не собираю—совсем не мое дело еще писать об них. Кроме того мне и некогда.

Между тем сегодня принесли мне из типографии корректуру[2], с тем чтобы я прислал ее обратно вечером—очень-де нужно. Случилось это в мое отсутствие, и совсем не было мне приятно, потому что я не хочу иметь никаких отношений к типографии. Отослать корректуру обратно было не с кем, а вечером какой-то пьяненький служитель пришел взять ее и пошел за разрешением к вам. Воображаю, что вас он потревожил заботою, но прошу вас, почтеннейший Федор Михайлович, не поставить ее мне на счет.

Здравствуйте и радуйтесь.

Душевно уважающий и преданный

28 дек. вечер К. Победоносцев

[1873 г.]

[1] Об этом в № 52 „Гражданина" от 29 декабря заметки и сообщения в отделах „Хроника за две недели" и „Петербургское обозрение".

[2] Корректура статьи „Подлежит ли земство по закону ответственности за непринятье мер против голода" за подписью В. П-ч.

13

Достопочтеннейший Федор Михайлович.

Очень досадно было бы[1], что вы были вчера у меня и не застали, тем более досадно, что в эти часы я по большей части дома и только вчера случилось, что дома не обедал. Досадно, что упустил случай посидеть с вами и побеседовать, чего уже давно не бывало.

А сегодня поздравляю вас с успехом, потому что едва нашел (в 4 часа) номер вашег Дневника[2]: почти везде отвечали—все листы разобраны, и мы послали за новоі провизией.

Как-раз сегодня же вышла и моя книжка: Исторические исследовани. и статьи[3], которую завтра вам доставлю.

До свиданья.

Душевно уважающий и преданный

31 января 1876 К. Победоносце

[1] Так в подлиннике.

[2] Январский выпуск „Дневника писателя" был составлен особенно разнообразнс здесь и „Мальчик у Христа на елке", и „О молитве великого Гете", и о „будущеі романе" „Подросток", и о колонии малолетних преступников, и важный автобис графический отрывок „Фельдъегерь", и проч.

[3] Книга сохранилась в библиотеке Достоевского: „Исторические исследования : статьи" К. Победоносцева, д. чл. воск. Общ. Ист. и Древн. Росс. СПБ., 1877 Об этой книге Достоевский писал 11 января 1876 г. В. С. Соловьеву: „Голос" (воскре сенье 11-ое января) публикует (в объявлениях) о том, что печатается книга „Историчес кие исследования и статьи К. П. Победоносцева". Вот о чем помяните непременно. Эт должно быть нечто чрезвычайно серьезное, прекрасное и любопытное очень. Я жду чего нибудь очень важного от этой книги. Это огромный ум" („Письма" под ред. А.С. Доли нина, М.-Л., 1934, III, 202).

В библиотеке Достоевского имелось еще две книги Победоносцева: „Приключени: чешского дворянина Вратислава в Константинополе в тяжелой неволе у турок с авст рийским посольством 1591". Перевод с чешского. СПБ., 1877. — Фома Кемпийскиі „О подражании Христу". 4 книги. Новый перевод с латинского К. Победонос цева, с предисловием и с примечаниями переводчика. СПБ., 1869.

14

Почтеннейший Федор Михайлович. Хотел непременно повидаться с вами перед отъе дом за границу, но сил моих нет от жару, и потому на письме желаю вам доброі лета с полным обновлением сил.

Между тем, хочу сообщить к вашему сведению любопытные и ужасные черты судьб наших несчастных эмигрантов, Герцена и К⁰. Посмотрите — кто из них не умалише: ный, и доктор Крупов [1] как плачевно оправдывает свою теорию!

Вы слышали, конечно, достаточно о жене Огарева, что это ведьма, а не женщин. Герцен всю жизнь терпеть ее не мог, не мог видеть ее без отвращения и говорил о ней не иначе как: c'est une vipère. Между тем, со своею второю женой он жил, ка кошка с собакой, и не знаю как случилось, посреди этого домашнего ада, сошелся ненавистною ему женой Огарева. Она — неизвестно как — стала его любовницей, н переставая возбуждать в нем нравственное отвращение. Последним ударом ему был сумасшествие обожаемой им дочери от первого брака Натальи.

Наконец, вторая жена его умерла. M-me Огарева тотчас переехала к нему и водво рилась с ним. Тут начался у них пущий ад, и мученье усложнилось еще тем, что ним была дочь, прижитая от Огаревой, такая же ехидная, как и мать,—дочь и мат ненавидели друг друга и грызлись с утра до вечера. Конечно, дочь с детства воспиты валась в полном материализме и безверии.

Эта-то дочь отравилась недавно, как вы читали, я думаю, в газетных смутных изве стиях. Любопытны обстоятельства. Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать. Так она умерла. Перед смертью написала она следу ющую записку, которую рассказывал здесь дословно И. С. Тургенев. Вот (почти-что так, сколько я помню) в чем она заключается.

Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas, qu'on se rassemble pour fêter ma ressurection avec du Cliquot. Si cela réussit, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte puisque'il est très desagréable de se reveiller dans un cercueil sous terre. Ce n'est pas chique![2]

Последнее словечко очень выразительно—не правда ли?

В довершение всей этой трагикомедии — вот история об Огареве, из того же источника. Он жил в Женеве, равнодушный ко всему. Самый главный интерес составляла для него кухарка его англичанка, ибо ему казалось, что никто кроме ее не готовит ему вкусного обеда и что он может есть с приятностью только ее кушанье. Но этой кухарке стало невтерпеж жить у него и, наконец, она объявила ему, что она должна уехать на родину. Огарев пришел в невообразимое отчаяние и чтоб избавиться от грозившего бедствия, решился уехать с ней на родину ее в Гриничь. Там он и живет у нее на хлебах, в обществе лавочников и рабочих, не зная ни слова по-английски.

Сообщаю вам весь этом материал, любезный Федор Михайлович, и уезжаю. До-свидания.

Душевно преданный

К. Победоносцев

3 июня 1876

Последний ваш номер очень удовлетворил меня. Не смущайтесь, если вас ругать станут[3]. Надо не кланяться идолам, а повергать их во прах.

[1] Герой ранней повести Герцена „Записки доктора Крупова", считающий, что человечество—сплошное сборище сумасшедших. Тургенев и Победоносцев довольно верно запомнили и передали текст предсмертной записки Лизы Герцен. В настоящее время он опубликован полностью (к сожалению в переводе) в „Архиве Огаревых", ред. М. О. Гершензона. Гиз, 1930, стр. 214.

[2] Достоевский в „Дневнике писателя" дал следующий перевод французской записки: „Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землею. Очень даже не шикарно выйдет!"

В своем письме от 3 июня 1876 г. Победоносцев сообщает Достоевскому сведения о тяжелой семейной катастрофе в кругу Герценов-Огаревых в целях опубликования этого материала в „Дневнике писателя". В настоящее время, когда изданы письма, освещающие роман Лизы Герцен с Шарлем Летурно и связь Огарева с Мэри Сэтерленд, реляция Победоносцева представляется особенно недостойной. Глубоко волнующие своим жизненным драматизмом человеческие документы из огаревских архивов вскрывают до конца холодную расчетливость крупного государственного деятеля, небрезгующего оглаской в печати интимных дел своих политических противников. Достоевский так и понял полученное им письмо. В октябрьском выпуске „Дневника писателя" за 1876 г., в главе „Два самоубийства", он привел цитату из письма Победоносцева и текст французской записки, сославшись при этом на одного „уважаемого корреспондента". Правда, он не назвал ни одного имени и совершенно обошел историю Огарева (своего бывшего женевского приятеля, оказавшего ему некоторые услуги), но об остальном сообщил в очень прозрачных обозначениях. Эпизоду смерти Лизы Герцен придано соответственное освещение: самоубийца—дочь одного слишком известного русского эмигранта, родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по „воспитанию"... „Тут слышится душа, именно возмутившаяся против „прямолинейности" явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщавшейся ей в доме отца еще с детства", и проч. Фактическая сторона письма Победоносцева в ряде мест не соответствовала действительности.

[3] „Дневник писателя" 1876 г., май (дозволен цензурою 30 июня). Слова Победоносцева относятся очевидно к характеристике, данной Достоевским адвокату Утину, защитнику Каировой („условно-либеральная гуманность" и проч.).

15

Достопочтеннейший Федор Михайлович.

Сегодня просил я кого следовало о Марье Остроумовой[1] и имею надежду, не дадут ли ей рублей сто в пособие. Когда что узнаю верно, непремину вас уведомить.

Душевно уважающий и преданный

18 окт. 1876

К. Победоносцев

[1] Марья Остроумова—проживавшая в Старой Руссе вдова священника, о выдаче денежного пособия которой Достоевский видимо хлопотал у К. П. Пебедоносцева. См. № 18.

16

Многоуважаемый Федор Михайлович. Не знаю, доставляете ли вы свой „Дневник писателя“ наследнику цесаревичу? Если нет, то не дурно было бы, когда б вы ему посылали. Я знаю, что вчера, в бытность его у братьев, ему говорено было про некоторые статьи и рекомендовано обратить на них внимание [1].

Душевно преданный
К. Победоносцев

Вы можете послать вышедшие листы просто на имя великого князя с почтой; а если желаете доставить с толкованием [2], то благоволите прислать ко мне и я отошлю их к нему с письменным объяснением, что это от вас представляется.

Суббота.
13 ноября 1876

[1] Редакция этой записки дает основание предположить, что „рекомендация“ исходила от самого Александра II; указания „в бытность его [наследника] у братьев“ (т. е. у великих князей Сергея и Павла) и обороты „говорено“ и „рекомендовано“ как будто указывают на такой именно источник.

О внимании Александра II к Достоевскому свидетельствует видимо и письмо последнего к А. Г. Достоевской от 25 июля 1873 г.:

„На острове Вайте [Победоносцев] читал мое Преступленье и наказанье (в 1-й раз в жизни) по рекомендации одного лица слишком известного тебе одного моего почитателя, которого сопровождал в Англию. Следственно дела еще не совсем очень плохи. Пожалуйста не болтай, голубчик Анечка“.

Победоносцев находился в свите Александра II во время его поездки за границу летом 1873 г.

Правительство Александра II доставило Достоевскому немало тяжелых неприятностей. Оно держало его почти до самой смерти под секретным надзором, следило за его связями за границей и наконец совершенно беззаконным закрытием его журнала в сущности разорило его. Но при этом Александр II видимо демонстрировал иногда интерес к Достоевскому. Воспитанник Жуковского и Сперанского, оценивший „Записки охотника“, он считал подчас нужным делать милостивые жесты в сторону литературы. К тому же еще Николай I видимо по придворным подсказам сделал какой-то демонстративный жест культурного внимания к прошумевшим „Бедным людям“. Следует думать, что известные строки в эпиграмматическом послании Тургенева и Некрасова к молодому Достоевскому: „Тебя хвалит император, уважает Лейхтенберг“ не лишены какой-то фактической основы. Впрочем вскоре после этих похвал состоялась высочайшая резолюция о Достоевском: на четыре года (на каторгу), а потом рядовым. Достоевский впоследствии полагал, что этой конфирмацией, отменявшей смертный приговор генерал-аудиториата, царь „пожалел в нем молодость и талант“. Но соображение это едва ли правильно в виду общего характера меры, примененной к осужденным петрашевцам: участь Достоевского после царской конфирмации оказалась сравнительно далеко не самой легкой. Меньше всего Николай I считался с талантом молодого автора, на долгие годы прервав его литературную деятельность.

После смерти Достоевского Александр II оказывает ряд „милостей“ его семье.

[2] Достоевский счел нужным преподнести „Дневник писателя“ „с толкованием“ и представил его при сопроводительном письме. См. ниже (стр. 159) примечание к „Извещению дворцовой конторы“.

17

Почтеннейший Федор Михайлович, вот справка, если хотите, я могу написать Губернатору.

К. П.

Впрочем вероятно теперь деньги уже выданы.

Понедельник
[27 декабря 1876 г.]

Приписка Победоносцева внизу следующей официальной справки: „Всемилостивейше пожалованные в единовременное пособие вдове Священника Остроумовой 100 рублей препровождены к Новгородскому Губернатору при отношении Статс-Секретаря у Принятия Прошений от 21-го декабря 1876 г. за № 10715, для выдачи просительнице, по месту ее жительства в г. Старой Русе“.

18

Вот, любезнейший Федор Михайлович, когда вы были у меня, то сетовали, что январский № Дневника выйдет у вас не в меру слабый, а вышло наоборот — весь в

силе,[1] и я, только что прочитав его, спешу благодарить вас за прекрасные статьи — все хороши, особенно, что вы рассуждаете о штунде, да и о Фоме Данилове[2]. Здравствуйте и радуйтесь.

Душевно преданный

1 февр. 77 К. Победоносцев

[1] Январский выпуск „Дневника писателя" 1877 г. состоял из следующих статей: Глава первая. I. Три идеи. II. Миражи, штунда и редстокисты. III. Фома Данилов, замученный русский герой. Глава вторая. I. Примирительная мечта вне науки. II. Мы в

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ

Публичная библиотека им. Ленина, Москва

Европе лишь стрюцкие. III. Русская сатира. „Новь", „Последние песни". Старые воспоминания. IV. Именинник.

[2] Фома Данилов, по справке самого Достоевского — „унтер-офицер 2-го Туркестанского стрелкового баталиона, захваченный в плен кипчаками и варварски умерщвленный ими после многочисленных и утонченнейших истязаний 21 ноября 1875 года в Маргелане за то, что не хотел перейти к ним на службу и в магометанство". Достоевский вспомнил его в „Братьях Карамазовых" в главе „Контроверза" (ч. I, кн. III, гл. VII).

19

Почтеннейший Федор Михайлович. Зная вашу заботливость, я уже беспокоюсь отчего не выходит до сих пор Дневник? Здоровы ли, здесь ли вы, и все ли у вас благополучно? Если это письмо дойдет до вас, напишите мне словечка два по адресу: в Ораниенбаум во Дворце[1].

Душевно преданный
К. Победоносцев

и какой ваш деревенский адрес?

6 июля 1877

[1] В начале июля 1877 г. Достоевскому пришлось оставить деревню, где он отдыхал (имение „Малый Прикол" Курской губ.), и „ехать в Петербург, чтобы редактировать и выпустить в свет летний двойной № 2 „Дневника писателя" за май—июнь" („Воспоминания А. Г. Достоевской", 225—226). В Петербурге его ждало немало хлопот по типографии, цензурному комитету, чтению корректур и проч. Достоевский приехал в Петербург 5 июля в 11 час. утра, а на другой день получил письмо Победоносцева из Ораниенбаума. В письме к жене от 7 июля Достоевский сообщает: „Вчера вечером получил письмо от Победоносцева. Пишет наугад, беспокоясь за меня и не зная где я, на прежний адрес; не выходит дескать Дневник, не сделалось ли чего с вами? Сам он в Ораниенбауме, живет во дворце. Напишу ему, но вряд ли сам поеду — некогда".

Письмо Достоевского к Победоносцеву за июль 1877 г. неизвестно.

20

Добрейший Федор Михайлович. Вот уже вторая неделя, как я сижу дома, простудившись, с тяжелой головою. Если вы здоровы, и есть досуг, не зайдете ли на днях вечерком побеседовать, — чего давно уже не бывало.

Душевно преданный
К. Победоносцев

28 февр. 1878
Петербург.

21

Достопочтеннейший Федор Михайлович.

Вам понравилась московская речь Преосв. Амвросия. Думаю, что понравится и другая, недавно сказанная им в Московской Семинарии[1].

Душевно преданный
К. Победоносцев

30 ноября 78

[1] Амвросий (Алексей Иосифович Ключарев) (1821—1901)—церковный писатель и проповедник, редактор журнала „Душеполезное чтение", руководитель издания „Вера и разум". Выступая на общественно-политические темы, Амвросий яростно боролся с „вольнодумством" (свобода совести, свобода печати, женское образование и пр.). Некоторые его проповеди печатались в „Московских Ведомостях".

Речи свои Амвросий произносил на всевозможные „темы дня": по случаю заключения мира с Турцией, убийства шефа жандармов Мезенцева и харьковского губернатора Кропоткина, покушения на Александра II, смерти Юрия Самарина, различных манифестов и пр. „Московская речь", о которой пишет Победоносцев—проповедь Амвросия по поводу убийства в Петербурге шефа жандармов Мезенцева, произнесенная 12 сентября 1878 г. По основным положениям она действительно близка воззрениям Достоевского в эту эпоху: „спасительная сила церкви" (превосходство христианства перед всеми человеческими учениями и превосходство православия перед всеми другими исповеданиями); духовно-нравственное воспитание в противовес новейшим педагогическим теориям „европейских руководителей"; духовный опыт „святой Руси", противопоставленный учениям „наших космополитов, ненавистников родной земли"; исконно русская религиозная философия, которую „мы не заметили: мы искали в Европе последнего слова философии и зато видели, как пред нами проходили поколения шеллингистов, гегелистов, реалистов, материалистов, социалистов..." („Проповеди Амвросия, епископа Дмитровского, викария московского за последние годы служения его в Москве" (1873—1882). М., 1883, стр. 136—140). Вторая проповедь, которая по мнению Победоносцева понравится Достоевскому,—это „Речь воспитанникам московской духовной

семинарии", произнесенная 8 ноября 1878 г. В ней развиваются положения предыдущей речи (высокие цели церкви и борьба ее „с духовными врагами человечества", возможность примирения „веры со здравыми научными познаниями", восстановление в народе русском „утраченной цельности" и пр.).

22

Почтеннейший Федор Михайлович. Рекомендую вам прочесть фельетон в прилагаемом № Соврем. Известий[1]. В нем метко выражена основательная мысль и подмечено явление слишком обыкновенное в нашем обществе.

Кстати. Помня, что вы иногда заходили ко мне по субботам вечерами, скажу на всякий случай, что завтра я должен провести целый вечер в утомительном заседании.

До свидания.

Пятница — Ваш К. Победоносцев

12 янв. 79

[1] „Современные Известия"—московская ежедневная газета правого направления (издавалась И. П. Гиляровым-Платоновым с 1 декабря 1867 г.) с подзаголовком „политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные [известья]". Фельетон, рекомендованный Победоносцевым,— вероятно из № 9 „Современных Известий" от 10 января 1879 г. под заглавием „С того света". В фельетоне описывается случай, происшедший под новой год в ресторане „Эрмитаж", где двое юнкеров не выказывали достаточного почтения к обедавшему там „герою Дубасову, взорвавшему на Дунае в последнюю войну турецкий броненосец". В шовинистическом тоне фельетонист возмущается „Митрофанушками", не понимающими, что „подвиги таких героев, как Дубасов, Скобелев и др., должны служить руководством и примером для каждого честного русского солдата"... Это вероятно и есть „основательная мысль", вызвавшая одобрение Победоносцева.

23

Многоуважаемый

Федор Михайлович.

На случай, когда бы там нужно было видеться с Катковым [1], спешу вас уведомить, что он здесь на несколько дней и остановился у зятя своего кн. Шаховского на площади Большого театра, № 6, дом Варгина.

Душевно преданный

14 фев. 79 — К. Победоносцев

[1] Катков, Михаил Никифорович—реакционный публицист, редактор „Московских Ведомостей" и „Русского Вестника", сыгравший заметную роль в литературной биографии Достоевского. Свои большие романы (за исключением „Подростка") Достоевский печатал в „Русском Вестнике". В 70-е годы он был прилежным читателем „Московских Ведомостей". Иные из передовиц Каткова оставляли заметные следы на его художественном творчестве. Неутомимый обличитель нигилизма, гневный обвинитель Нечаева и Бакунина, воинствующий националист, готовый всюду видеть следы „польской интриги", непримиримый враг интеллигенции („как только начнет действовать наша интеллигенция—мы падем") Катков многому научил Достоевского-политика. В ряде спорных государственных вопросов романист примыкал к выводам московского публициста и нередко отражал в своих высказываниях директивные тезисы катковских статей. Под конец жизни он видимо разделял возмущение Каткова судом присяжных (после дела Веры Засулич) и вполне солидаризировался с его нападками на самую идею русского общественного суда. В отличие от многих представителей петербургской администрации Достоевский в полном согласьи с „Московскими Ведомостями" в последний год своей жизни приветствовал начинания Лорис-Меликова в направлении общественного „замирения". Газета Каткова, как и „Русский Вестник", по основным вопросам перекликалась с петербургским „Гражданином".

24

Любезнейший Федор Михайлович. Сейчас был у меня о. архимандрит Симеон и привез, для передачи вам, выписанные им из книг подробности монашеского погребенья[1], о которых он при свидании запамятовал объяснить вам.

Душевно преданный

К. Победоносцев

24 февр. 1879

[1] Выписки эти очевидно послужили Достоевскому для описания погребения старца Зосимы в главе „Тлетворный дух" („Братья Карамазовы", ч. III, кн. VII, гл. I). В первых же строках своего описания Достоевский цитирует „Большой Требник", выписки из которого очевидно и были ему присланы Победоносцевым 24 февраля 1879 г. Глава „Тлетворный дух" появилась в сентябрьской книжке „Русского Вестника" 1879 г. Сопоставление этих дат дает возможность датировать работу Достоевского над 7-ю книгой своего романа: весна—лето 1879 г.

25

Почтеннейший Федор Михайлович. Вчера, по уходе вашем, я написал и послал потребное письмо Градоначальнику.

В понедельник надеюсь встретиться с вами за обедом: Арсеньев пишет мне, что у них на этот день предположение, и я сообщил им ваш адрес.

Душевно преданный
К. Победоносцев

3 марта 1879

26

Христос Воскрес. Обнимаю вас, любезнейший Федор Михайлович, и сердечно благодарю за память. Жалею, что не видал вас, а только ваши карточки. Я сегодня лишь вернулся из Сергиевской Пустыни, где доволен был и мирен целую неделю. В 3 часа поехал к вечерне в Исакиев. Собор—а между тем явились ваши карточки. Посылаю вам статьи из вчерашних Моск. Вед.[1]

Душевно преданный
К. Победоносцев

[2 апреля]
Пасха 1879

[1] „Вчерашние Моск. Вед."—№ 81 от 31 марта 1879 г., так как по случаю пасхи „следующий № Московских Ведомостей" (согласно объявлению на 1-й стр. № 81) выйдет в четверг 5 апреля". Статьи, упомянутые Победоносцевым,—помещенные на 4 и 5 страницах фельетоны и корреспонденции. В одной из них—„В мире курьезов", газета возмущается „научной ревностью не по разуму петербургских врачей", объявивших о чуме в России (темой этой интересовался Достоевский и затронул ее в „Гражданине"), и полемизирует с Градовским по поводу его последних статей в „Голосе"; особенное место фельетонист уделяет ироническому описанию чествования И. С. Тургенева в Петербурге и Москве преимущественно учащейся молодежью. Тургеневу же посвящена и вторая статья „С берегов Невы", в которой автор возмущается „ребячески жалкой" политической агитацией, предметом которой послужил Тургенев. Автор упоминает о публичном вечере, где самым лестным для них образом были приветствованы два писателя—Тургенев и Достоевский: „оказывается произошло недоразумение: „мы, рукоплеща и г. Тургеневу и г. Достоевскому, способствовали чествованию единственно г. Тургенева и вовсе даже не в его качестве талантливого беллетриста, а в звании не то „политического", не то „общественного", но во всяком случае „западного" человека, „профессиональные идеалы которого всем нам дороги и святы". Потеха же и только!" И пр. Автор распространяется в дальнейшем о Тургеневе как „представителе западного конституционализма в России".

27

Любезнейший Федор Михайлович. Припоминаю, что около 15 апреля вы собираетесь переезжать в Старую Руссу[1]. Не надеюсь до отъезда увидеться с вами, так как за болезнью в доме у меня я ни с кем не вижусь. От души желаю вам счастливого пути—уезжайте скорее—там будет вам тише жить и работать. В настоящую пору бежал бы из Питера в пустыню. Кланяюсь супруге вашей и желаю вернуться благополучно и здорово в лучшую пору[2]. От души обнимаю вас.

Душевно преданный
К. Победоносцев

11 апр. 1879

[1] Достоевский выехал в 1879 г. в Старую Руссу только в мае.

[2] Панический тон последних строк объясняется покушением на царя А. К. Соловьева 2 апреля 1879 г. На это видимо намекает сообщение: „За болезнью в доме у меня я ни с кем не вижусь“.

28

Сердечно благодарю вас, любезнейший Федор Михайлович, за то, что вы скоро меня вспомнили и написали мне, а меня простите за то, что не ответил вам вскоре. Это совершенно противно обыкновению моему и сердечному желанию, и весьма редко со мною случается; а на этот раз произошло вследствие того, что у французов называется force majeure. Поверите ли, что целый месяц и больше того я не в состоянии был писать, и самые письма, мною получаемые, лежали у меня дня по три нераспечатанными: до того голова была занята с утра до ночи множеством забот и множеством лиц, с которыми приходилось беспрерывно видеться. Только теперь опоминаюсь от всей этой суеты. Впрочем работал я для доброго дела. Надобно было устраивать отправление 600 ссыльно-каторжных из Одессы на остров Сахалин. Мне хотелось устроить это дело так, чтобы скорбный этот путь стал по возможности путем утешения и чтобы вместо школы разврата, соединенной с этапным хождением, устроилась бы по возможности школа духовного назидания и порядка. Слава богу, обстановка вышла самая благоприятная. Прекрасный священник, всей душою преданный делу,—другой, простой человек с горячею душой, благочестивый мещанин миссионер, с громадным запасом книг и т. под., доктор-старичок, человеколюбец, и два чиновника—люди вполне достойные и одушевленные,—командир судна толковый, распорядительный, с душою. Вы поверите, с какою заботою я следил за всем этим снарядом. Наконец 7 Июня корабль отплыл, напутствованный в Одессе архиереем Платоном, который сам приехал проводить арестантов и сказал им трогательные поучения,—а в числе их есть люди, повинные в 40 убийствах.—Экспедиция эта, первая в своем роде, прошла уже Красное море, и теперь должно быть на пути к Сингапуру. Вчера я получил первые любопытнейшие письма из Порт-Саида и, читая их, приходил в умиление. Благослави боже! Нас стращали беспорядками в пути; но вот в течение 2 недель—все не нахвалятся поведением арестантов. Представьте себе только такую картину—утро и вечер, посреди океана—впереди священник и с ним 500 каторжных (ибо 100 масульман в числе их) поют хором молитву. На богослужении каторжные же поют по нотам. Тотчас по выходе из Босфора признано возможным снять с них кандалы, и мне описывают радость по этому случаю. Священник неотступно при них—им позволено работать, их выпускают гулять на палубу и проч. Дай бог благополучного конца этому интересному плаванию, а я радуюсь, что заботы мои и моих сотрудников оказываются до сих пор непропащими!

Да, любезнейший Федор Михайлович, жизнь наша так искривлена, так завалена и опутана, что в ней трудно бывает отыскать простые человеческие черты. И во времена Спасителя человек, повидимому, глубоко вдумывавшийся в жизнь и помышлявший о долге, ставил вопрос, мучивший его душу и представлявшийся ему неразрешимым: кто есть ближний мой? А как он прост для простой не книжной души, и как просто решил его Спаситель. И мы все ходим по свету и мучим себя вопросом: что мне делать? И этот вопрос сбивает всех с толку—он же, конечно, увлекает и массу молодежи, выросшей посреди книжных миазмов—на путь лжи и беззакония. Да и не они одни—все мы, слывущие интеллигенцией, путаемся в нем, словно леший обошел нас, а между тем возле нас лежит большой, царский путь правды. И вдруг иногда приходит минута, что мы видим этот путь, ступаем на него, и идем по нем легко и свободно, веселыми ногами, и жизнь вдруг становится ясною. Это только тогда и бывает, когда является простое отношение одной души к другой душе страждущей, нуждающейся и обремененной, когда является перед нами дело любви в самой простой форме блистающей неотразимой истиной без хитрости и заблуждения: „алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть и т. п.“. Все это, как давно мы знали, еще из прописей, из начатков христианского учения—как все это старо, и как все это свежо и ново!

На этом основании строится все наше здание. Тут же и единственный, элементарный источник веры. Какое безумие спрашивать: докажи мне веру твою. Надо сказать: покажи мне веру твою. Она является не в отвлеченной формуле, а в живом образе живого человека и живого дела—в образе божием, еже есть Адам человек—и паки человек, т. е. Христос сын божий. Вера, любовь, надежда—школа разделяет на три категории понятий, и это есть обольщение школы, ибо разбивать то нельзя, что в существе своем едино. Бог явился Илии пророку не в вихре и в буре, а в гласе хлада тонка, в тихом веянии ветра.

О нынешних событиях и положении дел не стану много говорить—вы сами видите и чувствуете, а мне больно, больно и тяжко. Видя многое, что другие не видят, в людях и в делах, я не могу одушевляться надеждою, ибо для меня вопрос ставится просто: на репейнике не могут расти гроздия, на крапиве не вырастут смоквы. Живой человеческой силы, которая могла бы двинуть события, не слышно, и явственнее чем когда-либо ощущается, что дела наши в руке карающего и милующего бога. Часто с волнением в душе перечитываю 10 главу послания к евреям и страшный 31 стих[1]. Все так перепуталось и перемешалось в понятиях человеческих и в воле человеческой, что всякая аргументация стала пуста и бесплодна. Журнальные статьи, особливо в Пбурге, мне омерзительны. Нити не отыщешь, чтобы выйти из лабиринта, покуда нельзя будет сказать: бысть человек послан от бога, — тот что станет на гумне и будет веять пшеницу —.

Сегодня газеты принесли известие великой важности. Во Франции принята 7 статья закона об обучении. Голос ликует, но от этого ликования страшно. Ведь это значит, что закон государственный отрицает право церкви—учить и признает неспособными десятки тысяч людей, занимавшихся обучением не по профессии, не за деньги, но ради утверждения веры и по долгу церковного звания. Это—приказ самого революционного свойства[2]: и подумаешь, что у нас наши журналы требуют того же самого, и наши власти пожалуй вскоре вдохновятся тою же идеей.

Обнимаю вас от души, любезнейший Федор Михайлович, и кланяюсь супруге вашей. Жена моя просит передать вам её поклон. Надеюсь, что и вы сами, и все у вас здоровы. Я проживаю в Петергофе, Разводная улица, № 4, но езжу почти ежедневно в Петербург. Жду теперь появления книжки Рус. вестника, чтобы знать окончание разговоров братьев Карамазовых о вере. Это очень сильная глава — но зачем вы так расписали детские истязания!

Ваш от души
К. Победоносцев

9 июня 1879.
Петергоф.

[1] Послание к евреям апостола Павла—один из отделов „Нового завета". В 10-й главе говорится о страшном суде и „ярости огня" для тех, кто „получивши познание истины" произвольно грешит; 31-й стих: „Страшно впасть в руки бога живого!"

[2] В № 178 „Голоса" от 29 июня 1879 г. в специальной передовой статье отмечено, что „подавляющим большинством голосов французская палата депутатов приняла проект закона о народном образовании, устраняющий участье в школьном деле католического духовенства... В общей сложности министерство Ваддингтона-Лепэна и, главным образом, министр народного просвещения г. Жюль Ферри, обещало блистательную победу. Сопротивление, противопоставленное их проекту, имело необыкновенно грозный характер. Иезуиты, понимая грозящую им опасность, сумели соединить в рядах коалиционной оппозиции 7-й статье проекта самые разнообразные элементы французского общества, начиная с сельского населения и кончая светскими женщинами... и все это не помогло!" Газета отмечает в заключении, что „во Франции клерикалы доживают последние дни своего могущества". Неудивительно, что закон этот произвел на будущего насадителя епархиальных школ в России впечатление революционного акта.

29

Любезнейший и добрейший Федор Михайлович. Спасибо вам за доброе письмо ваше из Эмса[1]. Не зная об отъезде вашем за границу, я удивился, когда нашел в Питере вашу карточку [2], и если бы знал ваш адрес, то уговорил бы завернуть ко мне в Петергоф, где мы на досуге побеседавали бы с вами.

Вижу, что вам скучно и тошно в Эмсе, и понимаю. Но что делать, когда лечиться надобно, и должно. А что будет от лечения, в том бог волен. Только не раздражайте себя мыслию о смерти, в том смысле, как вы пишете. Посудите вы сами, когда жизнь исполнена такой нравственной тяготы, и когда смерть висит над человеком, стоит ли болезненно вглядываться в эту мысль. А что вы пишете о детях: что с ними станется?, на это скажу вам — а почему вы знаете, что с ними станется, когда вы будете живы? Кто из нас, сколько ни заботься, может прибавить себе росту на один локоть? И от чего вы убережете их, если бог не убережет? Будут терпеть? Но и при вас разве нет терпения? И вы сами разве не терпели? И всякому человеку разве не положено терпеть? Предоставьте их богу, и себя не смущайте. Мир во зле лежит и полон злых людей, но есть и добрые — их бог посылает в нужную минуту. Не говорю — к чему заботиться, чего опасаться? Но говорю—смерти из-за того не стоит трепетать, что малые дети останутся. И мать у них есть, мать попечительная, а впрочем бог всем отец и все ведает, что неведомо никому. И так не пецытеся на утрее. Может, бог даст, еще и не мало поживем, и господь знает, на добро ли или на худо себе и другим. Господь весть. Впрочем мрачное настроение наше зависит часто от нездоровья и вы, бог даст, когда поправитесь, яснее будет на душе [3]. Я про себя скажу, что у меня на душе нелегко: меня крепко гнетет и давит все то, что я вижу и слышу в доступном мне кругу и во всей мимотекущей жизни. Притом многое, что знаешь и чувствуешь, приходится таить в себе и не поверять людям, чтобы не нарушить в них оставшееся верование в правду людей и событий. Великое дело вера—и в делах человеческих. Мы сами иной раз не подозреваем, какую силу отнимаем у людей, легкомысленно передавая им свои впечатления и сомнения.

Рад душевно тому, что вы сообщаете мне о новой книге „Карамазовых". Буду ждать нетерпеливо выхода августовской книжки Р. В.—Ваш „Великий инквизитор" произвел на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал—откуда будет отпор, возражение и разъяснение—но еще не дождался. Вы пишете, что $^1/_{10}$ доли не выполнили против задуманного; но эта вещь стоит того, чтобы заняться ею в цельном приеме, пополнить и переделать что нужно [4]. К сожалению полноте и цельности немало вредит то, что роман и пишется и выдается частями. Если бы можно было вам же, написавши все,—все вместе обозреть и проверить, во сколько раз вы были бы довольнее. Когда художнику не удалась его статуя, или он не доволен, весь металл идет опять в горнило. Впрочем и то сказать, что всякий художник творит по-своему, и вы, если бы выжидали, может быть никогда и не решились бы выпустить свое произведение. Желаю вам тихих дней, тихого настроения, чтобы мысль зрела и округлялась в тишине. Всякий день имеет судьбу свою; и есть дни, когда колос вдруг спеет и вдруг наливается.

Приятель наш Мещерский выпустил еще произведение в ответ современным вопросам „в улику времени"[5]. Не видал еще, что это такое, но вижу, какая поднялась руготня в журналах. Эта руготня скорее служит рекомендацией в изв. смысле,—но я не сомневаюсь, что и сюда пущена нашим приятелем какая-нибудь ложка дегтю. Кроме того, мне крепко не нравится его манера—печатать разгонисто маленькую книжку, выпускать ее с рекламой и брать дорогие деньги. Это пахнет лавочкой.

От злосчастного Пуцыковича [6] не чаю ничего прочного. Все у него рассыпается, как дым—и не будет от него ничего, потому что он подлинно не в состоянии работать. Странное его объявление об издании Гражданина в Берлине я встретил здесь в единственной газете—в Московских епархиальных ведомостях [7]! Мысль эта сама по себе весьма мне нравится, и на этой почве можно бы создать нечто весьма солидное—только не Пуцыковичу. Увы! Он погибнет как Фаэтон, вздумавший покататься по небу в Фебовой колеснице. Жаль мне его по человечеству—и мой ему совет всегда был—бросить журнальное дело, которое не по плечу ему, и работать какую-нибудь маленькую работу.

Обнимаю вас от всей души, любезнейший Федор Михайлович! Христос с вами!

Ваш К. Победоносцев

16 авг. 1879 Я еще в Петергофе, но на днях переезжаю в П-бург.

1 Письмо из Эмса от 9/21 августа 1879 г.

2 Достоевский сообщил Победоносцеву о своем прощальном визите: „Думал хоть минуту лично повидать вас проездом в Эмс (из Старой Руссы через Петербург), был у вас (в доме Финской церкви) и не застал, а швейцар сказал мне, что вы очень часто приезжаете. Очень пожалел, потому что от вас всегда услышишь живое и подкрепляющее слово, а я именно в подкреплении нуждался" („Красный архив" 1923, II, 244).

3 Этот отрывок письма Победоносцева вызван следующим сообщением Достоевского:

„Я здесь лежу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня? Впрочем, я здесь и вообще в самом мрачном расположении духа. Узкое ущелье, положим, живописное, как ландшафт, но которое я уже посещаю 4-е лето, и в котором каждый камень ненавижу, потому что трудно себе и представить, сколько тоски вынес я здесь в эти 4 раза приезду. Нынешний же приезд самый ужасный: многотысячная толпа всякого сброду со всей Европы (русских мало, и все какие-то неизвестные из окраин России) на самом тесном пространстве (ущелье), не с кем ни одного слова сказать, и главное—все чужое, все совсем чужое—это невыносимо. И так вплоть до нашего сентября, т. е. целых 5 недель. И заметьте: буквально на половину жидов" („Красный архив" 1923, II, 244).

4 В предыдущих письмах Достоевский держал Победоносцева в курсе своих работ над „Братьями Карамазовыми". 19 мая 1879 г. он сообщал своему корреспонденту:

„Эта книга в романе у меня кульминационная, называется „Pro и contra", а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опровержение пошло лишь на Июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал сильней, т. е. так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России у всего (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, т. е. научное и философское опровержение бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние деловые социалисты (как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего), зато отрицается изо всех сил создание божие, мир божий и смысл его. Вот в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом, льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, т. е. не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца. Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем..." („Красный архив", 1923 II, 242).

В письме от 9/21 августа 1879 г. из Эмса Достоевский писал о следующей части романа:

„Это 6-я книга романа и называется: „Русский Инок" (№ 3. Биографические сведения из жизни старца Зосимы и некоторые его поучения). Жду ругательств от критиков; сам же хоть и знаю, что $^1/_{10}$ доли не выполнил из того, что хотел совершить, но все же обратите на этот отрывок ваше внимание, многоуважаемый и дорогой Константин Петрович, ибо очень хотелось бы знать мнение ваше. Я писал эту книгу для немногих и считаю кульминационною точкой моей работы" („Красный архив" 1923, 245).

5 Роман В. П. Мещерского „В улику времени". СПБ., 1879 (2-е изд. в 1880 г.)

6 Место это вызвано следующим сообщением Достоевского в письме от 24 августа:

„В Берлине встретил Пуцыковича. Ему нет-нет, а кто-нибудь и поможет; уверял меня богом, что через три дня выдаст обещанный № Гражданина в Берлине, и до сих пор не выдает. Думаю, что и не выдаст вовсе. Заметил одну в нем черту: это лентяй и работать не в состоянии. Я, вы знаете, до самого последнего времени брал в нем участие, но теперь он привел меня в отчаяние. И все-то он сваливает на людей". Доктор прав В. Ф. Пуцыкович был секретарем „Гражданина" в 1873 г., а после ухода Достоевского с редакторского поста стал ответственным редактором журнала (см. сб. „Творчество Достоевского", Од., 1921, стр. 81, ст. Ю. Г. Оксмана „Ф. М. Достоевский в редакции „Гражданина"). В 1879—1881 гг. Пуцыкович издавал в Берлине журнал „Русский гражданин", в первом выпуске которого помещено „Письмо к редактору" Ф. М. Достоевского. В 1879 г. Достоевский принимает близкое участие в его (Пуцыковича) судьбе и матерьяльных делах и делает попытку примирить П-ча с Катковым и устроить его в „Московских Ведомостях" („Письма к жене", ред. Н. Ф. Бельчикова и В. Ф. Переверзева, М.-Л., 1926, стр. 338). Л. Ф. Пуцыкович оставил о Достоевском несколько мемориальных статей: „О Ф. М. Достоевском (из воспоминаний о нем)", „Новое Время" 1902, № 9292 (перепечатано в „Литературном Вестнике" 1902, II и в сборнике Ч.-Ветринского „Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках". М, 1912, 159—160; изд. 2-е, М., 1923, ч. I, 152—153)—Воспоминания о Ф. М. Достоевском. „Берлинский Листок" 1903, V—VI (перепечатано в „Новом Времени" 1903, № 9638)—Предсказания Ф. М. Достоевского о конституции и революции (из моих воспоминаний). „Берлинский Листок" 1906, II—III. Ср.: „Новое Время" 1904, № 10325 „О письме В. Ф. Пуцыковича в „Берлинском листке" о Достоевском. „Московские Ведомости" 1910, №№ 22 и 130. Письма Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу см. в „Письмах" под ред. А. С. Долинина, Л.-М., 1934, III, 47, 137 и в „Московском сборнике" под ред. С. Шарапова, М., 1887, стр. 8—15.

Довольно многочисленные письма Пуцыковича к Достоевскому хранятся в Институте русской литературы в Ленинграде.

[7] В № 31 „Московских епархиальных ведомостей“ от 20 июня 1879 г. помещено следующее объявление: „Гражданин“ журнал литературный политический и т. д., возобновлен с июля 1879 г. Выходит в преобразованном и обновленном виде (книжками) вместо Петербурга в Берлине и рассылается немедленно по выпуске каждого № во все места России. Все прежние подписчики будут удовлетворены. Редакция прежняя. Ей положительно обещано участие некоторых знаменитых первоклассных русских писателей, о чем будет публиковано. Направление же, если в чем-либо изменится, то разве с смысле еще большей твердости и решительности против принятого. Совершающиеся ныне в нашем отечестве вопиющие событья, о необходимости предотвращения коих „Гражданин“ в течение своего семилетнего существования и прямо и косвенно, почти одиноко, но громко говорил, теперь могут служить для всякого, у него есть хоть сколько-нибудь беспристррастия, явным доказательством зрелости, основательности и современности направления этого журнала...“ („Моск. еп. вед.“ 1879, № 31, стр. 258).

30

Посылаю вам, многоуважаемый Федор Михайлович, московскую статейку о брошюре Цитовича.

Завтра, в понедельник, жду вас к нам кушать, по вашему обещанию, в 5 часов.

Душевно преданный

Воскресенье
[1879][1]

К. Победоносцев

[1] Датируем 1879 годом, так как две брошюры П. Цитовича, вызвавшие внимание к нему реакционных кругов, вышли в этом году: 1) Что делали в романе „Что делать?“ Хрестоматия „Нового Слова“, I. Одесса, 1879. 2) „Разрушение эстетики“. Хрестоматия „Нового Слова“, II. Одесса, 1879.

Обе брошюры имелись в библиотеке Достоевского. Об авторе их Достоевский писал: „Говорят, что Цитович будет издавать скоро политическую газету у нас здесь в Петербурге, ежедневную, большую. Это бы хорошо, если сумеет взяться за дело; но издавать брошюры одно дело, а газету—другое“ (письмо В. Ф. Пуцыковичу, СПБ., 21 января 1880 г.). П. П. Цитович—с 1872 г. профессор гражданскогe права в Новороссийском университете. С 1880 г. — служащий Сената и редактор официозной газеты „Берег“.

31

Только что послал к вам письмо свое[1], любезнейший Федор Михайлович, как получил из Берлина злосчастный 5 № Гражданина[2]. Как не стыдно Пуцыковичу издавать в таком виде свой первый выпуск и еще с таким преторством и угрозами. Ведь это похоже на лягушку, раздувающуюся в быка. Тут у него ничего нет, кроме каких-то бумаг из сорного ящика. И на что он рассчитывает. Если на одного себя, то расчет плохой, он не в состоянии работать. Мне это грустно потому, что фирма будет окончательно погублена, а между тем за границею можно было бы печатать многое удобнее, нежели здесь. И ежели он рассчитывает на сотрудников из России, то этим уже первый № отобьет у многих охоту. Не лучше ли было бы подождать и издать нечто более солидное. И не явный ли это признак неспособности, когда человек для начала не сумел составить ничего лучше. Жаль мне и самого Пуцыковича. Лучше пусть спасает себя и бежит в горы.

А как много и хорошо можно бы писать теперь; но для этого надо снять с себя истасканный грязный плащ журнальной полемики: так все измельчало, так все опошлилось в ее приемах: похоже на мальчишек, которые, выглядывая из-за угла, ругают прохожих и бросают в них камнями.

И так стали нелепы и незрелы ходячие мнения, что кажется небольшой мудрости стоило бы разбивать их спокойно sine ira et studio. — Все, кто выставляет еще себя серьезными учителями в журналах, так опошлились. Вы видели фельетон Градовского[3] к студентам. Профессор не нашел лучшего наставления, как сказать студентам: вы должны быть, вы будете нашей интеллигенцией. А что такое интеллигенция — спросите-ка его самого, и их—что они пойдут городить. Итак, чтобы вывести из одного

тумана, напускается другой. Слепец слепца ведет и оба в яму впадут. — Или напр. вчерашний фельетон философа Г. Маркова о женских курсах![4]

Но на всю эту работу людей нет, и конечно не соберет их бедный Пуцыкович!

А что вы пишете о жидах, то совершенно справедливо. Они все заполонили, все подточили, однако за них дух века сего. Они в корню революционно-социального движения и цареубийства, они владеют периодическою печатью, у них в руках денежный рынок, к ним попадает в денежное рабство масса народная, они управляют и началами нынешней науки, стремящейся стать вне христианства. И за всем тем—чуть поднимется вопрос об них, подымается хор голосов за евреев во имя якобы цивилизации и терпимости, т. е. равнодушия к вере. Как в Румынии и Сербии, так и у нас— никто не смей слова сказать о том, что евреи все заполонили. Вот уже и наша печать становится еврейскою. Русская Правда, Москва, пожалуй Голос—все еврейские органы,[5] да еще завелись и специальные журналы: Еврей и Вестник Евреев и Библиотека Еврейская[6].

Обнимаю вас, любезнейший Федор Михайлович. Здравствуйте.

Ваш К. Победоносцев

19 авг. 1879
Петергоф.

[1] Письмо Победоносцева от 16 августа 1879 г.

[2] „Русский Гражданин", журнал политический и литературный, № 5, 31 июля 1879 г. Год VIII. Берлин, 1879. Редактор-издатель В. Ф. Пуцыкович. Содержание: — Снова к делу. — О „Русском Гражданине".—Письмо к редактору Ф. М. Достоевского —Россия, Германия и Франция. В. Ф. Пуцыковича.—Новые странники на Руси.— На людях и смерть красна.— О добровольном флоте.—По поводу недавних событий.—Последняя страничка.

В передовой статье журнал ополчается на те „неслыханные политические безобразия", „которые имели место в главнейших городах России за последнее время в среде так называемой „русской интеллигенции". Не на страницах ли нашего журнала в течение его семилетнего существования (т. е. „Гражданина" В. П. Мещерского, 1873—1879) еженедельно твердилось, разъяснялось на все лады... что мы после идем быстрыми шагами к революции. Не наш ли журнал и не его ли известные сотрудники, в том числе и некоторые знаменитые писатели,—в течение этого времени... был ежедневно предметом низких глумлений" и проч. В дальнейших статьях безобразные надругательства над казненными политическими (Соловьевым, Бильчанским, Брантнером, Осинским и антисемитские издевательства над проф. Хвольсоном по поводу его выступлений в связи с ритуальным кутаисским процессом. Номер представляет интерес лишь по связи с именем Достоевского (в передовице, как мы видели, уже упоминались „знаменитые писатели" из сотрудников петербурского „Гражданина"); в корреспонденции сообщается: „вы спрашиваете, кажется с некоторым сомнением, какие знаменитые, первоклассные писатели обещали, как это нами было опубликовано, прислать нам свои статьи... Имя одного из них, Ф. М. Достоевского, появившееся в этом выпуске, служит вам достаточным пока ответом". В журнале действительно помещено „Письмо к редактору Ф. М. Достоевского" с приветствием „возобновляющемуся Гражданину" и обещанием при случае сотрудничать в нем (см. выше в 18 примечании к статье).

Этот берлинский выпуск „Русского Гражданина" вызвал весьма резкую оценку в „Голосе", отметившем, что старый „Гражданин" Мещерского в Берлине для пущего опозорения русского имени титулуется „Русский Гражданин", при чем „выходя в Берлине, считает себя в праве клеветать на русский народ и русское общество, не стесняясь уже никакими соображениями" („Голос" от 19 августа 1879 г., № 228).

О письмах Победоносцева от 16 августа 1879 г. и от 19 августа 1879 г. Достоевский писал ему из Эмса 24 августа/13 сентября 1879: „Получил здесь ваши оба письма и сердечно вам благодарен за них, особенно за первое, где вы говорите о моем душевном состоянии. Вы совершенно, глубоко справедливы и мысли ваши меня только подкрепили. Но я душою больной и мнительный. Сидя здесь, в самом полном и скорбном уединении, поневоле захандрил. Но, однако, спрошу: можно ли оставаться в наше время спокойным? Посмотрите, сами же вы указываете во 2-м письме вашем (а что такое письмо?) на все те невыносимые факты, которые совершаются; я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!), а между тем измучен желанием продолжать бы Дневник, ибо есть, действительно имею, что сказать—и именно как вы бы желали—без бесплодной, общекелейной полемики, а твердым небоящимся словом" („Красный архив", 1923, I, 245).

[5] Термин „еврейский орган" является в данном случае для Победоносцева синонимом „либерального", „прогрессивного", „левого" издания. Ни один из указанных органов не издавался редактором-евреем и не обслуживал специальных национальных интересов. „Русская Правда, газета политическая, общественная и литературная" издавалась и редактировалась в 1878 г. в Петербурге Дмитрием Константиновичем Гирсом; „Голос"— А. А. Краевским.

[6] „Вестник русских евреев" — еженедельная газета, издававшаяся в Петербурге в 1871—1873 гг. под редакцией Е. П. Карповича, О. Нотовича и др. В момент письма Победоносцева издание это давно прекратило существование. „Еврейская библиотека"—историко-литературные сборники под редакцией А. Е. Ландау, в которых участвовали Г. И. Богров, П. И. Вейнберг, В. Стасов, Д. Минаев, Л. Леванда, И. Оршанский и другие видные литературные силы. „Русский еврей" — еженедельная газета, издававшаяся в Петербурге в 1879—1884 гг. под редакцией Л. Бермана, при близком участии Л. Леванды.

[3] Градовский, Александр Дмитриевич (1841—1889)—видный профессор-государствовед и журналист, состоявший постоянным сотрудником „Голоса" и „Русской Речи". В следующем 1880 г. Достоевский чрезвычайно резко полемизировал с А. Д. Градовским по поводу речи о Пушкине. Победоносцев имеет в виду статью „Задача русской молодежи" („Голос", от 1 августа 1879 г., № 211), в которой автор предостерегает студенчество от „хождения в народ": „Вы можете принести пользу народу только оставаясь самими собою, т. е. частью русской интеллигенции, постепенно увеличивая число образованных, разумных и нравственных русских людей" и проч. На замечания Победоносцева о „фельетоне Градовского" Достоевский в письме от 24 августа/13 сентября 1879 г. из Эмса писал: „Я слишком понимаю, почему Градовский, приветствующий студентов как интеллигенцию, имел своими последними статьями такой огромный успех у наших европейцев: в том-то и дело, что он все лекарства всем современным ужасам нашей неурядицы видит в той же Европе, в одной Европе" („Красный архив", 1923, II, 245).

[4] Евгений Марков. „Горе от ума. По поводу высших женских курсов". „Голос" 18 августа 1879 г., № 227 (окончание). Начало статьи в № 224 от 15 августа. На замечание о Маркове Достоевский отвечал: „Здесь я читаю мерзейший „Голос". —Господи. как это глупо, как это омерзительно лениво и квиетично окаменело на одной точке! Верите ли, что злость у меня иногда перерождается в решительный смех, как например при чтении статей 11-летнего мыслителя Евг. Маркова о женском вопросе. Это уж глупость до последней откровенности" (письмо от 24 августа/13 сентября 1879 г., „Красный архив" 1923, II, 246).

32

Любезнейший друг Федор Михайлович.

Я еще не благодарил вас за ваше милое письмо, полученное мною еще 21 мая. Не причтите это к моему равнодушию. Поистине я занят делами и заботами всякого рода. Вы собирались вскоре ехать в Москву: узнав, что праздник отложен, я поспешил телеграфировать вам о том заблаговременно, но видно моя телеграмма уже не застала вас в Старой Руссе [1]. Затем, на конце московских праздников я сам проехал к Троицыну дню через Москву в Лавру, был потом в Ярославле и в Москве: потом, вернувшись, ездил еще раз в Кострому; в начале июля переехал в Ораниенбаум, откуда езжу несколько раз в неделю на целые дни в Питер, а сюда мне привозят охапками дела ежедневно. Теперь сильно опасаюсь, что письмо не застанет вас в Старой Руссе, ибо припоминаю, что вы собирались ехать еще в Эмс. Итак, пишу вам на всякий случай, и буде получу ответ из Старой Руссы, то напишу пространнее.

А если вы в Старой Руссе, то прибегаю к дружбе вашей за следующим делом.

Недавно слушалась в Синоде просьба некоего священника Алексея Степановича Надеждина [2] о сложении с него духовного сана. Все об нем свидетельствует, что он хороший человек и священник, но болезнь вынуждает его оставить свой сан, хотя он не знает, чем будет жить. Просьба его удовлетворена, но мне было желательно лично видеть его, посмотреть, что он за человек и из-за чего снимает священство. Я послал искать его и оказалось, что он в Старой Руссе на углу Пятницкой и Георгиевской улицы, в доме свящ. Румянцева [3]. Итак, если вы в Старой Руссе и имеете досуг и силы, не найдете ли времячко посмотреть этого человека и уведомить меня о вашем впечатлении.

Порадовался я душевно, что вы исполнили свое желание, о котором писали мне, и исполнили с таким успехом, отодвинуть назад безумную волну, которая готовилась

захлестнуть памятник Пушкина. Радуюсь за вас, и особливо за правое дело, которое вы выручили[4].

Оканчиваю покуда, обнимаю вас от души и жду весточки от вас.

Душевно преданный

К. Победоносцев

Петерб.
22 июля 1880

[1] 22 мая 1880 г. умерла императрица Мария Александровна, жена Александра II. Как-раз в этот день Достоевский выехал из Старой Руссы в Москву на пушкинские празднества и только после Новгорода узнал от пассажиров о событии. На другой день в Твери прочел в газетах, что „государь велел отложить открытие памятника". Но смерть императрицы прошла наредкость незамеченной для русского общества и даже для самого правительства. П. А. Валуев отметил в своем дневнике под 22 мая: „до сего дня едва ли какая-либо венценосная жена умерла так бесшумно, так бессознательно и случайно, так одиноко" (П. А. Валуев. „Дневник". П., 1919, стр. 97—99). 26 мая тело было перевезено в Петропавловский собор, а 28 состоялось погребение. Но уже 26 мая стало известно, что открытие памятника назначено на 4 июня; состоялось же оно 6 июня; 7-го и 8-го происходили торжественные заседания Общества любителей российской словесности: на втором из них произнес свою речь Достоевский.

[2] Фамилия написана не вполне разборчиво и с пропуском одной буквы. Устанавливаем по письму от 2 августа 1880 г.

[3] Священник Иоанн Румянцев, настоятель Старо-Русской Георгиевской церкви, был другом Достоевских. На даче Румянцева семья писателя жила летом 1872 г.

[4] В письме от 19 мая 1880 г. из Старой Руссы Достоевский писал, что в Москве на пушкинских торжествах „некая клика" опасалась „ретроградных слов", которые могли бы быть иными сказаны"... В противовес этой „клике" Достоевский решил говорить „в самом крайнем духе" своих и Победоносцева убеждений.

33

Сердечно благодарю вас, любезнейший Федор Михайлович, за скорый ваш ответ на письмо мое, сомнительно искавшее вас в Старой Руссе. Особенно же, за скорое исполнение моей просьбы и за снимок с физиономии свящ. Надеждина[1]. После того сам он, проведав от кого-то, что я ищу его видеть, сам сюда приехал, был у меня и успокоился, узнав, что я разыскивал его из участия к нему же и из желания сохранить его, буде возможно, для церковного служения. Однако, вижу, что он непреклонен в своем решении, конечно, по причинам весьма уважительным. А когда он отдохнет, сняв рясу, подумаем, куда можно будет с пользою употребить его.

О какое вижу великое стадо пастырей, не имущих пастыря, лежащих в притворе и ждущих движения воды и явления ангела. Сколько сбитых с пути и на этом поприще, на котором, казалось бы, нравственная задача жизни и деятельности намечена проще и явственнее, чем где-либо, а поле для нее очерчено определительнее. Теперь ежедневно, со всех концов России стекаются ко мне интимные письма духовных и светских лиц, с воплями и с указаниями, что, по их мнению, нужно. И верите ли, — всякое-то почти письмо есть патологическое явление, указывающее на такую путаницу в понятиях, на такой разлад между сердцем и мыслью, на такое раздвоение центральной идеи! И сейчас лежит передо мною послание одного харьковского сельского священника, показывающее человека с горячим сердцем и скорбною мыслью, все наполненное однако фразами, которые сами обличают свой источник (чтение журналов и газет) и противоречиями запутавшейся мысли. В конце концов он умоляет созвать всероссийский земский собор, воображая, что из этого нового смешения языков может возникнуть потерянная истина. Чего еще искать ее, когда она всем нам—и ему тоже, давным давно дана и открыта!

А что бы ему вместо всей этой рацеи написать мне, что он сам на своем поле хотел и старался делать, что успел, в чем обманулся и как обо всем этом судит! —

Куда как много говорят (больше с чужого голоса), куда как много напускают на себя,—и куда как мало делают все! В этом-то и состоит сугубая ложь, нас разъедающая.

Лучшие наши чувства—любовь и негодование—способны превратиться в ложь в лучших из нас, и подобно демону, превращающему свой вид в ангела светла, заводят нас дальше и дальше, на кривые пути. Так засыхает и истощается в нас основное чувство природы — радость, без которой невозможно возвышение духа истинное, невозможна и истинная деятельность. Место ее занимает—желчное раздражение.

Но довольно об этом. Как я радуюсь полученному от вас известию о скором выпуске Дневника[2]. В добрый час и благослови вас боже! Лишь бы ваша мысль стояла в вас самих ясно и твердо, в вере, а не в колебании,—тогда нечего обращать внимание на то, как она отразится в разбитых зеркалах—еже есть журналы и газеты наши. Пусть их блядословят сколько угодно: ваша речь найдет себе дорогу сквозь весь этот лай паршивых шавок.

Сейчас только получил 7-ю книжку Р. вест. с продолжением Карамазовых[3]. Перед тем читал последнюю часть вашу, помнится в апрельской книжке, дорогою, едучи из Москвы в Ярославль (история с детьми)[4]. Она удовлетворила меня вполне, без всякого расщепления: очень, очень хорошо. В первую же минуту досуга возьмусь за следующую[5]. Все ваше я непременно читаю, любезнейший Федор Михайлович.

В эту минуту Влад. Соловьев[6] недалеко отсюда, в Петергофе, куда приехал на несколько дней из пустыньки с гр. Толстою[7] и с Ю. Ф. Абазой[8]. Сегодня, кажется, они уезжают обратно.

Радуюсь, что вам понравилась речь моя[9]. Я сердечно любил покойную императрицу и хотел сказать слово об ней не на журнальных столбцах, которые опротивели мне ложью, а на чистом месте, простым душам, способным любить и верить. Для этого главным образом и поехал я в Ярославль, к девицам, выходившим из училища.

Обнимаю вас от души. Сам я подлинно в котле киплю с утра до ночи.

Супруге вашей мой душевный поклон, и моя жена вам усердно кланяется.

Душевно преданный

2 августа 1880 К. Победоносцев
Ораниенбаум

[1] Достоевский старательно выполнил поручение Победоносцева в его письме от 22 июня и дал в своем ответе от 25 июля 1880 г. выразительный портрет священника Алексея Надеждина; сам он впрочем считал свою характеристику торопливым наброском: „посылаю вам скороспелую, не ретушеванную фотографию" („Красный архив" 1923, II, 250). Но Победоносцев вполне оценил полученный очерк.

[2] „Дневник писателя". Единственный выпуск за 1880 год (речь о Пушкине).

[3] В „Русском Вестнике" 1880 г., июль, помещена одиннадцатая книга части четвертой „Брат Иван Федорович", гл. I—V.

[4] В апрельском номере была напечатана вся десятая книга части четвертой „Мальчики". Затем следовал двухмесячный перерыв в печатании романа.

[5] Следующая часть „Братьев Карамазовых" — часть IV, кн. XI „Брат Иван Федорович" началась печатанием (первые пять глав) в „Русском Вестнике" 1880 г., июль.

[6] К 70-м годам относится дружба Достоевского с философом Владимиром Соловьевым, общий облик которого по преданию отразился на образе Алеши Карамазова. Следует думать, что влияние Соловьева сказалось на философских страницах „Братьев Карамазовых" параллельно влиянию Победоносцева в государственно-публицистических высказываниях романа. Летом 1878 г. перед работой над своим последним произведением Достоевский ездил в сопровождении Вл. Соловьева в Оптину Пустынь (см. об этом „Воспоминания" А. Г. Достоевской, 232—233). В 1917 г. нам пришлось слышать от А. Г. Достоевской, что „когда Вл. Соловьев в 1878 г. читал в Соляном городке лекции о богочеловечестве, Федор Михайлович не пропускал ни одной из этих лекций".

[7] Графиня С. А. Толстая, вдова поэта, продолжая традиции мужа, собирала у себя выдающихся представителей литературы и умных дам, способных оценить их по достоинству. Тут бывали Е. А. Нарышкина, княгиня М. А. Барятинская, княгиня В. С. Ливен, Е. В. Сабурова, графиня Пален, словом — весь тогдашний умственный цвет петербургских салонов. В то время в Петербурге выделился кружок не совсем добрых, но зато очень начитанных, почти умных женщин, немного кокетничавших своим умственным превосходством, сделавшихся чем-то вроде женского Олимпа. В поклонниках у этого Олимпа недостатка не было, хотя поклонялись ему на чисто интеллектуальной почве. В салоне С. А. Толстой бывали Гончаров, Достоевский, Тургенев, Вл. Соловьев, Соллогуб. „Вечера графини немного походили на священнодействие. Литературные кумиры

принимали благовонный дым кадильниц и, как подобает кумиру, сами говаривали очень мало... Гончаров был поразительно молчалив, а Достоевский мог просидеть целый вечер в такой мертвой неподвижности, что положительно напоминал курильщика опиума с крайнего востока" (К. Головин. „Мои воспоминания", т. I, 321—322).

Известный исследователь русского романа, в то время секретарь французского посольства в Петербурге виконт Мельхиор де Вогюэ неоднократно встречался с Достоевским в салоне С. А. Толстой, который напоминал парижскому дипломату гостиные Сен-Жерменского предместья. Он отмечает в своем дневнике 1880 г. „спор с Достоевским". „Любопытный образчик русского одержимого,—записывает он,—считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более смутен. Смесь „медведя" и „ежа". Самообольщение, позволяющее предвидеть, до каких пределов дойдет славянская мысль в ее ближайшем большом движении. „Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением,—утверждает Достоевский,— вот почему мы можем понять вас, а вы не в состоянии нас постигнуть"... (E. M. De Vogüé. „Journal". Paris—Saint-Petersbourg, 1877—1883. P., 1932, стр. 164). Дочь писателя свидетельствует, что „в аристократическом салоне графини С. А. Толстой, в котором собирался цвет столичного общества и который удостаивали своим посещением августейшие особы, Достоевский горячо развивал свою излюбленную теорию о „всечеловечности" Пушкина и мировой роли России". Здесь Достоевский читал также главы из „Братьев Карамазовых". В архиве Достоевского сохранилась пригласительная записка от С. А. Толстой 1878 г.

8 Абаза, Юлия Федоровна, жена начальника Главного управления по делам печати Николая Саввича Абаза (1837—1901); именно он был цензором последнего выпуска „Дневника писателя" и ему было поручено сообщить 30 января 1881 г. А. Г. Достоевской о назначенной ей пенсии в 2000 руб. Жена его принадлежала к кругу С. А. Толстой, с которым в эти годы сблизился Достоевский: „У гр. С. А. Толстой Федор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества: с гр. А. А. Толстой (родственницей гр. Л. Толстого), с Е. А. Нарышкиной, гр. А. Е. Комаровской, с Ю. Ф. Абаза, с княг. Волконской, Е. Ф. Ванлярской, певицей Лавровской (кн. Цертелевой) и др. Все эти дамы относились чрезвычайно дружелюбно к Федору Михайловичу; некоторые из них были искренними поклонницами его таланта, и Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу" (А. Г. Достоевская. „Воспоминания", 276). В архиве Достоевского сохранился ряд пригласительных записок к нему Ю. Ф. Абаза на вечера, детские праздники, концерты (с участием Рубинштейна) и пр.

9 В письме от 25 июля 1880 г. Достоевский писал Победоносцеву: „За вашею драгоценною деятельностью слежу по газетам. Великолепную речь вашу воспитанницам читал в „Моск. Ведомостях" („Красный Архив" 1923, II, 250).

34

Спасибо вам, любезнейший друг Федор Михайлович, за вышедший сегодня № Дневника[1]. Я тотчас же прочел его весь, едучи обратно из П-бурга. Тут есть страницы из лучших, писанных вами. Спасибо вам за то, что сказали русскую правду. Сказанное вами без сомнения произведет впечатление на многих. Г. Градовский[2] будет пожалуй отписываться,—его и подобных ему обезьян не урезонишь, ибо они потеряли уже ключ к народной душе: как внушить любовь семейную сыну, который спрашивает отца: докажи мне, почему я обязан любить тебя?

Желаю этому листку самого обширного распространения; а Дневник вам непременно надобно издавать в следующем году: к этому вы нравственно обязаны[3].

Взгляните на статью Леонтьева по поводу вашей речи в 169 № Варшавского Дневника[4]. Если у вас нет, я пришлю вам этот №.

Думал, не здесь ли вы сами по случаю выпуска этого листка; посылал спросить, но на квартире сказали, что вы будете назад лишь в сентябре.

Обнимаю вас от души—Христос с вами.

Ваш К. Победоносцев

12 авг. 1880
Ораниенбаум

1 „Дневник писателя". Единственный выпуск за 1880 г. Август. В выпуске была напечатана речь о Пушкине, вступительное объявление к ней и полемика с А. Д. Градовским. Выпуск в том же году вышел вторым изданием. Об этом выпуске Достоевский летом 1880 г. сообщал Победоносцеву.

„Кроме „Карамазовых“ издаю на днях в Петербурге один № Дневника Писателя — единственный № на этот год. В нем—моя речь в Москве, предисловие к ней, уже в Старой Руссе написанное, и наконец ответ критикам, главное Градовскому. Но это не ответ критикам, а мое profession de foi на все будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами. Думаю, что на меня поднимут все каменья. Не разъясняю вам далее, выйдет в самом начале августа, 5-го числа или даже раньше, но просил бы вас очень, глубокоуважаемый друг, не побрезгать прочесть этот „Дневник“ и сказать мне ваше мнение. То что написано там—для меня роковое. С будущего года намереваюсь „Дневник Писателя“ возобновить и теперь являюсь тем, каким хочу быть в возобновляемом „Дневнике“.

2 Градовский, Александр Дмитриевич—см. примечание 3-е к письму 31-му.

3 На первой странице выпуска имелась сноска: „Издание „Дневника писателя“ надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит мое здоровье“. Достоевский действительно приступил к изданию „Дневника писателя“ в 1881 г., но смерть оборвала его на первом выпуске, вышедшем в свет в день похорон Достоевского (вскоре вышло второе издание в траурной рамке). „Вчера он должен был выпустить 1 номер своего „Дневника“ и совсем приготовил, и вчера же в день его выноса, появился этот номер,— писал 1 февраля 1881 г. Победоносцев наследнику.— В нем есть прекрасные страницы с самого начала“.

4 Статья Константина Леонтьева „О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике“ представляла собою один из интереснейших отзвуков на знаменитую речь о Пушкине.Статья Леонтьева была напечатана в „Варшавском Дневнике“, №№ 162, 169, 173 (29 июля, 7 и 12 августа). Во многом К. Н. Леонтьев отнесся критически к выступлению Достоевского, решившись заявить в атмосфере общего восторга, что „в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском „смирении, терпении, любви“ говорили многие. Все это не ново: ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полу-христианского, полу-утилитарного, всепримирительного стремления к многообразному и демонически-пышному гению Пушкина“. Тут же Леонтьев замечает: „Но, признаюсь, я многого очень многого в этой идее постичь не могу... Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так непримиримо... Во-первых, я постичь не могу, за чтож можно любить современного европейца... Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь — милосердие, и есть любовь восхищение; есть любовь моральная, и любовь эстетическая“. Победоносцев указал Достоевскому на вторую статью Леонтьева в „Варшавском Дневнике“ от 7 августа (№ 169). „Благодарю за присылку Варшавского Дневника“, — отвечал Достоевский в письме от 16 августа 1880 г. — Леонтьев в конце концов немного еретик — заметили вы это?.. Впрочем... в его суждениях много любопытного“ („Красный архив“ 1923, II, 251). Незадолго перед тем Леонтьев опубликовал статью на близкую Достоевскому тему — „об обращении Царьграда в центр великорусской жизни“, где со свойственным ему своеобразием трактовал основную тему славянофильской публицистики.

35

Любезнейший Федор Михайлович.

Вы заходили ко мне вчера — очень жалею, что не видел вас. Поутру весьма трудно меня видеть. Но прошу вас вспомните прежний завет наш о субботе, с 9 часов вечера: тут я почти всегда дома.

30 окт. 1880.

Душевно преданный
К. Победоносцев

36

Любезнейший Федор Михайлович. Пожалел очень увидев сегодня утром вчерашнюю вашу карточку — тем более, что сам недавно ждал вас в субботу. Случай вышел особенный. Вчера я страшно устал, нехорошо себе почувствовал и лег спать в 8 часу вечера: жена распорядилась сказать, чтобы никого не принимали; и вам сказали, что меня нет. На-днях надеюсь увидеться.

2 ноября 1880

Душевно преданный
К. Победоносцев

37

Благодарю от всей души, любезнейший Федор Михайлович, за приятный подарок. Теперь, когда Карамазовы вышли отдельною книгой[1], я бы посоветовал вам представить ее цесаревичу: я знаю, что он ожидал выхода целой книги, чтобы начать чтение, ибо не любит читать по кусочкам. Когда-нибудь в один из приемных дней (вторник, четверг, суббота) пройдите прямо в Аничков дворец к 12-ти часам, взойдите наверх и скажите, чтоб доложили об вас. Я уверен, что цесаревич очень охотно вас примет, а вслед затем доложитесь и у цесаревны.

Завтра вечером у вас труд не малый. Дай бог вам здоровья.

Душевно преданный
К. Победоносцев.

9 декабря 1880

[1] „Братья Карамазовы" были закончены в ноябре 1880 г. 8 ноября Достоевский послал в редакцию „Русского Вестника" последнюю частъ рукописи — „Эпилог" (см. Соч. Достоевского. ГИЗ, X, 440). Очевидно одновременно с работой над окончанием романа шла подготовка его отдельного издания, которое вышло в свет в самом начале декабря (с пометой 1881 года). Появление последней части в журнале („Русский Вестник" 1880 г., ноябрь) почти совпало с выходом отдельного издания: „Братья Карамазовы. Роман в 4-х частях с эпилогом" в двух томах.

38

Не смущайтесь, любезнейший Федор Михайлович,— спокойно ждите переплета. Можно пойти и на следующей неделе. Предупредите меня накануне, а я предупрежу Вел. князя, что вы будете [1].

Душевно преданный
К. Победоносцев

9 дек. [1880 г.]

[1] Очевидно ответ на сообщение Достоевского о его желании поднести наследнику экземпляр „Карамазовых" в переплете. Через несколько дней—15 декабря—Достоевский сообщил Победоносцеву о том, что он готов к представлению. (См. след. записку.)

39

Почтеннейший Федор Михайлович. Я предупредил письменно Великого Князя, что вы завтра в исходе 12-го часа явитесь в Аничков Дворец чтобы представиться Ему и Цесаревне. Извольте итти на верх и сказать адъютанту, чтобы об вас доложили, и что Цесаревич предупрежден мною. А затем, когда выйдете от него, извольте спросить камердинера Цесаревны, чтобы Ей доложили об вас. Дело это просто делается[1].

Душевно преданный
К. Победоносцев.

15 дек. [1880]

[1] О приеме Достоевского в Аничковом дворце 16 декабря 1880 г. см. выше стр. 92.

40

Любезнейший Федор Михайлович.

Посылаю вам обещанные 2 книги [1]—с закладками на тех страницах, на кои обращаю ваше внимание.

Одну книгу—2-й том о семейных правах,[2] прошу мне возвратить, ибо все издание разошлось, и экземпляров у меня не осталось.

Другую—3-ю часть о договорах [3] прошу оставить у себя и принять от меня на память.

Душевно преданный
К. Победоносцев

15 дек. 1880

[1] Известное исследование К. П. Победоносцева „Курс гражданского права“ (1-е издание в 1868—1879 гг., 2-е в 1873—1875 гг.).

Вот как характеризует это исследование один из апологетов Победоносцева: „Теоретическая сторона курса не встретила похвал и одобрений от представителей нашей юридической науки, но практический характер книги сделал ее одним из трех устоев, которыми держится наша цивилистика: это 10-й том свода законов, „История российского законодательства“ Неволина и „Курс“ К. П. Победоносцева. Отдельные части его весьма неравны достоинством; но трудно решить, можно ли ставить в вину автору, а не состоянию законодательства слабые стороны книги.. теоретическая сторона книги не то, что слаба, а скорее не нужна в ней. Курс К. П. Победоносцева помимо 10-го тома—архивный межевой план...“ и проч. (Б. В. Никольский. „Литературная деятельность К. П. Победоносцева“. П., 1896, стр. 17).

[2] „Курс гражданского права. Сочинение К. Победоносцева, почетного члена университетов московского и с.-петербургского. Вторая часть.—Права семейственные, наследственные и завещательные. П., 1871“. Возможно, что Достоевскому понадобился этот том в связи с процессом о наследстве, оставшемся после его тетки А. Ф. Куманиной, закончившемся уже после смерти писателя.

[3] То же. Третья часть. Договоры и обязательства.

II. ПИСЬМА Т. И. ФИЛИППОВА[1]

1. ПИСЬМО Т. И. ФИЛИППОВА К А. Н. МАЙКОВУ

Голубчик Аполлон Николаевич!

Минуты не нашел я, чтобы тебе ответить; да и теперь ответ будет очень неполный, по недостаточной ясности вопроса. Не увидимся ли сегодня у Корнилова?[2] Там переговорим. Дело может итти о Прокофье Лубкине (времен Анны Ив.), о Даниле, кажется Тимофееве и Кондратии Селиванове[3]. Я во всяком случае к услугам Федора Михайловича, который и подозревать не может, д о к а к о й м е р ы доходит мое уважение к его „Преступлению и наказанию“ и вообще к живущему в нем духу. Он один из нынешних романистов имеет право на название г л у б о к о г о писателя. О! если бы ему было больше досугу для окончательной художественной отделки. Что бы могло выйти из Ставрогина.

20 нояб. 1871 Твой Т. Филиппов

На верхнем поле 1-й страницы письма приписка Майкова: „Сейчас получил от Филиппова это письмо и препровождаю к вам. Ответ разнится с Кельсиевым[4] (2 нрзб.) б о л ь н ы х [?] г о л у б е й.

У Корнилова же сегодня я не буду.

P. S. Извините, что я к вам не еду. Истинно говорю, на этот раз совершенно недосужно.

А. М.

[1] Из приведенного выше письма Т. И. Филиппова к А. Н. Майкову видно, что вскоре после своего приезда из-за границы, в ноябре 1871 г., Достоевский через своего друга Аполлона Майкова обращается за консультацией и справкой к этому знатоку церковной истории. Т. И. Филиппов был видный служащий Контроля и Синода (чиновник особых поручений по вопросам восточных православных церквей), ставший впоследствии товарищем государственного контролера (с 1878 г.), а затем и государственным контролером (с 1889 г.). В свое время он был одним из виднейших участников кружка молодого „Москвитянина“, сильно влияя на Аполлона Григорьева, Островского, Погодина и Писемского своим учением о возвращении России к допетровскому строю и быту, „ко дням Котошихина“ с патриаршеством и соборами. Теория эта произвела сильное впечатление на Достоевского в эпоху „почвенничества“ (вероятно через посредство Аполлона Григорьева) и навсегда сохранила над ним свое влияние. Впоследствии Т. И. Филиппов основал „Русскую Беседу“, в которой принимали участие Хомяков, Киреевский, Аксаков и Самарин.

Т. И. Филиппов был одним из видных членов редакции „Гражданина“, т. е. довольно сплоченной группы публицистов, работавших совместно, взаимно влияя друг на друга и фактически сотрудничая в разрешении важнейших вопросов. Сохранившиеся письма

главных сотрудников журнала дают представление об этом своеобразном коллективе реакционных мыслителей, сообща разрабатывающих программу и состав своего полуправительственного органа. В частности Т. И. Филиппов живо интересуется всеми нуждами журнала, сам принимает меры к организации его успеха, подбирает сотрудников, ободряет руководителей и даже в ряде вопросов выступает как авторитетнейший эксперт, редактор и отчасти цензор.

[2] Корнилов, Иван Петрович (1811—1901)—видный государственный чиновник по ведомству просвещения.

Достоевский в последние годы часто общался с И. П. Корниловым „у которого,—по свидетельству А. Г. Достоевской,—встречал много ученых лиц, занимавших высокое официальное положение". Корнилов был членом совета Министерства народного просвещения; он пользовался известностью как собиратель старорусских и славянских рукописей и книг. Состоя в 60-х годах попечителем Виленского учебного округа, Корнилов оказал сильнейшее содействие памфлетисту-антисемиту Я. А. Брафману, напечатавшему в то время в „Виленском Вестнике" статью „Взгляды еврея, принявшего православие, на реформу в быте еврейского народа в России". Под влиянием Корнилова тогдашний товарищ министра народного просвещения И. Д. Делянов признал Брафмана особенно полезным правительству в делах о евреях. Он был назначен преподавателем Минской духовной семинарии, избран в действительные члены Императорского географическкнго общества, назначен цензором еврейских и польских книг при Главном управлении по делам печати. Эта блестящая карьера объясняется сильнейшей аргументацией, сообщавшейся всему антисемитскому движению в России искусными измышлениями Брафмана о том, что евреи составляют якобы государство в государстве, угрожая этим общим законам и порядку империи. Написанная Брафманом в целях разоблачения „талмудической республики" „Книга Кагала" (она имелась в библиотеке Достоевского) представляла собою сборник постановлений минского кагала XVIII в. в крайне извращенном виде и ложном освещении. На напечатание этого кодекса антисемитизма И. П. Корнилов и выдал Брафману от управления Виленского учебного округа 2500 рублей. Для характеристики воззрений Корнилова примечательно, что впоследствии им был издан особый памятный сборник в честь М. Н. Муравьева-Виленского.

[3] Селиванов, Кондратий — основатель скопческой секты во 2-й половине XVIII в., крестьянин Орловской губернии, признанный его последователями „богом над богами, царем над царями, пророком над пророками". Два других имени (Лубкин и Тимофеев) относятся вероятно также к истории раскола.

[4] Кельсиев, Василий Иванович (1835—1872)—писатель-эмигрант, издававший при „Колоколе" Герцена „Общее вече", посвященное расколу как политическому явлению. В 1867 г. вернулся в Россию, отказавшись от революционной деятельности и посвятив себя литературной работе. По мнению А. С. Долинина, Кельсиев мог послужить Достоевскому прототипом для образа Шатова в „Бесах".

2. ПИСЬМА Т. И. ФИЛИППОВА К Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

1

Многоуважаемый Федор Михайлович!

К понедельнику нельзя поспеть с отчетом о заседании 28 марта, а нужно бы (и непременно нужно) заявить о следующем:

1) Заседание 28 марта обещало быть самым занимательным из всех трех, посвященных обсуждению вопроса о нуждах единоверия: ибо на этом заседании должны были наконец встретиться лицом к лицу разногласные воззрения Нильского[1] и Филиппова.

2) О том, как желал Ф-в такой встречи, свидетельствует то, что Н-ий не был членом Об-ва, когда Ф-в приготовил для чтения свое рассуждение; но Ф-в, зная, что он идет против многих мнений Н-го, упросил Совет пригласить Н-го в заседание гостем, дабы выслушать по избранному Ф-м предмету возражение самого лучшего знатока дела. Этим объясняется и присутствие Н-го в предыдущем заседании.

3) Это явно показывает, что у Ф-ва на душе было разъяснение вопроса, столь необходимое ради совестей многих миллионов душ русского народа. А это разъяснение требовало близкой встречи противников, грудь с грудью, ибо в печати легче говорить абсурды, в надежде, что не скоро разберутся, кто прав, кто виноват.

4) Прений этих с нетерпением ожидали и члены Об-ва, и вдруг Н-ий не приезжает. Причины никто не знает. О. Янышев[2] говорил, что он слышал о болезни Н-го и о том, что он три дня не был в академии. Вот и все известия, которые мы успели собрать о причине отсутствия г. Н-го.

5) Конечно, причину эту мы узнаем. Но дела уже не воротишь: ученой встречи Н-го с Ф-ым, лицом к лицу, в присутствии живых свидетелей спора, уже не будет. И за тем вопросу помогут еще более затемниться.

6) Жаль за О-во, которому предстояло оказать услугу делу. Конечно, и обнародование того, что было произнесено участниками беседы в трех заседаниях Об-ва, будет иметь немаловажное значение; но печатные объяснения получили бы высшую цену и иной смысл, если бы в них изобразилась личная встреча противников.

7) Вместо Н-го не возражал, а говорил г. Чельцов [3], который ходил вокруг да около, мялся и заикался, вопреки своему обычаю. Но с него нельзя и взыскать: так как он в этом деле человек совершенно чужой и, как оказалось, совершенно несведущий.

Вот что, если вы успеете связать, хорошо было бы приготовить к понедельнику [4], а к 9-му апреля мы подумаем, что сказать.

Ваш Т. Филиппов

30 марта [1873]

NB Если можно пришлите корректуру.

[1] И. Ф. Нильский—профессор Петербургской духовной академии по кафедре русского раскола.

[2] О. Янышев—ректор Петербургской духовной академии, знакомый Достоевскому с 1865 г., когда последний проигрался в Висбадене и обратился за денежной помощью к священнику висбаденской православной церкви И. Л. Янышеву; два письма Достоевского *к Янышеву по поводу уплаты долга см. в „Письмах" под ред.* А. С. *Долинина*, III, 424, 434; сведения о Янышеве там же, 581. Достоевский был очень высокого мнения о Янышеве и дал о нем восторженный отзыв в письме к А. Н. Майкову от 18 февраля—1 марта 1868 г., называя его „Висбаденским священником". И. Л. Янышев произнес на погребении Достоевского 1 февраля 1881 г. проповедь, напечатанную в его сборнике „Слова и речи", П., 1896, стр. 263—265.

[3] Чельцов—профессор церковной истории в Петербургской духовной академии, редактор журнала „Христианское чтение".

[4] Следуя этим указаниям Т. И. Филиппова, Достоевский написал статью „Заседание общества любителей духовного просвещения 28 марта", которая появилась в № 14 „Гражданина" от 2 апреля 1878 г. за подписью: Ф. Д. Статья перепечатана нами в „Забытых и неизвестных страницах Достоевского". Собр. соч. (изд. „Просвещение"), 1918, XXII, стр. 216—223. Ср.: Достоевский, Соч., ГИЗ, XIII, 434.

2

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Однажды навсегда прошу вас утром, после 11-ти часов, никогда ко мне не приезжать: ибо тут начинается моя служба. Раньше вы приехать не можете, ибо сами встаете поздно. Остается обеденное время, в которое мы с женою всегда рады будем вас у себя видеть (жену мою врасплох, насчет куска, застать трудно), и затем вечера, насчет которых требуется всякий раз входить в переговоры. Ответ Нильскому я набросал и послал в редакцию; если вы там сегодня были, то он уже у вас. Если же не у вас, то завтра вы там его найдете, и если расположены завтра вечером быть у Мещерского то не пожалуете ли к нам кушать, к 5-ти часам? Жена вам будет очень рада. После обеда мы напишем вместе оба внушения: я ужасно люблю такого рода вещи вдвоем писать. Как-то дружнее дело идет; притом же друг дружку всегда можно остеречь как от излишка, так и от вялости тона. И то и другое не годится: medio tutissimus ibis. Жду вас.

Преданный вам от души Т. Филиппов

24 апр. [1873]

3

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Статью [1] я приготовлю к утру Пятницы; была бы и раньше да „Гражданина" мне достали только в Среду утром, так что мне невозможно было приняться за продолжение, не повторив в уме всего, что написано в предыдущем нумере. Прикажите, кому следует, чтобы впредь сего не было.

М. П. Погодин [2] пишет после разговора с моей женой. „Его (Гр-на) надо поддержать. Соберитесь все, господа, кто принимает к сердцу, т. е. кому противны нынешние оргии.

Я написал было в редакцию прежнюю отречение от участия, выведенный из терпения их неисправностью. Но теперь возьму свое слово назад и рад, попрежнему, работать, *лишь бы дело шло хорошо*. Скажите это Достоевскому. Каково его здоровье? Работы его мало видно".

Вот Вам и еще сотрудник! Напишите к нему через несколько дней, когда поправитесь. Еще надобно клич кликнуть. Поеду я в Москву, еще кого-нибудь добуду. Может быть и средства явятся на 1874 г. Надобно только перенести время испытания, которое всем, т о г о з а с л у ж и в а ю щ и м, посылается в жизни. Сеющие слезами радостию пожнут. — Необходимы временные жертвы, и трудом, и самолюбием, и разными счетами: дабы нам не явиться недостойными знамени, под которое мы стали.

Душевно преданный Т. Филиппов

6 июня 1873 г.

P. S. Я сегодня же пишу к Погодину и благодарю его за вас.

[1] Большая статья Т. И. Филиппова „Петербургское общество любителей духовного просвещения" печаталась без подписи в семи номерах „Гражданина" с 21 мая по 2 июля 1873 г. (№№ 21—27).

[2] Погодин, Михаил Петрович (1800—1875)—известный историк, публицист охранительного толка. Сотрудничал в „Гражданине". Достоевский с большим сочувствием назвал его имя в первой же главе своего „Дневника писателя".

4

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Я уехал из Лыскова гораздо ранее предполагаемого срока, по случаю болезненных припадков, которым подвергалась там жена почти ежедневно, и ныне живу (с 14 июля) на Девичьем Поле[1] у М. П. Погодина. Из Нижегородской губернии написать вам ничего не мог, ибо был всецело занят здоровьем жены и заботами о скорейшем выезде из тлетворного Лыскова. В самый день отъезда оттуда получил письмо от Киреева следующего содержания (чтый да разумеет!): „Пишу к вам под к р а й н е тяжелым впечатлением, по поводу дел, quorum pars magnà fui (sti), конечно, совершенно невольно. Ваша речь „о нуждах православия (единоверия)" была искрой, которая произвела пожар в нашем юном обществе; пожар, который, того и гляди, его уничтожит". „Дело вот в чем: в „Гр-не" появились статьи, опровергающие в журнале гласно, „вне, избы" в самом беспощадном и—sit venia verbo—непарламентарном и н е объективном духе доводы ваших оппонентов в с р е д е О б-в а „в избе". Некоторые члены нашего Об-ва (академия и лица, с нею связанные) затрудняются вести полемику: так как она не ограничивается уже исключительно вопросом „о нуждах единоверия", а распространяется и на такие, отчасти субъективные, общие вопросы, как напр. на потерю традиций православия нашими академиями, на низкопоклонничество нашего ученого сословия и т. д.".

„И вы и Дост—ский, состоя членами Об-ва, конечно не обязаны скрывать того, что говорится в Об-ве; но статьи „Гр-на" доказывают очень осязательно, что наше бедное Об-во—царство, разделившееся само на себя, и что оно будет недолговечно".

„Статьи" „Гр-на" не подписаны; но так как Д—ский член О-ва, то очевидно, что за неумолимую резкость высказываемых в них суждений о разных лицах (наших же сочленах) нравственную ответственность несет Дост—ий. Отвечать на эти статьи с такою же р е з к о с т ь ю (о сути дела, т. е. собственно о вопросе богословском, я не говорю) ваши ex-оппоненты могли бы, конечно, в других журналах; но эта полемика могла бы иметь результатом уже не научные вопросы, а совершенно посторонние целям нашего общества, и конечно только еще более произвело бы смуты: ибо были бы написаны ab irato".

„Нельзя ли уговорить Дост—го напечатать в „Гр-не" несколько слов в примирительном духе (NB тут, конечно, дело идет не о научной стороне вопроса, ибо в разработках научных вопросов, конечно, не может быть сделано никаких уступок)?". „Надеюсь, милый Т. И—ч, что вы не будете пенять на меня за это письмо; я бы, конечно, не решился его написать к человеку, которого бы я н е у в а ж а л г л у б о к о и которому не с о ч у в с т в о в а л б ы и с к р е н н е. Надеюсь, что вы объясните мою откровенность именно в э т о м смысле".

ПИСЬМО ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА
К ДОСТОЕВСКОМУ
Публичная библиотека им. Ленина,
Москва

Я ответил на это: 1) что статьи мои и что всякая ответственность за них (нравственная и другая) должна пасть на меня исключительно; 2) что если из-за этих статей академия захотела оставить Об-во, то я постараюсь их предупредить и своим выходом доставлю им возможность сохранить звание членов Об-ва; 3) что если какие-либо личные обращения в моих статьях заслуживают порицательной или вразумляющей оговорки: то пусть он составит проект подобной оговорки и пришлет его мне, дабы я мог посудить, могу ли я предложить вам напечатание этой оговорки" и т. д. В этих трех пунктах вся сущность моего ответа. Если к вам последует какое-либо от Киреева прямое обращение, мимо меня, то надеюсь, многоуважаемый Федор Михайлович, что вы не напечатаете ничего, не познакомив меня предварительно с содержанием присланного к вам. Пишу это на всякий случай; на деле же трудно ожидать, чтобы это Киреев себе дозволил. Главнейшая моя забота во всем этом деле та, чтобы вас не коснулась ни самомалейшая неприятность. Как вы поживаете? Не думаю чтобы слишком хорошо. Лето в Питере—чорт.

Душевно преданный вам Т. Филиппов

Москва, Девичье поле, дом Погодина [1]
18 июля 1873

[1] Дом, приобретенный М. П. Погодиным на Девичьем поле в 1836 г. в усадьбе Щербатовых, превратился с годами в известное „древлехранилище". Дом сохранился до сих пор на „Погодинке" за университетскими клиниками. Здесь помимо Т. И. Филиппова живали Фет, Гоголь и многие другие.

5

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Посылаю вам перевод переписки Синода еллинского королевства с церковным министерством; небольшое предисловие к ней доставлю завтра, а теперь пока пусть набирают. [1]

Искренне преданный вам

Т. Филиппов

27 сент.
[1873 г.]

P. S. Корректуру прикажите доставить мне.

[1] Статья „Насилие, оказанное афинскому синоду министерством церковных дел“ по поводу возникшей в Афинах борьбы между церковной и светской властью была помещена в № 40 „Гражданина“ от 1 октября 1873 г. без подписи.

6

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Не советую отчеркнутое красным карандашом печатать в том виде, в каком оно доставлено[1]. „Бессовестность фанариотов“ и тому подобные выражения во 1-х слишком избиты, в 2-х идут далее должного предела. Я бы полагал изменить изложение так: указать на закрытие консистории, гимназии и семинарии и на заточение Пелагича[2], как на дело Турок, присовокупив, что Босняки во всех этих делах не только не встретили сочувствия и помощи от своих владык, родом Греков, но замечалось с их стороны даже нечто противное. И один — мол из митр—в Дионисий[3], изгнанный народом, опять возвращен в Боснию, хотя и на другую епархию.

Под этим можно сделать выноску от редакции, что Патриархии для Боснии необходимо сделать немедленные уступки, в смысле обновления их архиерейского персонала туземцами[4].

Иное изложение, резкое и обобщающее, даже и в том случае, если бы корреспондент был точен и строг (чего ведь мы не знаем), было бы рискованным и не ко времени: теперь пора страданий, а не торжества для фанар[иото]в.

Душевно преданный Вам

20 окт. [1873] Т. Филиппов

[1]. Речь идет о корреспонденции „Градишко в Боснии“, появившейся в № 41 „Гражданина“ от 8 октября 1873 г. Редакция выполнила все указания Т. И. Филиппова: забракованное им место отсутствует, статья в довольно сдержанном тоне излагает факты преследования православных турками в Градишском окружьи в виду их племенной и религиозной симпатии к Боснии и Сербии (закрытие школ, библиотек и проч.).

[2] Пелагич — архимандрит в Банялуке (Босния), открывший в этом городе духовную семинарию, вскоре закрытую Сафет-пашою, который подверг Пелагича ссылке и заточению.

[3]. Дионисий — митрополит, изгнанный народом из Боснии, враг Пелагича, снова назначенный в 1873 г. турецким правительством в Зворницкую епархию (Босния).

[4] В указанном месте сделана следующая сноска: „Не можем не заметить здесь от себя, что вселенская патриархия, в видах справедливости, отеческого призвания своего и здравой политики, должна бы немедленно сделать теперь боснякам всевозможные уступки в смысле обновления их архиерейского персонала туземцами, иначе дело ожесточится и дойдет опять до той точки, как и с болгарами, когда уже поздно будет делать уступки.— Р е д.“

7

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Позвольте побеспокоить вас вопросом об оттисках речи архимандрита Григория в 40-й день по кончине гр. Толстого[1]. Я просил приготовить их триста: когда они могут быть готовы? Из Москвы меня уже об этом спрашивают. Если бы оказалось, что кн. Мещерский не сделал распоряжения, то потрудитесь приказать набрать вновь и доставить счет мне; только усерднейше вас прошу поторопиться.

Искренне преданный вам

21 окт. 1873 г. Т. Филиппов.

[1] „Слово, сказанное архимандритом Григорьем (Паламою) в Московском Донском монастыре в 40-й день по кончине гр. А. П. Толстого“ напечатано в № 42 „Гражданина“ от 15 октября 1873 г. В архиве Достоевского сохранилось письмо к нему архимандрита Григория Паламы от 7 марта 1872 г.

8

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Посылаю вам для этого №, т. е., для 28 января (день рождения покойного графа Толстого), пока только описание двух панихид и слово архим. Неофита; за сим в четверг или пятницу вечером вы получите от меня мои воспоминания о графе, которые пойдут после речи Неофита[1]. Нужды нет, что она невысокой пробы; архимандрит мало знал покойного и потому по необходимости впадал в loci topici. Не знаю, как удастся мне; если бы было поболее досуга, то можно было бы сказать очень много важного à propos „Гражданину". Очень важно поместить все это в нынешнем нумере; а почему, скажу при свидании. Если нужно объясниться, напишите, я прибегу.

22 янв. 1874 г.

Ваш Т. Филиппов

[1] Описание двух панихид появилось в № 4 „Гражданина" от 29 января 1874 г. под общим заголовком „О гр. А. П. Толстом", после чего следовало „Слово в память гр. А. П. Толстого, произнесенное архимандритом Неофитом Пагидою в Петерб. греч. церкви 20 янв. 1874 г." Затем следовало „Воспоминание" Т. И. Филиппова.

9

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Посылаю вам два первых листа воспоминания о гр. Толстом[1]. Еще должно быть таких около четырех, из коих по крайней мере два будут у вас завтра до 11-ти часов, а остальные в субботу в такое же время (т. е. около 11-ти утра). Было бы очень желательно поместить все в одном нумере. Прошу очень не забыть прислать мне корректуру не сверстанную: ибо могут быть дополнения и исправления.

Душевно преданный вам
Т. Филиппов.

24 янв. [1874 г.]

[1] „Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом" за подписью Т. Филиппова напечатано в № 4 „Гражданина" с указанием „окончание будет". Но окончания не последовало.

10

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Если возможно распорядитесь так, чтобы корректура не сверстанная всего, что я написал о гр. Т-м, была прислана мне завтра утром, не позднее 11-ти часов. Я имею крайнюю нужду прочесть все это с начала до конца, дабы по возможности сделать рассказ цельным и полным, без прорех, которых в нем как кажется не мало. Что вам покажется или слабым или не совсем ловким, отчеркните карандашиком, а в записочке объясните, дабы я мог иное подправить, а иное совсем выкинуть, или чем-нибудь заменить.

Ваш Т. Филиппов

25 янв. 1874

11

Многоуважаемый Федор Михайлович!

Я давно послал вам два листа продолжения, с тем, чтобы иметь возможность получить корректуру всей на этот № назначенной статьи завтра утром, часам к 11-ти: ибо я сам статьею недоволен и имею нужду прочесть ее в целом для дополнений и изменений. А мне сейчас прислали из типографии корректуру прежних моих двух листов и при сем записочку: будет ли продолжение в этом нумере? Не замедлил ли ваш рассыльный? Сделайте милость, помогите мне в моем намерении привести статью в возможно лучший вид.

Ваш Т. Филиппов

25 янв. [1874 г.]

12

Дорогой и глубокоуважаемый

Федор Михайлович!

Сейчас кончил Карамазовых[1] и не нахожу слов, равных чувству моей признательности за испытанное мною наслаждение и полученную душею моею пользу. Очень желал бы лично повторить слова моей благодарности, если вы позволите мне притти к вам, назначив для сего день и час[2].

4 дек. [1880 г.] Ваш Т. Филиппов

[1] Следует предположить, что Т. И. Филиппов закончил чтение „Братьев Карамазовых" по журналу (роман закончился печатанием в ноябрьской книжке „Русского Вестника" 1880 г.). Вышедшее почти одновременно отдельное издание романа было доставлено К. П. Победоносцеву 9 декабря.

[2] Достоевский отвечал Филиппову в тот же день: „4 декабря 1880. Дорогой и глубокоуважаемый Тертий Иванович, вашими строками вы меня осчастливили. Меня так теперь все травят в журналах, а Карамазовых вероятно до того примутся повсеместно ругать (за бога), что такие отзывы, как ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно) и, наконец, симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, решительно воскрешают и ободряют дух. Я теперь несколько болен и обречен доктором пока на сидение, а то бы непременно сам пришел к вам. Дома же я обыкновенно почти всегда от 3 до 4-ех даже до 5 пополудни. Вечером с 10 часов, хотя не всегда, но теперь с вечерами дня два-три буду наверное дома. Посещение ваше сделает мне высокую честь и огромное удовольствие. Ваш весь Ф. Достоевский" („Звезда" 1929, № 6, стр. 198).

III. ИЗВЕЩЕНИЕ ДВОРЦОВОЙ КОНТОРЫ[1]

Двора
Его Императорского Высочества
Государя
Наследника Цесаревича
по ведению гофмаршала
Контора
19 Ноября 1876 года
№ 1570
С.-Петербург.

Г. Издателю ежемесячного издания „Дневник Писателя" Федору Достоевскому. —

По повелению Государя Наследника Цесаревича, в ответ на поданное Вами на Имя Его Императорского Высочество письмо, от 16 текущего Ноября, имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что его Высочество соблаговолил изъявить милостивое Свое согласие на получение периодического издания Вашего под заглавием „Дневник Писателя".

Гофмаршал Зиновьев

И. Д. Управлящего Конторою
адъютант Его Высочества
Полковник (подпись).

[1] Получив совет Победоносцева поднести наследнику „Дневник писателя", Достоевский через два-три дня, 16 ноября, обращается с письмом на имя вел. князя, прося о разрешении представить ему выпуски своего издания (Ф. М. Достоевский. „Письма" под ред. А. С. Долинина, М.-Л., 1934, III, 251). На письмо это контора „Двора его императорского высочества" ответила через три дня — 19 ноября — приведенным отношением.

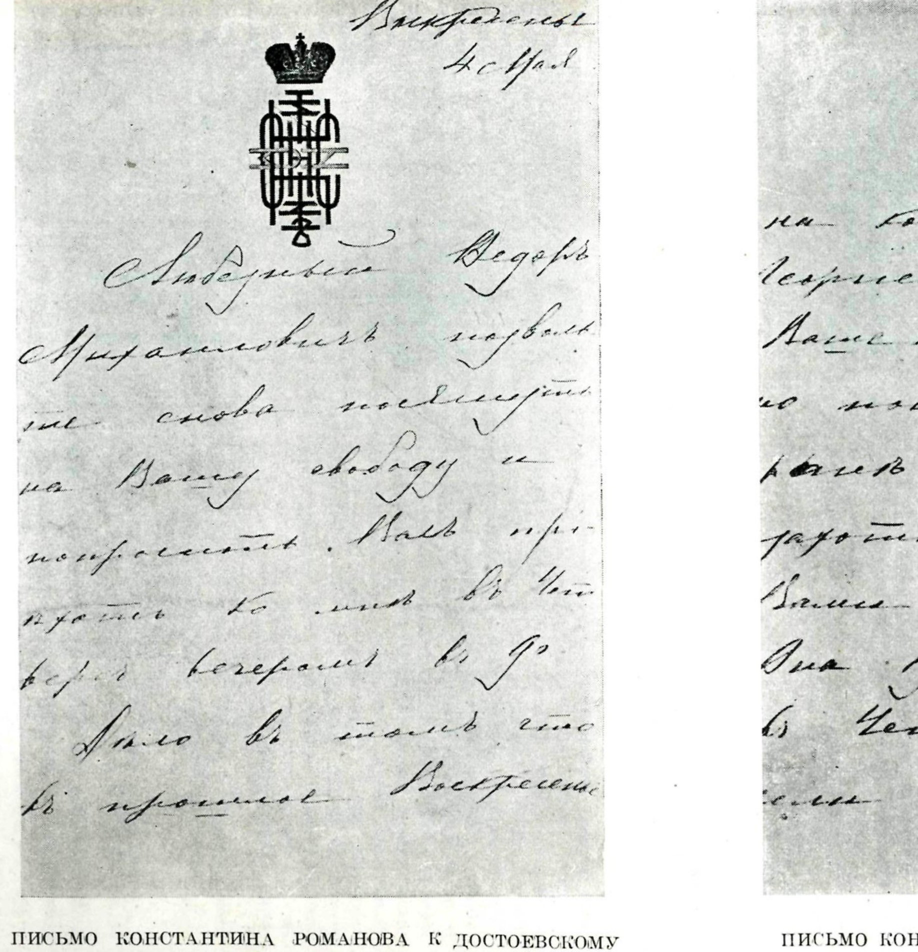
IV. ПИСЬМА Д. С. АРСЕНЬЕВА[1]

1

Среда 15 марта [1878 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович.

Рассчитывая на ваше любезное обещанье, Великие Князья Сергей[2] и Павел[3] Александровичи приглашают вас пожаловать к ним обедать в пятницу 16-го марта, в 6 час. пополудни. Надеюсь, что здоровье ваше позволит вам пожаловать к их Высочествам и сердечно того желаю.



Воскресенье
4е Мая

Любезный Федоръ
Михайловичъ, позволь-
те снова посягнуть
на Вашу свободу и
попросить Васъ при-
йти ко мнѣ въ Чет-
вергъ вечеромъ въ 9ч.
Дѣло въ томъ, что
въ прошлое Воскресенье

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ
(ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

на концертѣ въ пол
Георгиевской общины
Ваше чтение необ
но понравилось Госуда
рынѣ Цесаревнѣ и
[illegible]
Вами напомнить
Она будетъ у меня
въ Четвергъ 8е Мая;
если Вы не откаж

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ
(ВТОРАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

тели прочесть что
нибудь изъ Вашихъ со-
чиненій, разумѣется
по собственному Ва-
шему выбору мы
будемъ Вамъ благо-
благодарны. Мы про-
ведемъ вечеръ въ са-
момъ тѣсномъ круж-
кѣ. Кромѣ семьи.

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ
(ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

будутъ Звѣгинцевы и Ма-
рія Максимиліановна
и гр. Шереметева
(дочь покойной В. К.
Маріи Николаевны)
Надѣюсь, что и не
пожалуете Вашимъ
своимъ присутствіемъ
доставите всѣмъ намъ
истинное удовольст-
віе.
Душевно Вашъ
Константинъ

ПИСЬМО КОНСТАНТИНА РОМАНОВА К ДОСТОЕВСКОМУ
(ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА)
Публичная библиотека им. Ленина, Москва

Так много прошло времени со дня моего с вами знакомства;—после разговора с вами я еще болел и убедился, что всего лучше устроить так, чтобы знакомство В-х князей с вами не казалось им сделанным по Родительскому совету или воспитательскому приказанию, а исходило от собственного желания—и вот на внушение оного, посредством (повидимому) случайных разговоров, прошло довольно времени;—во время же масляницы и 1-й недели поста (говенье) я опасался, что за впечатлениями других порядков, не сделалось бы впечатление от 1-ой встречи с вами—менее сильным—и вот почему только теперь прихожу просить вас о исполнении обещания.—Если вы желали бы со мною еще переговорить до обеда, то я мог бы завтра к вам заехать. Чтобы избавить вас от затруднений отыскивать помещение В. Князей в мало знакомом вам лабиринте Зимнего дворца, позвольте мы пришлем за вами карету в пятницу в $5^1/_2$ час. пополудни. За обедом же будут только В. К. Сергей и Павел Александровичи и Константин Константинович с воспитателем (во всем мне симпатизирующим), К. Н. Бестужев и я.—Прошу вас, достопочтенный Федор Михайлович, принять уверение в моем глубоком почтении и преданности.

Д. Арсеньев

[1] В начале 1878 г. Достоевского, по свидетельству его жены, „посетил Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла Александровичей. Арсеньев высказал желание познакомить своих воспитанников с известным писателем, произведениями которого они интересуются. Он добавил, что является от имени государя, которому желалось бы, чтобы Федор Михайлович своими беседами повлиял благотворно на юных великих князей". Д. С. Арсеньев (1832—1915) был адмиралом, с 1882 г. директором Морского училища. В примечаниях к „Воспоминаниям о деле Веры Засулич" А. Ф. Кони, воспитатель вел. кн. Сергея Александровича Д. С. Арсеньев ошибочно разъяснен биографией Константина Константиновича Арсеньева, редактора „Вестника Европы" (А. Ф. Кони. „Воспоминания о деле Веры Засулич", изд. „Academia", 1933 г., стр. 508).

[2] Сергей Александрович (1857—1905)—четвертый сын Александра II, с 1891 г. московский генерал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа,—одна из мрачнейших фигур в беспросветной среде последних Романовых. Печальнейшую известность доставили ему характерные моменты его правления—Ходынка, выселение 20 тыс. евреев из Москвы, зубатовщина, жестокая борьба со студенчеством. 4 февраля 1905 г. он был убит эсером Каляевым.

Ряд характерных свидетельств о Сергее Александровиче имеется в „Дневнике" известной генеральши А. В. Богданович. По поводу назначения великого князя в Москву автор дневника передает толки петербургских кругов о том, что „назначение неудачное, что это глупость, за которую придется платиться, т. к. вел. князь ничего не смыслит в деле управления, что заведутся „интриги" и проч. (134). „Новое Время" чуть-чуть не подверглось каре—запрещению розничной продажи,—поместив в иллюстрационном прибавлении к газете жизнеописание вел. кн. Сергея Александровича и старый рассказ Бальзака, герой которого влюбился в леопардиху. Усмотрели в этом намек на вел. князя, вкусы которого не секрет никому" (136). „Рассказов о всех безобразиях великого князя очень много... В Москве все им возмущены" (144). По поводу знаменитого дебюта Николая II с фразой о „бессмысленных мечтаниях" автор дневника сообщает: „говорят, что слово „бессмысленные" было прибавлено царем по совету вел. кн. Сергея Александровича. Это на него похоже" (190) „ ... когда царь приказал произвести следствие по ходынскому делу, то сразу выяснилось, что в. кн. Сергей виноват" (203)„ ...На всех улицах ночью были наклеены листы, на которых было напечатано, что он (Сергей Александрович)—„Ходынский царь", и проч.

[3] Павел Александрович—младший сын Александра II (род. в 1880 г.). Впоследствии состоял „покровителем всех поощрительных конно-заводских учреждений в России".

2

19 марта [1878 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович.

В. К. Сергей Александрович поручает мне просить у вас извинить его, если обед должен быть отложен, завтра он должен со всем семейством обедать у наследника. Сергей Александрович просит вас сказать мне, что́ вам удобнее вторник или среда, и он надеется, что во вторник или среду он наконец будет иметь давно желанное удовольствие вас видеть у Себя.

Простите, что наделали вам столько беспокойства: в виду доброго дела извините вас почитающего и преданного вам

Д. Арсеньева

3

Понедельник
20 марта

Многоуважаемый Федор Михайлович.

Хотя вам вторник и менее удобен, но В. К. Сергей Александрович просит вас пожертвовать на этот раз Вторником и пожаловать к нему завтра кушать в 6 часов и карета будет у вас своевременно.

Потому посягаем на Вторник, что вероятно в среду будет опять семейный обед, от которого не в обычае у них отказываться,—а откладывать Великому Князю не хотелось далее удовольствия с вами повидаться.—Прошу вас приезжайте завтра.

Вам преданный
пок. слуга
Д. Арсеньев

4

23 апреля Воскресенье [1878 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович.

По окончании всех „суетно торжественных забот" святой недели, великие князья возвращаются с завтрашнего дня к своей обычной жизни и хотят этим воспользоваться, чтобы повидаться с вами; они просят вас пожаловать к ним кушать завтра в понедельник в шесть часов; если вас не стеснит приехать в $5^1/_2$, вы меня очень одолжите, ибо желал бы поговорить с вами наедине до великих князей. Мне бы хотелось просить вас коснуться роли, которую они бы могли иметь среди нынешнего состояния общества, той пользы, которую бы они должны приносить—и о том, как бы естественнее к этому подойти, мне бы хотелось поговорить с вами.

От всей души желаю, чтобы ваше здоровье и дела дозволили вам быть у их высочеств.

Вас глубоко уважающий
Д. Арсеньев

5

3 марта [1879 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович.

В. Князь Сергей Александрович очень просит вас пожаловать к нему откушать в Понедельник 5-го Марта в 6 часов пополудни. Великий Князь сохраняет отрадное воспоминание о прежних свиданиях с вами. С тех пор он ознакомился с „Мертвым домом", „Преступлением и наказанием" и 1-й частью семейства Карамазовых—на два года старше—и еще сознательнее и пламеннее желает пользоваться беседою вашей и надеется, что вы исполните его желание.

Позвольте надеяться, что вы прийдете на зов юного великого князя—дай бог, чтобы здоровье ваше и занятья—вам это дозволили. Жду этого дня, как истинного праздника.

Вас почитающий
покорный слуга
Д. Арсеньев

На этом обеде будет К. П. Победоносцев, которого вы знаете, и юный великий князь Константин Константинович, особенно дружный с Сергеем Александровичем

V. ЗАПИСКИ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА (К. Р.)[1]

1

Спб. 15/III 1879

Многоуважаемый Федор Михайлович, я буду очень рад и благодарен вам если вы не откажетесь провести у меня вечер завтра 16-го марта начиная с 9 ч. вы встретите знакомых вам людей, которым как и мне вы доставите большое удовольствие своим присутствием.

Преданный вам
Константин

[1] Константин Константинович, известный впоследствии как поэт, подписывавший свои произведения инициалами К. Р., и президент Академии Наук (с 1889 г.), в то время еще не пользовался литературной известностью. В момент знакомства с Достоевским это был совсем молодой человек, еще не достигший совершеннолетия. „С молодым великим князем,—сообщала Анна Григорьевна,—у мужа, несмотря на разницу лет, установились вполне дружеские отношения, и он часто приглашал мужа к себе побеседовать глаз-на-глаз или созывал избранное общество и просил мужа прочесть, по своему выбору, что-либо из его нового произведения. Так, раза два-три Федору Михайловичу случалось читать у великого князя в присутствии супруги наследника цесаревича, ее высочества в. к. Марии Федоровны, Марии Максимильяновны Баденской и других особ императорской семьи". Опубликованные в настоящее время дневники Константина Романова свидетельствуют, что автор „Царя иудейского" горевал в 1905—1906 гг. о вялости действий войск по усмирению восстаний, возмущался ходатайством академиков о помиловании приговоренного к смерти директора музея в Чите, негодовал, как смел „мерзавец Петрункевич требовать амнистии политическим" и мечтал послать в Варшаву нового Муравьева-Виленского. Но в 1880 г., когда он привлекал Достоевского к участию в своем литературном салоне, он еще считался „будущим поэтом" и ни в чем не успел проявить себя. По его мысли в Мраморном дворце и происходили авторские чтения „Братьев Карамазовых".

2

Среда [1880 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович, буду очень рад Вас видеть завтра 22-го в $9^1/_2$ ч. вечера. Прошу вас не стесняться отказом, если вам этот день сколько-нибудь неудобен.

Ваш Константин

3

Понедельник 25 февраля [1880 г.]

Многоуважаемый
Федор Михайлович,

если вы желаете доставить мне истинное удовольствие, приходите завтра, вечером в 9 ч. (с парадного подъезда). Вы встретите многих своих знакомых — Юлию Федоровну Абаза,[1] графиню Комаровскую[2] и других.

Душевно преданный вам
Константин

[1] Абаза, Ю. Ф. См. 8-е примечание к 33-му письму Победоносцева.
[2] Гр. Анна Комаровская — фрейлина в. кн. Александры Иосифовны (матери К. Р.). В архиве Достоевского сохранились две пригласительные записки к нему А. Комаровской.

4

Пятница [1880 г.]

Многоуважаемый Федор Михайлович, очень прошу вас не отказаться провести у нас вечер завтра, как в прошлый раз. Будет принцесса Евгения Максимилиановна, ей очень хочется с вами познакомиться. Будет и в. к. Сергей Александрович. Приезжайте в начале десятого часа. Простите, что так поздно уведомляю вас и утешьте утвердительным ответом.

Ваш Константин

5

22 апреля [1880 г.]

Христос воскресе, многоуважаемый Федор Михайлович. Очень бы хотелось вас повидать на Святой, да и не мне одному. Открою вам заговор против вас: желал бы, чтоб вы пали его жертвой. В четверг вечером будут у меня: Евгения Максимилиановна, сестра ее—принцесса баденская Марья Максимилиановна и Сергей Александрович. Они меня убедительно просили уговорить вас не отказаться провести с нами вечер, как видите, в самом тесном кружке и на этот раз лично у меня в моих комнатах, в 9 часов.

Очень прошу вас, многоуважаемый Федор Михайлович, доставьте мне это удовольствие.

Искренне преданный вам
Константин

6

Воскресенье 4 мая [1880 г.]

Любезный Федор Михайлович, позвольте снова посягнуть на вашу свободу и попросить вас приехать ко мне в четверг вечером в 9 час.

Дело в том, что в прошлое воскресенье на концерте в пользу Георгиевской общины ваше чтение [1] особенно понравилось государыне цесаревне [2] и ей захотелось поближе с вами познакомиться. Она будет у меня в четверг 8 мая; если вы не откажетесь прочесть что-нибудь из ваших сочинений, разумеется по собственному вашему выбору, мы будем вам крайне благодарны. Мы проведем вечер в самом тесном кружке. Кроме Сергея будут Евгения и Мария Максимилиановны и г-жа Шереметева (дочь покойной в. к. Марии Николаевны).

Надеюсь, ничто не помешает вам своим присутствием доставить всем нам истинное удовольствие.

Душевно ваш

Константин

[1] В воскресение 27 апреля Достоевский выступал на литературном вечере с чтением отрывка из последней части „Братьев Карамазовых" (книга „Мальчики"): „Эффект, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был чрезвычайно сильный" (письмо к Н. А. Любимову 29 апреля 1880 г.; „Былое", XV, 121 и сл.; Воспоминания Александрова — „Русская Старина", 1892).

[2] Т. е. *Марии Федоровне, жене будущего Александра III.*

КАК МЫ НАЧИНАЛИ

Из житейских и литературных воспоминаний рабочего поэта Авенира Ноздрина

Предисловие и примечания М. Сокольникова
Редакция текста И. Кубикова

Публикуемые мемуары принадлежат перу Авенира Евстигнеевича Ноздрина, старейшего нашего пролетарского поэта. В истории пролетарской поэзии имя Ноздрина (род. 29 октября 1862 г.) должно быть поставлено в ряды первых ее зачинателей, вместе с Егором Нечаевым и Ф. Шкулевым. Ноздрин — подлинный поэт рабочего класса, выразитель труда и борьбы текстильщиков центрального промышленного района, всей своей жизнью и творчеством крепко связанный с революционным движением рабочих масс. По профессии гравер-текстильщик, он в течение тридцати лет работал на фабриках в Иваново-Вознесенске, а также в Москве и Ленинграде. В 1905 г. Ноздрин—один из активнейших участников забастовочного движения иваново-вознесенских ткачей и председатель совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. После „манифеста" его имущество подверглось жестокому черносотенному погрому, и он вынужден был покинуть родной город. С 1907 по 1909 г. Авенир проводит в ссылке в Олонецкой губернии.

Первые стихи Ноздрина появились в печати в 90-х годах. Писал он в ярославском „Северном Крае", был членом редакции газеты „Рыбинский Листок", издавал „Дубинушку" и „Колотушку"—сатирико-политические журналы, сотрудничал во многих иваново-вознесенских изданиях. В 1896 г. книгу его стихотворений предполагал издать Валерий Брюсов. В письме к П. П. Перцову от 20 марта 1896 г. В. Я. пишет: „Осенью напечатаю я 4-й вып. „Русских символистов" и сборник стихотворений Авенира Ноздрина. Очень оригинальная поэзия". („Письма В. Брюсова к Перцову". Изд. Гос. Акад. Худ. Наук 1927 г., стр. 70. По сообщению Ноздрина, дело шло об издании 32 его стихотворений того времени.)

В революционные годы стихотворения Ноздрина печатались в иваново-вознесенской газете „Рабочий Край", в местных сборниках и журналах. Отдельным изданием сборник его стихов выходит под названием „Старый парус" в 1927 г. со вступительной статьей И. Н. Кубикова и комментариями М. П. Сокольникова (в издании Московского товарищества писателей). Стихи Авенира Ноздрина попали в многочисленные школьные и клубные хрестоматии, в отрывные календари, сборники революционных поэтов. В последние годы старый писатель дал ряд ценных статей и воспоминаний о 1905 г. („Талка" и др.), о соратниках по революционной работе (Фрунзе, Балашев-Странник), об ивановском рабочем театре и кружках.

Стихотворения Ноздрина посвящены рабочему быту и борьбе текстильщиков. Многие из них являются прекрасными поэтическими иллюстрациями отдельных этапов жизни города ткачей, стачек пятого года, кровавых событий военных лет и подъема 1917 г. Но вместе с тем поэзия Ноздрина имеет и более широкое значение: его стихи как бы обобщают героические моменты борьбы рабочего класса и дают образы рабочих-революционеров прошлого во всей их великой простоте. В отличие от поэзии Нечаева и Шкулева, еще тесно связанных с крестьянством, стихотворения Ноздрина проникнуты бодрым боевым началом и верой в творческие силы пролетариата. Идеалы Нечаева и Шкулева туманны и малоконкретны, они—отражение отсталых и малоорганизованных

рабочих, не освободившихся от косного деревенского быта; в поэзии Ноздрина идеи конкретизируются, причины и цели борьбы пролетариата ему ясны. Не гонясь за формальной изысканностью, пролетарский поэт обнаруживает несомненное дарование в образной передаче чувств и мыслей рабочих-текстильщиков.

Из произведений Авенира Ноздрина особенно выдаются „Смерть ткача"—проникновенные стихи о суровой доле рабочего; „Интернационал", в котором старый малограмотный ткач, чувствуя в себе нарастание гнева против угнетателей, просит сынишку прочесть ему „Интернационал"; стихи из цикла „Пятый год", среди которых наиболее ярки „Талка", где Ноздрин рисует знаменитые собрания ивановских ткачей на берегу речки Талки и говорит о значении речей рабочего-пропагандиста Евлампия Дунаева. Наконец безусловно значительны и интересны и те стихотворения Ноздрина, которые связаны с годами ссылки,—„Нелегальный", „Цветут фиалки" и другие.

„Живой свидетель побед и борьбы ивановских рабочих", Авенир Ноздрин сохранил огромную любовь к жизни, к книге, с юношеским порывом интересуется современностью, ведет большую общественную работу. Он сейчас—член ЦК МОПР и кроме того историк-краевед, исследователь местных материалов. Награжденный званием героя труда, много поработавший для областной газеты „Рабочий Край", пролетарский поэт встретил в 1932 г. свои 70 лет полный веры в торжество социалистического строительства и победу мирового пролетариата.

М. Сокольников

1

Родом я крестьянин как со стороны отца—крестьянина Шуйского уезда, деревни Кочкарово, так и со стороны матери—крестьянки Костромской губ., села Сидоровского.

Родился в 1862 г. 29 октября в селе Иваново, теперешнем Иванове, недавнем Иваново-Вознесенске.

Отец мой по тогдашнему времени был человеком грамотным, служил у мелких местных фабрикантов в качестве ярмарочного приказчика и за службу на фабрике у Е. С. Игумнова был награжден на Покровской улице домом, где он и сам пытался открыть свое „набойное" дело, но неудачно; умер отец 44 лет, оставив меня по четвертому году.

В семье я был шестым, и к первым заботам моей матери, оставшейся после смерти отца без всяких средств, вскоре прибавилась еще одна забота—надо было ей отдать меня в школу. Уже шести лет я очутился у дьяка Магницкого, обучавшего меня славянскому языку и чистописанию.

В то время такое „духовное" образование считалось первой необходимостью, и моими однокашниками в этой „школе" были дети не только простолюдинов, но и крупных торговцев и фабрикантов, как например Фокиных, Самохваловых и т. п. К тому же мать моя была старообрядка и знание духовных книг должна была считать в воспитании своих детей первоочередной задачей. Сама она была женщиной грамотной, помогала мне учить уроки и к довершению всего заставляла обращаться с молитвой к покровителю наук святому Науму.

Дьячковское же обучение, в особенности для меня, главным образом сводилось к тому, что я, при поступлении к нему зимой, почему-то все угорал, а когда пришло лето, то начал помогать его дочери искать непутевую корову, никогда не приходившую из стада домой. Дочь его была нечто вроде пастуха, а я ее подпаском, носил всегда для заарканивания коровы веревку, и эта же веревка нередко потом в школе прогуливалась по моей спине, слегка прикрытой ситцевой рубашенкой.

Не сладко мне было у дьячка. Только в дни родительских суббот, когда он из церкви приносил целые мешки паточных и медовых пряни-

ков, которыми кормил и свою непутевую корову и оделял своих учеников, еще было что-то похожее на то, что могло радовать меня и моих однокашников — детей небогатых родителей.

Но из-под веревки и от пряников мне все-таки пришлось уйти. Надоело мне таскать огромнейший псалтирь, чуть не больше самого ученика, мать вняла моим жалобам на пастушню и освободила меня от дьячка.

Едва научившись читать по-славянски и кое-как писать, я перехожу в „Земское образцовое училище" или, как тогда говорили, к „отцу Александру".

Отец Александр Альбицкий как по своей внешности, так и по любовному чисто отеческому отношению к своим ученикам был весьма похож



А. Е. НОЗДРИН
Фотография 1900 гг.
Областной музей, Иваново

на Христа, изображение которого было всегда у нас на глазах в той „священной истории", по которой мы тогда обучались. С другой стороны, этот наш учитель никак не укладывался в наших детских понятиях, когда мы видели его курящим, когда мы знали, что он дома играет на рояли, что он с нами не отказывается играть и в лапту, и в бабки. А когда часто после урока из „священной истории" он вместе с другими учителями явления природы объяснял при помощи физических приборов, в нас недоуменные вопросы о своем учителе еще больше заострялись и из школы мы уходили с душой, полной брожения, волнующе настроенными.

В эти же годы здесь много говорят о Нечаеве-ивановце[1]. Многим ивановцам стало известно и слово „нигилист", и мы, подростки, в нем разбираемся и задаем себе вопрос: не обучает ли нас в школе отец Александр нигилизму? Особенно эта мысль нас волновала после того, как нашего отца Александра отсюда перевели в одну из Петербургских тюремных церквей, будто бы за его близость к Нечаеву.

Мое трехлетнее пребывание в этой земской школе было одной из лучших страниц моего детства, несмотря на то, что все, чему нас учили

в этой школе, было далеко от жизни. Жизнь нас после школы принимала не по-книжному, по головке не гладила, вместо пушкинских стихов, ставших школьной песенкой:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,

заставляла нас петь иные песни — песни непосильного ярма, невероятно длинного рабочего дня.

Школа учебы и школа жизни рабочего между собой ничем не были связаны. Когда я был по желанию матери отдан в ученики в фабричную граверную мастерскую бр. Борисовых, то в первый же день меня там встретили вот чем: придя в мастерскую, я не успел снять свой картузишко, как меня тут же окружила целая ватага будущих моих учителей, они начали меня обнюхивать и я услышал реплику: „пахнет". В это время один бросается к открытой форточке и заявляет, что и здесь „пахнет", но пахнет только не с улицы, а другой подвергает меня испытанию, тверд ли я в своем характере, ударяет меня по голове костяшками сложенного кулака и спрашивает: „Больно ли?"

Я готов был расплакаться от боли, но сдержался и заплакал только тогда, когда по дороге домой узнал, что слово „пахнет" обязывает меня принести своим учителям могарычный целковый. Отнять у матери последнее? Но, как на грех, этого целкового у матери не оказалось, и на другой день я на фабрику пошел чуть ли не со слезами, боясь новых колотушек и нового обнюхивания.

Так меня встретила фабрика после того, как я уже был знаком с книгой, с театром, совершал со своими сверстниками набеги в лес на грибы, на ягоды и с ребятами же занимался и „вольным" трудом: собирал битое стекло, кости, тряпье и менял их на пряники, которыми меня кормил когда-то первый мой учитель дьячек.

Мне, не умеющему и неспособному рисовать (что значительно упрощает учебу), ремесло гравера давалось плохо, с большим трудом, и я вышел в мастера среднего калибра. Такая роль на фабрике мне улыбалась мало. И все же к этому я как-то приспособился и тянул фабричную лямку в течение более трех десятков лет.

Фабричная обстановка моих ранних лет далеко не гармонировала даже с моей недостаточной домашней обстановкой. Дома у меня можно было всегда найти книгу, я впервые в семье услыхал и о деле Нечаева — читали о нем у нас вслух по „Современным Известиям" Гилярова-Платонова [2], что разжигало во мне нелюбовь к фабрике еще больше. Я старался от фабрики уйти, поддавался соблазнам скитальческой жизни, готов был разъезжать с труппою актеров, хотя бы в качестве ламповщика, мечтал о роли ярмарочного раешника, готовился к этому, составляя к будущим своим картинам прибауточный текст, что может быть и было первым толчком к моей не совсем удачной литературной деятельности.

К мечтам о скитальчестве прислушивались и мои товарищи, — я около себя создавал протестантов против фабрики. И вот мы, более решительные, втроем, с котомками за плечами и с посохами в руках, очутились на извилистых проселках деревень и на прямых, как стрела, аракчеевских саженых дорогах, соединяющих города и села, тогда еще богомольной, но уже ищущей новой жизни России.

В дороге нам все-таки пришлось между собой размолвиться, и домой мы возвращались все трое по одиночке, пройдя пешком более чем по 2 тысячи верст.

Чтобы себя легализировать, мы путешествовали под видом странников-богомольцев, перебывали во всех крупных монастырях, что на мне, тогда еще человеке религиозном, отозвалось значительным отходом от церкви, большим душевным надломом. И я, бегущий от фабрики, думал, что жизнь деревень изобилует многими хорошими сторонами жизни, что фабрику на деревню можно променять, но за это время пешего хождения я пришел к тому убеждению, что везде живется не сладко, что жалобы рабочих и крестьян на свои житейские тяготы одинаковы, горечь жизни пьют они из одного ковша, черпают эту горечь из одного ямника.

Это мое путешествие относится к 1885 году, в августе которого я вернулся домой, а в сентябре этого же года, как отголосок знаменитой орехово-зуевской[3] забастовки, забурлил и наш город многотысячной бунтующей массой рабочих.

Я как безработный тоже вмешался в эту рабочую массу. Не наговорившись досыта во время путешествия с крестьянами, конечно я не молчал и с рабочими. Пусть эта была не агитация как посланника кокой-нибудь организации, все же голос мой здесь звучал в унисон с теми голосами бунтующей массы, у которой со мной был один язык протеста, на котором я еще так недавно говорил со своими товарищами по путешествию. Ведь и все-то это движение проходило под влиянием прямых действий одиночек, неорганизованно, но все же под знаком настоящего рабочего движения, к которому пришлось примкнуть и мне.

Но такое мое одиночество, настроенное на общественный лад, продолжалось не долго. На нашей Думе-горе Покровской[4], в этом главном штабе всех мятущихся ивановцев, ищущих и алчущих душ, где можно было всегда разговориться с людьми, совсем незнакомыми друг с другом, осенью того же 1885 г. я знакомлюсь с Иваном Осиповичем Слуховским и в первые же дни этого нового знакомства я перед И. О. Слуховским,[5] в присутствии А. А. Кондратьева (старшего из трех братьев-революционеров), держу экзамен-исповедь по религиозным и политическим убеждениям.

Мои экзаменаторы-духовники были люди со средним образованием, значительно интеллигентнее меня, но все же я после этого экзамена становлюсь близким человеком к их организованному в два человека кружковому ядру революционной мысли, конспиративных товарищеских отношений и самых крайних радикальных взглядов на литературу.

Кружок наш[6], в смысле его численного роста, развивался медленно, но мы так или иначе вели идейную пропаганду и к 1890 г., когда мы здесь были отысканы народовольцем Спасским-Сабанеевым, объезжавшим в то время с организаторской целью Поволжье, мы своих единомышленников насчитывали уже десятками. Мы имели большую связь с Шуей, а последняя связывалась и с Владимиром—члены нашего кружка были и в Шуе, и в некоторых деревнях.

Помимо нашего подполья в это время здесь существовало еще и литературное подполье, в котором группа рабочих, служащих и учащихся издавала рукописный журнал „Первые проблески", куда и я был приглашен. В качестве „литераторов" в этой группе были и другие заинтересованные члены нашего кружка. Решено было некоторую часть этих „литераторов" использовать, вовлечь в нашу работу, что и было сделано, и наши ряды ими были значительно пополнены. Об этом литературном подпольи и будет итти главным образом речь в дальнейшем.

2

В начале девяностых годов, в один прекрасный день, когда на обывательском горизонте ничего не предвещало и вековая тишина казалась

непоколебимой, совсем неожиданно произошли в нашем городе аресты и обыски, да еще днем и у всех на глазах. Поднялась обычная шумиха, давшая воображению обывателя обильную пищу. На улицах появилась „черная карета“, число арестованных было значительно преувеличено, многие из нас переименованы в „студентов“.

Жандармские визиты нам были нанесены по доносу некоего Соколова, человека видимо плохо разбиравшегося в том, чем мы в своем кружке занимались. Благодаря этому часть подвергнувшихся в те дни обыску была мало или совсем непричастна к нашему кружку. За счет этих людей и нам пришлось отделаться значительно легче, ибо жандармы так и не установили того, что тогда почиталось за государственную опасность.

В то время мы поднимали только целину никем не затронутых возможностей для трудовой и учащейся молодежи, способной жить не поотцовски, а по-новому—более свободно и самостоятельно. Мы до некоторой степени явились прологом для ивановского совсем нового десятилетия с его новыми хозяйственными формами, что потом создало и более широкую арену борьбы для рабочего класса. Это был первопуток — экскурс в область законом запрещенного, вторжение нашей критической мысли в область бытового консерватизма и религиозного окостенения.

Да и жандармы того времени, в особенности рядовые церберы, не имея большой практики, шли тоже первопутком в своей противной деятельности; в чтении чужих душ они были еще крайне малограмотны.

Рядовой жандарм Калинин, роясь при первом обыске в моих бумагах, набрел на мое стихотворение „Дуб“, ухватился за него и, передавая его своему старшему начальству, сказал: „Тут что-то есть“. А стихотворение может быть и было навеяно какой-нибудь человеческой потерей, но все же оно было только стихотворением пейзажным и начиналось так:

Упал, вот, и ты под грозою,
Не выдержал бури, мой дуб...

Должно быть слова „гроза“ и „буря“ казались опасными не только для дуба, но и для жандарма Калинина, но оттого, что в простом изложении человеческой мысли ищут опасных слов, я почувствовал только сладость запретного плода, гордость от своего сознания, что я мыслю, и в этом я видел первое свое приобщение к делу своих учителей — близких мне писателей.

Я был не первый и не последний из зачинателей пролетарской поэзии, и не у одного меня были читателями жандармы. После них мне всегда приходилось за себя и за других говорить, что мы:

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Такая медленная, затяжная весна меня не торопила писать, а заставляла оглядываться, прислушиваться к ночным звукам гонцов от приказного порядка. Писал я мало, а печатался еще меньше, со столичными издателями ничего не выходило, а провинциальные были наперечет, и моя библиография ограничивается только последними; похожим на профессионала-писателя я стал только после Октября.

Возможно, что на моем творчестве лежит печать провинциализма. Я это и сам чувствую и объясняю тем, что редакторы провинциальных изданий, где я печатался, гонорара не платили, были ко мне не требовательны, от них я только и слышал, что их издание на ладан дышет. Приходилось работать на „умирающих“, ухаживать за больными. И нередко над „умирающими“ стоял некто в синем, чьи цензорские показа-


Р. Е. СЕМЕНЧИКОВ
Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново

ния не шли дальше предугадывания — „тут что-то есть“; редакторам было не до упора на пролетарскую литературу, они приглашали с собой мыслить заодно: сейчас нам „не до жиру, быть бы живу“. Приходилось переходить на рукописную литературу, уходить в подполье. Положение куда было лучше, когда наш брат попадал в тюрьму, где обстановка располагала к литературным занятиям, ибо за них особо отвечать не приходилось. Тюремным сидельцам казалось, что тюремные стены от этого раздвигались, они казались сами себе людьми, через это они как бы договаривались с тем, что было вне тюремных стен.

Роман Семенчиков[7], ивановский рабочий-поэт, совсем молодым заморенный в Сибири, вот как определил призвание пролетарского поэта:

В руки я лиру взял, да не звучную,
Я на ниву вступил, да не тучную.
Я вам песни спою не небесные,
Сказки вам расскажу не чудесные.
Не скажу я привет сердцу праздному,
Не скажу похвалы безобразному.
Нет, я жизни хочу для себя и других,
Сколько силы найду, послужу я для них.
Буду петь до конца о великом труде,
Буду рваться всегда помогать их нужде.

Биограф Р. Семенчикова А. Н. Рябинин одно из своих стихотворений заканчивает словами:

Великое было, прекрасное будет...

„Великое“ — деяние революции, „прекрасное“ — расцвет искусств после окончательных побед пролетариата.

Вслед за Р. Семенчиковым, чье призвание как пролетарского поэта определялось в служении своему классу, борьбе за него, шли и другие, чье участие в деле революции не прекращалось и во время тюремных

отсидок. Здесь не было отчаяния среди обреченных, а горела в них живая потенциальная сила, мудрость рабочего класса, выдвигаемого им актива.

Павел Постышев[8] и Павел Симонов[9], оба ивановцы, политкаторжане Владимирского централа, были втиснуты в камеру уголовных. В заботах друг о друге, чтобы не быть обиженными соседями по камере, они ухитрялись среди классического мата уголовных писать коллективно стихи, как бы ими выветривая камеру от параши, и их объединение на этом сказывалось в таких словах:

Хочется видеть, как сосны и ели
Дремлют в родимом краю,
Слушать в лесу соловьиные трели,
Хочется петь самому.
Петь, не смолкая, про радость и горе,
Сбросить оковы и петь.
Петь про любовь, про широкое море,
Волнами моря кипеть.

Нам могут сказать, что эта литература все-таки не большого мастерства. Но ведь на пути от фабричных до тюремных корпусов наши поэты не знали никакой учебы, на своем пути не встречали книжного богатства, у них не всегда было даже законченное низшее образование. И если в их стихах нет утонченности, эстетического смакования, то найдется что-то другое, оправдывающее их.

Великое есть, прекрасное будет...

„Великое есть“ — шестнадцать лет побед Октябрьской революции, полтора десятка лет неслыханного строительства, уничтожение старого буржуазного мира.

„Прекрасное будет“ — в отражении, в отзвучии, в преломлении слов, красок и линий, которые придут вместе с новостройками, и шестнадцать лет побед в их оформлении найдут особое цветение, более красочное, чем все старое, более возвеличенное и облагороженное, чем все уходящее, сдающее свои твердыни.

У истоков пролетарской литературы нашего Иванова всегда наблюдалось два течения: одно шло по линиии общественно-революционной, а другое по линии общественно-сатирической. У первого течения стиль был тюремно-нелегальный, а у второго — балагурно-обличительный, но шли они от одного источника, создавались на почве постоянных антагонизмов. Первое зарождалось в нелегальных рабочих кружках, в классовой непримиримости к хозяевам положения, к их системе выжимания пота. Второе течение было оформлением фабрично-заводского балагурства, за которым коротали и которым подгоняли время тогдашнего двенадцати- и даже четырнадцатичасового рабочего дня. В этом течении антагонизмы были другого порядка: неприязнь к чужакам-натекам, в сущности выручавшим городское коренное население, и неприязнь пришельцев к старому городскому населению, особенно той его части, которая была в плену „древнего благочестия“ со всеми особенностями старообрядческого быта и укоренившихся традиций старого города.

В погоне за высмеиванием друг друга, когда какая-нибудь шутка нуждалась в литературном оформлении, победа оказывалась на стороне пришлого населения. Мастеров на это у нас было два: И. Н. Веселовский и Трифонов-Берендей. Оба граверы, оба были весьма популярны в граверных мастерских и вне их; их рукописи усердно размножались, и в устной передаче их стихи кое-где сохранились и до сих пор. Они

производили значительный шум, но были поверхностны, в них часто не было начал объединения и сплочения рабочего класса, — наоборот, они служили его расщеплению и помогали внутриклассовой борьбе.

Веселовский иногда очень метко высмеивал старообрядческих попов, на этом он специализировался. У Трифонова тематика была значительно шире, но у того и другого смех часто был ради смеха, ради сатирического заушения, в угоду нетребовательным литературным вкусам, идейного безразличия. Это чаще всего была любительския иконография без всякой художественной ретуши характерных уродливых черт мещанина, обывателя. Лично я им на это указывал, но они не знали и не хотели знать другого критерия, кроме оценок своего брата — читателя-мастерового. Веселовский о нем говорил:

В „походячей“ серой паре
Он простой мастеровой.

Работал я одно время на фабрике Фокиных, считавшихся за людей богомольных и добрых. Праздничных дней у них было больше всех, не мало было и „родительских суббот“, и „великих пятниц“; из-за станка они нас гоняли на поминальные обеды и за работой часто оделяли булками в память их отцов и дедов. Когда на их фабрике появилась техническая интеллигенция и на ее долю стала перепадать прибыль предприятия, с каждого „выработанного куска“ ей начали приплачивать; выдавали техническим работникам и на большие праздники „наградные“, что им очень понравилось, и они начали говорить об упразднении целого ряда праздников. Фокины на это поддались, целый ряд святых был „рассчитан“, что я и отметил в одном из первых своих стихотворений.

Добрались и до святых
Фокины усердные.
Рассчитали они их,
Выдачи все медные.
Дело не в неверии,
А в расчете цифровом,
В главной бухгалтерии.—
Ни к чему-де божий чин
Славного и вечного,
Раз нет веры у машин,
То гулять им нечего.
Покровителей голандр
В святцах не отыщется,
Скажем Невский Александр
В цеховых не числится.

Наш город по числу выписываемых в то время газет и журналов, а также и по количеству библиотек и читален был городом совсем некультурным. Чувствовался определенный литературный голод. На почве этого голода в конце 80-х годов в небольшой группе учащейся и рабочей молодежи возникла мысль издавать рукописный журнал, и он выходил под названием „Первые проблески“. Инициатор этого дела, ученик реального училища Е. М. Крестов, в своей библиографической заметке о журнале дает такую ему характеристику: „Журнал претендовал на звание литературно-общественного органа с обязательной передовой статьей, а дальше шли стихи, проза, карикатуры, все отделы которых своим острием были направлены на мещанский уклад жизни, на его уродливые формы, на отсутствие в нем культурной обстановки. Одна

из передовых статей журнала давала основательный анализ бюджета рабочего, с неумеренными расходами на выпивку в „дачки“, на бешеные и некультурные расходы на нашей ярмарке. Статья заканчивалась выкриком: „Когда же придет настоящий день?“ Тот день, когда народ

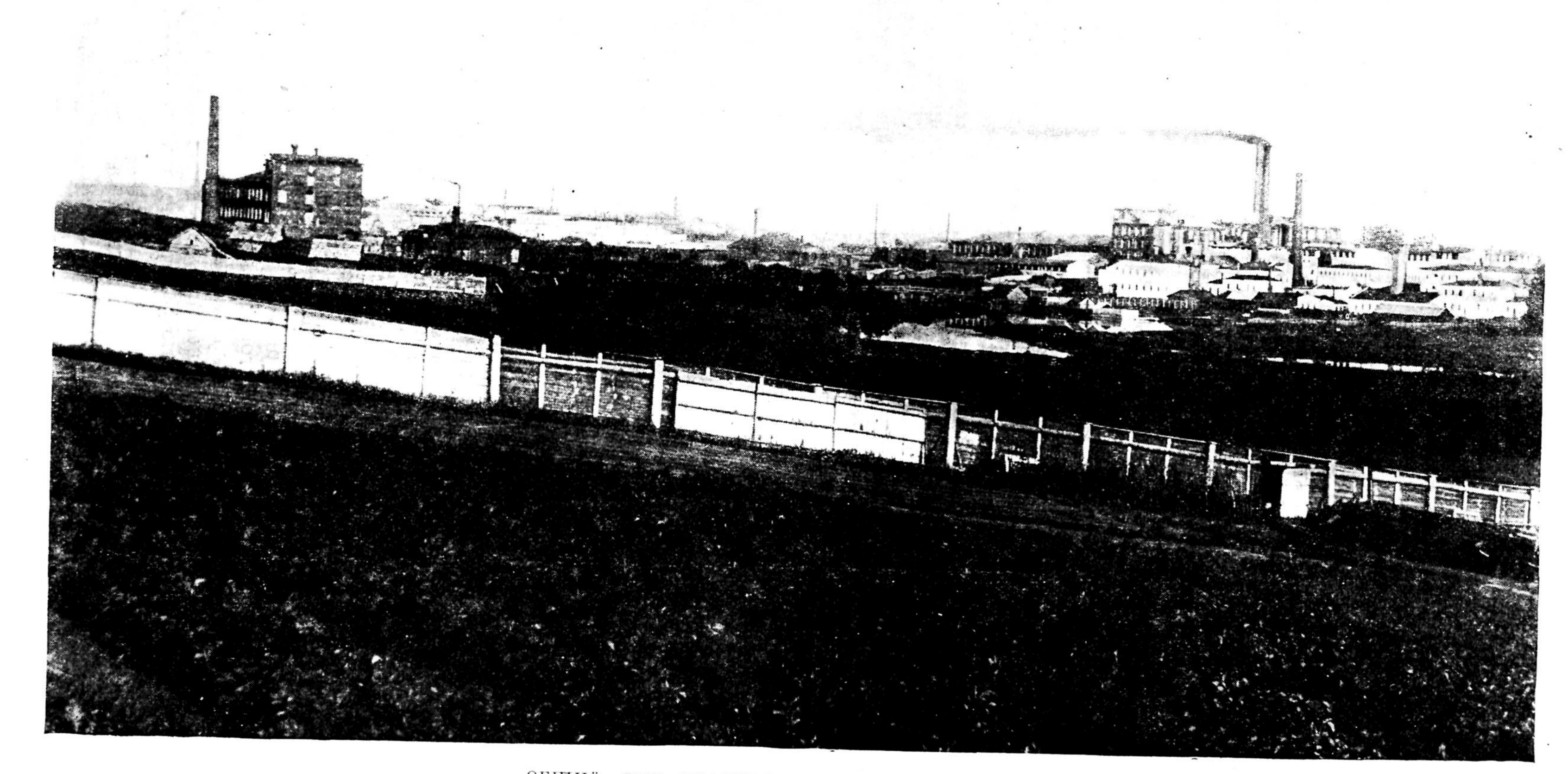
. . . . . . Не Блюхера
И не „Милорда“ глупого—
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Журнала „Первые проблески“ вышло три номера. В последнем номере в качестве литературного „советника“ принимал участие и я; туда я был введен Е. М. Крестовым. Но тут же вскоре мои советы приняли характер разрушительный, и так как этот журнал был мне не по душе, я это литературное гнездо все-таки решил разорить. Связанный с И. О. Слуховским другими интересами общественного порядка, среди сотрудников „Первых проблесков“ я набрел на несколько способных юношей. Задуманный тогда Слуховским кружок саморазвития, программа которого была значительно шире программы „Первых проблесков“, очень нуждался в работоспособных людях. Для объединения обеих групп была устроена встреча. Встреча происходила на квартире Слуховского. Когда было указано на конспиративный характер встречи, на то, что и нам нужен „настоящий день“, о котором наши новые знакомые писали в своем журнале, конспиративность их не смутила. Часть их в кружке Слуховского осела, осевшие прошли некоторого рода отбор, испытание по признаку их участия в обсуждении вопросов реалистического мировоззрения, общественной этики, искусства конспирации, критики художественной литературы и целого ряда других вопросов. Новобранцев из „Проблесков“, наших прозелитов, широко и довольно обстоятельно обслуживала редкая по тогдашнему времени библиотечка Слуховского, где имелись: Лассаль, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Тимирязев, Ренан, Джон-Стюарт Милль и др. Книги эти Слуховским охранялись самым тщательным образом, выдавались они на руки всегда с наказом оберегать их от домашних. Книга в то время в большинстве мещанских семей почиталась чуть ли не грехом. Я знал случай, когда только за одни книги отцы преследовали своих детей, ссылали их, как мы тогда говорили, в места „не столь отдаленные“—на задний двор, в бани. В банях и происходили наши первые сходки. На этих сходках мы чувствовали себя не только безбожниками, но и заговорщиками, где нас тянуло и к сочинительству; „сочинителями“ нас звали и за то, что мы чаще других появлялись на улицах с книгами в руках.

Перекочевавшие к нам из „Проблесков“ сотрудники нашли применение своим способностям в составлении рефератов по экономическим вопросам; к числу практической учебы в кружке надо отнести и дискуссирование вопросов по художественной литературе. Слуховский знал много нелегальных стихотворений, особенно хорошо он читал стихотворение Ольхина „У гроба“ и стихотворение „Бог“ Беранже. Не изгонялась у нас и хорошая чистая лирика. Из этого цикла хорошо сохранилось в памяти стихотворение с началом и концом из таких двух стихов:

Как хороша была та ночка голубая,
Как ласкова была та бледная луна.

Знавшие, что я пишу стихи, тормошили и мое авторство, но свойственная мне авторская застенчивость всегда удерживала меня от выступления; отговаривался я и тем, что я себя еще не нашел, да и мастерством стиха еще не овладел.



ОБЩИЙ ВИД ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ФАБРИК

Фотография 1890-х гг.

Музей Революции, Москва

Темы тогдашних моих стихотворений были связаны с трудовыми процессами; на эти темы навел меня Слуховский; он хотел во мне видеть поэта фабричных корпусов и ремесленных мастерских. В кружковых занятиях по вопросам этики нами было усвоено положение Джона-Стюарта Милля: „нравственно только то, что полезно“. Защищая это положение, мы защищали тогда и господствующую так называемую „теорию малых дел“, новых вех, практику которых красочно и убедительно разоблачал в своих „Очерках русской жизни“ Н. В. Шелгунов, создавший своими очерками около журнала „Русская Мысль“ большую читательскую аудиторию.

В кружке нашем имелись тенденциозные романы: „Что делать“ Чернышевского, „Шаг за шагом“ Омулевского, „Николай Негорев“ Кущевского, „Хроника села Смурина“ Засодимского; их мы выдвигали как литературу полезную, литературу первой очереди. Эти романы разрешали и мои литературные вопросы: о чем писать и что наиболее существенно важно в содержании литературно-художественных произведений.

Практическое осуществление „теории малых дел“ шло и дальше нашей книжной пропаганды; мы начали измерять эту теорию практикой местных благотворителей и благотворительниц. Мы защищали гимназисток, „кухаркиных детей“, девушек, живущих улицей, актрис, обиженных антрепренером, рабочих и работниц, обманутых фабричной инспекцией. Писали по поводу этих событий письма именитым адресатам, а когда на эти письма долго не отвечали, добивались с ними непосредственных встреч, на что был хороший мастер сам главарь нашего кружка. Встречали его наши общественники иногда очень любезно, на словах не отказывались и от помощи, а провожали в догонку, как мы тогда догадывались, конечно улыбками, пожатием плеч, вздохами облегчения, что наконец-то они расстались с непрошенным гостем, с небывалым для их обстановки визитом.

Бесполезное писание писем, остававшихся чаще всего без ответа, навело нас на мысль, что для таких дел пора нашему городу иметь газету, от рукописных „Первых проблесков“ перейти к какому-нибудь печатному „Русскому Манчестеру“.

С наименованием предполагаемой газеты „Русский Манчестер“ Слуховский отправился к предполагаемому ее соиздателю Н. А. Ясюнинскому, кохомскому фабриканту, инженеру-технологу, знакомому нам по любительскому театру. Слуховский от Ясюнинского вернулся с такой обещанной цифрой денег, что мы как-то этому и не верили. Денежную сумму в 10 тысяч рублей мы едва-едва выговаривали и тут же подумали, да не красивый ли это только жест—ведь Ясюнинский прекрасно знает, но скромно умалчивает, что газета в Иванове неосуществима, что это мечта, утопия.

Так и случилось. Когда Слуховский после обещания Ясюнинского дать денег для газеты начал искать типографию и остановился на типографии Александровских, то тут и была погребена наша газетная литературная мечта. Александровские до нас сами собирались выпускать газету, но в этом со стороны Главного управления по делам печати им было отказано. А один чиновник из Петербурга им между прочим писал, что обратись они непосредственно с этим делом к нему, то через взятку кое-что еще можно будет сделать. В указанном комитете печати существовал такой порядок: когда какому-нибудь провинциальному городу первоначально отказывали в газете, то все последующие подобные ходатайства отклонялись механически, без всякого их рассмотрения.

3

Вспыхнувшая мечта о газете погасла, и для нашей практики „малых дел" почвы в этой области не оказалось; тогда мы эту практику постановили перенести из города в деревню, сесть на землю и своим намеченным опытным садово-огородным хозяйством помогать деревенскому зерновому хозяйству.

Для осуществления этого у нас были увлечение, молодость, совсем незначительные средства и кое-какая специальная садово-огородная литература. Место для огорода мы избрали под Кинешмой, в деревне Малое Жажлево. Отправились туда втроем: В. Н. Ларионов, И. С. Слуховский и я. Тяжелая огородная работа ни у кого из нас не отбивала потребности сближения с деревенским населением и с рабочими Поволжья, к которым мы ходили в свободное время на приработки грузить дрова.

Среди местного населения изредка встречались бывшие матросы военного и гражданского дальнего плавания, побывавшие в кругосветном путешествии; с них-то, как с людей более культурных, мы и начинали свою хозяйственную пропаганду, подсовывали им помимо специальной литературы—Засодимского—„Хронику села Смурина", стихи Некрасова. От своих читателей, новых знакомых по огородному хозяйству, нам приходилось слышать, как надо понимать такие стихи Некрасова:

Средь мира дальнего,
Для сердца вольного
Есть два пути:
Одна просторная
Дорога торная,
Страстей раба.
Другая тесная,
Дорога честная,—
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.
Иди к обиженным,
Иди к униженным,
По их стопам.
Где трудно дышится,
Где горе слышится —
Будь первый там.

Разговоры об этом нам конечно стали казаться наводящими на мысль, что наши новые знакомые догадываются, зачем мы приехали к ним в Жажлево. То же самое слышалось и в конце наших бесед. А беседы наши начали заканчиваться с их стороны фразами и, как нам казалось, не случайными:

„А в деревне у нас опять толкался урядник..."

Мы были на подозрении. Летом 1890 г. нашим кружком в Иванове была распространена прокламация, которая у ивановской полиции и жандармерии стала большой занозой, беспокоившей их. Посещение Жажлева урядником мы начали считать подозрительным, нам оно казалось нащупыванием следов виновников распространения прокламации. Пришлось насторожиться, задуматься над возможностью ареста. Наш товарищ Ларионов был семейным, имел детей, семья при его аресте могла очутиться в беспомощном состоянии, а налицо была хозяйственная не-

удача: огород наш хорошего урожая не обещал. Решено было его ликвидировать с таким расчетом: арендуемая нами земля под огородом принадлежала родственнику Ларионова, которому в случае того или иного краха и решено было ее вернуть. Я со Слуховским вернулся в Иваново, тем более что там без нас дело начало расползаться, кружок наш начал хиреть.

Наши попытки осесть на земле были похожи по форме на существовавшие в то время „культурные скиты", называвшиеся „толстовскими колониями", на самом деле „толстовцами" мы никогда не были, толстовская проповедь тех времен нашему кружку была чужда. Мы жили в городе рабочих, рабочие были и в нашем кружке. В природе такого положения вещей несомненно должны быть заложены элементы борьбы, и эта борьба за освобождение рабочего класса нами мыслилась и признавалась. Пусть ее практика была незначительна, но сказать, что ее совсем не было, никак нельзя. Мы со своим реалистическим, материалистическим мировоззрением, чуждым всякой мистики, не могли считать себя только культурниками-книжниками.

Во временном нашем увлечении практикой „теории малых дел" мы, как нам думалось, встречаемся с реальной возможностью, где слово с делом не должно расходиться и при полном их взаимном соответствии должно дать какие-то ощутительные результаты. Мы что-то делали, чему-то учились, но скоро убедились в том, что дамы-филантропки, к которым мы обращались,—скорее наши враги, чем друзья. А где враги — там должна быть и борьба. В деревне мы встретили другую картину. Практика „малых дел" тургеневского Соломина из „Нови", его проповедь, как и чем можно помочь деревне, оказалась несостоятельной. Соломинская туалетная установка,—если встретишь в деревне непричесанного и неумытого мальца-заморыша, то причеши и умой его, и это будет большим культурным служением народу,— в нашей практике „малых дел" не нашла реального отражения. Когда мы пригляделись к деревне, то она нам вся, со всеми ее потрохами, показалась неумытой, непричесанной. Деревня была нища и бестолкова, прикрашиванье ее по-соломински оказалось бесцельнымп рекраснодушием. Без массовой встряски ее, без коренной ломки в ней ничего не поделаешь. На этом мы строили свои взгляды. Деревня и город у нас становились безраздельными, заботы о них — объединенными, чему способствовало и то положение, что в наших краях чистокровного пролетария не было, а была разновидность мужика и крестьянина, в силу чего и наша рабочая поэзия была часто поэзией переклички города с деревней или наоборот — деревни с городом. Кружок наш был хорошо законспирирован, но его бытие как-то просочилось наружу, докатилось до предательского слуха некоего Соколова. Ожидаемая нами встреча с жандармами стала фактом, в городе она наделала много шуму, а в Малом Жажлеве шума больше не было, хотя жандармы и там были. Появление жандармов заставило местное население лишний раз почесать в затылке, богомольных баб пошушукаться, а старика, владельца земли под огородом, запугало так, что он нашествия полиции не выдержал: взял да и помер.

Следствие по нашему делу было непродолжительно. Несколько дольше оно задержалось на нашей прокламации, которую жандармам приписать нам никак не удалось. Искусство держаться на допросах нами было воспринято; на этом мы тренировались в конце каждой нашей сходки. И таким образом выдержали перед жандармами полный экзамен. К нашим личным показаниям со стороны Слуховского прибавлена была дополнительная характеристика.

И. О. СЛУХОВСКИЙ
Фотография 1900-х гг.
Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново



Мне он приписал знание Пушкина, выдал меня за знатока его поэзии. Но это не совсем верно: мне был ближе и созвучнее Некрасов. И после того как мне были возвращены жандармами книги и рукописи, я кой-чего из последних не досчитался; таким образом в жандармские архивы я внес свои первые якобы нелегальные стихи. Позднее я попытался восстановить их, и память мне в этом не отказала.

Нашествие жандармов определило наш удельный вес. Этот критерий стойкости человеческого духа нас расклинил, мы разошлись в разные стороны: от начатой революционной работы, хотя и робкой, одни отошли совсем, другие временно, а третьи — исключительно рабочая часть— тут же перекочевали в новый рабочий кружок Ф. А. Кондратьева, уже с ярко выраженной марксистской окраской.

Грубой и подлой измены идеалам нашей юности ни у кого из нас не было. А культурная зарядка этих лет нам привилась необычайно крепко. Знания, идейная художественная литература, во многих случаях общественная культурная работа стали нашим инвентарем в дальнейшем жизненном пути, постоянной перекличкой с незабываемым светлым прошлым.

Время шло. Город культурно не рос. Нас опережали города-соседи.

Ярославлем в Иванове было открыто отделение его газеты „Северный Край“ [10], куда я в качестве подписчика пришел чуть ли не первым. Заведующему отделением я должно быть показался пишущим, он мне предложил корреспондировать в газету, а я ему предложил стихи, — он и от этого не отказался. Стихи в газету были посланы, началось обычное тревожное ожидание ответа. Несколько редакторских ответов от столичных журналов я уже имел, но только через почтовый ящик. Почтовые ящики я называл сухой гильотиной глумления. Я любил их читать, они меня кое-чему научили, но я всегда думал, что в них любили резать головы больше провинции, чем столице; эти операции выпадали и на мою голову. А потом я и сам очутился в столице, работал на одной из фабрик в тогдашнем Петербурге, где попытался было свя-

заться с журналом „Живописное Обозрение“, но я и тут попал под нож сухой гильотины. В то же время я начал переписываться с Валерием Яковлевичем Брюсовым, решил через него проверить свои поэтические способности. Брюсов мои стихи тогда читал своим соратникам. В одном из ответов на мои письма он привел мнение о моих стихах поэта, тогда ему близкого, Александра Муромского, что человек, написавший такие два стиха:

Ночь — старуха богомольная —
Миллион лампад затеплила,

должен безусловно почитаться как поэт. После этого я начал себя считать „признанным“, хотя оценка тогдашних моих стихов исходила от утонченных эстетов.

В „Северном Крае“ я не встретил такого сурового приема к моей тематике. И я был очень польщен, когда в нем появилось мое первое печатное стихотворение.

НОЧЬЮ

Кашлем, плачем, стоном,
Кто во что горазд,
Будят мать в постели
В неурочный час.
Грудь нужна ребенку,
А другому пить,
Просит батька хворый
Трубку раскурить.
Всем и все достала
Мученица-мать
И малютку в люльке
Начала качать.
Застучали в двери.
Проклятая ночь!
Из пивных, кофеен
Воротилась дочь.
Будут разговоры:
Дочка под хмельком,
Дочка не уступит
Матери ни в чем.
Выскажет угрозы,
Что совсем уйдет —
И у ног родимой
Вся в слезах уснет.

Печатались в этой газете и другие мои стихи, переписки по поводу которых со мною никакой не велось и редакционных поправок в них я никогда не встречал. Уже позднее я узнал, что рукописи стихов в этой редакции складывались на одном из подоконников. Они были запасным подверсточным фондом и хозяином их был иногда метранпаж; когда он нуждался в подверсточном материале, то в эти стихотворные недра запускал свои руки и извлекал оттуда то, что ему подходило по количеству строк. Прозе эта газета уделяла большое внимание, в ней хорошо был поставлен „Областной отдел“. Если писать историю рабселькоровского движения, то надо сказать, что его истоки надо искать именно в газете „Северный Край“.

С поэтами, выходцами из рабочей среды, в смысле их учебы и воспитания поступали не лучше провинциальных газет и столичные толстые журналы.

В декабрьской книжке „Русского Богатства“ за 1900 г. была напечатана статья В. Додонова „Русский Манчестер“. Один из разделов этой статьи имел громкое название „Рабочий поэт“.

Рабочему поэту, Ивану Фролову, о котором повествует Додонов, было уже сорок лет, а он продолжал писать стихи и в таком возрасте, нигде их не печатая. Фролов работал в лаборатории на ситцевой фабрике, жил в деревне, не бросая сельского хозяйства... Фролову как человеку и поэту Додонов дал такую характеристику: „В духовном отношении он стоит неизмеримо выше окружающей среды. Ему свойственно тонкое понимание природы. Как видно, после гула и смрада фабрики природа каждый раз с новой силой действует на душу фабричного“.

В самом же стиле стихов Фролова нет ничего такого, что бы возвышало его над такими поэтами, как нами ниже указанные Веселовский и Трифонов. Поэта ни одним краешком не захватила бурная волна стачечного движения 90-х годов, его имя не упоминается среди вождей этого движения и рядовых его членов. За ним остается несомненное поэтическое дарование, но это дарование вне идейной тематики, не овеяно оно переживаниями не только передовых рабочих, но и всей рабочей массы в целом, в те годы начавшей показывать себя в кровной борьбе за свои рабочие интересы. В стихах Фролова нет и той культуры стиха, которая была например в стихах Семенчикова.

Из посещения „Русского Манчестера“ Додонов сделал выводы, что фабрика и четвертому поколению своих „учеников“ ничего не дала, все культурные блага — медицинская помощь, библиотеки, разумные развлечения и пр. — пришли извне, за счет земства, города и частной благотворительности, и поэт Фролов потянулся к свету культуры не от фабрики, а от посторонних влияний во время отбывания им военной повинности в одном из больших городов Западного края. Неужели же В. Додонову не было известно, как в те годы всякая самодеятельность рабочих в области культуры преследовалась и каралась тюрьмами и ссылками?

В дальнейшем поэт Фролов где-то затерялся. Так пропадали ни за что и другие даровитые выходцы из рабочей среды, когда их под свое покровительство брали Додоновы. На статью Додонова в том же „Русском Богатстве“ дал надлежащую отповедь С. П. Шестернин [11].

В защиту иваново-вознесенских рабочих Додонову была дана отповедь в заграничном приложении к „Искре“ № 9 за 1901 г.

Говоря о библиотечных читателях, Додонов подписался под тем, что „нет ни одной книги на дому в целом районе с 20 000 жителей“. Возможно, что „Русского Богатства“ в домах этих тысяч не было. Этот журнал еще во времена первых марксистских кружков считали чуждым рабочим, ибо для него фабрика была не культурным фактором, а рассадником пьянства и невежества, язвой народа. Отповедь Додонову „Искра“ заканчивает тем, что „из Иваново-Вознесенска высылают рабочих не менее интеллигентных, чем Иван Фролов, хотя может быть они и не занимаются стихами. Выходит даже некоторая аналогия с университетом: как университет выпускает и высылает часть „света“ и „культуры“ в разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со своими рабочими „свет культуры“ во все концы России“.

Отповеди О. П. Шестернина и И. В. Бабушкина из „Искры“ можно дополнить еще приподнятием редакционной завесы „Русского Богатства“ — сказать о том, как додоновская статья редактировалась.

В одном из писем В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому [12] есть такое место: „6) статья Додонова „Русский Манчестер“. Об этом уже были разговоры. Н. Ф. Анненский возражал против цифр. — Я написал автору, что можно поместить лишь при сильных сокращениях. Он ответил, что если „Р. Б.“ поместит лишь часть статьи, — он все-таки предпочитает напечатать у нас, чем всю в другом журнале. Я целиком выкинул почти две главы, цифры сократил тоже довольно радикально и теперь полагаю, статья довольно пригодна. Касается вопроса интересного, несколько легковесна, но довольно жива“ и т. д. Хорошо признание, что статья „легковесна“, но печатать все-таки надо как документ антимарксистский, опорочивающий фабрику, опровергающий утверждение, что лучшим проводником всякой культуры является фабрика, а тут они поймали с поличным и на таком крупном участке, как „Русский Манчестер“. Неизвестно, о чем главы и какие цифры были удалены из статьи Додонова, и называть ее после такой редакционной трепки статьей „довольно живой“ пожалуй неудобно, она вернее была не живой в обработке „Русского Богатства“, а угодной только народническим тенденциям.

Нам пришлось найти и фроловский архив, оказавшийся в Ивановском облархиве. В неопубликованных стихах Фролова есть указание на то, что он на военной службе был ротным фельдшером и за какую-то особую помощь одному из солдат был посажен в карцер. Оказывается и в Западном крае солдатская казарма была только казармой и говорить о ней как о культурной школе нельзя. Додонов и в этом случае солгал.

В архивной фроловской папке имеются еще стихи другого фабричного поэта — Федора Шатунина. Этот культурную зарядку получил в школе, в фабричной обстановке, и жил воспоминаниями о ней.

Фролов и Шатунин уже были на полдороге к тому, чтобы запеть голосом пролетарских поэтов, но им не у кого было учиться, а когда они попадали на Додоновых, то Додоновы за счет их только клеветали на рабочий класс и свою клевету выдавали за познание России.

4

И насколько же я был счастливее Фролова и Шатунина, когда на мою долю выпали такие два учителя, как Иван Слуховский и Валерий Яковлевич Брюсов.

Я писал — они меня поправляли, я говорил — они меня в нужных местах останавливали. Помню мое восхищение лермонтовским „Демоном“, его клятвой, а Валерий Яковлевич называл ее мещанской, отсылая меня к клятве Пушкина, говорил: „Помните его стихи

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой.

Здесь чувствуется то, будто это говорит и не человек, а существо выше человека, а Лермонтов Демона сделал мещанином“.

„Шуты и дети часто говорят правду, — продолжал Брюсов, — и это шекспировское выражение я позволю себе повторить и иллюстрировать его одним анекдотом“.

Здесь Брюсов заговорил о своем любимом поэте Тютчеве. Тютчев был представлен маленькому мальчику, знавшему его стихи. И мальчик был не мало удивлен тому, когда увидал, что любимые его стихи принадлежат какому-то седенькому старичку. И он, удивляясь этой встрече,

сказал: „А я думал, что их написал ангел". „Вот тот художественный критерий детской правды, — сказал Брюсов, — который можно применить и к пушкинской клятве, сказать о ней, что и она написана какими-то сверхчеловеческими поэтическими средствами". При другой встрече он о Лермонтове говорил уже по-другому; его поэму „Мцыри" он называл недосягаемой высотой. Казалось, что он хотел себя поправить, изменить свой взгляд на Лермонтова. Без Тютчева не обошлась и эта встреча; он восхищался тютчевскими рифмами „демоном", „Неманом" из стихотворения „Наполеон". От Наполеона он перешел к оценке французского правительства, которое, по его мнению, после дела Дрейфуса вынесло самому себе смертный приговор. Брюсов возмущался размножением в миллионах экземпляров речи какого-то члена французской палаты депутатов и удивлялся тому, что это происходит в стране, давшей... Тут он упомянул запамятованное мной имя какого-то египтолога. Как он в этот момент не был похож на первые книги своих стихов, молодой по годам, а этой молодости я в нем не видел. Он был серьезен и внушителен, с чем очень гармонировала обстановка его квартиры.

Жил он тогда на Цветном бульваре. Мебель его квартиры — красного дерева, цвета переплета старой псалтыри—вызывала на какое-то особенное внимание к ней и к ее хозяину. Вся обстановка старокупеческая, но без обычных лампад и псалтыря у божницы.

Серьезность ее хозяина и солидность ее обстановки меня подмывали спросить его, что значит его стихотворение „О закрой свои бледные ноги!"

Думал я этим вопросом его заставить улыбнуться, но этого я не достиг.

„Вы затронули довольно интересный вопрос...—И он с такой же серьезностью, с какой говорил о Пушкине и Лермонтове, начал объяснять значение его „бледных ног".—Большинство пишущих старается писать по количеству строк многострочные вещи, боятся писать стихи в одну-две строчки, как бы их не приняли только за фрагменты. Я же этот вопрос своими „ногами" разрешаю так: стихотворение и в одну строку должно иметь все права своего гражданства как форма афористическая. Афоризма в моих „ногах" нет, здесь я к этому подошел пока только формально. Вот Бальмонт недавно мне читал свое стихотворение „Хочу быть смелым, хочу быть дерзким"... А своего стихотворения в одну строку „И никого, и ничего" напечатать не дерзает. А ведь он ваш шуянин, из города рабочих, немного причастен и к революционному движению, а в области литературы он революционер только на словах".

Были у нас разговоры и о том: надо ли издавать и печатать отдельных авторов, когда они еще не нашли себя, не самоопределились: кто они? и что они?

„Процесс самоопределения, поиски себя, их полнота и сложность переживаний при хорошей их подаче должны расцениваться в положительном смысле. Ведь пути к истине, — сказал Валерий Яковлевич, — часто бывают выше самой достигнутой цели".

Остановился он как-то и на мне как на авторе, которого пора печатать и издавать. Он во мне находил оригинальными и такие приемы, когда в свои стихи я вводил цифры, писал о семи цветах радуги, о семи звездах Медведицы или:

Мы волны считали, седьмая, восьмая;
И вот роковая нашла...
И вздрогнула наша семья небольшая,
Когда нас она обняла.

В. Я. в это время замышлял издать хрестоматию современной поэзии по образцу германской, изданной Францем Эварсом, куда он намерен был втиснуть и меня.

Издание это по каким-то причинам не состоялось, и тогда он остановился на другом плане: решил выпустить мои стихи отдельной книжечкой. Однако и это издание не состоялось. Повторилась моя авторская застенчивость, пугала меня и упадочность некоторых стихотворений предполагаемой книжки, и явное противоречие — несходство моих обычных настроений с переданным в ней, где я собирался

Плыть к островам небывалого,
К гаваням вечной весны,
Где меня ждут как усталого
Гостя холодной страны.

Не отвечали моим новым настроениям и такие стихи задуманной Брюсовым книжки:

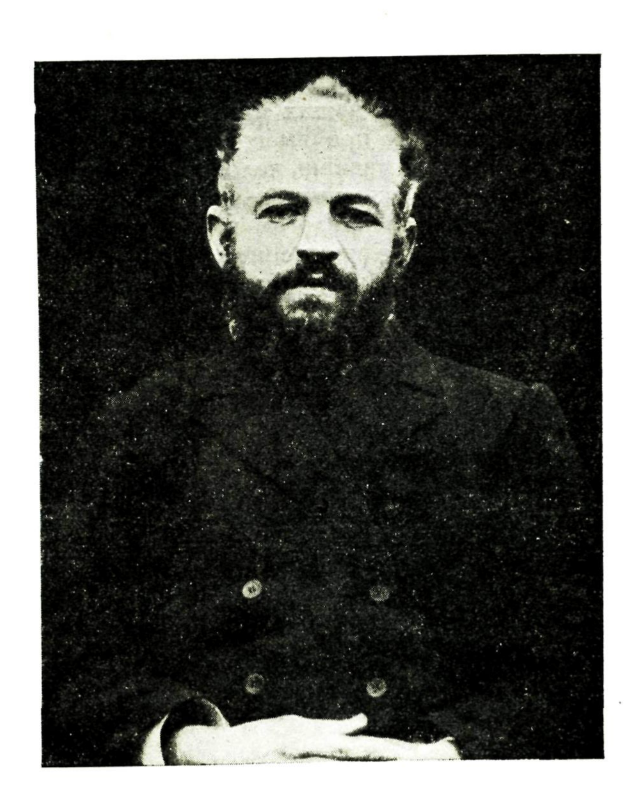
Мы робко с волною воюем,
Возможно ли здесь устоять,
Где бурный прилив неминуем,
А пристани нет — не видать.

Стихи эти были петербургского периода моей переписки с Брюсовым, словарь и образы которых были навеяны Финским заливом, его пристанями, судами и братанием на этих пристанях русских рабочих с иностранцами-матросами. Но в этих стихах была и полная оторванность от излюбленной моей тематики родного рабочего города, хотя и на питерской фабрике, где я работал, меня знали и вне моей мастерской.

Когда я из Питера возвратился в Иваново и поступил работать на одну из самых захудалых фабрик Петра Дербенева, то на ней (да так было и на других местах) я встретил огромный рост сознания рабочих, встретил прослойку из рабочей массы, таких товарищей, с которыми можно было легко и безбоязненно говорить на какие угодно темы. Прошло каких-нибудь три-четыре года после разгрома нашего объединения, а на пустыре, отделявшем фабрику Дербенева от фабрики Полунина, в обеденный перерыв собиралось уже человек по 10—15, поднимавших тогда вопросы стачечного движения, борьбы с экономизмом, профессионального и кооперативного движения. Это были дневные сходки революционного подполья социал-демократических кружков. К дербеневским товарищам, среди которых были братья Воронины, П. Волков, В. Соловьев, С. Кисляков, В. Бардов и др., присоединился, будучи тогда еще подростком, Николай Грачев[13]. Он пришел на фабрику из столярной мастерской ко мне „под руку“ в качестве ученика-гравера. Начатки ремесла, стремление быть культурным и развитым рабочим Грачев приобрел еще до фабрики в ученическом кружке реалистов Александра Пророкова и Владимира Носкова[14] — впоследствии очень видного большевика. Пророковский кружок издавал первый в Иванове ученический рукописный журнал, участником которого должен быть и Грачев. Имея под руками такого ученика, как Грачев, мне, не утратившему связи и с другими передовыми рабочими, приходилось не раз быть под обстрелом всевозможных вопросов. Это меня обязывало побольше знать, побольше читать, чтобы на задаваемые товарищами вопросы отвечать по существу: лжевсезнайкой я быть не хотел. И у меня эта эпоха приобретения знаний отодвинула стихотворство на задний план, я как поэт замолчал на целых семь лет.

Пришел 1905 год. Его революционная волна подхватила и меня, в те дни безработного, но связанного общественной работой с кооперацией и зарождающимся профессиональным движением. Я был членом правления общества потребителей и общества взаимопомощи фабричных граверов. Это обязывало меня встать в ряды восставших ивановских рабочих, и я оказался среди них своим человеком. О том, почему я оказался своим, да еще нужным человеком в такой момент массового рабочего движения, может вам рассказать книга М. А. Багаева „За десять лет". Багаев пишет: „Иваново-вознесенская организация имела и свой хороший тыл. Этот тыл состоял из „Бабы-Мокры" (Е. В. Иовлевой) и нескольких рабочих (А. В. Ноздрина и др.). Отошедшая временно от революционной работы Е. В. Иовлева формально не состояла членом организации; в течение семи лет, с 1896 по 1903 г., она оказывала всяческое содействие организации; во время обысков предупреждала товарищей о грозящей им опасности, а после жандармских разгромов собирала разбитые силы и потом передавала их преемникам в работе. Много помогали организации и стоящие так сказать в резерве товарищи, как например Ноздрин и др. У них приезжие товарищи могли получить ночевку, через них получить связь с той или другой группой рабочих, а кроме того они вели культурную подготовительную работу среди неорганизованных рабочих, благодаря чему приобрели такую популярность, что во время всеобщей иваново-вознесенской стачки 1905 г. Ноздрин, А. Е. был единогласно избран председателем первого совета рабочих депутатов".

По современной терминологии роль моя в рабочем движении за целый ряд лет сводилась к так называемому „приводному ремню", но эту приписываемую мне честь я хотел бы разделить с целым рядом наших спутников жизни, мне памятных и дорогих товарищей. Мне хочется на-



А. Е. НОЗДРИН
Фотография 1905 г.
Областной музей, Иваново

звать и их приводными ремнями, если можно так выразиться, „второй передачи", чья помощь часто в весьма рискованных конспиративных делах была так необходима и всегда так жертвенно безупречна. Женщины старших возрастов, наши матери, всячески защищали своих дочерей и сыновей, когда им угрожали какие-либо репрессии. Подпольщик, профессионал-революционер В. Новиков, видавший всякие виды, побывавший во многих уголках революционной России, в своих воспоминаниях[15] об Иванове и ивановцах говорит следующее: „В то время, когда в Москве в большинстве случаев сознательные рабочие принимали участие в революционном движении или тайком от семьи, или при враждебном отношении части ее, или во всяком случае редки были случаи, когда вся семья от мала до велика была „сознательной", — в Иваново-Вознесенске социалистов считали не по именам, а по домам. Там в партийной работе принимали участие не только отец, но и мать, сын и маленькая дочь, даже бабушка, если таковая была. Ивановские работницы, на 70 процентов заполнявшие текстильные фабрики, и в 1905 г. в большинстве своем не были настроены реакционно. Я не помню ни одного случая, когда бы они мешали активности своих мужей и братьев. Не случайно и в стихах своих я дал несколько зарисовок женщин-работниц, чьи руки ткали не только одни полотна, но и превращали их в знамена, на которых были революционно-могучие слова: „Освобождение рабочих — дело самих рабочих". События 1905 г. помимо непосредственного участия в них привели меня к мысли вести запись всего происходившего. Может быть в будущем это кому-нибудь да пригодится. С этой целью я собирал в документах все, что касалось этих событий, завел дневник и начал набрасывать первые стихи задуманной мной поэмы „Ткачи".

Дневник вел я и раньше. Еще во времена кружка И. О. Слуховского я ухватился за мысль Генриха Сенкевича. Его роман „Без догмата" написан им в форме дневника, и самые первые слова его романа говорили вот о чем: „Несколько месяцев назад я встретил моего товарища и друга Иосифа Святыньского, который за последнее время занял крупное место среди наших писателей. В беседе со мной о литературе Святыньский между прочим говорил, что придает большое значение дневникам. По его мнению, человек, оставляя после себя дневники, дурно или хорошо написанные — это безразлично, лишь бы только искренне, дает будущим психологам и романистам не только картину современной ему жизни, но единственные правдивые данные, которым можно верить. Святыньский с уверенностью высказал мнение, что в будущем повести и романы примут исключительно форму дневников, утверждал даже, что тот, кто пишет дневник, несомненно работает в интересах общества и заслуживает его признательность". С этого началось и мое писание дневников; это обязывал делать и 1905 г., когда фабрики перестали дымить, а фабриканты перестали разъезжать из дома на фабрику и обратно на рысаках, когда погасли паровые топки, в особняках фабрикантов затеплились „неугасимые" лампадки, а наш бивуак, раскинутый на Талке, жег свои огни, выжигая ими все ненавистное прошлое.

Литературные замыслы этого года ни в какой мере завершить не пришлось. Конец этого года ознаменовался выступлением контрреволюционных сил. Манифест 17 октября — эту царскую милость на словах — отцы города превратили в дело самой жестокой мести. Черной бандой я был приговорен к смерти, от возможного самосуда ушел за несколько минут, и вместо головы черносотенцы отыгрались только издевательством над женой, над детьми, над моим имуществом, квартирой. Сам же я уехал в Москву.

Как во время пожара спасают часто в первую очередь то, на что раньше меньше всего обращали внимания, или как во время свидания в тюрьме с близкими всегда говорят не о том, о чем бы надо было говорить, — так и я в последний момент перед погромами ничего не взял с собой нужного, ценного, даже и денег взял не столько, сколько их понадобилось в первые дни моего невольного скитания, поисков нового пристанища. Да и как тут можно было организованно думать, логически мыслить? Я только удивлялся себе, как это я, человек далеко не из храбрых, не торопился спасаться от угрозы смерти? Крик и какой-то особый гул погромщиков был ясно слышен на дворе моей квартиры, а на уговоры семьи уйти я все еще не сдавался. И не будь около них посторонних, я мог бы быть убит или жестоко искалечен. И только друзья мои и семья сумели меня вытолкнуть за ворота, а один из них — Сергей Кожухов — предложил мне не бежать, когда он увидал, что погромщики от нас недалеко, в каких-нибудь ста шагах. А побеги мы с ним, нам бы не сдобровать. Вдогонку были слышны только крики разъяренной толпы, да пение „Спаси, господи, люди твоя". А мое достояние — книги, накопленные за двадцать лет рукописи, письма, дневники — все разом превратилось в добычу самых разнузданных, безотчетных страстей, на что, как мне передавали после, смотреть было страшней, чем на пожар.

Москва меня встретила добрыми революционными настроениями, ее барометр стоял на предгрозьи, обещал бурю, и я в этом предгрозьи скоро затерялся, от ран и обид быстро оправился. Ивановским беженцем в Москве я был не один, мы начали жить революционным землячеством, почти каждый день собирались на Малой Кудринской, в квартире Е. В. Иовлевой[16]. Ее квартира в это время походила на пороховой погреб. Хранились „апельсины" македонского образца, тогда мы называли их еще тульскими пряниками. Они были привезены из Тулы. Вооруженное восстание, кормежка „пряниками" врагов признавалась всеми гостями Е. В. А когда начались бои на Пресне, Е. В. ухитрялась поддерживать с ними связь, носила „бойцам" поесть, что-то для них стряпала. Она жила годами на одном чае и ситном. Чай и ситный с изюмом были единственной ее слабостью. После революции 1905 г. она решила учиться массажу; стала массажисткой и начала практиковать. Среди ее пациентов был какой-то генерал, ее массаж и внимательное отношение к делу так понравились генералу, что он решил предложить ей замужество. Она могла бы сделать „блестящую партию", но у нее уже была партия и не менее блестящая — партия Клавдюшек, Машек, Сашек. Так любила она называть своих товарок, и эту малоинтеллигентную среду работниц она не променяла на генерала. Ей должно быть трудно было расстаться и с московскими углами, и с чаем, и с ситным с изюмом. Изюм с чаем все-таки в конце концов сделал свое дело. Когда совершился Октябрьский переворот, Е. В. не сумела ориентироваться в новой сложной обстановке. Она начала отходить в сторону от ранее близкого ей дела, а по истощенному, износившемуся ее организму крепко ударила голодуха. Екатерина Васильевна Иовлева не выдержала ее и умерла.

В кое-как сколоченном гробу, на таратайке, в кое-как вырытую могилу ее свез Н. Н. Кудряшев, земляк, только что вернувшийся тогда из американской эмиграции.

Во время моего непродолжительного пребывания в Москве я встретился и жил в одной квартире с Владимиром Михайловичем Шулятиковым. Знаком я с ним был раньше по Твери, когда он там жил на положении высланного из Москвы.

Тверская наша встреча произошла в „Парусе". Этот „Парус" представлял собою нечто вроде общедоступного клуба. В его читальном зале мы нашли только одну „Ниву", по поводу чего он тогда заметил, что для Твери, прославленной своим земством, его знаменитыми либералами, одной „Нивы" маловато, но что зато это идет к лицу города, который находится в двух шагах от Москвы и в то же время считается городом ссыльным, когда о тверском „Парусе" никак нельзя сказать:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Московская встреча с В. М. была иной, Москва жила предгрозьем, приходилось цитировать не созерцательного, туманного Лермонтова, а трезвого и ясного, настроенного пророчески, тоскующего по труду чеховского барона Тузенбаха: „Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25—30 лет работать будет уже каждый человек!"

В. М. Шулятиков был человек книжный, критик-марксист, я—представитель рабочей массы. Выходило так, что мы друг другу были нужны, создавалась между нами товарищеская близость, вопросы литературы мы связывали с революцией. Однажды он мне задал довольно внушительную трепку, когда я защищал „непотухающую силу" Тургенева. Против Тургенева он выдвинул поэтессу Аду Негри, познакомил меня со своими переводами из нее. Поэзию Ады Негри о труде и трудящихся он считал началом новой литературы, чем он вызвал и меня на признание в том, что я — автор трудовой поэмы „Ткачи". Он просил меня ее восстановить.

С „Ткачами" я побывал и у Н. А. Рожкова[18], к которому я попал через Шулятикова с корреспонденцией для „Нашей Жизни" об ивановском погроме. Корреспонденцию Рожков одобрил, а поэму нет. Нашел ее тяжеловатой, но по содержанию интересной. Поэму я решил перекроить.

В истории „Ткачей" был и довольно серьезный случай. В Рыбинске у меня имелся хороший знакомый Гордей Преображенский, студент, симпатичнейший юноша, тогда начинавший беллетрист. Он был знаком и с моими „Ткачами", читал их в нескольких интимных кружках. Захотелось ему их прочесть и на маевке. В день маевки зашел он ко мне за рукописью и для опоэтизирования своей фигуры взял у меня еще широкополую шляпу. Маевка не удалась, с маевщиками произошла обычная казацкая расправа. Шляпу Преображенский мне вернул, а рукопись нет: во время казацкой расправы, когда ему пришлось по-звериному ползать под кустами, рукопись каким-то образом выпала у него из кармана. Но о ней все-таки остались не одни только воспоминания. В некоторой части она сохранилась, так как отдельные ее куски позднее приняли форму самостоятельных стихотворений, из коих и сейчас можно составить поэму-мозаику о моей жизни.

На выручку меня в Москву, где я как безработный томился неопределенным положением — чем жить, что делать, приехал из Рыбинска С. М. Проскурнин[19], мой земляк, работавший тогда в рыбинских и ярославских газетах. К этому делу он решил приобщить и меня. Пришлось поехать. В Рыбинске я сделался его помощником, он был специальным корреспондентом газеты „Русское Слово". Платили хорошо, корреспон-

дировали по телеграфу, к событиям были чутки, а их было много, да и на выдумки были горазды; иногда при корреспондировании мы прибегали к маленьким невинным вольностям.

За счет моих двух стихотворений, напечатанных в „Вестнике Рыбинской Биржи", мы встречали новый 1906 г. Продолжали жить и надеждами на ослабление в Иванове черносотенной общественности, в руках которой оказалось первое печатное слово: с ноября начала выходить черносотенная газета „Ивановский Листок" [20].

По поводу выхода „Ивановского Листка" нам писали: „Недавно в доме Тихомирова, в помещении его типографии на углу Напалковской и Павловской улиц, был отслужен молебен. Молились за преуспеяние окончательных побед над внутренним врагом, над безбожной и ненавистной купцам и помещикам революцией, ядром которой в Иванове являются рабочие. Молились за процветание свободы печати, дарованной манифестом 17 октября 1905 г. Молебен устраивал Павел Иванович Зайцев, фельдфебель царской службы и бывший табельщик одного из ивановских заводов, а ныне редактор „Ивановского Листка". Культура фельдфебеля и табельщика уже начинает цвести махровым мракобесием, травлей рабочих и угодничеством перед полицией, фабрикантами, торговцами и обывателями.

Редактор „Листка" особенно похож на фельдфебеля в „Хронике", в которой он любит командовать „молодыми людьми" в коротких куртках и штиблетах, называет их „освободителями" и руководами рабочего движения, приписывая им кражи и все виды уличного хулиганства. „Ивановский Листок" у нас называют органом „общественного потемнения", тираж его ничтожен и на его рост никаких надежд нет".

Читая такие известия с родины, приходилось говорить:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

В противовес этому бандиту мысли, политическому сутенеру Павлу Зайцеву можно назвать другого Павла — Павла Симонова[21].

Симонов в ивановском революционном подполье был замечательной фигурой, в нем, как ни в ком другом, была заложена природа подпольщика. Он в течение нескольких лет не выходил из своего подполья, ухитрился в самую жестокую пору преследования рабочего движения вывозить типографский станок из одного подземелья в другое. Он объехал с ним все окраины города, побывал и в его центре, в деревне, в соседнем городе Шуе. Меняя своих квартирных хозяев, он умел с ними встречаться и расставаться. А когда в конце концов он попал на квартиру каторжной тюрьмы, то из крота он превратился в соловья, начал писать стихи, запел о солнечных днях и в тюрьме. Его очень ценил М. В. Фрунзе. Однажды мимо камеры Фрунзе он возвращался от судебного следователя, его М. В. остановил и спросил: „Ну как дела, Паша?"—„Да на горе! Ждал 126-ю, а дали только 102-ю". В подземелье Симонову юридическими науками заниматься было некогда, он плохо разбирался в том, какая статья крепче, 102-я или 126-я. И М. В. их ему расшифровал, сказав, что дела его скоро будут под горой, на каторге. Но Симонова это не смутило: что ему каторга, когда он ее уже знал? Сложная и ответственная работа в подполье была для него добровольными цепями, и эти цепи он носил с честью.

Одной из таких особенных побед в сентябре 1906 г. был выпуск газеты ивановской группы большевиков — „Известия".

По размерам газета была в четыре страницы писчего листа бумаги. Выход этой газеты являлся опровержением тех кривотолков об иванов-

ских рабочих, что их партийная организация и их вожди после октябрьского погрома никак не могут подняться и не поднимутся. А тут против всякого ожидания у самого носа Павла Зайцева вышла рабочая газета с корреспонденциями от целого ряда фабрик, со статьями о Государственной думе, как на нее смотрят большевики. Правда, техническое оформление газеты было не без недостатков, оно в этом отношении „Ивановскому Листку“ кой в чем уступало; у Павла Симонова нехватало нескольких букв из титульных и текстовых шрифтов, хотя остальное все было в порядке.

Выход „Известий“ привел Зайцева в неистовое бешенство, его газета ополчилась на „Известия“ с обычными помоями. И это было понятно. Но совсем непонятным было поведение губернской либеральной газеты „Владимирец“, напечатавшей из Иванова корреспонденцию об „Известиях“, что несомненно отразилось на дальнейшей судьбе газеты. Около нее и без этих указаний копошилась вся наружная и тайная полицейщина, а тут, изволите ли видеть, по служебному самолюбию жандармов начали бить еще либералы, науськивать ее на подпольную газету. Выход „Известий“ ограничился только одним номером.

Недобрым словом приходится помянуть Павла Зайцева и за его обработку, за его эксплоатацию поэтов В. Клюнина[22] и М. Артамонова[23].

Работали они у него и терпели его, находясь в положении газетных техников. Платил Зайцев им мало и этим он их вынуждал на приработок, заставлял их писать в угодном ему духе. Артамонов и Клюнин представляли собой богему, бесшабашную культурную вольницу. Тот и другой ежедневно и ежечасно старались освободиться от Зайцева, а выход из положения видели в издательстве, что осуществили и на деле. Клюнин в течение года выпускал журнал „Иваново-Вознесенская Жизнь“ и около того же срока выходил артамоновский журнал „Дым“. Артамонов свой „Дым“ начал издавать при 13 рублях в кармане, а Клюнин был еще смелее—у него ничего не было, кроме семьи из семи человек да знакомства с маленьким типографом Бабановым. Бабанов выручил и Артамонова, первые номера „Жизни“ и „Дыма“ были иждивенческим делом Бабанова и бесплатного сотрудничества рабочих поэтов — И. Назарова, А. Благова, Якова Лепилова, Ивана Панкратова, от компании которых не отставал и я.

Оба журнала, в чем у нас не было расхождения, были убоги, но хорошо и то, что без материальной помощи, без участия интеллигентных сил мы издаем обличительные журналы, становимся до некоторой степени выразителями общественного мнения, имеем рабочего читателя, создаем свою рабочую литературу, развиваем навыки самодеятельности. И это надо считать если не за литературное, то во всяком случае за самое реальное культурное достижение.

Журналы, подобные клюнинской „Жизни“ и артамоновскому „Дыму“, я знал в Рыбинске и Ярославле. В Рыбинске вместе с С. М. Проскурниным мы издавали „Дубинушку“; общий наш знакомый в Ярославле Б. Куприянов издавал „Колотушку“. „Дубинушку“ мы начали издавать в самом буквальном смысле без копейки. Нас в этом деле выручил типограф Деменев и владелец газетного киоска С. Разроднов. Они сошлись на общей симпатии к нам обоим, а потому без особого труда мы их притянули к себе как бы в качестве соиздателей. Из нас образовалось в некотором роде коллективное товарищество. Никаких особых доходов из нас никто не получал, а какие доходы и причитались нашим соиздателям, то всякий раз, за каждый номер, мы рассчитывались где-нибудь в трактире за чайком и графинчиком, а последний заключительный, так называемый „разгонный“ графинчик часто


И. И. МАХОВ
Собрание А. Е. Ноздрина, Иваново

превышал доход наших коллег. Разговоры за графинчиком носили всегда характер общественный,— говорили прежде всего о судьбах провинциальной печати. Разроднов под хмельком однажды договорился до того, что предлагал свой дом под общежитие для газетных работников. Не отставал от него и Деменев: и он для нас, пасынков жизни, готов был поступиться своей типографией, отдать ее в наше товарищеское кооперативное пользование.

После выпуска семи номеров „Дубинушки“ все литературные и кооперативные наши планы рухнули,— сотрудники и доброжелатели „Дубинушки“ в это время объявили ярославским охранникам войну. Нас, руководителей „Дубинушки“, в эту войну они впутывать не хотели, зная, что и в „Дубинушке“ есть материал, за который можно было притянуть. Мы местную цензуру обманывали тем, что печатали переводы с несуществующего новогреческого языка. Вот наглядный пример:

ИЗ МАКЕДОНСКИХ МОТИВОВ

(с новогреческого)

ПЕСНЯ КУЗНЕЦА

С вами золото червонное,
Братской кровью обагренное,
С нами молоты и плуг,
Да века нужды и мук
С закаленной силой рук.

(Припев) Стук, стук!
Куй, друг!
Под звук
Стук!.. Стук!..

Знайте, деспоты развратные,
Мы куем мечи булатные:
Ваши головы рубить,

Вашу кровь повсюду лить,
Чтобы волю раздобыть.

(Припев).

Всех побьем мы вас, губители,
Золотые повелители,
Нет от нас пощады вам,
Бессердечным палачам,—
Нет ее ни здесь, ни там...

(Припев).

Куй,— разбей ударом молота
Поскорее царство золота,
Все по камню размечи,
Что воздвигли палачи,—
Куй же, куй — смелей стучи!

(Припев).

(Перевел С. Сырейщиков.)

„Песня кузнеца“ Сергея Сырейщикова по всем признакам выходила за пределы „дозволенного“. Она напечатана была в октябре 1906 г., когда революционная волна уже спадала и поднималась волна реакции, растерянности. Мы это сознавали, но в практике провинциальных издательств это называлось тем, что подходило под понятие „написать под занавес“, закончить дело с шумом, с эффектом, с музыкой, за что в большинстве случаев отвечали подставные редакторы-„отсидчики“. Получался в некотором роде благородный жест. Рыбинская цензура „новогреческий язык“ так и проморгала,— мимо ее, да и мимо всех читателей рыбинских изданий проходило и такое бытовое явление старых газетных нравов. У „Рыбинского Листка“ и „Вестника Рыбинской Биржи“ начинает падать „розница“. Враждебно настроенные друг к другу редакторы этих газет вдруг становятся „друзьями“, уговариваются попить вместе „чайку“, идут в трактир и прихватывают туда с собой сотрудников. За „чайком“ выбиралась тема, устанавливался срок, в течение которого газета газету должна обливать помоями, деликатно называя это „полемикой“. „Розница“ газет от этого выигрывала, серенький рыбинский американизм хорошо отзывался на заработке разносчиков газет, сотрудники „гнали строку“, казались именинниками, а общественное мнение было одурачено.

Меня почему-то облюбовал рыбинский газетчик С. Я. Разроднов и решил послать меня торговать газетами в Ярославль.

К задачам этой торговли, ради должно быть моего морального удовлетворения, была пристегнута и задача борьбы с черносотенными изданиями, имевшими в то время большой сбыт в Ярославле.

Более внимательным и ежедневным посетителем моего ярославского газетного киоска, открытого на Власьевской улице, был чиновник особых поручений при губернаторе — князь Голицын.

Он ежедневно у меня спрашивал „Вече“, „Московские Ведомости“ и другие черносотенные издания, а я ему изо дня в день предлагал газеты другого лагеря. Тогда он начал меня донимать еще тем, что заставлял в этих газетах комментировать указанные им места—и я за свои комментарии побаивался.

Моим товаром начинали тяготиться и газетчики-разносчики, которые из-за более выгодных условий перешли ко мне от других хозяев. У них всегда спрашивали черносотенные издания, а у них их не было. Тогда в одно прекрасное время посланную мною через них телеграмму — за-

каз на газеты — они переделали, и я вместо обычного набора газет получаю одно место „Веча“, около 3 тысяч номеров.

Когда мне представилась возможность вернуться в Иваново, я очень жалел о том, что в Иванове я снова буду обречен на полное литературное молчание, а мне негде будет применить и свой опыт газетной техники. Но в таком бездейственном положении в Иванове я был недолго. В ночь на 3 июня 1907 г. меня арестовали, заставили отвечать за 3 июня 1905 г., когда я чуть не попал под казацкий расстрел, и за то, что в октябре этого же года я был черносотенцами разорен и ими же присужден к самосуду. Тюремная контора вскоре мне объявила, что имеющееся за мной дело прекращено, надзор с меня снимается. А из тюрьмы меня все-таки не освободили, и этот тюремный анекдот кончился тем, что меня выслали в Олонецкую губернию. В ссылке оказался и Проскурнин, который был оставлен на исправление в Вологде, где он скоро сделался своим человеком в местной прессе, реферировал земские собрания, а ссыльное население города было в большинстве из культурных центров. Столыпин высылал тех, у кого совесть была не косноязычна, а мысль свободна.

На мою долю выпала олонецкая глушь. В эту глушь шли и ссыльные из глухих углов, „лесные братья“—воронежцы, аграрники — киевляне и др. Они нередко создавали и такую обстановку, что южная глухомань шла войной на северную глухомань, создавались то и дело конфликты, на улаживание которых мы, два-три человека, будучи покультурнее других, тратили много времени. Мы растворялись в этой серой массе, а потому урядник и штык своим посещением нас не донимали; мы не боялись за переписку, а я спокойно читал и писал, восстановляя разрушенное черносотенцами, что позднее и вошло в мою книжку „Старый парус“.

Ссылка меня сделала большим поклонником эпистолярной формы, значение которой после дневников я считаю не менее ценным.

Моими самыми близкими читателями того времени были С. М. Проскурнин и И. А. Волков [24], с которыми я всегда был в переписке. Первый из них как поэт и во мне видел своего соратника, а второй — краеведа. Через первого я узнал, чем живет юг, его центр, через второго — чем живет Поволжье. Это были облюбованные места их скитальчества, их газетной работы, к чему они оба имели большую неодолимую тягу и чего они не могли иметь у себя дома, в Иванове. Сошелся я с ними в ивановском отделении „Северного Края“ в пору молодого рабочего движения и еще более молодого, делавшего первые шаги рабкоровского движения. Ивановские передовые рабочие того времени, учуя в „Северном Крае“ свою рабочую трибуну, начали выдвигать из своей среды в газету корреспондентов, по современной терминологии рабкоров. Отделением „Северного Края“ в то время заведывала Ольга Алексеевна Белова (по мужу) родом из революционной семьи. Ее братья Александр и Виктор Вановские в свое время были довольно известными социал-демократами. Рабочие к Беловой сначала приходили только купить газету, подписаться на нее, а ей был нужен еще критик, серьезный читатель газеты. И когда она от рабочих узнавала, чего нехватает в газете, она им говорила: „А вы бы взяли да что-нибудь и написали в газету!“ Писательство в то время для рабочих было делом мало привычным. Тогда она решила их сделать корреспондентами-устниками. Записанным с их слов она делилась и с нами, с более культурными рабочими, знавшими хорошо город и фабрику, и газетная заметка уже принимала форму коллективной обработки, когда мы в нее вносили то или иное исправление.

Популярность газеты и самой Беловой превратили ее отделение в штабквартиру революционных явок, в склад нелегальной литературы, в адресат конспиративной переписки.

Тираж „Северного Края" поднимался, успехами его тиража и общественной значительности соблазнился и наш губернский центр — Владимир. Появилась и в нем первая газета „Старый Владимирец", основанная Левицким.

Соратники Беловой М. П. Капица[25] и мой молодой друг С. М. Проскурнин свою газетную работу разделили между „Северным Краем" и „Старым Владимирцем", в нашу группу первых ивановских газетных работников вошел И. А. Волков. Волков писал под псевдонимом „Кифа Мокеич", Проскурнин—„Спиридонов поворот", Капица — М. Радлов.

Как для „Северного Края", так и для „Старого Владимирца" сотрудничество указанной группы имело двойное значение: с одной стороны, оно служило их росту и развитию, а с другой — заставляло цензуру быть более внимательной к корреспонденциям и статьям из Иванова, за что эти газеты не только подвергались репрессиям, но иногда и приостанавливались. „Северный Край" был вне черты нашей губернии и он продержался дольше „Старого Владимирца". „Северный Край" широко обслуживал и наше движение 1905 г. Отделение этой газеты во второй половине 1905 г. было в руках А. С. Самохвалова, у которого наше молодое рабкоровское движение было уже более организованным, его рабкоры были не беловскими устниками, а самохваловскими рукописниками. Самохваловское отделение было такой же революционной штабквартирой, каким оно было и у О. А. Беловой. Указанные две газеты создали и первых продавцов газет из рабочей среды. Особенно более заметными оказались Комиссаров и Андреев — это были первые рупоры, первые громкоговорители нашей. первой революции 1905 г.

В поисках большего простора для своей газетной работы Проскурнин и Волков выехали из Иванова.

Проскурнин и Волков были авторами описания июльского расстрела наших рабочих в 1905 г. Московская „Северная Почта" за напечатание этой корреспонденции была приостановлена на месяц. Я расстался с ними, продолжая поддерживать связь с ними через переписку. И откуда бы они мне ни писали, всегда меня спрашивали: „А в Иванове газеты все еще нет? Когда же она будет?" Черносотенный „Ивановский Листок" как я, так и они считали как бы не существующим.

Волков в своих письмах всегда был озабочен тем, пишу ли я, печатаюсь ли? Несколько моих стихотворений он напечатал в царицынских старых газетах типа „Волжско-Донского Края" и „Царицынского Слова". Еще в большей мере об этом заботился С. М. Проскурнин, но этот сам был непоседа. Человек неугомонной совести, прямолинейности, неспособный ни на какое прислужничество, он был все время неустроенным. То и дело он менял города, редко менял лишь вечно худые башмаки, рваное пальто или свое более чем скромное меню. Будучи уже женатым, он оставался поэтом богемы. Был он большим мастером и на выпивку, что по совокупности и привело его к преждевременной могиле. Умер он в 1923 г. в Харькове.

Вспоминается мне многое из нашей совместной работы с Проскуриным.

К весне 1907 г. я имел за собой уже более двух лет безработицы, жил в Иванове за счет родственников моей жены. Положение было тяжелое, морально гнетущее. Попытки вернуться на фабрику в мастерскую всегда оспаривались моими близкими товарищами. Они мне указывали на существующий „черный список", куда и я был занесен как лишенный прав. Волею фабрикантов из трудовой семьи я был вычеркнут, на фабричных

воротах для меня красовалась надпись — „смертный, оставь надежды“.

Восстановление утраченных прав лежало через худший путь испытания, через путь раскаяния, покорности перед палачами духа, разгул которых с каждым днем все разрастался.

Во время этих дней, жутких и черствых, я был очень обрадован письму из Рыбинска от С. Проскурнина. Он мне писал: „Приезжай, есть интересное литературное дело“. Коротко, неясно, а поехать все-таки решил.

Была пасхальная неделя, под звон пасхальных колоколов я встретил Сергея Михайловича торжествующим на прежней квартире очень милой семьи Дубровиных. Смотрю на него и дивлюсь — весь он в синей краске, как рабочий ситцевой фабрики. Спрашиваю: что это значит?

— Яйца красил. Под яичко по лампадочке можно и выпить...

Оказалось, что в краске он вывозился по близорукости при печатании подпольной газеты „Рыбинский Затон“.

Это и было то литературное дело, о котором он мне писал.

С. М. конспиративную работу очень любил, ни от какой работы никогда не отказывался, но из него революционного поэта все же не вышло. Он оказался поэтом-белоручкой, синюю краску „Рыбинского Затона“ он отмыл, у выходца из рабочего города рабочего мировоззрения не оказалось.

Его книга „Замкнутый круг“ сделана хорошо, но в ней одно литературное нытье и книжность, не то, чем он жил когда-то, а то, чем жили в ту эпоху интеллигентские литературные верхи. Перерождение Проскурнина совершилось во время его работы в столичных и южных больших газетах. Работая в Рыбинске, С. М. имел перед собой издателя „Рыбинского Вестника“ Семена Разроднова. Семен Разроднов своим сотрудникам никогда никаких требований не предъявлял, кроме одного требования: „Хроники побольше“. Он был гостеприимен, любил засадить за свое артельное общее блюдо. Его обеды напоминали обеды плотников, каменщиков, с обязательной командой „таскай со всем“, сопровождаемой стуком его ложки по блюду. За этим блюдом в свое время побывали многие дети народа, сыны рабочего класса: Тихоплесец, Никаноров-Коринский, Травин, Ожегов, И. Волков и др. Многие из его бывших „нахлебников“ писали свои воспоминания и несправедливо, необдуманно называли Семена Разроднова чуть ли ни эксплоататором, домовладельцем, а на деле его дома были заложены и перезаложены. И думать, что он их строил за счет наших стихов и прозы, никак не приходится: на нас он разорялся, а не приобретал.

С. М. Проскурнин написал пьесу „Хозяин“ как продукт своей ненависти к действительным дельцам газетного мира более высоких степеней и масштаба, чем рыбинцы. В пьесе не было ни „Рыбинского Затона“, ни разродновских — „побольше хроники“, „таскай со всем“, а изображен был быт культурных живоглотов. Этот материал своей новизной подкупал М. Горького и Л. Андреева, они с пьесой „Хозяин“ считались, как с литературным значительным явлением. Пьесу нигде не ставили. Мои попытки показать в Иванове земляка-дарматурга наткнулись на такое затруднение:

— Ну кому здесь нужна пьеса из газетного мира, когда у города нет никаких ни литературных, ни газетных традиций?

Здесь кажется уместно поставить вопрос, почему же из С. М. Проскурнина, всегда настроенного революционно, всегда мыслящего по-революционному, не получилось певца первой русской революции? Он очутился в туго затянувшейся петле, в „замкнутом круге“.

Мне кажется, что он подвел себя ставкой на высококультурного читателя. Как взыскательный художник он чурался низов, не хотел видеть

своим читателем широкой рабоче-крестьянской массы, не учился у нее. А ведь ее репертуар старых народных песен был всегда репертуаром очень хорошего вкуса, что являлось и ее личным большим мастерством массового коллективного творчества.

Следя за низовым читателем, я эти наблюдения считаю своей учебой. На этих уроках я научился свойственной мне простоте языка, бытовой тематике, демократизации человеческого материала, научился защищать то положение, что художественно чаще всего то, что легко запоминается.

У меня есть стихотворение, озаглавленное

У ПРОРУБИ

В полушубках рваных, рыжих,
Рыбу удит детвора;
Зябнет, греется на лыжах
У огромного костра.
„Песню пахаря“ Кольцова
Декламирует один.
Глушь кругом, а мастер слова
И в глуши здесь господин.
Мы в изгнаньи, а привольно
Все нам кажется кругом.
В чтенье как-то произвольно
Стих вставляем за стихом.
Улыбается счастливо
Чтение вызвавший малыш.
И бегут, бегут красиво
От костра дорожки лыж.

Это происходило в глуши Олонецкого края, во время мартовского ужения ершей. В этом факте я видел восприимчивость трудового народа, чуткого к художественному слову, к обаятельной кольцовской простоте, чуждой щегольской заумности, так трудно запоминаемой. Поразительно было то, что собрались люди из разных концов, разных возрастов, а хрестоматийное стихотворение Кольцова у всех так свежо в памяти, как будто оно у нас заучено твердо на всю жизнь.

Нечто подобное тому, как воспринимает художественное слово народ, я встретил еще раньше, когда шел в олонецкую ссылку. Рыбинский конвой в Белозерске передал нас архангельскому конвою. Архангелогородцы были построже, чем рыбинцы. Военную дисциплину соблюдали свято. Им, в большинстве поморам, ходившим матросами в „Норвегу“, была хорошо знакома матросская дисциплина, и они нас в этапных избах старались держать в строгости и подчинении. Но они иногда и скучали, ради скуки часто прислушивались к тому, о чем мы спорим и нередко смеемся.

Конвоиры вздыхали... И в этих вздохах чувствовалось, слышалось раскаяние, голос человека, задавленного, обманутого святостью присяги. А с воли, с улицы, слышался другой голос, как бы поддакивающий нам:

Ой, как стало тяжко жить,
Горе наше копится,
Ведь отец чужой, на нас
Глядючи, навопится.

К числу тюремных поэтов в летописи пролетарской литературы надо отнести довольно колоритную фигуру Никифора Ивановича Махо-

ва, родом из села Стебачева, из тогдашнего богобоязненного Суздальского края. Махов в Иваново-Вознесенске появился в пору создания первых социал-демократических рабочих кружков, когда рабочие, подобные Махову, плохо ладили со своими фабрикантами-хозяевами, по доброй воле и поневоле переходили с фабрики на фабрику, а потом в течение многих-многих лет, но только уже поневоле, перекочевывали из тюрьмы в тюрьму. Первым стихотворением Махов ознаменовал первую встречу рабочими Иванова нового года. Это был канун 1906 г. На конспиративной квартире в сильно накуренной комнатушке, но без крепких напитков, рабочие дискутировали, пели песни и декламировали стихи народовольцев, на что Махов как бы хотел сказать: и наши не хуже ваших. Он посмотрел на своих товарищей и прочел следующее свое стихотворение:

Мы как члены славной партии,
Социальной демократии,
Мы прогресс желаем ей,
Мы гроза купцов, царей,
Мы враги такого строя,
Где бездельники царят,
А рабочих, все создавших,
Страшным голодом морят.

Стихи Махова по форме были не выше стихов рабочих поэтов — Фролова, Шатунина и др. Но в содержании их уже ярко начинает выявляться подлинное лицо рабочего класса, развертывание его боевых путей.

Махов написал немного, и все им написанное датировано годами и помечено местом его отсидок в больших и малых тюрьмах того огромного полицейского участка, имя которого было „Российская держава“.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847—1882) родился в Иванове и жил там до 1865 г. Интересные данные о генеалогии Нечаева, его раннем детстве, Нечаеве-подростке и пребывании его в Иванове приводит на основании архивных и других материалов П. М. Экземплярский в статье „Село Иваново в жизни Сергея Геннадиевича Нечаева“ („Труды Иваново-вознесенского губернского научного общества краеведения“. Вып. 4. Историко-революционный сборник. Иваново-Вознесенск, 1926). См. также ст. Н. Ф. Бельчикова „С. Г. Нечаев в с. Иваново в 60-е годы“ („Каторга и ссылка“ 1925 г., № 1(14).

2 Ежедневная газета „Современные Известия“ выходила в Москве с 1868 по 1887 г. Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824—1887)—известный в свое время публицист, примыкавший к славянофилам.

3 Орехово-зуевская забастовка, известная в истории революционного движения под именем Морозовской стачки, происходила с 7 по 14 января 1885 г. Поводом к ней послужили незаконные штрафы, применявшиеся на фабрике Морозова, а также понижение расценок. Организатором стачки был П. А. Моисеенко. После Морозовской стачки началась целая полоса забастовок.

4 Гора Покровская, на которой до недавнего времени стоял в Иваново-Вознесенске Покровский собор,—одно из центральных, но тихих мест города, любимое место сборов молодежи в дореволюционное время.

5 Слуховский, Иван Осипович, брестлитовский мещанин, сын военного фельдшера, один из основных руководителей кружка, не шел дальше „просветительских“ задач.

6 „Кружок“, о котором пишет Ноздрин, был разгромлен в 1891 г. В нем преобладала интеллигенция; основной целью ставилось „саморазвитие“; социально-политические задачи были выражены слабо. Участники кружка: Слуховский, Бабиков, Суховский, Крестов, Ноздрин. Об этом кружке см. статью Н. В. Малицкого „Тайное общество“ в гор. Иваново-Вознесенске в 90-х годах XIX столетия“ („Труды Иваново-вознесенского губернского научного общества краеведения“); в этой статье приведен отрывок А. Е. Ноздрина из его рукописи „О себе. 1862—1922“, дающий краткий пе-

ресказ того, что публикуется о кружке в настоящих мемуарах поэта. См. также статьи в сборнике „XXV лет РКП (большевиков). Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“. Иваново-Вознесенск, 1923. Более крепким и рабочим по составу и близким к демократическим идеям по направлению был последующий кружок, руководимый студентом Ф. А. Кондратьевым, из которого позднее возник „Иваново-вознесенский Рабочий Союз“.

[7] Семенчиков, Роман Матвеевич (1877—1911)—выдающийся рабочий-революционер, по происхождению крестьянин с. Сирадовского, Шуйского уезда. Работая в Кохме на фабрике Ясюнинских, быстро втягивается в рабочее движение. Участник тайного рабочего союза в 1897—1898 гг. в Кохме. С 1898 г.—в Иванове, где становится участником рабочих массовок. В 1904 г. казаки жестоко расправляются с Семенчиковым, избив его и перерубив пальцы рук. Далее—революционная работа в Риге. В 1906 г. Семенчиков приговаривается к смертной казни (замененной 15 годами каторги). В Смоленской каторжной тюрьме принимает активное участие в организации так называемой „голой“ забастовки. Проводил заключение в Шлиссельбурге. Умер на каторге. О Семенчикове см. А. Н. Рябинин. „Материалы для биографии Р. М. Семенчикова“. ГИЗ, 1922. Помимо биографии здесь приведены интересные статьи, письма и отрывки из дневников Семенчикова.

[8] Постышев, Павел Петрович—выдающийся рабочий-революционер, ныне кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В описываемый Ноздриным период отбывал наказание во Владимирской тюрьме.

[9] Симонов, Павел—о нем см. примечание 21.

[10] „Северный Край“—ярославская газета, основанная в 1898 г.; одна из лучших провинциальных газет, неплохо освещавшая хронику рабочего и революционного движения.

[11] *Шестернин, Сергей Павлович—иваново-вознесенский городской судья,* принимавший горячее участие в культурно-просветительной работе среди рабочих. Был близок к кружку иваново-вознесенских рабочих (так называемому тайному обществу, образовавшемуся после разгрома „Иваново-вознесенского Рабочего Союза“). Привлекался к дознанию в качестве обвиняемого по процессу Общества и был распорядителем книжной лавки, имевшей целью смычку интеллигентов с рабочими. Н. В. Малицкий в упоминаемой выше статье приводит следующее место из показаний Шестернина: „В Иваново-Вознесенске при 54 тысячах населения не было ни одного книжного магазина, народных библиотек и читален и других просветительных учреждений тоже не было. Мне лично как судье при разборе дел постоянно приходилось наблюдать, что громадный процент всяких правонарушений совершается виновными в пьяном виде. В то время на улицах, особенно в праздничные дни, валялись повсюду пьяные, везде происходили драки и насилия. Такое одичание вполне понятно, если принять во внимание что ежегодно до 500 детей не принималось в школы из-за отсутствия в них свободных мест“.

[12] Письмо Короленко к Н. К. Михайловскому опубликовано в сборнике „В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921 гг.“ под ред. Б. Л. Модзалевского. П., 1922 (№ 38 от 23 сентября 1900 г., стр. 64—66).

[13] Грачев, Николай — выдающийся революционер, рабочий Иваново-Вознесенска.

[14] Носков, Владимир Александрович (ум. в 1913 г. в Хабаровске)—видный революционер, участник социал-демократического движения. Один из главных организаторов Северного Рабочего Союза. В Иваново-Вознесенске учился в реальном училище, позднее вошел в рабочие кружки и примкнул к марксизму.

[15] Приводимое место из статьи Новикова прекрасно доказывает, что Горький в образе Пелагеи Ниловны (роман „Мать“) дал верное типовое обобщение матери рабочего.

[16] Козлева, Е. В.— хорошо известная членам иваново-вознесенской организации большевиков революционерка, впоследствии отошедшая от движения и формально не состоявшая в партии. Оказывала огромное содействие работе организации.

[17] Шулятиков, Владимир Михайлович (1872—1912)—известный публицист-литературовед, один из ранних марксистских литературных критиков.

[18] Рожков, Николай Александрович (1868—1927)— крупный историк, активный участник революции 1905 г.

[19] Проскурнин, Сергей Михайлович (1880—1923)— журналист, поэт и драматург (псевдоним Милий Стремин). Типичный провинциальный работник печати, исколесивший почти всю Русь. Не имея твердых политических взглядов, Проскурнин однако чутко отзывался на современные темы и, будучи незаурядным фельетонистом, смело боролся за независимую провинциальную печать и за лучшее существование народных масс. В Рыбинске он вместе с Ноздриным издавал сатирический журнал „Дубинушка“. В 1907 г. был выслан на три года в Вологодскую губернию. Лирика его собрана в книге „Замкнутый круг“ (изд. „Общественная польза“, 1913); из пьес его ставились „Звонарь Реймского собора“, „Хозяин“ — из жизни ссудных работников.

[20] „Ивановский Листок“ был махровой погромно-монархической газетой и велся довольно безграмотно. Редактор его П. И. Зайцев, бывший ротный фельдшер, член „Союза Русского Народа“, издавал газету не столько по призванию к тяжелому газетному делу, сколько предвидя выгоды от служения печатному делу (см. о нем „20 лет по газетному морю“ И. А. Волкова).

[21] Симонов, Павел—рабочий-революционер, токарь механического завода, блестящий организатор подпольной типографии 1905—1906 гг. Был членом совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Типография вначале помещалась на квартире Симонова, затем была переведена на Борисовскую улицу. Работал Симонов по созданию типографии и в Шуе до конца 1906 г. О деятельности типографий Симонова см. в статье В. Симонова „В подполье“ (сб. „Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков“).

[22] Клюнин, Василий Егорович—иваново-вознесенский фельетонист и поэт, редактировал журнал „Иваново-Вознесенская жизнь“. В своих банальных по форме стихах помимо изображений купеческого и мещанского быта касался и тяжелой доли рабочего; ясно выраженных общественно-политических тенденций его газетная лирика однако не имела.

[23] Артамонов, Михаил Дмитриевич (р. 1888)—поэт, деятельный сотрудник иваново-вознесенских изданий как дореволюционной, так и революционной поры. В 1913 г. издает в Иваново-Вознесенске журнал „Дым“ и выпускает сборники своих стихов: „Когда звонят колокола“ и „Улица фабричная“. В это же время—ближайший сотрудник большевистской „Правды“, „Работницы“, „Вопросов страхования“ и других изданий. С 1924 г. в Москве. За революционный период издано несколько сборников его стихов, рассказов и очерков.

[24] Волков, Иван Андрианович (р. 1881)—иваново-вознесенский литератор-„газетчик“. Очерки его из фабричной жизни с сатирическим показом ивановских фабрикантов печатались с 1903 г. во „Владимирской Газете“ под названием „Ситцевое царство“. Сотрудничал в „Северном Крае“ и многих других провинциальных газетах, давал корреспонденции о положении рабочего класса в „Русские Ведомости“ и другие столичные издания. В революционные годы изданы следующие книги А. Волкова: „Ситцевое царство“ с предисловием М. П. Сокольникова („Основа“, Иваново-Вознесенск, 1925), „Двадцать лет по газетному морю“ („Основа“, 1925), „Ситцевое царство“, том второй („Основа“, 1920), „Бунтари“—сцены из истории рабочего движения 1905 г. („Основа“, 1925). О нем см. в брошюре М. П. Сокольникова „Литература Иваново-Вознесенского края“. Иваново-Вознесенск, 1925, стр. 26—27.

[25] Капица, Михаил Петрович (1870—1924)—участник подпольных революционных кружков Петербурга и антиправительственной демонстрации 13 апреля 1891 г. в день похорон Н. В. Шелгунова. В Иваново-Вознесенске был с 1900 по 1905 г. в должности фабричного инспектора. Проявил большое внимание и чуткость к местному рабочему населению, защищая всячески его интересы как по служебной линии, так и в печати. Печатался до революции обычно под псевдонимами Михаил Радлов и Т. Произведения его печатались в „Русском Богатстве“ „Журнале для всех“, в „Северном Крае“, „Владимирской Газете“, „Правде“ и мн. др. Среди его беллетристики немало очерков и рассказов из рабочей жизни („Сутанкой попалась“, „Дядя Семен“, „Нищенствующие дети“, „Хожалый“, „Антип“, „Абдулка“, „Кузнец Тихон Ермолаевич“, „Таскальщик Егор“ и др. Некоторые из его рассказов вошли в книгу „Живые фотографии“, М., 1904, под псевд. Михаил Радлов). В революционные годы выпущен был отдельным изданием „Котлочист Ваня“ (Л., 1924)—повесть об ужасающих условиях труда малолетних рабочих-котлочистов. Незадолго до смерти Капицой подготовлена была для печати книга произведений под названием „Пролетарские рассказы“. О нем см. статью Леонида Богданова „Бытописатель рабочего края“ („Литературное приложение к „Рабочему Краю“, 22 мая 1928 г., Иваново-Вознесенск).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ АВЕНИРА НОЗДРИНА

1. МОЯ ДЕЖУРКА[1]

Я у природы как дежурный,
За всем слежу, на все смотрю.
Люблю я дня покров лазурный
На нем вечернюю зарю.

Моя дежурка — мир громадный
О, я величие люблю...
И только смерти беспощадной
Свой пост любимый уступлю.

2. БЕСПОМОЩНЫЕ

Спи родная, спи беспомощной,
Я тепло тебя закутаю!..
Дай одной подумать вволюшку
Над твоей болезнью лютою.
Не могу взять в толк я, бедная,
Что за дни пришли несчастные?..
То в знобу ты, то каленая,—
Помутились очи ясные.
Отчего, моя ты доченька,
К вешним дням так обессилела.
Как цветок повяла осенью,
Словно птичка обескрылела.
Бредишь ты. В бреду не радуешь
Ни словечка утешения,
Запугали меня горькую
Твои страшные видения.
К лекарям не раз толкалася,
Их искавши, сбила ноженьки.
Обещали, дочка, выехать,
Да знать нет для них дороженьки.
Не свое дитя... им плакаться

Нет нужды по нам из жалости,
Им от нас-то взять ведь нечего.
К нам дорога—путь не к старосте.
Спи, родная, спи беспомощной
Я тепло тебя закутаю!..
И сама я занедужала,—
Знать твоей болезнью лютою...

1897 г.

3. ЦЕРКОВНЫЙ ПЕЙЗАЖ

На двух извозчиках заезжанных, простых
Подъехали ткачи к церковному подъезду...
В кортеже свадебном не весел был жених—
И видел я печальную невесту.

В их адрес из зевак толпы
Летели язвы, стрелы мещанина,
Что заждались их певчие, попы,
Невеста—хоть куда, и сам жених—картина.

А дальше было таинство церквей,
Что совершалося довольно просто:
Поп торопился обвенчать ткачей,
Сердился на дьячка, тянувшего «Апостол».

1899 г.

4. НЕВЕСТА

На селе невесту
Девки расхвалили,
От души, от сердца
Счастья насулили.

Платья подвенечного
Цвет всем бабам нравится
И невестой счастливой
Свахи не нахвалятся.

Но невеста плачется:
Что-то есть сердечное,
Что ее не радует
Платье подвенечное.

Знать милей ей волюшка
Девичья, подругина,
Знать семьи неволюшкой
Девушка запугана.

1900 г.

5. ОН И ОНА

Луна... Она
Балкон... и он...
Старые альбомные стихи.

Он был рабочий каталь,
Работал у причала,
Там, где валили падаль,
Она тряпье сбирала.

Покончив день рабочий,
Они гуляли, пили,
И где попало ночи
Счастливо проводили.

Но как-то он в горячке
Отряд взял не под силу:
Надорвался за тачкой.
Слег и ушел в могилу.

Кляченка гроб досчатый
Свезла под сень березы,
Любовь шла провожатой,
Кричали ее слезы.

Роман простолюдинки
Был крепок, без печали.
Но слез ее поминки
Всех встречных удивляли.

1905 г.

6. В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

Цепи, что ноги сковали,
Цепи, что ноги томят,
Песню тоски и печали
Снова запели, гремят...

Ноги оков не выносят,
Бледные люди скорбят...
Слабых, немногих подвозят,
«Вещи» в санях их теснят.

Холодно. Пешие скоро
Будут подплясывать, стыть...
Холодом окрик надзора
Будет несчастных томить.

— Лучше бы петля, удавка...—
Злобно одни говорят.
Вот и селение... лавка...
— Что кому надо? — кричат.

В селах кандальщиков любят.
Бабы, их встретив, взгрустнут...
«Вечные» — брови насупят,
«Срочные»— тяжко вздохнут.

1908 г.

7. ЭТАП

Идет этап... Как день весны
Мы встретили его:
Вестей с родимой стороны
Мы ждали от него.

Что в нем, нейдут ли земляки?..
Знакомых нет ли в нем?..
И, как всегда, конвой в штыки
Нас встретил, был врагом.

В досаду вылился восторг,
Желанье близких встреч...
И шел с солдатами наш торг,
Держали к ним мы речь.

На языке кавказских гор
Спросил своих грузин.
Ответа нет... А с давних пор
Он «вечник» здесь, один...

Я не сводил с кавказца глаз:
Он внутренне рыдал,
И с той поры его Кавказ
Мне как-то ближе стал.

1908 г.

8. МОИ РАЗДУМЬЯ

Карелия—страна озер, лесных очарований,
В цепи пропащих мест—убогое звено,
А край когда-то был уделом изысканий,
И Петр здесь думал прорубить окно.

Размах Петра пришелся не по силам
Его наследников: в стране царила мгла,
И косность царская в зачатьи погубила
Петрозаводска славные дела.

Петрозаводск утратил всякое значенье,
В нем нету никакого роста, широты,
Лишь гонят без конца в его «распоряженье»
Людей борьбы, идеи и мечты.

С любовью. радостью, с высокою приязнью
Не ценят здесь природы красоту,
Ее хозяева живут бессильем и боязнью,
Боясь переступить оседлости черту.

Среди своих меня пугают пережитки
Мещанской суеты неотметенных зол,
Мечтают об амнистии, о сроков скидке,
Как-будто может дать их царский произвол.

А конь самодержавья вздыблен,
Как никогда, грозит все подавить собой,
И расправляется палач Столыпин
С рабочим фабрики, с крестьянской голытьбой.

1908 г.

9. ОЛОЧАНКА

Романтика севера

О ней давно мы сговорились:
Не по селу ее краса,
Что олочанкой бы пленились
Там где теплее небеса.
А здесь круг жизни олочанки
Уродлив, больше чем нелеп:
Она трудится спозаранки
И за один лишь черный хлеб.
А зубы белые—березник,
И все в ней сила, красота...
Я знаю, кто ее любезник
И кто из нас ее мечта.
Но ей о милом и желанном
Лишь помечтать здесь суждено.
Есть слух в селе: с ее романом
Покончить быстро решено.
Ей прочат лавочницы долю.
Жених старик, но он богат,
И отдадут ее в неволю,
Что злее нашей во сто крат.
Но мы в конец ее романа
Такой вставляем эпилог:
Есть разработанного плана
Побеги нескольких дорог.
Есть разработка экса-плана:—
Здесь возит золото казна,
То нам для дела, для романа
Она ведь что-то дать должна.

1908 г.

10. ОХОТА

Птицы в сельгах не поют,
Не цветут поляны,
А ночуют да днюют
Сизые туманы.
Нет туманов — дождь идет
Окладной, недельной:
Затомился наш народ
Скукою постельной.
Надоело нам лежать,
Залежались лыжи...
«Эх, пора бы погонять
По лисице рыжей...»
Любят наши егеря
Помечтать, подумать,
Что здесь всякого зверья,
Всякой дичи—уйма.
А мечта—ружье иметь—
Плод опасной страсти,
На нее давно запрет
Наложили власти.
Но по нам, как по зверям,
Введена охота,
Здесь урядникам, шпикам
Есть с ружьем работа.
За побег бить смельчака
Нет для них запрета,
У урядника, шпика
Есть закон на это.

1908 г.

11. НА ЭТАПЕ

На этапе скуден свет...
Время спать... Не спится...
Задушил махрой сосед,
Как овин курится,
Тянет песню конвоир,
Песню грусть-кручину...
От казенных бань, квартир
Расчесал дед спину.
Старику за шестьдесят,
С ним идут ребята,
В «женской» вопят, голосят,
Старого внучата...
Крепкий, вольный анекдот
Рассмешил нас разом;
Улыбнулся в свой черед
Я двум метким фразам.
Для конвоя, царских псов,
Анекдот—повада.
Чу, скрипит в дверях засов—
Прется к нам команда...
За вранье солдаты нам
Станут как своими:
Бродим вместе по шинкам,
Спим не запертыми.

1909 г.

12. МЕЧТЫ

Опять нет на глазах моих тех розовых очков,
Через которые смотрел я в жизненные дали...

Опять не снится мне лучистых новых снов...
Нежданно, как-то вдруг очки мои упали...

Но ведь пройдет же то, что тяжело глазам,
Что душит и гнетет, как дни любви забыты...

И я еще вернусь к тем розовым очкам:
Они—мои мечты—в пыли, но не разбиты.

13. ДУША ПОДПОЛЬЯ

(Е. В. Иевлева)

Вся жизнь ее была в чураньи
Удобства, сытости, тепла...
Она жила, в очарованьи
Лишений темного угла.

Мы молодой ее не знали,
Не знали и старухи в ней,
А «бабой мокрой» [2] называли
Как героиню новых дней.

Она шумихе и апломбу
Одно твердила: грош цена.
Дать место «явке», спрятать бомбу
Умела с честию она.

В дни баррикад Москва горела...
Мятеж был гость ее угла,—
Она сегодня не доела.
Она вчера не допила.

И сбереженное сносила
Туда, где был неровный бой,
Где смерть ее друзей косила,
Но не давал никто отбой.

Когда же царство сытых пало,
Подполье вышло из углов,
В ее углу «своих» не стало,
Она не сбросила оков...

А умерла — жизнь-баррикаду
Сдала без всякой суеты.
Так быть должно, знать, по укладу
Ее душевной красоты.

Кругом—ни близких, ни хозяйки
Угла, ни горестей земли...
Под скрип колес, на таратайке
Ее в могилу отвезли.

Найти ее могилу поздно,
В ней нет весенних вех, зимы...
И не оплаканную слезно,
Хоть песней, да помянем мы...

1925 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Это стихотворение, найденное в архиве Брюсова и переписанное его рукою, было напечатано в журнале „Россия“ (1923) как брюсовское. В действительности это одно из ранних стихотворений Ноздрина.

[2] „Баба-мокра“ — из романа Ежа „На рассвете“.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Статья И. Ямпольского

Было бы неосторожно судить об отношении Брюсова к первой русской революции по аналогии с его политическим поведением в 1918—1924 гг. Возникает соблазн преувеличить революционность Брюсова тех лет, о чем свидетельствуют например книга Г. Лелевича „В. Я. Брюсов“ и его вступительная заметка к письмам поэта к П. П. Перцову, опубликованным в „Печати и революции“ (1926, № 7). Такое суждение по аналогии приводит иногда к своеобразной идеализации даже биографии Брюсова. Так, некоторые исследователи, основываясь больше на его стихах

Во мне вдруг вздрогнет доля деда,
Кто вел соху под барский бич,

чем на фактах, говорят о „крепкой мужицкой натуре“, „горячей мужичьей крови“ поэта, называют его „кряжистым плебеем“, настойчиво подчеркивают, что семья его принадлежала к „самым низшим слоям народа“.

Брюсов как поэт, журналист, организатор литературного движения, Брюсов, в значительной степени преодолевший в себе груз старой культуры, ставший коммунистом и деятелем культуры советской,—фигура настолько крупная, что совершенно незачем подкрашивать его личную и литературную биографию. Разумеется его вскормили не „самые низшие слои народа“, а весьма состоятельная и довольно интеллигентная буржуазная семья. Дед поэта действительно был крепостным, но, как известно, из крепостных вышел целый ряд крупнейших купеческих родов. И Кузьма Брюсов тоже, выкупившись на волю в начале 50-х годов, в 60—70-х стал довольно богатым купцом, владельцем единственной в Москве пробочной торговли с 90-тысячным месячным оборотом, и оставил впоследствии наследство в 200 тыс. рублей. Довод от „крови“, от происхождения, а не от окружающей социальной среды не может претендовать на минимальную убедительность. У исследователей, которые придают ему существенное значение, получается, что тлетворные влияния общественной жизни всецело захватили в свои сети поэта, „голос крови“ на время совершенно умолк, но как только пришли новые общественные условия, они сразу пробудили в нем истинную „мужицкую натуру“ и „прочно залегшие настроения шестидесятых годов“ [1]. Очень уж податливым и безвольным выглядит в такой интерпретации „завоеватель“ по призванию Брюсов. „Возвращение в дом отчий“, о котором говорил он на своем юбилее,—поэтическая метафора; служить исходным пунктом исследования она никак не может, и напрасно реализацией этой метафоры занялся Г. Лелевич в своей книге.

Брюсов принял первую русскую революцию довольно поздно. Еще после убийства Плеве и Ляоянского сражения, значительно усиливших пораженческие и революционные настроения интеллигенции, придавших смелость даже либералам-земцам, он пишет яркие патриотические и антиреволюционные стихи:

Теперь не время буйным спорам,
Как и веселым звонам струн.
Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун!

(«К согражданам». Декабрь 1904.)

Брюсов без сомнения чувствует размах происходящих событий, но как к ним относится? Вот что он сообщает Перцову 13 января 1905 г.—через 4 дня после 9 января: „Я вижу новые эры истории... Что ждет нас, если Россия сдвинется со своих вековых монархически-косных устоев? Что если ее обуяет дух демократического безумия, как Афины времен Пелопонесской войны? А это вовсе не невозможно. Конечно „во глубине России“ пребудет „вековая тишина“ еще долго, но вершителями ее судеб легко могут стать люди вроде кожевника Клеона или хотя бы „дерзкого вскормленника Перикла“ Алкивиада. Если сила 110 миллионов (или их больше?) будет ринута во всевозможные авантюры—внешние и внутренние, во все социальные опыты, во все предприимчивые экспедиции? Неужели, если у нас будет Национальный Конвент, не найдется у нас своего Бонапарта?“ [2] Высказывание это совершенно недвусмысленно: в нем отразились и предвидение размаха революции, и вполне определенная ориентация на противостоящие ей силы. В мае 1905 г. Брюсов пишет Чулкову, что с эскадрой Рождественского „пошла ко дну и вся старая Россия“ [3], но он все еще верен ей: июнем датирована „Цусима“. Поэт „рыдает над погибшей славой“ России и скорбит о неосуществившихся надеждах на „скипетр Дальнего Востока и Рима Третьего венец“.

Однако военное поражение России резко меняет взгляды Брюсова и подводит его к революции. Этот поворот можно точно датировать. В конце июля начались мирные переговоры с Японией, а в августе написаны первые стихи, направленные против самодержавия,—„Юлий Цезарь“ и др. Сам поэт подтверждает это:

Да! Цепи могут быть прекрасны,
Но если лаврами обвиты!
А вы трусливы, вы безгласны,
В уступках ищете защиты!
Когда б с отчаяньем суровым
В борьбе пошли вы до предела,
Я вас венчал бы лавром новым,
Я вас воспел бы в песне смелой!

Стихотворение, из которого взяты приведенные строки, в 1905 г. не было пропущено цензурой и впервые напечатано в 1914 г. В рукописи, хранящейся в Институте русской литературы Академии Наук СССР (с датой „18 августа 1905“), оно названо „К ним“ и снабжено весьма выразительным подзаголовком: „По поводу заключения мира с Японией и по другим поводам“. Теперь поэт „венчает позором“ самодержавие, предает забвению свои слова о необходимости гражданского мира и переходит в стан революции [4].

Но революционный подъем в поэзии Брюсова длился недолго, месяца три-четыре; именно в это время было написано несколько революционных стихотворений, вошедших в книгу „Stephanos“. Замечу кстати, что стихотворение „Служителю муз“ не может быть причислено к ним.

...Но ты родные Сиракузы
Люби, как древле Архимед!
Когда бросает ярость ветра
В лицо нам вражьи знамена,—
Сломай свой циркуль геометра,

Прими доспех на рамена!
И если враг пятой надменной...

В этом стихотворении, которое интерпретируется обычно как революционное, речь идет по всей вероятности о „внешнем враге", о японцах. Брюсов был довольно точен в своих сравнениях, и уже одно упоминание Архимеда, преданного друга сиракузского царя, применившего свои знания во время войны с римлянами, показавшего чудеса инженерного дела и сжегшего, согласно легенде, римский флот,—подтверждает это предположение.

Вершины своей брюсовская революционность достигает в октябре; поэт был подавлен величием событий этого месяца. „Приветствую вас в дни революции,—писал он Чулкову.—Насколько мне всегда была (и остается теперь) противна либеральная болтовня, настолько мне по душе революционное действие". В августе три стихотворения Брюсова—„Близким", „Знакомая песнь" и „К ним"—были запрещены цензурой. И вот в том же письме он просит: „Не пользуйтесь свободой печати для тех моих стихов, которые были запрещены цензурой. Я этого решительно не хочу. Напишу новые, более достойные времени" [5]. Однако больше ни одного революционного стихотворения он так и не написал.

Как воспринял Брюсов революцию? В значительной степени чисто эстетически. Для него одинаково прекрасны „и океан народной страсти, в щепы дробящий утлый трон", и „восточный царь Ассаргадон"—и это 18 октября 1905 г. (дата стихотворения „Довольным"), хотя, казалось бы, он успел уже достаточно разочароваться в Ассаргадоне самодержавия. Об этом писал в свое время Л. Каменев: „Царь Ассаргадон и „своеволие толпы", Наполеон и „песнь Робеспьера и Марà", война за Тихий океан и Хаос Революции, грядущие гунны и рай мудрецов и поэтов—равно божественны для идолопоклонника напряженной жизни" [6].

Обычно для характеристики революционных тенденций поэзии Брюсова привлекается стихотворение „Кинжал". И возражать против этого конечно не приходится. Но из него делаются неправомерно широкие воводы, на которые стихотворение не уполномачивает. Ведь написан „Кинжал" в 1901 г., когда Брюсов еще был монархистом. Из рассказа Г. Чулкова совершенно очевидно, что именно минутное увлечение мощью революционного подполья, размахом революционного движения, о котором он не подозревал, побудили поэта написать несколько революционных стихотворений, в том числе „Кинжал" [7]. А между тем некоторые современные исследователи забывают о том, когда был написан „Кинжал", и распространительно толкуют его, слишком доверяясь словам стихотворения:

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.

. . . .

Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я—отзыв вам кричу, я—песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Чем как не пересказом этих слов является следующее утверждение А. Луначарского: „Каждый раз, когда он слышал призыв революции, сердце его трепетало, как от соприкосновения с родной стихией... Он мог политически заблуждаться, когда было темно, но он тотчас же оглядывался к свету, когда тот начинал пылать. И тогда он любил рево-

люцию до конца—революцию героическую, беспощадную и созидающую...“ [8] Небезынтересно, что в конце 1904 г., когда „Кинжал“ был без ведома поэта впервые напечатан в „Новом Пути“ и воспринят в либеральной печати как современное и революционное стихотворение, Брюсов был очень недоволен. „Опасения мои относительно „Кинжала“, к сожалению, оправдываются. „Русь“ (№ от 13 ноября) и „Русс. Вед.“ (№ от 16 ноября) относят его прямо к нашим дням, когда дают предостережения „Нашей Жизни“ и „Праву“ и когда студенты в Москве не могут придумать ничего лучшего, как отговаривать солдат итти на войну или освистывать народный гимн (в это воскресенье). Нет, я не это разумел, говоря о призывном громе. Скорей это те самые „зовы“, над которыми можно только хохотать“ [9]. Революционные стихи Брюсова, написанные в 1905 г., хорошо известны, и потому я не буду ни перечислять, ни пересказывать их. Несколько ниже будут отмечены те особенности этих произведений, которые представляются мне наиболее характерными.

Если остановиться только на том отрезке времени, когда революционные настроения Брюсова, казалось бы, несомненны, то и здесь отдельные признания поэта и факты, характеризующие его политическую ориентацию, довольно противоречивы. В августе 1905 г. он пишет свои первые революционные стихи, в октябре не хочет печатать те из них, которые были запрещены цензурой, надеясь написать новые, „более достойные времени“, а между тем стремится поместить в „Вопросах Жизни“ „Цусиму“, „не без боли в сердце“ соглашается зачеркнуть последнюю строфу (о „скипетре Дальнего Востока“) и только под влиянием редакции приходит к заключению, что печатать это стихотворение „неуместно, неприлично“ [10]. Но в „Stephanos“ все военные стихи, в том числе и „Цусима“, напечатаны. В сентябре Брюсов сообщает П. П. Перцову, что он „написал много стихов „из современности“, частью революционных, частью прямо антиреволюционных“ [11]. Трудно сказать, какие антиреволюционные стихи имел в виду Брюсов, но это признание заставляет призадуматься: весьма возможно, что кое-что, воспринимающееся нами как революционное, ему самому представлялось в ином свете. Приветствуя Чулкова „в дни революции“, Брюсов пишет, что ему „по душе революционное действие“, но совсем незадолго до этого в письме к П. П. Перцову от 24 сентября он ругает и „бездарное“ правительство, и „бездарных“ революционеров: „Революция... Плохо они делают эту революцию! Их деятели—сплошная бездарность! Не воспользоваться никак случаем с „Потемкиным“! Не использовать до конца волнений на Кавказе! Не дать за 16 месяцев ни одного оратора, ни одного трибуна! Всех примечательнее оказался поп Гапон. Стыд! Но хороши и их противники! Трусливое, лицемерное и всюду уступающее правительство! Император, заключающий постыдный мир! Витте, которому рукоплещут за уступку половины Кабофуто. Бывают побитые собаки: зрелище невеселое. Но побитый всероссийский император!“ [12] И не совсем ясно, предпочитает ли все же Брюсов революционеров, которые будто бы недостаточно решительно действовали, правительству, которому он не может простить военной неудачи. За „бездарностями“ и „неискусными звонарями“ („Знакомая песнь“), которые, правда, в октябре „показали гораздо больше искусства“ [13], он признает лишь разрушительную функцию:

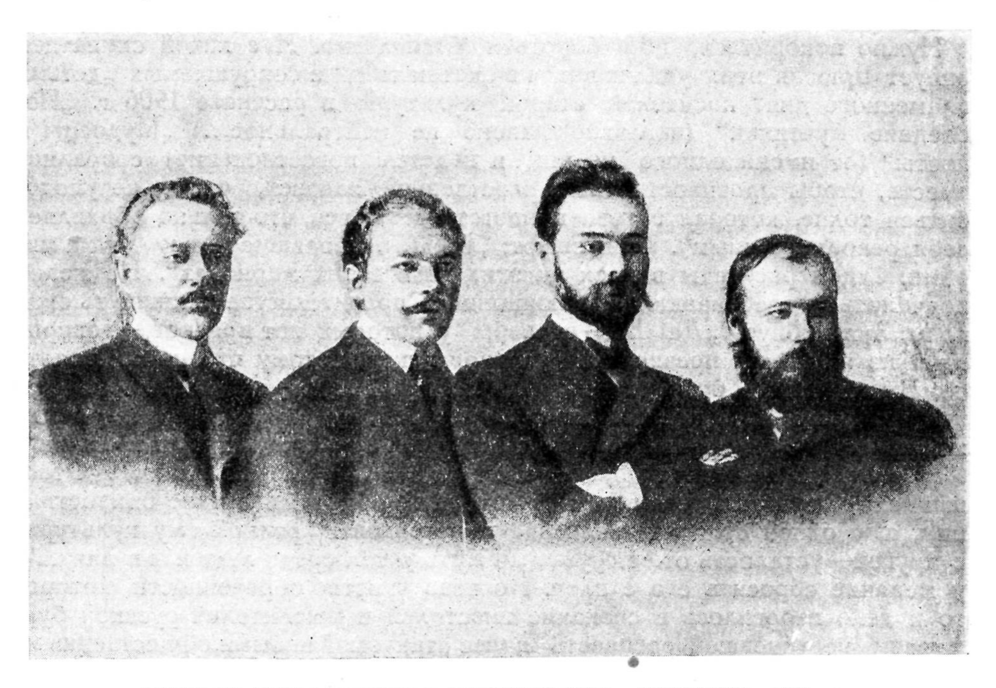
Да, ты пройдешь жестокой карой,
Но из наставшей темноты,
Из пепла общего пожара
Воздвигнешь новый мир—не ты!

(«Уличный митинг».) [14]

Где вы—гроза, губящая стихия,
Я—голос ваш, я вашем хмелем пьян...
Но там, где вы кричите мне «Не боле!»
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли.
Ломать—я буду с вами, строить—нет!

(«Близким».)

И это вполне естественно. Буржуазия предоставляла пролетариату крушить в русском ancien régime'е то, что стесняло развитие капитализма. Строительство же она считала исключительно своим делом, пре-



КОМИТЕТ ДЕКАДЕНТСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «СКОРПИОН» (1905 г.)
Слева направо: Ю. К. Балтрушайтис, М. Н. Семенов, В. Я. Брюсов и С. А. Поляков
Институт Русской Литературы, Ленинград

красно понимая глубокое различие между своими социальными идеалами и социальными идеалами пролетариата.

Отрицая в революционных массах способность создать новый мир на обломках старого, Брюсов то оставляет творческую работу себе подобным, то призывает эти массы уничтожить всю прогнившую культуру и самого себя, неразрывно с нею связанного:

На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь—и с ней меня!

(«Довольным»)

Бесследно все сгибнет, быть может.
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

(«Грядущие гунны».)

Г. Лелевич утверждает на основании этих строк, что Брюсов „радостно приветствовал“ рабочую революцию, и называет его даже „буревестником“ [15]. Но конечно более прав был Л. Каменев, писавший об „ужасе перед детьми пламенного дня“, трепете перед неизбежным, перед роком [16]. „Гунны“ не несут никакой культуры, они способны лишь разрушать. „Мудрецы и поэты“ не в силах воспротивиться гибели „мира заветного, мира прекрасного“ в хаосе революции.

Это—хаос. В хаос черный
Нас влечет, как в срыв, стезя,
Спорим мы иль мы покорны,
Нам сойти с пути нельзя!

(«Лик медузы».)

Нужно покориться, ибо бороться бесполезно. И с какой симпатией рисует Брюсов этих удалившихся в „катакомбы“ и сокрушаемых „детьми пламенного дня“ носителей старой культуры в рассказе 1906 г. „Последние мученики“ (заглавие далеко не нейтральное...) „Мудрецы и поэты“ (от имени одного из них и ведется повествование) собрались вместе, чтобы противостоять „нравственной заразе“, чтобы не уподобиться толпе, которая готова приветствовать „все, что только объявляет себя революционным“. Они знают: „все мы, попавшие между двумя мирами, будем растерты в прах на этих гигантских жерновах“. Не желая подчиниться требованию революционного правительства и покинуть свой храм, они гибнут. „Да! Вы—варвары, у которых нет предков,—говорит один из них.—Вы презираете культуру веков, потому что не понимаете ее. Вы хвалитесь будущим, потому что духовно вы—нищие. Но будущее без прошлого—немыслимо. Вы просто обвал, падающий, благодаря стихийным силам, и крушащий в своем падении всю жизнь: храмы и статуи“.

„Последние мученики“ раскрывают смысл „Грядущих гуннов“. Отношение Брюсова к „детям пламенного дня“ обнаруживает не близость к ним, а, с одной стороны, сознание обреченности родной ему культуры, с другой—усталость от ее груза („Я жить устал среди людей и в днях...“) и желание сбросить его с плеч. Но ведь чувство обреченности, которое то и дело вторгалось в сознание писателей и мыслителей русской буржуазии, не успевшей расцвесть и уже атакуемой новыми общественными силами, вовсе не есть радостное приветствие грядущего. Внешний вид приветствия, связанный с эстетизированием даже враждебных поэту сил, не должен вводить нас в заблуждение.

Известно, что в эти годы Брюсов всей душой ненавидел либералов. Гневной филиппикой обрушивается он на удовлетворенных манифестом 17 октября 1905 г. в стихотворении „Довольным“. Победа кадетов при выборах в I Государственную думу вызывает у него такие слова: „Дума будет кадетской, как была кадетской тридцать лет и три года вся русская литература. Хочешь не хочешь, а изо дня в день будем слушать из Таврического дворца те же рассуждения, в которых с детства захлебывался на страницах „Русских Ведомостей“ и всего им подобного. Бррр... Я бы уж предпочитал лучше Думу социал-демократическую. Лучше Совет рабочих депутатов (только без Хрусталева), чем Парламент с Родичевым“ [17]. Но предпочитать—не значит приветствовать, а лучше—не значит хорошо. Тем не менее Г. Лелевич, приведя несколько подобных цитат, утверждает, что Брюсов „отвернулся от буржуазного стана“ [18], т. е., иначе говоря, ушел в лагерь пролетариата, хотя и не мог слиться с ним до конца. Критика либерализма возможна с разных позиций. Тургенева за либерализм осуждали и Чернышевский, и Л. Толстой. Справа или слева нападал на либералов Брюсов? Лелевич полагает, что слева, раз говорит об уходе поэта из „буржуазного стана“. Это совершенно

неверно. До августа 1905 г. критика либерализма, может быть очень едкая, злая и так далее, несомненно шла справа (об этом говорит вся политическая позиция Брюсова, его политические обозрения в „Новом Пути" и стихи), и опрометчиво поступает Г. Лелевич, привлекая для доказательства своего утверждения между прочим и письмо от декабря 1904 г., когда поэт как раз написал „К согражданам" и „На новый 1905 г." Лишь один раз, в октябре 1905 г., Брюсов противопоставил „либеральной болтовне" „революционное действие", но уже с конца 1905 г. „революционное действие" снова перестало привлекать поэта, восторг перед „детьми пламенного дня", тесно связанный с сознанием своей обреченности, начал постепенно исчезать.

Под влиянием войны поэт отказался от „искусства для искусства":

И если враг пятой надменной
На грудь страны поникшей стал,
Забудь о таинствах вселенной,
Поспешно отточи кинжал.

Но еще в 1905 г. взгляд Брюсова на поэзию снова меняется. Статья „Современные соображения", написанная как предисловие к „Stephanos", говорит о серьезном переломе [19]. В своей автобиографии Брюсов сообщает, что писал в ней о „свободном искусстве в свободной стране" и что заменил ее другим предисловием по совету Вяч. Иванова, о чем сожалеет [20]. Статья действительно кончается словами „в свободной стране искусство должно быть наконец свободно", но свободно оказывается оно должно быть от „служения вопросам общественности". Поэт не обязан выполнять свой гражданский долг именно стихами. „Тогда надо будет требовать... чтобы доктор лечил только раненых в уличных, партийных схватках. Не правильнее ли справляться, как отнесся поэт к своим обязанностям гражданина, в его биографии, а не в его книгах? Может быть в иные дни поэт как гражданин обязан итти на баррикады, но он не обязан рассказывать об этом в особой поэме. Ведь никто не требует, чтобы поэты вместо исполнения общенародной воинской повинности писали по томику солдатских песен". Да и вообще поэзия играет весьма скромную роль в борьбе партий и общественном движении, если она не превращается в „рифмованное и риторически украшенное рассуждение". „Требовать, чтобы все искусство служило общественным движениям, все равно, что требовать, чтобы вся ткацкая промышленность только и делала, что приготовляла материю для красных флагов. У искусства есть своя область—тайны человеческого духа". Вопросы любви, смерти, добра и зла всегда современны—„может ли выйти из моды любовь или устареть смерть?" Чем свободнее общественный строй, тем больше может искусство отдаться „исключительно своему назначению", потому что нет нужды использовать его „для распространения общественных идей".

Эта точка зрения на задачи искусства, которой издавна придерживался Брюсов и от которой он лишь на время отошел, еще резче оформилась в 1906 г. Определяя свое отношение к только что вышедшему сборнику „Факелы" и программе следующих книжек, Брюсов пишет Г. И. Чулкову: „А если „Факелы" только прикрываются флагом искусства и намерены под видом художественных произведений вести проповедь революции—в них не место „декадентам", которые прежде всего отстаивали и будут отстаивать свободу творчества" [21].

Отвечая через несколько месяцев на анкету о связи между литературой и революцией, он начисто отрицает какое-нибудь существенное соприкосновение этих понятий, и лаконичный ответ Брюсова приобретает политическую окраску. „Писатели разделяются на талантливых и бездар-

ных,—писал он.—Первые заслуживают внимания, вторые—нет. Талант писателя ни в каком отношении к его политическим убеждениям не стоит. Ф. Тютчев был „правый", Н. Огарев—„левый", Ф. Достоевский—„правый", Н. Некрасов—„левый". Какая связь между революцией и литературой? Революция может дать несколько тем писателю, разработать которые он может или талантливо, или бездарно,—вот и все" [23].

Как мы увидим ниже, поворот во взглядах Брюсова на задачи искусства и резкий тон приведенных только что слов сопутствовал повороту в его отношении к революции.

В № 11 „Весов" за 1905 г. помещена статья Брюсова „Свобода слова". Это полемика со статьей Ленина „Партийная организация и партийная литература", содержание которой в виду ее широкой известности не буду излагать. Статья Ленина напечатана в „Новой Жизни" от 13 ноября; очевидно она задела Брюсова за живое и он сейчас же написал свой ответ, датированный 15 ноября. Возражая против слов о „действительно свободной литературе, открыто связанной с пролетариатом", Брюсов заявляет: „Первая тайно связана с буржуазией, вторая—открыто с пролетариатом. Преимущество второй можно видеть в более откровенном признании своего рабства, а не в большей свободе... Если мы и согласимся, что общепролетарское дело—дело справедливое, а денежный мешок—нечто постыдное, разве это изменит степень зависимости?" „Цензурный устав", который будто бы желает ввести Ленин, немногим отличается от царившего доселе: можно критиковать частности, а не основы. Отдавая дань энергии, которую проявила в борьбе РСДРП („в истории можно подыскать только один пример, напоминающий наши октябрьские события: это отход плебеев на священную гору"), Брюсов находит, что она „добивалась свободы исключительно для себя, что париям, стоящим вне партии, крохи свобод достались случайно, на время, пока грозное „долой!" не имеет еще значения эдикта". Брюсов вступается за этих „париев", опровергает существование зависимости „писателей-сверхчеловеков" от буржуазии. Мысленно представляя себе победу рабочей революции, поэт в черных красках рисует будущее—свое и своих товарищей. „Разумеется пока несогласным с такой тиранией предоставляется возможность перейти в другие партии. Но и при прежнем строе у писателей-протестантов оставалась аналогичная возможность: уехать, подобно Герцену, за рубеж. Однако... каждая политическая партия мечтает стать единственной в стране, отождествить себя с народом. Более, чем другая, надеется на это партия социал-демократическая. Таким образом угроза изгнанием из партии является в сущности угрозой извержением из народа... И конечно если бы осуществилась жизнь социального, „внеклассового", будто бы „истинно свободного" общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, такими же poètes maudits, каковы мы в обществе буржуазном". Союзники в борьбе против „неправого" и „некрасивого" строя [23], мы, говорит Брюсов, „как только вы заносите руку на самую свободу убеждений, так тотчас мы покидаем ваши знамена".

Но и в борьбе с самодержавием Брюсов, как и многие другие идеологи „буржуазно-интеллигентского индивидуализма" (Ленин), оказался ненадежным союзником пролетариата. Московское декабрьское восстание поэт наблюдает из окна Губернской земской управы как посторонний человек; он „с самого начала был убежден в безуспешности восстания" [24]. В 1907 г., кратко резюмируя свои переживания во время революции, он считает нужным отметить: „Я не мог выносить той обязательности восхищаться ею и негодовать на правительство, с какой обращались ко мне мои сотоварищи (кроме очень немногих). Я вообще не выношу предре-



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО СКОРПІОНЪ
ВѢСЫ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
МОСКВА, ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., Д. МЕТРОПОЛЬ, 23.
ТЕЛЕФОНЪ 50-80.

3 іюня 1907 ст. ст., день исторический.

Итак, свершилось — дума распущена и новый избирательный закон издан. Coup d'état! „Государственный удар", как переведено в учебнике исторіи профессора Павла Гавр. Виноградова. Не знаю, как ощутили этот удар вы в вашем далеке, дошел ли чувствительно этот coup до St-Cloud, а не нас [illegible] событиями. Куда теперь кинуться: справа реакція думы, слѣва бомбы и экспропріаціи, центр (живой) лепечет ~~[illegible]~~ уничтожительные или громкие слова (Родичев: „мы умрем! мы умрем!" а все не умирает) ~~Как~~ Вопрос теперь в том, как будет реагировать на роспуск вся Россія: если устроит небольное „выступление", ее избьют, если смолчит, ее скрутят, — что лучше? Но и соціал-демократы хороши! хоть бы депутаты-то их не начиняли бомб, пусть (если уж это так сладостно) занимаются этим другие. А то вот дѣйствительно они свою неприкосновенность понимают в ~~[illegible]~~ смысле права дѣлать все, что им нравится. „Поглядим в парламент младших дворников и кухарок, так они законодательствовали", как сказал один английский журналист. Кто лучше, кто хуже, никак не разберешь. Недавно один из этих „товарищей", в пользу которых я читал лекцію, ораторствовал мне, ~~[illegible]~~ что со введеніем соціальнаго строя, появится новое, совсем новое искусство. Я его спросил: а таблица умноженія тоже будет новая. Он мне ответил, подумав: может быть! — Хорошо! будь пролетаріем, и ты не только прав, но и поэт и мудрец, не хуже. А после беседовал я с Влад. Пав. Рябушинским, издателем октябристского „Голоса Москвы". Этот говорит: все спасеніе — только в буржуазіи. Рабочіе — это скот, и мудры были римляне, которые держали их как

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА В. Я. БРЮСОВА К ОТЦУ ОТ 3 ИЮНЯ 1907 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

шенности суждений. И у меня выходили очень серьезные столкновения со многими. В конце концов я прослыл правым, а у иных и „черносотенником“ [25]. Итак, нужно быть предубежденным, чтобы негодовать на душившее революцию правительство; значит были моменты, когда Брюсову казалось, что правительство более право и справедливо, чем восставший народ. Характерен для эволюции поэта и такой факт. Радуясь, что Блок, как и он, начал сотрудничать в весьма умеренной газете „Слово“, он снисходительно отзывается о нем в письме к П. Перцову от 17 февраля 1906 г.: „А то он прозябал в „Нашей Жизни“ и в октябре ходил по Невскому с красным флагом“ [26]. Вот, мол, до чего низко пал! Попрежнему Брюсов недолюбливал либералов, но теперь правизна этой ненависти совершенно очевидна. Поэтому грубую ошибку делает Г. Лелевич, приводя цитату из письма к П. Перцову от 5 апреля 1906 г. в числе других доказательств ухода Брюсова из „буржуазного стана“: „А в потворстве кадетам Вы меня обвиняете напрасно: я с благородной безнадежностью проголосовал за 17-е (т. е. за октябристов.—*И. Я.*),—писал он.—Но, господи! неужели оно станет либеральной партией и я окажусь сторонником русских либералов!“ [27] Ведь и Гучков, за которого голосовал Брюсов, достаточно ненавидел кадетов и боролся с ними, но тем не менее он всегда пребывал в „буржуазном стане“. „Буржуазный стан“ никогда не ограничивался одними либералами. Наконец в сентябре 1906 г., рецензируя безвкусные вирши Бальмонта о революции („Стихотворения“, СПБ., 1906) и подвергая их справедливой и беспощадной критике, Брюсов между прочим пишет: „Не довольствуясь бранью, Бальмонт переходит к угрозам: „Вспомните Францию! Вспомните звук гильотины!“ Эти слова недостойны поэта. В Великой французской революции были светлые и темные стороны. Красный террор с массовыми убийствами, с гильотиной, на которой погиб между прочим и А. Шенье, был самой темной из темных. Призывать его в Россию можно только или в последнем ослеплении, или в детской беспечности, не ведающей, что творит“ [28]. Если бы Брюсов говорил даже об одной Французской революции, и тогда его позиция была бы вполне ясна. Однако он переносит свою оценку и на русскую революцию. Брюсов уже не призывает „Крушите жизнь, а с ней меня!“ а с враждебным чувством думает о силах, несущих гибель капиталистическому миру.

Таким образом никак нельзя согласиться со взглядом А. В. Луначарского, который считал, что „в 1905 году Брюсов, политически колеблющийся, неоформленный до этого, в силу действующих в нем в противовес друг другу личных и общественных сил, сразу определяется как очень острый поэт революции“ [29]. Во-первых, Брюсов не был политическим младенцем и до 1905 г. (см. его политические обозрения в „Новом Пути“). Во-вторых, как „поэт революции“ он определяется далеко не сразу, а довольно поздно—в августе 1905 г. В-третьих, захваченный на короткое время неуклонно нарастающими событиями, он написал всего несколько, правда, блестящих, но лишь условно говоря революционных стихотворений, характер революционности которых был очерчен выше. Брюсов принял революцию 1905 г., как сменовеховцы—Октябрьскую, руководствуясь теми же приблизительно соображениями. Разочаровавшись, в результате военного поражения, в способности самодержавия осуществить идею великой России и русской государственности, понимавшуюся им в духе интересов промышленной буржуазии, он одно время думал, что эту миссию могут более успешно выполнить революционеры. Однако уже с конца 1905 г. Брюсов перестает приветствовать „детей пламенного дня“, отрицает служебную роль искусства, а в поэтической практике отходит от революционной тематики.

3 июня 1907 г. является, как известно, поворотным пунктом в политике российского самодержавия. Самым наглым образом были нарушены обещания, данные правительством 17 октября 1905 г.: Дума разогнана, избирательный закон изменен так, что Столыпин гарантировал себе в III Государственной думе послушное большинство, а рабочие лишены и тех скудных прав, которыми они пользовались до сих пор. Социал-демократические депутаты были преданы суду по обвинению в государственной измене, отправлены на каторгу и на поселение в Сибирь. Заигрывание с либералами окончилось, теперь либералы особенно усиленно стали заигрывать с правительством, пошли на циничную сделку с ним. Буржуазная интеллигенция присмирела, навсегда отошла от революции, занялась мирным приспособлением к существующему строю, а ее писатели—„метафизикой пола“ и просто порнографией, религиозными исканиями, развенчанием революционеров и революционных идеалов.

Как же отнесся Брюсов к государственному перевороту 3 июня? Два неопубликованных письма к отцу, находившемуся в то время в Париже, в некоторой степени разъясняют этот вопрос.

Об отце поэта, Якове Кузьмиче (1848—1907), к которому адресованы письма, см. в книге В. Брюсова „Из моей жизни“. М., 1927, в его автобиографии, напечатанной в „Русской литературе XX века“ под ред. С. А. Венгерова, т. I, М., 1914, и в сборнике „Валерию Брюсову“. М., 1924. Отметим одну неточность, допущенную поэтом. В своей последней автобиографии он писал: „В те же годы отец сблизился с кружками тогдашних революционеров, идеям которых оставался верен до конца жизни“ („Валерию Брюсову“. М., 1924, стр. 13). Как видно из письма Брюсова от 3 июня, Яков Кузьмич, по крайней мере в последний год своей жизни, сочувствовал не революционному народничеству, а кадетам: недаром Брюсов после слов: „центр (Твой)“ и т. д. упоминает имя одного из кадетских лидеров и члена Государственной думы всех четырех созывов—Ф. И. Родичева.

Вот эти письма (хранятся они в Институте русской литературы):

1

3 июня 1907 ст. ст., день исторический.

Итак, свершилось—Дума распущена и новый избирательный закон издан. Coup d'état! „Государственный удар“, как переведено в учебнике истории профессора Павла Гавр. Виноградова [80]. Не знаю, как ощутили этот удар вы в вашем далеке, дошел ли чувствительно этот coup до St.-Cloud, а на нас произвел он впечатление сильнейшее. Куда теперь кинуться: справа реакция дикая, слева бомбы и экспроприации, центр (Твой) лепечет умилительные или громкие слова (Родичев: „мы умрем! мы умрем!“ а все не умирает). Вопрос теперь в том, как будет реагировать на роспуск вся Россия: если устроит нелепое „выступление“, ее изобьют, если смолчит, ее скрутят,—что лучше? Но и социал-демократы хороши! хоть бы депутаты-то их не начиняли бомб, пусть (если уж это так сладостно) занимаются этим другие. А то ведь действительно они свою неприкосновенность понимают в смысле права делать все, что им нравится. „Посадили в парламент младших дворников и хотят, чтобы они законодательствовали“, как сказал один английский журналист. Кто лучше, кто хуже, никак не разберешь. Недавно один из тех „товарищей“, в пользу которых я читал лекцию, ораторствовал мне, что со введением социального строя появится новое, совсем новое искусство. Я его спросил: а таблица умножения тоже будет новая? Он мне ответил, по-

думав: может быть!—Хороши! будь пролетарием, и ты не только прав, но и поэт и мудрец, не учась. А после беседовал я с Влад. Павл. Рябушинским, издателем октябристского „Голоса Москвы". Этот говорит: Все спасение—только в буржуазии. Рабочие—это скот, и мудры были римляне, которые держали их как рабов. Учить их? пожалуй грамоте, чтобы они полезнее были на фабрике, а если что другое, стрелять и вешать без пощады!—Вот примири этих двух!—И кажется мне, что нет для России выхода ни влево, ни вправо, ни вперед... разве назад попятиться, ко временам Ивана Васильевича Грозного!

Знаю, что письмо мое бестолково, да, как говорит Пушкин, некогда мне быть толковым. Того и гляди забастовку устроят, типографии остановятся, вся жизнь прекратится, и куда деваться мне, поэту и литератору? Неужели о избирательном законе писать? Самое неподходящее для меня время, потому что мне хотелось бы читать латинских поэтов и заканчивать свой роман, а вместо этого читаешь глупые газеты десятками и подумываешь, не написать ли десятка два эпиграмм на наших Маратов, на наших Мирабо и на наших Неккеров... Впрочем, и те, знаменитые, XVIII века, мож. б., были не лучше наших, только издали кажутся великанами!

Спасибо за письма и за книгу: дошла-таки! Поездку по Волге уж не знаю, удастся ли осуществить. Во всяком случае выедем не раньше числа 10 ст. ст. „Весы" и № 4 и № 5 готовы—дело за последними страницами, обложками etc., а и то не знаем, выйдем ли! Не полетим ли все мы, и с „Весами" и с новым Манифестом, вверх тормашками.

Твой Валерий.

P. S. Вечер о Бодлэре был в пользу безработных. Хотя был уже вовсе не сезон, выручили 60 р. чистых. Не так, как Саша [31], который устраивал „вечер" в Малаховке в пользу военной организации с[оциал]-д[емократической] партии и понес 40 р. или 50 р. убытку!!

2

21 июня/24 июля 1907.

Наше путешествие я описываю в письме к маме: думаю, она с тобой им поделится и не повторяю того же самого. Скажу только одно: очень меня поразило, при дорожных встречах и разговорах, как все „поправели". Положим на пароходе мы ехали в 1 классе, но железной дорогой во 2, и все наши попутчики были „правее кадетов". У одного господина, с которым играл я на пароходе в шахматы, был даже брелок на часах с надписью „17 октября". А в поезде познакомился я с некием А. П. Языковым, пензенским землевладельцем и земским деятелем, ехавшим на похороны своего друга, графа Гейдена,—при чем этот Языков подробно изъяснял мне, почему он не мог войти в партию „мирного обновления", как слишком революционную [32]. Даже газеты в Поволжье почти все правые! Впрочем это последнее может объясняться или тем, что левые газеты закрыты насильно, или тем, что газетчики, продавая мне газеты, по моему лицу заключали, что нужно мне вручать газеты не левее октябристских. Общее мнение таково, что на востоке России „освободительное движение" должно считаться ликвидированным или по крайне мере приостановленным лет на десять.

Впрочем и в столицах упадок духа большой. Правительство закрывает чуть не все профессиональные союзы; а рабочие никак не решаются реагировать на это. Кадеты уныли, и кн. Трубецкой зовет к соглашению с октябристами. „Русс[кие] Вед[омости]" питаются перепечатками из

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ СТИХОТВОРНЫЙ НАБРОСОК БРЮСОВА ЭПОХИ 1905 г.

Собрание И. М. Брюсовой, Москва

„Нов[ого] Времени". Социалистическое „Утро Столичное" ударилось в бульварные романы. „Товарищ" и „Русь" все больше о литературе пишут и брюжжат на „Весы". Впечатление такое, что теперь не революционные дни, а самое суровое время царствования Александра III. Столыпин на все наступил пятой и ждет, скоро ли ему воздвигнут чугунный монумент.

Среди „декадентов", как ты видишь отчасти и по „Весам", идут всевозможные распри. Все четыре фракции декадентов: „скорпионы", „золоторунцы", „перевальщики" и „оры"—в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят один другого. Слишком много нас расплодилось и приходится поедать друг друга, иначе не проживешь. Ты читал, как мы нападаем на „петербургских литераторов" („Штемпелеванная Калоша"): это выпад против „Ор" и в частности против А. Блока. Этот Блок отвечает нам в „Золотом Руне", которое радо отплатить нам бранью на брань. Конечно не смолчит и „Перевал" в ответ на „трихину". Одним словом бой по всей линии!

Я думаю провести „Весы" еще $1^1/_2$ года, до конца 1908 года, а потом бросить и удалиться, как Диоклетиан, сажать капусту (авось к тому времени дом продастся и будет на что купить рассады!) [33]. Впрочем, что бог пошлет! Пока до свидания—очевидно осенью, ибо поездка наша в Лондон откладывается на неопределенное время.

Твой

Валерий

Разговоры и встречи, описанные в письмах к отцу, зафиксированы и в дневнике Брюсова. Записи в дневнике кое в чем дополняют письма, но более кратки и в отдельных местах не так выразительны. Вот они:

„19 мая.

У меня Эллис и рабочие, устраивавшие вечер Бодлэра в пользу безработных. Обычные споры о социализме и пролетариате.

Июнь.

. . . . . .

Познакомился с Владимиром Павловичем Рябушинским. Убежденный „буржуазист". Все сделают буржуа. Пролетарии—должны быть рабами. Если кто мятежничает—убивать. Крестьяне жгут усадьбы? А зачем вы бежите в Петербург? Перестреляйте тех, которые нападают, и сожгите сами, а не с помощью казаков, десять деревень кругом, и мужики поймут, что у вас есть право на землю. Гучков для В. П.—гений.

. . . . . .

Поездка по Волге, от Ярославля до Самары... Настроение всех, с кем я встречался, правое, но левее „октябристов". Впрочем мы ехали в первом классе. В поезде встретились со стариком А. П. Языковым, ехавшим на похороны гр. Гейдена. Говорили с ним о современной смуте. Он яростно поносил кадетов, ибо партии более левые были ему просто чужды" [34].

Брюсов довольно ярко передает то подавляющее впечатление, которое произвел третьеиюньский переворот, тот разброд либеральной интеллигенции, который за ним последовал. Правокадетские, профессорские „Русские Ведомости", обильно черпающие материал из презираемого ими, субсидирующегося правительством, всецело поддерживающего Столыпина „Нового Времени"; если и не социалистическое, как пишет Брюсов, то все-таки довольно левое „Столичное Утро", печатающее бульварные романы; левокадетский „Товарищ" и более умеренная „Русь", выбитые из колеи грозными событиями и пишущие преимущественно о

литературе—все это подмечено очень метко. Брюсов ни в какой мере не подписывается под совершившимся. Он с некоторой жутью пишет: „Впечатление такое, что теперь не революционные дни, а самое суровое время царствования Александра III. Столыпин на все наступил пятой и ждет, скоро ли ему воздвигнут чугунный монумент".

Весь этот разброд увеличивался для Брюсова литературными междоусобицами внутри символизма. Оформились разные тенденции, мирное сожительство которых сделалось весьма затруднительным. Главенство „скорпионов", т. е. символистов, сгруппировавшихся вокруг издательства „Скорпион" и журнала „Весы", редактором которого был Брюсов, настойчиво стали оспаривать недавно возникшие журналы „Золотое Руно" и „Перевал" и издательство „Оры". В основные идеологические разногласия вплетались сложные журнальные и личные отношения. „Весы" не щадили врагов, направляя свои полемические стрелы преимущественно на „мистический анархизм", т. е. на Георгия Чулкова, Вячеслава Иванова и отчасти Блока. Такова как раз „Штемпелеванная калоша" Андрея Белого („Весы" 1907, № 5). В том же номере „Весов" помещена и вторая статья, которую упоминает Брюсов,—„Трихина" Товарища Германа (Зинаиды Гиппиус), посвященная „Перевалу".

Смог ли Брюсов ясно ориентироваться, занять вполне определенную позицию в обстановке полного политического разброда среди либеральной, а отчасти и революционной интеллигенции, в этой начавшейся эпохе предательств и отступничеств? Из писем, полагаю, очевидно, что нет. Он напоминает героя народной сказки, который прочел на придорожном столбе: прямо пойдешь—голоден и холоден будешь, направо пойдешь—коня потеряешь, налево пойдешь—сам погибнешь. Но герой народной сказки подумал-подумал и все же выбрал одну из этих дорог. Брюсов менее решителен. Справа—„реакция дикая", слева—„бомбы и экспроприации", итти некуда. Ближайшее будущее рисуется в безнадежных красках: если вспыхнет нелепое „выступление" (кавычки Брюсова)—плохо, если Россия склонит выю и снесет все молча—будет не лучше. „И кажется мне, что нет для России выхода ни влево, ни вправо, ни вперед... разве что назад попятиться, ко временам Ивана Васильевича Грозного!" Весьма характерно, что в 1907 г. Брюсов уже представляет себе революционное движение только в виде „бомб и экспроприаций".

Эта сумятица и растерянность, позже преодоленная, все же не была минутной. В 1908 г. в стихотворении „Наш демон" поэт говорит о том же мраке и отсутствии путей:

> Куда ж теперь, от скал Цусимы,
> От ужаса декабрьских дней,
> Ты нас влечешь, неодолимый?
> Не видно вех, и нет путей.
>
> Где ты, наш демон? Или бросил
> Ты вверенный тебе народ,
> Как моряка без мачт и весел,
> Как путника в глуши болот?

Брюсов не только не мог занять вполне определенную политическую позицию, он не знает даже, „куда теперь кинуться"—вправо или влево. И без всякого сочувствия описывает оба лагеря. Как в январе 1905 г. поэт передавал П. Перцову слова какой-то „демократки": „не то жаль, что его [Трепова] не убили, а то, что поколеблен авторитет Центрального Комитета, объявившего, что Трепов будет убит" [35], так теперь он смеется над собеседником, уверенным, что с новым общественным строем

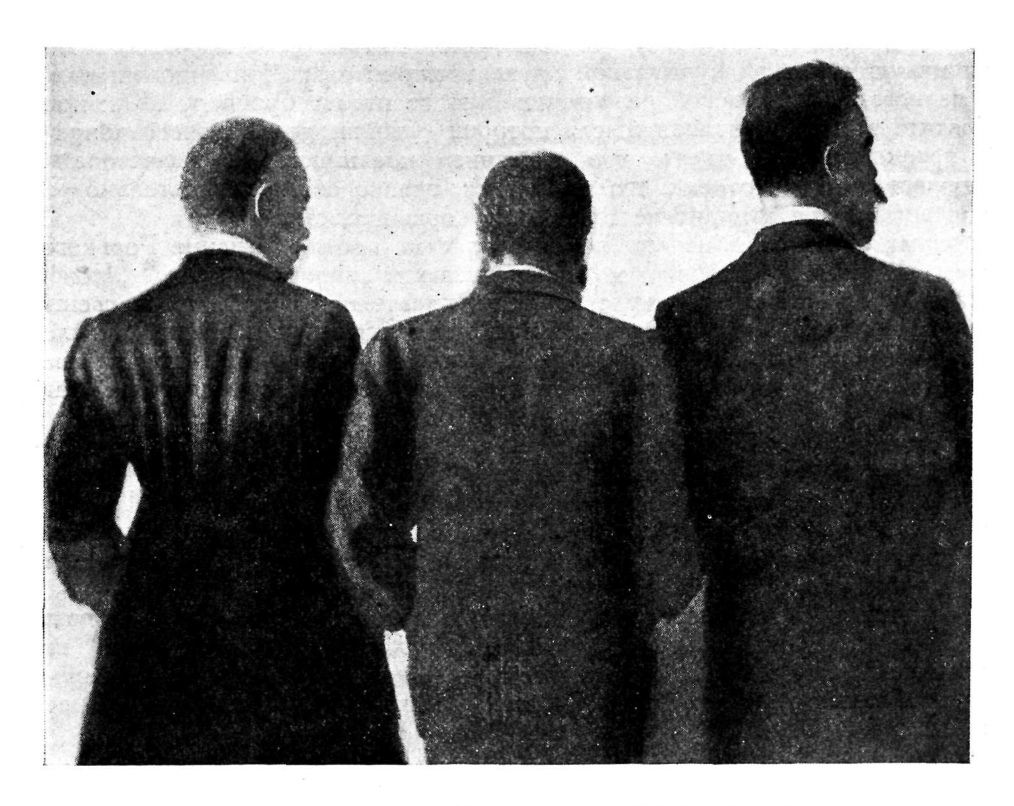
появится „новое, совсем новое искусство“, и задает ему каверзный вопрос о новой таблице умножения. С издевкой говорит он о „товарищах“, думающих, будто пролетарское происхождение заменяет им талант и образование; не без явного сочувствия повторяет он слова английского журналиста о законодательствующих „младших дворниках“. Наконец характерно, что Брюсов повторяет то, что писалось в октябристском „Голосе Москвы“ о превратном понимании неприкосновенности социал-демократическими депутатами. В передовой номера от того же 3 июня мы читаем: „Злоупотребляя депутатской неприкосновенностью, социал-демократы желали подготовить народ к новым выступлениям... Им нужна была Дума в расчете на неприкосновенность депутатского жилища. Они серьезно воображали, что на квартире депутата можно готовить бомбы и полиция не смеет туда войти“. Тут же о „невежественных депутатах“—ср. с „младшими дворниками“.

Разумеется Брюсов не был октябристом. Еще в 1905 г. он писал Чулкову, что не в состоянии стать партийным человеком. Да кроме того октябристы отнюдь не чувствовали растерянности после 3 июня. Они забыли былые „либеральные“ идеи „Союза 17 октября“ и третьеиюньская монархия была им вполне по душе. Брюсов же, как видно из письма к отцу, если и не относился к ней с активной враждебностью, то с недоумением и с испугом смотрел на то, как „Столыпин, на все наступил пятой“. Но социал-демократы, с которыми он спорил и над которыми смеялся („Обычные споры о социализме и пролетариате“, записывает он в дневник), были люди совсем чужие, из другого мира. А Рябушинский, крупный финансист и владелец ряда текстильных фабрик, брат издателя „Золотого Руна“, после Октябрьской революции—один из вдохновителей интервенции, имя которого снова всплыло во время процесса „Промпартии“, Рябушинский, при всей его совершенно несвойственной Брюсову звериной ненависти к пролетариату, был поэту все же в те годы ближе и по культуре, и по бытовым связям, и по отдельным элементам политического credo. Рябушинский говорил „дикие вещи“, но с ним можно было столковаться.

„Кто хуже, кто лучше, никак не разберешь“... И тем не менее через несколько месяцев после этого Брюсов ведет переговоры о постоянном участии в издававшемся Рябушинским октябристском „Голосе Москвы“, всецело поддерживавшем столыпинскую политику. Сотрудничество не осуществилось, но самая попытка небезразлична. Характерно, как Брюсов рассказывает о ней. В неопубликованном письме к Ф. Сологубу читаем (буквально то же пишет он и Блоку): „Октябристы после победы оказались гораздо менее сговорчивыми, нежели были до выборов. С другой стороны, А. Белый, вспомнив вдруг, что он „левый“, отказался от участия в „Голосе“. В результате вся комбинация с этой газетой расстроилась“. И в другом письме от 2 ноября: „Обращаю Ваше внимание на то, что, приглашая Вас в „Голос Москвы“, я прежде всего указал на то, что это—газета октябристов, и Вы дали свое согласие именно при этом условии. Но так как дело все равно расстроилось, к обоюдному удовольствию сотрудников и редакции, не будем более говорить о нем“ (Институт русской литературы).

Брюсовская позиция в 1907 г. не может быть разумеется охарактеризована одной растерянностью; в ней была изрядная доля совершенно безразличного отношения к политической жизни, политического нигилизма—одного из ярких и типичных проявлений ухода буржуазной интеллигенции от более или менее длительных, более или менее поверхностных увлечений 1905 г. Поэта одолевает желание написать эпиграммы решительно на всех—и на Маратов, и на Мирабо, и на Неккеров. Пре-

одоление растерянности при помощи политического самоопределения не было в его сознании делом первостепенной важности, настойчиво требующим немедленного разрешения. Вопрос о „вехах" и „путях" России звучит часто у Брюсова риторически и поглощается более волнующим его вопросом—как быть ему, поэту, не желающему вмешиваться в „современную смуту", в неблагоприятных условиях, ею созданных? „Того и гляди забастовку устроят, типографии остановятся, вся жизнь прекратится, и куда деваться мне, поэту и литератору? Неужели о избирательном законе писать? Самое неподходящее время, потому что мне хотелось бы



ЛИТЕРАТУРНОЕ БЮРО ТЕАТРА «СТУДИЯ» (1905 г.)
Слева направо: Ю. К. Балтрушайтис, С. А. Поляков и В. Я. Брюсов
Институт Русской Литературы, Ленинград

читать латинских поэтов и заканчивать свой роман („Огненный ангел", печатавшийся в „Весах" в 1907 и 1908 гг.—*И. Я.*), а вместо этого читаешь глупые газеты десятками"... Политический нигилизм и примат литературных интересов объясняет отчасти ту неразборчивость Брюсова, которую он проявил при почти одновременных переговорах с разными и в том числе столь ненавистными ему либеральными газетами.

В эти годы Брюсов был убежден, что

.....все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.

Такая точка зрения на взаимоотношения искусства и действительности поддерживала и питала его политический нигилизм. Но весьма вероятно, что теория „искусства для искусства" сыграла и свою положительную

роль в эволюции поэта. Может быть отчасти она предохранила его от окончательного врастания в третьеиюньскую монархию и полного примирения с нею.

Мировая война снова оживила в Брюсове империалистические чаяния. Ему казалось, что „из огненной купели преображенным выйдет мир".

Уезжая в июле 1914 г. на фронт в качестве военного корреспондента „Русских Ведомостей", он говорил в московском литературно-художественном кружке: „Будем верить в победу над германским кулаком. Славянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, право, свободу народов" [86].

В его стихах и корреспонденциях с фронта мы встречаем фразеологию, типичную для всей буржуазной интеллигенции, охваченной шовинизмом. Уже после Февральской революции Брюсов издает брошюру „Как прекратить войну", основная мысль которой—„война до победного конца". В предисловии он писал, что созданием коалиционного министерства осуществлены некоторые его пожелания, однако скоро окончательно разочаровывается в политике Временного правительства.

Когда буржуазная печать подняла травлю против Максима Горького, вызванную его близостью к большевикам и „пораженчеством" „Новой Жизни", Брюсов был в числе немногих писателей, которые сочувственно отнеслись к нему. „Вы очень тронули меня за сердце, Валерий Яковлевич,—писал ему Горький,—редко случалось, чтоб я был так глубоко взволнован, как взволновало меня ваше дружеское письмо и милый ваш сонет. Спасибо вам. Вы первый литератор, почтивший меня выражением сочувствия" [87]. В начале 1918 г., в то время как вся интеллигенция занималась саботажем, Брюсов пришел к А. В. Луначарскому, чтобы обсудить вопрос о работе с советским правительством. Прежние товарищи негодовали, исключили его из литературных организаций, прекратили знакомство с ним. Но Брюсова это не смутило: он активно работал в Наркомпросе и Госиздате, а в 1919 г. вступил в РКП.

Как и в 1905 г., Брюсов сначала принял революцию по-сменовеховски. Революция в его сознании продолжает выполнять задачи, „в веках" назначенные его родине; она осуществляет все тот же идеал великой и единой России, который оказался не под силу выродившемуся самодержавию.

Ты, летящий с морей на равнины,
С равнин к зазубринам гор,
Иль не видишь: под стягом единым
Вновь сомкнут древний простор!
. . . .
Эй, ветер, ветер! поведай,
Что в распрях, в тоске, в нищете
Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте;
Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена!

И недаром в стихотворении „Парки в Москве" поэт вспоминает о первом „собирателе земли русской" Иване Калите, протягивая нити от него к Октябрьской революции. На сменовеховский характер перерождения Брюсова указывал в свое время и М. Н. Покровский в статье „Кающаяся интеллигенция", посвященной парижскому журналу „Смена вех".

„С идеологии и начинается та многоликость нововеховцев, о которой говорилось в начале,—писал он.—Психология у них более или менее одна,—идеологий несколько. Самая элементарная из них мало чем отличается от идеологии любого неофита советского строя, каких немало-таки выступало чередою за эти четыре года. Возьмите например статью проф. Лукьянова во втором № журнала („Революционное творчество культуры“): это мог бы написать и проф. Гредескул, мог бы написать годами двумя раньше В. Я. Брюсов“ [38].

Но события революционных лет воочию показали поэту, что Октябрь принес в мир совершенно новые общественные начала и ценности. И он с гневом обрушивается на интеллигентов, которые любили мечтать о будущем, читая фантастические романы и утопии, а осуществление их встретили насмешками и тоской о прошлом:

Иль вам, фантастам, иль вам эстетам,
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах, да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Брюсов воспевает в своих стихах „слепительный Октябрь“, его вождя, „воль миллионных воплощение“—Ленина, и интернациональное значение русской революции.

С асфальтов Шпре, с Понтийских топей,
С камней, где доккер к Темзе пал,
Из чащ чудес—земных утопий,—
Где глух Гоанго, нем Непал,
С лент мертвых рек Месопотамий,
Где солнце жжет людей дремля,—
Бессчетность глаз горит мечтами
К нам, к стенам Красного Кремля!

Разумеется Брюсов не в силах был отказаться от груза старой культуры, с которой был тесно связан всю свою жизнь. Разоблачая „романтиков“, он тут же старается найти им историческое оправдание; революцию он то и дело воспринимает как бессознательную стихию; современные события одевает в близкие ему античные образы и т. д. Но нельзя забывать и недооценивать того факта, что большой человек капиталистического мира понял колоссальную значимость совершившегося исторического сдвига и пытался сделаться скромным рядовым работником новой культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Г. Лелевич, В. Я. Брюсов. М.-Л., 1926, стр. 104.

[2] „Русский Современник“ 1924, № 4, стр. 234.

[3] Г. Чулков, Годы странствий. М., 1930, стр. 324.

[4] В архиве Брюсова сохранилось впрочем одно более раннее стихотворение, датированное 6 июля, которое следует отнести к группе революционных стихов. Совершенно законченное, оно имеет на полях пометку Брюсова „плохо“. Вероятно поэтому оно и не было опубликовано самим поэтом. Приводим стихотворение с разрешения И. М. Брюсовой.

На площади, полной смятеньем,
При зареве близких пожаров,
Трое, став пред толпой,
Звали ее за собой.

Первый воскликнул: „Братья,
Разрушим дворцы и палаты!...
Разбив их мрамор, мы
Увидим свет из тюрьмы!“

Второй воскликнул: „Братья,
Разрушим весь дряхлый город!
Стены спокойных домов —
Это звенья старинных оков!“

Третий воскликнул: „Братья,
Сокрушим нашу ветхую душу!
Лишь новому меху дано
Вместить молодое вино“.

1905, 6 июля Антоновка.

5 Г. Чулков, Годы странствий. Стр. 335—336.

6 Ю. Каменев, О Ласковом Старике и о Валерии Брюсове.—„Литературный Распад“, СПБ., 1908, стр. 87.

7 Г. Чулков, Годы странствий. Стр. 101—103.

8 А. Луначарский, Предисловие к „Избранным произведениям“ Валерия Брюсова, т. I, М.-Л., 1926, стр. 6—7.

9 Г. Чулков, Годы странствий. Стр. 321.

10 Г. Чулков, Годы странствий. Стр. 330, 332.

11 „Печать и революция“ 1926, № 7, стр. 44.

12 Там же.

13 Г. Чулков, Годы странствий. Стр. 339.

14 Заметим кстати, что П. Струве в весьма благожелательной статье о „Stephanos“ под названием „Наше „бездарное“ время“, статье, являвшейся недвусмысленной попыткой вовлечь крупного поэта в лоно кадетской общественности, писал об „Уличном митинге“ следующее: „Тем же гуманизмом, философски справедливым и философски независимым, проникнуто стихотворение „Уличный митинг“, где автор, обращаясь к разрушительным силам переворота, говорит...“ и т. д. („Полярная Звезда“ 1906, № 14, стр. 224). Разрядка моя. — *И. Я.*

15 Г. Лелевич, В. Я. Брюсов. Стр. 123, 146.

16 „Литературный Распад“, СПБ., 1908, стр. 88.

17 „Русский современник“ 1924, № 4, стр. 235.

18 „Печать и революция“ 1926, № 7, стр. 39.

19 Напечатана в журнале „Искусство“ 1905, № 8 (вышел в ноябре).

20 „Русская литература XX века“ под ред. С. А. Венгерова, т. I., М., 1914, стр. 115.

21 Архив Брюсова. Черновик письма к Г. И. Чулкову от 17 июня 1906 г.

22 „Свобода и Жизнь“ 1906, № 12 от 12 ноября.

23 Интересно, что в этой статье Брюсов пользуется эпитетами из „Кинжала“.

24 „Дневники“. 1891—1910. М., 1927, стр. 137.

25 Там же, стр. 136—137.

26 „Печать и революция“ 1926, № 7, стр. 44.

27 Там же, стр. 45.

28 „Весы“ 1906, № 9, стр. 55.

29 А. Луначарский, Литературные силуэты. М., 1925, стр. 182.

30 Виноградов, П. Г. (1854—1925) — историк, специалист по английскому средневековью, профессор Московского и Оксфордского университетов; см. о нем статью Ленина „Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа?“ (1905).

31 Саша—Александр Яковлевич Брюсов, брат В. Я., бывший в то время большевиком.

32 Граф П. А. Гейден (1840—1907)—в 90-х годах президент Вольно-экономического общества, участник земских съездов 1904—1905 гг., лидер левого крыла октябристов; после разгона I Государственной думы, членом которой он был, — один из организаторов „партии мирного обновления“; см. о нем статью Ленина „Памяти графа Гейдена“. К той же партии примкнул и упоминаемый ниже кн. Е. Н. Трубецкой (1863—1919) — профессор философии права, философ-мистик, до 1906 г.— правый кадет.

33 Диоклетиан, Гай-Аврелий-Галерий—римский император (царствовал в годы 284—305); заболев, отказался от власти и вернулся на родину, где жил в полном уединении.

Брюсов действительно принимал близкое участие в редактировании „Весов“ только до конца 1908 г. Дом, о котором он пишет, был оставлен дедом в наследство ему и его брату с запрещением продавать его до тридцатипятилетнего возраста.

34 „Дневники“, стр. 138—139.

35 „Русский современник“ 1924, № 4, стр. 234.

36 „Проводы В. Я. Брюсова“.— „Голос Москвы“ от 25 июля 1914 г.

37 „Печать и революция“ 1928, № 5, стр. 60—61.

38 М. Н. Покровский, Кающаяся интеллигенция. — „Коммунистический Интернационал“ 1922, № 20, стр. 5285.

О Б З О Р Ы

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА А. И. ПОЛЕЖАЕВА

Обзор В. Баранова

Среди поэтов первой половины XIX в. Полежаев давно приобрел вполне заслуженную репутацию сильного и оригинального таланта. Жизнь Полежаева сложилась исключительно тяжело и дарование его не получило полного развития. Однако и в тех условиях, в каких он жил, его талант дал литературе своеобразную, резко индивидуальную лирику. Напряженность и острота личных переживаний перерастают в ней личные рамки и приобретают большой социальный смысл. Это — политические документы современника великой катастрофы 1825 г., жестоко потерпевшего и надломленного.

На протяжении ста лет поэзия Полежаева сохранила свою действенность. Современность без сомнения уделит Полежаеву заслуженное им внимание и в исторических схемах Полежаев займет то место, которое принадлежит ему по праву.

Литературное наследство Полежаева невелико. Если, опираясь на его собственное показание, начало его поэтических опытов отнести ко времени пребывания его в пансионе швейцарца Визара, то на всю литературную его жизнь падает не более двадцати лет. Все, что кроме произведений, напечатанных в прежних изданиях, посчастливилось нам выявить до сих пор, составляет 136 стихотворений разной величины — от поэм в шестьсот стихов до двустишия-экспромпта. В эту общую сумму входит девятнадцать переводов. Проза Полежаева никем еще не обнаружена, кроме тех небольших отрывков, которые сопровождают некоторые его стихотворения в качестве пояснительных примечаний. Впрочем есть основания думать, что не все эти примечания принадлежат поэту. Эпистолярное наследие Полежаева до нас не дошло, кроме двух-трех отрывков, сопровождающих его стихотворения. Переводы распределяются равномерно по всей его литературной деятельности и характерны как для первых его поэтических опытов, так и для последних дней.

I. ПОЛЕЖАЕВ В ПЕЧАТИ

Первый журнал, открывший свои двери стихотворениям талантливого студента, был „Вестник Европы“ М. Т. Каченовского. Полежаев начал печататься с 23—24-й книжки „Вестника Европы“ за 1825 г. Его печатными первенцами были два стихотворения — переводное из макферсонова Оссиана „Морни и тень Кормала“ и оригинальное — „Непостоянство“. В следующем году в течение более полугода стихотворения его продолжают печататься на страницах „Вестника Европы“ в таком порядке:

1.	1825 г.	№ 23—24	Стр. 181—182	„Морни и тень Кормала (из Оссиана)“.
2.	1825 „	„ 23—24	„ 184	„Непостоянство“.
3.	1826 „	„ 1	„ 27—28	„Воспоминание“.
4.	1826 „	„ 1	„ 32—33	„Любовь“.
5.	1826 „	„ 2	„ 81—84	„Восторг — дух божий“.
6.	1826 „	„ 3	„ 166—168	„Восторг, восторг, питомцы муз“.
7.	1826 „	„ 5	„ 35—36	„Ночь“.
8.	1826 „	„ 11	„ 161—177	„Иман-козел“.
9.	1826 „	„ 12	„ 281—290	„Гений“.
10.	1826 „	„ 15	„ 204—206	„Злобный гений“.
11.	1826 „	„ 15	„ 206—207	„Юность“.

Со времени отдачи Полежаева в солдаты (сентябрь 1826 г.) стихотворения его исчезают со страниц журналов и появляются вновь лишь с января 1829 г., прежде всего— в новом журнале С. Е. Раича „Галатея". Стихотворения никогда не сопровождяются полной подписью, а обычно инициалами: ... ъ... ъ,... ръ въ..., А. П. или 1—15. Приводим их перечень:

1. 1829 г.	Ч. I,	№ 3,	стр. 151	„Вечер" (Вечерняя заря).
2. 1829 „	Ч. I,	„ 6,	„ 131	„Валтасар".
3. 1829 „	Ч. II,	„ 10,	„ 209	„Песнь пленного ирокезца".
4. 1829 „	Ч. III,	„ 12,	„ 41	„Другу при посылке стихов".
5. 1829 „	Ч. III,	„ 14,	„ 161—162	„К... („Ты мне чужой! Не с давних лет...").
6. 1829 „	Ч. V,	„ 22,	„ 32	„Кремлевский сад".
7. 1829 „	Ч. V,	„ 26,	„ 57	„Табак".
8. 1829 „	Ч. VI,	„ 30,	„ 227	„Оставлен всеми одинок"...
9. 1829 „	Ч. VII,	„ 35,	„ 196	„На смерть Темиры".
10. 1829 „	Ч. VIII,	„ 40,	„ 196	„Песня" (из Панара).
11. 1829 „	Ч. X,	„ 49,	„ 158	„Ренегат" (отрывок из поэмы „Гарем").
12. 1830 „	Ч. XI,	„ 4,	„ 226—227	„Живой мертвец".
13. 1830 „	Ч. XII,	„ 11,	„ 250—251	Отрывок из поэмы „Узник" („И я в тюрьме").

В журнале „Телескоп" Н. И. Надеждина появились с 1830 по 1836 г. следующие стихотворения Полежаева:

1. 1831 г.	Ч. III,	№ 12,	стр. 463—465	„Провидение".
2. 1832 „	Ч. III,	„ 11	„ 307—308	„Ожесточенный".
3. 1832 „	Ч. VII,	„ 3	„ 480—482	„Море".
4. 1836 „	Ч. XXXIII,		стр. 51—52.	Песня „Разлюби меня, покинь меня".
5. 1836 „	Ч. XXXIII,	№ 12,	стр. 457—458	„Отчаяние".

В „Московском Телеграфе" Н. А. Полевого появилось единственное стихотворение Полежаева „Валтасар" (1829 г., № 2, стр. 175), одновременно появившееся в журнале „Галатея" С. Е. Раича 1829 г., ч. I, № 6, стр. 38. Это обстоятельство привело к острой пикировке между журналами.

В „Московском Наблюдателе" нашли себе приют два стихотворения Полежаева: „Грусть" и „Черные глаза" (1838 г., кн. II, ч. 16, стр. 202 и стр. 271).

В возобновленном после десятилетнего перерыва журнале „Галатея" за 1839 г. появилось, уже после смерти Полежаева, два стихотворения: в № 3, стр. 201—202 „К моему гению" и в том же году в ч. 2, № 13, стр. 305 „Людовик XVII" (без указания, что это перевод из В. Гюго).

На страницах петербургских журналов стихотворения Полежаева появлялись очень редко. В „Сыне Отечества и Северном Архиве" в 1832 г., № 8, стр. 52 было напечатано известное стихотворение Полежаева „Песнь погибающего пловца". В 1838 г. в „Сыне Отечества" (т. III, май—июнь, отд. I, стр. 16—20) напечатана первая глава поэмы Полежаева „Кориолан" под названием „Рим". Стихотворение прислано в журнал согласно воле поэта за несколько месяцев до его смерти. Об этом осведомляет читателя теплая некрологическая заметка (там же, отд. III, стр. 44).

В „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду" в 1838 г. помещено три стихотворения: в № 17, стр. 327 „Духи зла" (стихотворение известно под названием „Тайный голос"), в № 20, стр. 384 „Грешница" (стихотворение в авторитетной копии сборника „Урна", известно под названием „Из VIII главы Иоанна") и наконец в № 23, стр. 144 стихотворение „Русская песня" („Долго ль будет вам безумолку идти...").

В „Литературных Листках", прибавлении к „Одесскому Вестнику":

1. 1833 г.,	№ 35—36,	стр. 304—307	„Бонапарте" (из Ламартина).
2. 1833 „	„ 37—38—39—40,	„ 314—317	„Герменчугское кладбище".
3. 1834 „	„ 6—7,	„ 55	„Цыганка".
4. 1834 „	„ 6—7,	„ 55—56	„Раскаяние".
5. 1834 „	„ 12—13—14—15,	„ 83	„Море".

В официальных сборниках Московского университета „Чтения в Обществе любителей российской словесности при имп. Моск. университете“ за 1826 г., ч. VII, стр. 249—269 напечатана переведенная Полежаевым поэма Байрона „Оскар Альвский“ и в том же году в части VI того же сборника, стр. 211—220 напечатано стихотворение „Смерть Сократа“ (перевод из Ламартина).

В официальном университетском сборнике „Речи и стихи, произнесенные в память незабвенных благотворений Александра Первого Московскому Университету при воспоминании дня основания оного“ напечатана ода, исполненная Полежаевым по заказу университетского начальства. Присвоенное во всех прежних изданиях Полежаева название этого стихотворения перенесено очевидно с книги.

В различных московских альманахах 1825—1836 гг. появились следующие стихотворения Полежаева:

1. В альманахе „Урания“ М. П. Погодина (М., 1826) „Человек. К Байрону (из Ламартина)“. Стр. 269—287.
2. В альманахе „Эхо“ (М., 1830) „Наденьке“.
3. В альманахе „Венера“ (М., 1831, ч. I) „Песня“ („Зачем задумчивых очей“). Стр. 148—149.
4. В альманахе „Северное Сияние“ (М., 1831) „Глас несчастливца“ (Цепи). Стр. 178—179.
5. В альманахе „Эвтерпа“ (М., 1836) „Живой мертвец“, под заглавием „Вертер (фантазия)“.
6. В альманахе „Новогодник“ Н. В. Кукольника (М., 1839) „Прощание с жизнью“. Стр. 346.

При жизни Полежаева вышли следующие четыре издания его стихотворений:

1. Стихотворения А. Полежаева, М., 1832.
2. Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева. М., 1832.
3. „Кальян“. Стихотворения А. Полежаева. М., 1833.
4. „Кальян“. Стихотворения А. Полежаева. 2-е изд. М., 1836.

Первый сборник его стихотворений представляет загадку для исследователей и библиографов. Кто был издатель Полежаева — неизвестно. Он не только издал полученную им рукопись, но деятельно хлопотал о том, чтобы некоторые стихотворения, еще не печатавшиеся в журналах и альманахах, были в них напечатаны до выхода книги в свет, сам рассылал по редакциям списки стихотворений. Это не был повидимому спекулятор-книгопродавец. Установить его личность является тем более важным, что очень велика роль этой книжки стихотворений поэта в создании и установлении его первой славы. В своих беглых автохарактеристиках поэт называл себя „честолюбивым созданием“ („Эрпели“, гл. VIII, стих 161) „славы жадным“ („Чир-Юрт“, гл. I, стих 51, „Венок на гроб Пушкина“, гл. V, стих 231). Сам ли он хлопотал над созданием этой славы или кто-нибудь помогал ему, ответа на этот вопрос пока еще не дано.

Нам известно о книжке 1832 г. немногое. Цензором ее был Сергей Тимофеевич Аксаков, оканчивавший в этот год свою миссию цензора (1827 — 1832). Автор „Семейной Хроники“ отнесся сурово к произведениям разжалованного солдата-студента: пострадали даже произведения, помещенные ранее в периодических изданиях без пропусков.

Вот несколько характерных пропусков цензурных цитат в стих. „Цепи“, стр. 99, которые заменены точками:

7. И угнетен ярмом бесславным.
8. В цветущей юности моей.
25—28. Стремлюсь в жару ожесточенья
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить.
35—36. И замирает сталь отмщенья
В холодных трепетных руках.

В стихотворении „Вечерняя заря“ пропуски еще более значительны и многоточия сдвинуты.

Стихотворение „Рок“ не окончено и пропуск не обозначен.

Стихотворение „Четыре нации“ отсутствует вовсе. В пьесе „День в Москве“ С. Т.

Аксаковым стих.: „Погони ожидал как будто смертной казни“ изменен. Оставлено лишь „Погони ожидал“, а прочее заменено многоточием.

Тридцать стихотворений сборника уже ранее было напечатано в московских журналах и альманахах, 24 стихотворения печатались в сборнике впервые:

„Погребение“.
„Рок“.
„Песнь погибающего пловца“.
„Звезда“.
„Кольцо“.
„Букет“.
„К друзьям“.
„Ночь на Кубани“.
„Ожидание“.
„Водопад“.
„Песня“ („У меня ль молодца“).
„Песня“ („Там на небе высоко“).
„Романс“ („Пышно льется светлый Терек“).
„Романс“ („Одел станицу мрак глубокий“).
„Романс“ („Утро жизнью благодатной“).
„Черкесский романс“.
„Черная коса“.
„Мертвая голова“.
„Акташ-Аух“.
„Тарки“.
„День в Москве“.
„Кредиторы“.
„Чудак“.
„Мечта“ (из Ламартина).

Всей книжке поэт предпослал посвящение: „Другу моему А. П. Л.“ Хотя инициалы эти не составляют загадки и имя Александра Петровича Лозовского раскрыто в позднейших изданиях стихотворений Полежаева, но личность А. П. Лозовского и сущность этой дружественной связи биографами не выяснена до сих пор.

Издателем Полежаева 1832 г. А. П. Лозовский не был. Есть основание думать, что издатель имел рукопись поэта, но не собирал стихотворений по журналам; о том свидетельствуют многочисленные варианты против журнальных текстов. Вероятно Полежаев прислал рукопись из крепости Грозной. Впрочем невыдержанность хронологической последовательности в размещении стихотворений говорит за то, что порядок установлен издателем в отсутствии поэта.

Следующую книгу его составили две кавказские поэмы „Эрпели“ и „Чир-Юрт“, посвященные: первая воинам Кавказа, вторая—тому же „А. П. Л.“ (Александру Петровичу Лозовскому).

Эти две поэмы Полежаева вышли в один год с предыдущим сборником, одна вскоре после другой.

Летом 1832 г., когда поэт был еще в чеченской экспедиции, на синих обложках „Московского Телеграфа“, № 12 (июнь) и № 16 (август) печаталось следующее объявление:

„В Конторе „Московского Телеграфа“, состоящей у Тверских ворот напротив Страстного монастыря в доме Римского-Корсакова под № 2, продаются следующие книги: Стихотворения А. Полежаева. М., 1832 г., в бум. 10 р. асс. Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы Полежаева. М., 1832 г., в бум. 5 руб.“ [1]

В журнале „Сын Отечества и Северный Архив“ 1832, № 8, стр. 52 напечатана „Песнь пленного ирокезца“ с примечанием под текстом: „Из собрания стихотворений А. Полежаева, на которые принимается подписка в книжном магазине Н. Н. Глазунова в Москве. Цена на веленевой бумаге 5 р. с пересылкой 6 р.“

„Кальян". Стихотворения А. Полежаева (М., 1833). Книжка вышла осенью 1833 г. Помета Цензурного комитета — „29 сентября". Книжке был предпослан литографированный портрет работы Ястребилова: поэт в унтер-офицерском мундире. Два стихотворения были напечатаны предварительно в „Литературных Листках", приложении к „Одесскому Вестнику" („Бонапарте" (из Ламартина) и „Герменчугское кладбище". Два других—„Цыганка" и „Раскаяние" —уже по выходе из печати сборника. Остальные двенадцать стихотворений в сборнике „Кальян" напечатаны впервые:

„Троянки". Кантата (из Делявиня).

„Видение Брута".

„Демон вдохновения".

„Лунный свет" (из Гюго).

„Сон девушки".

„Ахалук".



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СБОРНИКА А. ПОЛЕЖАЕВА «КАЛЬЯН» С ЛИТОГРАФИЕЙ А. ЯСТРЕБИЛОВА, С ПОРТРЕТА РАБОТЫ А. УТКИНА

„Призвание".

„Степь".

„Окно".

„Песнь горского ополчения".

„Отрывок из послания к А. П. Л... у".

„Иван Великий".

Сборник выдержал два издания. Второе цензуровано 13 сентября 1835 г. и так же, как и первое,—цензором профессором Московского университета И. М. Снегиревым.

Рукописи двух последних сборников стихотворений Полежаева, отданных в Московскую цензуру, первая в 1835, а вторая 1837 г., были долго задержаны цензурой и оказались посмертными.

„Арфа". Стихотворения А. Полежаева. Москва, в типографии В. Кириллова, 1838 г.

„Часы выздоровления". Стихотворения А. Полежаева. Москва, в типографии Алексея Евреинова, 1842 г.

Первый сборник с заглавием „Разбитая арфа" отдан в Московскую цензуру едва ли не самим поэтом. Цензор проф. М. Т. Каченовский отметил в пьесе „Кориолан" „идеи, могущие в некоторых легковерных читателях возродить и питать мысли в пользу либера-

лизма и тем самым оказывать неблагоприятное для правительства влияние" (из рапорта его на имя министра народного просвещения от 6 февраля 1835 г.). Цензору было предоставлено Главным управлением цензуры право не давать дозволения рукописям, несогласным с цензурными постановлениями, вследствие чего и „Разбитая арфа" была возвращена в Москву. Новое рассмотрение лишило ее названия „Разбитая". Из состава этого сборника была совершенно исключена первая глава „Кориолана"—„Рим". Пострадало от цензорского карандаша несколько выражений, „может быть и сообразных с духом римлян, но неприличных ни для автора, ни для читателей, благоденствующих в стране под монархическим правлением" [2].

По желанию самого поэта, выраженному за несколько месяцев до смерти, исключенная цензурой первая глава „Рим" была послана как отдельное произведение в Петербург, где была пропущена петербургскими цензорами Крыловым и Корсаковым и напечатана в журнале „Сын Отечества" (1838 г., № 5, стр. 16—20).

Другие стихотворения сборника от цензуры не пострадали. В их числе были стихотворения, частью напечатанные в журналах („Черные глаза"—в „Московском Наблюдателе" 1838 г., кн. 2, ч. 16, стих. 1—60; полный текст—в „Арфе", „Божий суд" („Тайный голос")—в „Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" 1838 г., № 17, стр. 326 под названием „Духи зла", „Сарафанчик"— в „Библиотеке для чтения" О. И. Сенковского 1839 г., т. 37, № 12 и „Грусть"—в „Московском Наблюдателе" 1838 г., кн. 2, ч. 16).

Новыми в составе „Арфы" были стихотворения:

1. „Кориолан" (кроме 1-й части „Рим").
2. „На болезнь юной девы".
3. „К Е...И...Б...й".
4. „Баю-баюшки-баю".
5. „Разочарование".
6. „Автор и читатель".
7. „Картина".
8. „Глупой красавице".
9. „Атеисту".
10. „Напрасное подозрение".

Состав сборника „Часы выздоровления", вышедшего только в 1842 г, определился еще в 1837 г. при жизни Полежаева. Да и самое название вряд ли дано без ведома поэта. П. А. Ефремов находил это заглавие неграмотным и не имеющим смысла, с чем трудно согласиться. Если принять к сведению, что последние годы (1836—1837) поэт жестоко пил, а последние полгода был прикован к постели разрушительным легочным процессом—смысл заглавия получит объяснение.

В состав сборника, сильно запоздавшего выходом в свет из-за цензурных осложнений, вошли следующие стихотворения, не печатавшиеся до того:

1. „Эндимион".
2. „Белая ночь".
3. „Когда-то".
4. „К М...А...Я...ой".
5. „Картина".
6. „К набеленной красавице".
7. „Прощание".
8. „Отчаяние".
9. „Венок на гроб Пушкина".
10. „Узник".
11. „Песня" („Разлюби меня, покинь меня").
12. „Тоска".
13. „Последний день Помпеи" (из Легуве).
14. „Удивительное приключение одного стихотворца".
15. „Глаза".

Изданиями стихотворений Полежаева—Кетчеровским 1857 и 1859 гг. и Ефремовским

1889 г.—к перечисленному литературному наследству поэта присоединены следующие стихотворения:

1. Отрывок из поэмы „Марий“.
2. „Фалерий“ (из Легуве).
3. „Злобный гений“ (из Ламартина).
4. „А. П. Л.—у“ („Ты мне чужой“).
5. „*К нему же*“ („*Ты хочешь, друг, чтобы рука*“).
6. „Отрывок“ („И я в тюрьме“).

Изданием Ефремова (М., 1889) присоединены к ранее известным следующие стихотворения:

1. „Сашка“. В России несколько отрывков поэмы напечатаны впервые единственно в „Русском Архиве“ за 1881 г., январь, в биографической статье Д. Д. Рябинина „*Александр Полежаев*“).
2. „Арестант“ (первый и неудачный опыт собирания разрозненных отрывков этого большого послания к Александру Петровичу Лозовскому).
3. „Девичье поле“ (отрывок).
4. „Четыре нации“. Впервые напечатано И. М—к. в „Библиогр. Записках“ 1859 г., стр. 634—635. В 1887 г. опубликовано в альбоме С. Д. Полторацкого. „Русская Старина“ 1887 г., окт., стр. 140—141.
5. „Имениннику“ (впервые у Огарева в „Русской потаенной литературе“ 1861 г., затем в „Русском Архиве“ 1881, т. I, кн. 2).
6. „В альбом Ф. А. Кони“.
7. „На память о себе“.

В эпоху 1850—1880 гг. тексты Полежаева публиковались в России очень редко. Это были единичные случаи. Так в 1859 г. в „Библиографических Записках“ опубликовано стихотворение „Четыре нации“.

Впрочем не лучше дело обстояло и за границей. Зарубежные полежаевские тексты опубликованы впервые Огаревым в Лондоне в составе „Русской потаенной литературы“, Лондон, 1861.

Опубликованы следующие тексты:

„Сашка“.

„Четыре нации“.

„Арестант“.

Кто был литературным душеприказчиком Полежаева? В чьих руках сосредоточено было после его смерти главнейшее литературное его наследство, его рукописи, эти „клочки, четвертки и листы, души тоскующей мечты и первой юности проказы“? Увы, на этот вопрос полного ответа нет.

Неизменными друзьями Полежаева были поэты Лукьян Андреевич Якубович и Владимир Игнатьевич Соколовский, такие же, как он, бедняки, но они на один лишь год пережили Полежаева. Самым близким другом Полежаева был Александр Петрович Лозовский. На разных этапах жизни поэта (1828—1838) выражения горячей дружбы к нему получают самые трогательные поэтические формулировки.

Естественно предположить, что именно А. П. Лозовский и был частично хранителем этих рукописей: уже в марте 1838 г. им отнесена в Московскую цензуру тетрадка „Последние стихотворения А. И. Полежаева“ (13 стихотворений).

В 1916 г. в распоряжении проф. И. Л. Шляпкина находилась принадлежащая Е. Леве автографическая тетрадь, заключавшая несколько стихотворений Полежаева, переписанных им для А. П. Лозовского. Эта тетрадь, ныне находящаяся в ИРЛИ, принадлежит несомненно к числу сохранившегося у А. П. Лозовского полежаевского рукописного наследства.

К этому же фонду рукописей, хранившихся Лозовским, принадлежит и один из автографов шуточной поэмы „Царь охоты“ (см. Н. О. Лернер. „Неизданные стихотворения А. И. Полежаева“.—„Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“ 1914 г., декабрь, стр. 638—658).

Несомненно, что фонд рукописей Полежаева, находившийся у А. П. Лозовского в 30-х годах, позднее стал редеть.

Две попытки получить разрешение на издание всех произведений Полежаева были предприняты последовательно в 1850 г. книгопродавцем П. Крашенинниковым и 1851 г. А. С. Смирдиным. Попытки успехом не увенчались, но могли повлиять на распыление основного рукописного фонда Полежаева. Смирдин, представляя в цензуру рукопись предложенных им в состав „Библиотеки русских писателей" стихотворений А. И. Полежаева, предполагал его издать в пяти томах. Эта справка и дает нам основание считать первоначальный фонд рукописей Полежаева значительным, но разумеется утверждать, что все они находились у А. П. Лозовского, вряд ли правильно.

Одно несомненно: неудачи с изданием Полежаева могли неблагоприятно отразиться на хранении его рукописей и списков. Мысль об издании полного Полежаева пришлось оставить надолго.

В 1857 г. выходит избранный Полежаев. Издание осуществлено на средства купца-мецената К. Т. Солдатенкова и Н. Щепкина. Редактура текста принадлежала Н. Х. Кетчеру.

Через 20 лет после смерти Полежаева на книжном рынке появилось впервые изящное издание его стихотворений, снабженное портретом (литография с портрета, но в форме рядового) и критическою статьей В. Г. Белинского. В основу редактирования Кетчер положил список стихотворений Полежаева, рекомендованный Белинским для книжки толкового избранного издания его стихотворений. Эстетическая требовательность Кетчера оказалось суровее требовательности Белинского. Много стихотворений им занесено в список „совсем уже плохих" (стр. 209—210). В их числе оказались „Рок", „Герменчугское кладбище", „Бонапарте" (из Ламартина) и др.

Исключены многие переводы. Возглавляющая текст статья Белинского—большая его статья 1842 года—перепечатана с некоторыми сокращениями.

Статья Белинского при всех неоспоримых достоинствах в отношении незыблемого установления литературной репутации Полежаева имела и отрицательное значение: она популяризировала и укрепила на долгие годы совершенно ошибочный взгляд на Полежаева, на причины его гибели и надолго отняла у значительного числа читателей восприимчивость к ее революционизирующей действенности. „Полежаев не был жертвой судьбы и никого кроме себя не мог обвинять в своей гибели", писал Белинский, и это его суждение, носящее на себе явный отпечаток приспособления к цензурным условиям, получило самое широкое распространение и укрепило казенную версию о причине гибели Полежаева.

Издание это имело большое распространение, и через два года стихотворения вышли без изменений вторым изданием (М., 1859).

Кетчер совершенно прихотливо и произвольно вне какой-либо системы и вне хронологии разместил стихотворения Полежаева.

Следует отметить, что Кетчеру удалось воспользоваться рукописями Полежаева, предоставленными ему А. П. Лозовским. В это же время видел эти рукописи и частью успел ими воспользоваться П. А. Ефремов. Куда они делись после смерти А. П. Лозовского, остается неизвестным.

Когда в 1887—1888 гг. П. А. Ефремовым велась подготовительная работа к выпуску Суворинского издания стихотворений Полежаева, им прилагались большие усилия к выяснению судьбы этих рукописей (многократные публикации в газетах и журналах, в 1887 г.), но все оказалось тщетным.

Впрочем когда вышло халтурное издание 1888 г. книгопродавца Улитина, он в предисловии ссылался на то, что некоторые стихотворения сличены с рукописями поэта, любезно предложенными Евгенией Ивановной Лозовской. Какие это были рукописи, осталось невыяснено. Последним изданием стихотворений Полежаева было издание А. Ф. Маркса под редакцией А. И. Введенского (СПБ., 1892 г.).

* * *

С 1914 г. случайные находки в Московском губернском архиве старых дел и архиве московской цензуры оживляют дело публикации новых текстов Полежаева. Лучшие

публикации принадлежат Н. О. Лернеру. Их три: 1. Неизданные стихотворения А. И. Полежаева. „Ежемесячные литературные приложения к „Ниве" 1914 г., декабрь, стр. 638—658, 2. Из наследия А. И. Полежаева. „Ежемесячные литеритурные приложения к „Ниве" 1915 г., август, стр. 579 — 590, 3. Полный текст оды Полежаева „Венок на гроб Пушкина". „Русская Старина" 1916, № 7, стр. 1—11.

Первая из указанных публикаций Н. О. Лернера сообщает содержание найденного в том же году рукописного не автографического, однако же авторитетного сборника стихотворений Полежаева „Урна". Этот сборник поступил в цензуру в марте 1838 г. вскоре после смерти Полежаева, но был цензурою 22 апреля запрещен. Н. О. Лернер

СТРАНИЦЫ АВТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ ПОЛЕЖАЕВА, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ДРУГУ ПОЭТА А. П. ЛОЗОВСКОМУ

Стихотворение «Опять нечто» (Ай, ахти! Ох, ура!..), стихи 11—34

Институт Русской Литературы, Ленинград

опубликовал несколько неизвестных до тех пор стихотворений, вошедших в состав этого сборника:

„Он и она" („В последний раз, прекрасная, скажи").

„Ожидание" („Напрасно, маменька, при мне").

Другие стихотворения этой обширной (46 л. в $^1/_4$ д. л.) тетради дают возможность восстановить отдельные стихи и целые строфы, помещавшиеся ранее в укороченной редакции:

„Белая ночь"—целую строфу (4-ю). Стихи 37—48.

„Когда-то"—целую строфу (4-ю). Стихи 13—16.

„Картина".—Стихи 35—36.

В том же номере „Нивы" Н. О. Лернером опубликован по автографу текст поэмы-шутки „Царь охоты" (610 стихов). Большое стихотворение яркими штрихами дополняет неясные стороны последних лет жизни Полежаева, неизвестные до сих пор факты биографии и дружеские связи поэта в Муромском уезде, Владимирской губернии. При отсутствии прямых документальных и мемуарных данных о последних годах жизни

поэта реалии этой поэмы-шутки позволяют отчасти дополнить дефектную биографию поэта новыми данными, а также ориентировать дальнейшие биографические разыскания.

Вторая публикация Н. О. Лернера сделала известной тетрадь „Последних стихотворений Полежаева“, переписанных рукою Александра Петровича Лозовского, отданных им в марте 1838 г. в цензуру и тоже ею не пропущенных. Здесь также имеем ряд новых текстов, к которым относятся:

„Султан“.

„Казак“.

„Наполеон“ (из В. Гюго).

„Воспоминания детства“ (из В. Гюго).

„Русский неполный перевод китайской рукописи, вывезенной в 1737 году иезуитскими миссионерами из Пекина неизвестного почитателя добрых дел“.

Третья публикация Н. О. Лернера напечатана в „Русской Старине“ за 1916 г. (№ 7, стр. 1—11): „Полный текст оды Полежаева „Венок на гроб Пушкина“.

За период 1916—1925 гг. и публикаций стихотворений Полежаева не появлялось.

В 1925 г. в вечернем выпуске „Красной газеты“, в № 315 от 30 декабря появилось сообщение: „Из литературного наследства декабристов. О подготовляющемся к печати № 3 историко-литературного временника, посвященного декабристам“. Здесь сообщалось, что в числе стихотворений поэтов-декабристов появится стихотворение „Ай, ахти! Ох, ура“ А. И. Полежаева. Стихотворение приводилось в газете полностью. В следующем году приведенное стихотворение появилось почти одновременно в „Огоньке“ в статье И. С. Зильберштейна (1926, № 5), в журнале „30 дней“ (1926, № 1) и в сборнике „Атеней“ № 3 в сопровождении статьи Н. В. Измайлова и фотокопии автографа.

Это было одно из наиболее интересных и значительных стихотворений автографического сборника. Будучи трижды опубликовано, оно уменьшало шанс возможного опубликования описания всего сборника. Только в 1930 г. Г. В. Никольской („Звезда“ 1930, № 1, стр. 217) дано описание сборника, тексты 4-й строфы послания к А. П. Лозовскому и стихотворения „Притеснил мою свободу“ („Еще нечто“) и „Село Печки“. После этой публикации из числа стихотворений автографического сборника оставались неопубликованными большое послание „Александу Петровичу Лозовскому“ (кроме IV части „О ты, который возведен“) и „Нечто о двух братьях князьях Львовых“.

Впервые они появились в новом собрании стихотворений Полежаева изд. „Academia“. Сюда кроме указанных стихотворений, частично опубликованных, вошли следующие стихотворения:

1. „Новая беда“.
2. „Александру Петровичу Лозовскому“ („Арестант“) (полный текст).
3. „Рассказ Кузьмы или вечер в Кенигсберге“ (истинная повесть в стихах).
4. „Оправдание мужа“.
5. „Ответ на вопрос Пушкина“.
6. „Нечто о двух братьях князьях Львовых“.

Перечисленные стихотворения существенно дополняют известное до сих пор литературное наследство Полежаева. Большая часть этих стихотворений обладает ярко автобиографическими чертами; многочисленные и немаловажные штрихи пополняют недостаточную биографию поэта.

Стихотворения „Новая беда“ и „Рассказ Кузьмы или вечер в Кенигсберге“ печатаются по копиям, сохраненным архивом Ф. А. Кони (ИРЛИ А. Н.), без всякого сомнения утвержденным авторитетом имени современника и товарища Полежаева, видного литератора и журналиста.

Особенно ценным добавлением к излюбленному Полежаевым литературному жанру стихотворной повести является, без сомнения, большой, в 610 стихов, „Рассказ Кузьмы или вечер в Кенигсберге“. Список хранит помету 25 июня 1825 года. Полежаев в университете последний год. Бойкой автобиографической повести непосредственно предшествует „Сашка“. Характерные черты стиля не оставляют сомнения в принадлежности этих стихотворений Полежаеву.

Самое крупное текстуальное приобретение в перечисленном ряду частью печатаемых вновь, частью существенно дополняемых стихотворений — большое послание поэта к лучшему его другу Александру Петровичу Лозовскому[8]. В прежних изданиях оно было известно под названием „Арестант", не подтвержденным автографом. Впервые стихотворение печатается в совершенно полном виде, со включением стихов и слов, расшифрованных по начальным буквам или словам. Впервые стихотворению придан санкционированный автографом порядок. Прежние издания печатали или лишь отдельные части этого большого (379 стихов) стихотворения (изд. Кетчера), или проделывали безуспешно опыт соединения разрозненных звеньев этого стихотворения (изд. Ефремова) в одно целое.

Группа стихотворений иллюстрирует неизвестную до сего времени пору пребывания поэта в глуши жиздринской провинции (не ранее осени 1834 г., не позднее конца лета 1837 г.). Несколько лет подряд Тарутинский егерский полк, в котором служил Полежаев, имел расположение в г. Жиздре и селениях Жиздринского уезда. В Жиздре стоял полевой штаб полка, а в селениях Ловати, Мойлове, Маклаках и Загоричах— четыре батальона полка.

„Село с прудом, с мостом и с церковью при въезде"—это вотчина кн. С. Н. и А. Н. Львовых Маклаково или Маклаки. „Два брата, два отставных полусолдата и с божьей помощью князья" ничем впрочем не замечательны. Дышащая иронией картинка лениво медлительного течения жизни во львовской Обломовке писана с натуры.

Обращает на себя внимание характерный для Полежаева („Кредиторы", „Сашка", „Эрпели", „Царь охоты") чисто народный снисходительно-насмешливый взгляд на бар, лукавая усмешка под нарочито „придурковато-молодцеватым", „солдатским"—„не можем знать".

II. ПРОПАВШИЕ, НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ И МНИМЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЕЖАЕВА

Многие стихотворения Полежаева затерялись, не будучи никогда напечатаны.

Приводим список стихотворений Полежаева, которые до сих пор не найдены, иногда известны только по названию:

1. „Преступники". Большая поэма, запрещенная цензурой „за безнравственность содержания", относится к 1833 г. (Ю. Оксман. „Ученые записки высшей школы г. Одессы", т. I, в. I. Одесса, 1921).

2. „Бог создал мир, но кто же создал бога". Стихотворение было написано Н. И. Шаганову в Коврове, Влад. губ. в 1833 г. (А. Смирнов. „Уроженцы и деятели Владимирской губ., получившие известность на разных поприщах", вып. III, № 46. Н. И. Шаганов. „О Полежаеве". Владимир, 1908, стр. 101). Рукопись стихотворения пропала.

3. Многочисленные стихотворения, писанные Полежаевым на случай: например на Кавказе им была изложена стихами просьба к артиллеристу С. А. Карпову дать распоряжение вымыть палатку Полежаева, случайно загрязненную (С. А. Карпов. „Новые сведения об А. И. Полежаеве". См. „Русский Архив" 1882 г., т. II, вып. II, стр. 471—474).

4. Остаются неизвестными и несколько переводных стихотворений Полежаева из В. Гюго. Е. И. Бибикова-Раевская („Встреча с Полежаевым". „Русский Архив" 1882, т. 6) свидетельствует о большой работе поэта в 1834 г. над любимой его книгой „Les orientales" В. Гюго. До нас дошел только перевод его из этой книги „Лунный свет". Стихотворение „Людовик XVII" и два стихотворения из второй публикации Н. О. Лернера „Наполеон" и „Воспоминания детства" (см. выше) свидетельствуют о знакомстве поэта с книгами В. Гюго „Odes et ballades" и „Les feuilles d'automne". Таким образом несколько переводов из указанных трех сборников следует считать неразысканными. Ряд переводов из Гюго содержит печатаемая выше публикация Н. Бельчикова „Запрещенные цензурой стихотворения Полежаева".

5. Ранний (до 1825 г.) перевод „Генриады" Вольтера (может быть не всей поэмы, а нескольких песен ее). Основанием для допущения существования такого перевода слу-

жит рассказ А. Я. Булгакова в письме его к брату из Москвы от 11 июля 1825 г. По ряду индивидуальных признаков в студенте, о котором идет речь, распознается Полежаев. Он рекомендуется рассказчику как автор „Сашки" и переводчик „Генриады" (см. рецензию П. Щ. на книгу проф. Е. А. Боброва „Из истории жизни и поэзии А. Н. Полежаева". Варшава, 1904. „Историч. Вестник" 1904 г., август, стр. 674—675, где и приводится указанное выше письмо А. Я. Булгакова).

6. Поэма „Гарем". Существование поэмы под таким названием предполагается на основании заглавия к отрывку „Ренегат" (отрывок из поэмы „Гарем"). Не является ли и стихотворение „Султан" (Полежаев, А. И. „Стихотворения", изд. „Academia," стр. 176) также отрывком из этой поэмы?

7. Стихотворение „К сивухе"—„страшное стихотворение", о котором говорит А. И. Герцен в „Былом и думах" и лишь несколько стихов которого опубликовано в статье В. Е. Якушкина „А. И. Полежаев" („Вестник Европы" 1897 г., № 6, стр. 729. Принадлежность этих стихов Полежаеву точно не установлена).

Во многих стихотворениях Полежаева, печатавшихся в журналах и включившихся в сборник, в результате цензурных изъятий, а иногда и в предупреждение таковых являлись пробелы от одного до пятнадцати стихов. Некоторые из них повидимому утрачены безвозвратно. Приводим список этих изъянов.

1. „К друзям" („Игра военных суматох") — утрачены стихи 19—20 (стр. 188), их в изданиях заменили три ряда точек.

2. „Ночь на Кубани" („Весенний вечер на равнины")—утрачены стихи 81—84, 105 и 118—121 (стр. 192—193).

3. „Море" („Я видел море, я измерил")—утрачены стихи 17—18 (стр. 197).

4. „Мертвая голова"—неизвестны стихи 31—32 (стр. 209).

5. „Тарки" („Я был в горах")—повидимому утрачен стих между 24 и 25 (стр. 209).

6. „Из послания к А. П. Лозовскому" („И нет, их нет! промчались годы") неизвестны стихи 29, 32, 33 (стр. 227).

7. „Кольцо"—неизвестен один стих 28 (стр. 185).

8. „Сон девушки"—неизвестен конец стихотворения, замещался двумя рядами точек (стр. 219).

9. „Окно" („Там, над быстрою рекой")—неизвестны стихи 9—10 (стр. 225).

10. „Тоска" („Бывают минуты ужасной тоски")—утрачен конец стихотворения, стихи 29—30.

11. „Отрывок из письма к А. П. Лозовскому в декабре 1837 г." („Чахотка")—неизвестно начало стихотворения, стихи 1—3.

В поэме „Эрпели" неизвестными остаются следующие стихи: I—51; II—123—127; III—41—42; VI—84—85, 136; VII—22, 71—73; VIII—131—132.

Таковы изъяны текста стихотворений. Кроме автографов авторитетных списков исправлению этих изъянов могут помочь рукописные дополнения в именных экземплярах стихотворений Полежаева. В экземпляры стихотворений 1832 г. „Кальяна" или „Арфы", снабженные авторитетными факсимиле, бывают внесены недостающие стихи из числа „безнадежно утраченных", и пропущенный стих или целая строфа могут содержать забытую, вычеркнутую из памяти поколений поэтическую формулировку:

Сокрушила судьба,
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.

(„Вечерняя заря", список III Отделения,
при доносе Шервуда).

Вот почему необходимо тщательное обследование старинных провинциальных библиотечных фондов, а также старинных рукописных альбомов и тетрадей первой половины прошлого века.

Редакторами стихотворений П. А. Ефремовым и А. И. Введенским к числу приписы-

ваемых Полежаеву стихотворений отнесены следующие стихотворения поэта из числа печатавшихся в сборниках и альманахах:

1. „Когда душа перекалится в камень".

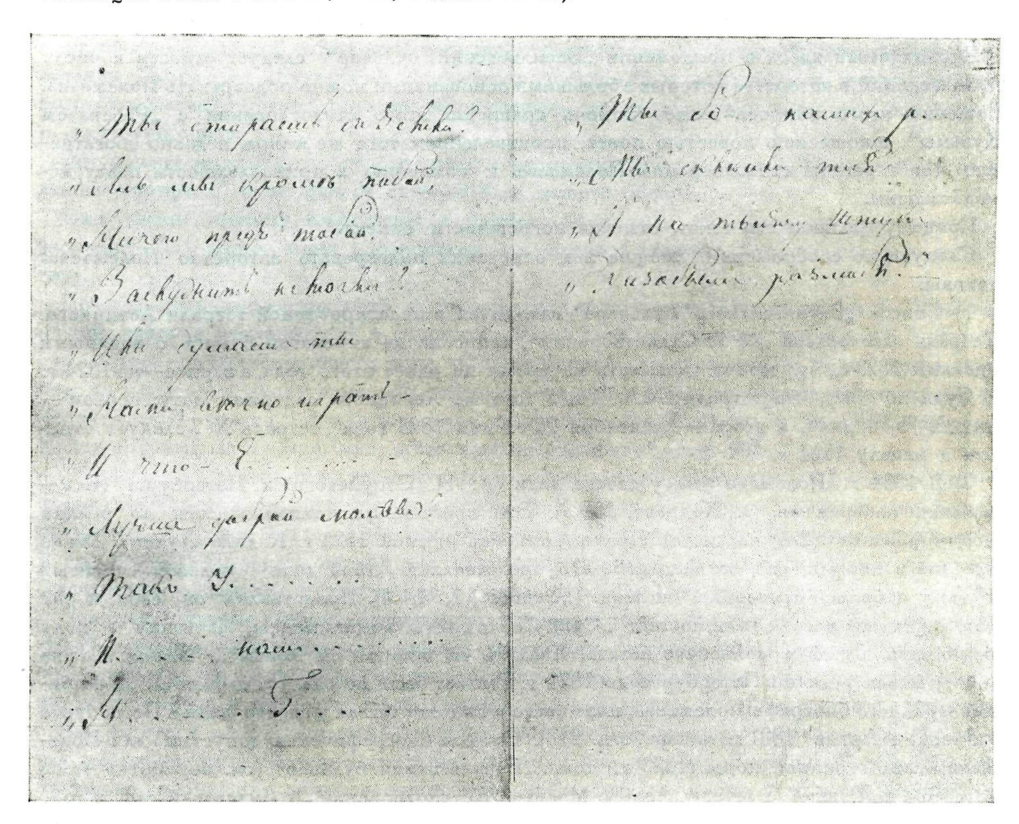
(Напечатано в „Невском Альбоме Бобылева", Пб., 1839, стр. 117 с пометой: 1836 и подписью: А. Полежаев).

2. „Глаголом совести нещадной..."

3. „Где ты, души моей богиня".

4. „Добрый витязь, скинь шелом".

(2, 3 и 4 стихи напечатаны в песеннике „Северная Лютня. Майский подарок любительницам пения". Москва, 1833, подпись А. П.).



СТРАНИЦЫ АВТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ ПОЛЕЖАЕВА, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ДРУГУ ПОЭТА А. П. ЛОЗОВСКОМУ

Стихотворение «Опять нечто». (Ай, ахти! Ох, ура!..), стихи 35—49

Институт Русской Литературы, Ленинград

5. „Немного светлых дней" („Отрывок").

(Напечатано в издании „Орел" 1859 г.).

Сюда следует присоединить приписываемые Полежаеву:

6. „Не слышно шума городского" („Узник").

(Напечатано в „Русской потаенной литературе" Н. Огарева. Лондон, 1861. Приписывалось К. Ф. Рылееву, Глинке и Полежаеву).

7. „Фонарь" („Друзья, не лучше ли на место фонаря") — эпиграмма эта напечатана в „Русской потаенной литературе" Н. Огарева. Лондон, 1871. В. Я. Брюсов напечатал ее в числе сомнительных стихотворений Пушкина.

Наиболее достоверным следует признать отрывок „страшного" стихотворения Полежаева под названием.

8. „К сивухе" („Когда уж в вечность преселюся") (первое указание принадлежит

Герцену), приведенный в статье В. Е. Якушкина („Вестник Европы" 1897 г., кн. VI, стр. 729).

В результате обследования большого числа альбомов и рукописей, содержащих современные Полежаеву записи стихов, из числа подписанных „Полежаев" обнаружены только два стихотворения; в которых можно подозревать авторство поэта:

9. „Не вверяйся, друг мой, счастью",

10. „Приди к ней поутру, когда пробуждена".

Некоторые эротические и порнографические стихотворения приписываются Полежаеву неосновательно; бесспорно принадлежащими ему следует признать лишь стихотворения, сохранившиеся в архиве университетского товарища Полежаева, литератора и переводчика Ф. А. Кони—стихотворения 1) „Дженни" и 2) „Калипсо".

Публикуемый здесь в приложении „Васильевский бульвар" следует отнести к числу произведений, в авторстве которых с большими основаниями можно подозревать Полежаева. Решению этого вопроса может помочь сравнение этого стихотворения с „Рассказом Кузьмы", юношескою повестью поэта, произведением того же жанра, недавно обогатившим текст ранних стихотворений Полежаева и сомнению в принадлежности поэту неподлежащим.

Привожу целиком его текст, отмечая погрешности списка.

Следующие соображения, дающие нам основания подозревать авторство Полежаева, таковы:

1) Список „Васильевского бульвара" находится в недатированной тетради Левицкого. Тетрадь озаглавлена „№ 7. Стихотворения", написана на синеватой бумаге с водяными знаками 1823 г., что может указывать на время не ранее этого года, а вернее—на 1824 г.

Судя по тому, что тетради №№ 4 и 5 того же Левицкого содержат дату: первая — „июня 25-го дня", а вторая—„сентября 20-го дня 1823 года", тетрадь № 7 следует отнести к началу 1824 г.

2) В 1824 г. Полежаев был у своего дяди (А. Н. Струйского) в Петербурге (Семеновская набережная, д. Ходнева, № 3). Это пребывание устанавливается по реалии поэмы „Сашка" (2-й части ее). Поэма написана весной 1825 г. К дяде студент Сашка едет не в первый раз, он ясно себе его представляет: „Мой дядя — человек сердитый И тьму я браней претерплю" и т. д. („Сашка", 1, 1—4). Представлял он себе и ряд падающих на него обязанностей: „Супруге строить комплименты, Платочки с полу поднимать, Детей в колясочке катать, Хвалить ей шляпки ее, ленты"... Вывод: Сашка (поэт) бывал у дяди в Петербурге до 1824 г. и может быть не раз. По словам Д. Д. Рябинина, раннего биографа Полежаева, поэт часто и подолгу бывал у своего дяди в Петербурге („Русский Архив" 1881 г., январь, стр. 316). Отсюда биографически допустима для Полежаева самой ранней поры (1823 г.) тема: „Васильевский бульвар" (см. обработку темы бульвара в „Сашке", в шутке „День в Москве", в стихотворении „Кремлевский сад" и др.).

3) „Васильевский бульвар" принадлежит к тому же опыту юноши-поэта; это такая же жанровая картинка, в которой описательные мотивы занимают исключительное место в отличие от „Рассказа Кузьмы", где на первое место выступает уже разговорная речь— бойкая, непринужденная. Хронологически „Васильевский бульвар" 1823/24 г. — ранний стихотворный опыт Полежаева—предшествует родственной повести „Рассказ Кузьмы", датированной 7 июня 1825 г., и представляет таким образом начальный этап в поэтическом опыте Полежаева.

4) Стилевое тождество „Васильевского бульвара" и „Рассказа Кузьмы" многообразно. Соответствия лексические, синтаксические и семантические многочисленны и их соседство, смежность, родственные комбинации поразительны.

Перечисленные основания делают нашу гипотезу об авторстве Полежаева в отношении стихотворения „Васильевский бульвар" весьма вероятной. Однако утверждать это категорически преждевременно. Время и дальнейшие исследования может быть подтвердят справедливость сделанных выводов.

* * *

В 1915 г. в архиве Московской цензуры была найдена А. Дуниным огромная тетрадь стихотворений под общим названием „Рукописи из зеленого портфеля". Ряд сообра-

жений привел его к заключению, что автор стихотворений — Полежаев. Насколько основательны были эти соображения, можно видеть из приводимых аргументов: 1. Стихотворения внесены как полежаевские в канцелярские книги Московской цензуры. 2. Их доставил в Московскую цензуру, как видно из надписи на рукописи, тот же А. Ушаков, который через несколько дней доставил в цензуру поэму Полежаева „Царь охоты“. 3. Стихотворения отличает „мрачная философия“.

Как это ни странно, но редакция „Русских Записок“, куда принес А. Дунин свою находку, видимо признала эти аргументы убедительными. Редакция отнеслась к вопросу о литературном наследстве Полежаева без достаточной критики, принадлежность ему „Рукописей из зеленого портфеля“ была решена сплеча: 53 „новых“ стихорения Полежаева было напечатано в июньском и июльском номерах „Русских Записок“ за 1915 г.

За восемнадцать лет никто не позаботился решительно опровергнуть законность присвоения Полежаеву „Рукописей из зеленого портфеля“ и выступить в защиту „истинного Полежаева“ против попытки загромоздить его наследство и затемнить его четкий поэтический образ.

Вот почему сжатой и по необходимости укороченной экспертизе „Рукописей из зеленого портфеля“ посвящается одна из глав нашего обзора.

Она уяснит, почему вышедшим в издании „Academia“ последним собранием стихотворений Полежаева текст „Рукописей из зеленого портфеля“ категорически отвергнут.

Прежде всего миросозерцание и поэтическая философема Полежаева резко отлична от той, которая раскрывается в сборнике „Рукописей из зеленого портфеля“. Творчество автора—рефлексирующего типа. Общие вопросы его занимают более всего, при чем не чужд он и дидактизма. Он отторгнут от земли и весь во власти медитативной и серафической поэзии. Земля его мало интересует „душа парит к далеким небесам Полет орлиный дайте мне, мне дайте крылья серафима“ (стр. 90).

„Рукописи из зеленого портфеля“ полны мечтательной религиозности. Грустная философия, смягченная небесными упованиями, философия смирения, сознание своей порочности, ожидание будущей жизни—лейтмотив „Рукописей из зеленого портфеля“. В их авторе угадывается натура пассивная, склонная к резиньяции, и это получает естественное отражение и выражение в ритме, композиции и фразеологии.

Полежаев—натура глубоко отличная от натуры автора „Рукописей из зеленого портфеля“, активная, эмоциональная, чуждая рефлексии, мужественная посреди страданий, внутренне бодрая. Динамическое начало объективно фиксируется на четкости и правильности ямбов и анапеста, в замедлениях хорея и других особенностях его ритмики.

Вместо этого в „Рукописях из зеленого портфеля“ находим глубоко чуждое Полежаеву смирение, непротивление, пиэтическое ожидание загробной жизни. В его поэзии ничтожно количество образов конкретных, реальных, существ и лиц вещественного мира.

Между тем в лирике Полежаева, напротив, отражается на всех этапах собственное бытие, реальная обстановка.

Художественные принципы, формирующие словесный материал в „Рукописях из зеленого портфеля“ и у Полежаева, резко расходятся. Поэтический стиль Полежаева при всей самостоятельности и оригинальности все же значительно ближе к Пушкину, чем стиль автора „Рукописей из зеленого портфеля“.

Надо отметить еще факт полного отсутствия юмора и шуточного элемента в стихотворениях „Рукописей из зеленого портфеля“; нигде на протяжении 111 страниц автор сборника не развеселит шуткой: его лирика серьезна и сосредоточена.

Между тем каждый читатель Полежаева знает, сколь характерна для поэта шутка, юмор, а иногда напряженная веселость. Еще в „Сашке“ он писал:

Не для славы
Для забавы
Я пишу!
Одобренья
И сужденья

Не прошу!
Пусть кто хочет,
Тот хохочет. („Сашка“, стр. 295)

Шутка и юмор сопутствовали ему во все дни его тяжелой жизни. Свой юмор, веселость он метко называл „минутной резвостью“ (стр. 212). Он отстаивал право поэта на шуточное отступление в поэме:

Ужели день и ночь для славы
Я должен голову ломать,
А для младенческой забавы
И двух стихов не написать? (Стр. 449).

Иногда просил извинения у читателя:

Простите, милые друзья,
Когда за важностью рассказа
Всегда родится у меня
Некстати шутка и проказа. (Стр. 448).

Отсутствие в „Рукописях из зеленого портфели“ малейшего штриха юмора, веселости, шутки составляет неоспоримый отрицательный признак в деле установления автора.

Найденная А. Дуниным рукопись не поступила ни в одно из книгохранилищ. Описание Дунина послужило, естественно, отправным пунктом наших библиографических разысканий.

„Рукописи из зеленого портфеля“ были представлены в цензуру в двух частях, из которых лишь первая была одобрена, что и получило отражение в надписи на первом листе второй части: „первая отпечатана“. Вторая же, которую и опубликовал Дунин („Русские Записки“ 1915 г., № 6, стр. 83—107 и № 7, стр. 202—220), была по его словам цензурою причислена к запрещенным, что в свою очередь явствует из записей журнала заседаний: „Стихотворения А. Полежаева „Рукописи из зеленого портфеля“. Вторую часть в виду неблагонамеренного направления оставить без одобрения“.

Считая маловероятным, чтобы рукопись однажды разрешенная к печати не была своевременно напечатана, мы начали библиографические разыскания. И действительно в „Росписи книгам Смирдина“ нам удалось найти помеченной в отделе стихотворений книгу: „Рукописи из зеленого портфеля“, 1. Москва. Типография Августа Семена. 1836 г. Цена 1 р.“ Однако здесь, так же как и на рукописи, вопреки ожиданиям Дунина, автор не был обозначен.

В 22-м томе „Библиотеки для чтения“ О. И. Сенковского (1836) в отделе „Книжная Летопись“ нашлась и рецензия на книгу: „Рукописи из зеленого портфеля“, Москва. В типографии Семена. 1836 г., в 8-ую долю листа, стр. 182, часть 1-я“. Рецензия занимает одну страницу. Некоторые индивидуальные признаки выдают перо самого О. И. Сенковского. Барон Брамбеус не называет автора, который так и остается анонимом, впрочем рецензент подозревает в нем „жителя черноморских бурьянов и эвксинских мутных вод“.

В книге 182 страницы, 100 с лишним стихотворений, чем, во-первых, опровергается домысел Дунина в части толкования цензурной пометы о якобы девятнадцати стихотворениях первой части „Рукописи из зеленого портфеля“ („Русские Записки“ 1915 г., № 6, стр. 83—107 и № 7, стр. 202—220), во-вторых, устанавливается факт напечатания первой части „Рукописей из зеленого портфеля“ в 1836 г., в-третьих, отсюда же делается ясным, что хлопоты о разрешении книги начались раньше, а отнюдь не одновременно со второю частью, представленной в июле 1837 г., и, наконец, в-четвертых, что, вопреки предположению Дунина, и первая часть „Рукописей из зеленого портфеля“ была анонимная. Экземпляр книги имеется в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде.

Разве не представляется странным, что „славы жадный“, как себя не раз именует Полежаев в автохарактеристиках, всегда мечтавший „сойдя к отцам вослед других остаться в памяти иных“ (стр. 426—427), по необъяснимой прихоти и наперекор своему обыкновению выпускает, и притом в пору снятия запрета с его имени, анонимный сборник стихотворений?

Группа стихотворений, разбросанных вдоль сборника „Рукописи из зеленого портфеля“, ч. 1-я, связана с Одессой (см. стих. „Траянов вал“ (212), „Овидию“ (208)

„Амазонка“ (206), „Юбилей Одессы“ (132), „Кладбище в Одессе“ (213) и некоторые другие).

Стихотворение „Юбилей Одессы“ имеет прямое указание и хронологическую дату— „юбилею сорок лет“. Порт Хаджи-Бей переименован в Одессу указом 27 мая 1794 г. Стихотворение написано очевидцем торжеств юбилея 27 мая 1834 г. Вся же группа стихотворений предполагает достаточно длительное пребывание в Одессе в 1834 г., по меньшей мере в течение весны и лета.

В биографии Полежаева следует признать ряд неясностей, имеются и прямые провалы и пустоты. Известно, что, будучи поднадзорным рядовым и унтер-офицером, поэт несколько раз предпринимал побеги, самовольно отлучался от роты и полка, за что терпел дисциплинарные взыскания, крушения, а один раз, незадолго до смерти, а может быть и не один —телесное наказание. Следует отметить, что взыскания не вносились в его формулярный список, что преграждало бы ему путь к офицерскому чину. С другой стороны, некоторые полковые командиры увольняли поэта в неофициальный отпуск. И при всем том длительного путешествия поэта в Одессу предположить нет возможности. В 1834 г. поэт в Одессе быть не мог. 1834 год является годом наилучше освещенным в биографии Полежаева, он наилучше представлен фактами и документами. Тарутинский егерский полк, куда был переведен Полежаев 1 октября 1833 г., до середины июля 1834 г. был расквартирован в г. Зарайске, Рязанской губернии („Расположение армии и отдельных корпусов в 1834 году,“ офиц. изд.), а с середины июля в г. Жиздре, Калужской губернии (Сведения Лефортовского военного архива).

РУКОПИСИ

ИЗЪ

ЗЕЛЕНАГО ПОРТФЕЛЯ.

I.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА.

При Императорской Медико-Хирургической Академіи.

1836.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ «РУКОПИСЕЙ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ПОРТФЕЛЯ».

С конца июня по средину июля 1834 г. поэт гостит в подмосковном селе Ильинском в семье И. П. Бибикова, некогда предавшего его в руки III Отделения и затем в 1834 г, горячо, но безуспешно за него хлопотавшего.

Воспоминания о Полежаеве дочери И. П. Бибикова Е. И. Бибиковой (псевдоним „Старушка из степи".—„Русский Архив" 1882 г., кн. 6, стр. 233—243) отчетливо устанавливают alibi Полежаева. В Одессе ни в период юбилея, ни раньше, ни позже поэт не был. Первую половину июля он провел в Ильинском, и в июне И. П. Бибиков пишет о нем семье из Зарайска. Воспоминания „Старушки из степи" писаны ею на склоне лет, но предположить хронологическую неточность или запамятование нет оснований: Полежаев был в ее жизни фактом слишком значительным, о последнем живо свидетельствует каждая строчка редких по теплоте и искренности ее воспоминаний.

Нашего вывода ни на минуту не колеблет наличие в „Одесском Вестнике" 1833 и 1834 гг. напечатанных нескольких стихотворений Полежаева. Здесь нет ни одного стихотворения из числа „Рукописей из зеленого портфеля". Все они—из числа известных по сборнику „Кальян" стихотворений. Они без сомнения были присланы поэтом или другом его А. П. Лозовским редактору М. Розбергу.

После пребывания в Ильинском поэт в полк не явился. „На нашу квартиру (в Москве.—*В. Б.*) явился фельдфебель, чтобы отыскать беглеца. Как и когда он исчез, я никогда не узнала", читаем в тех же воспоминаниях Бибиковой. Но и в этот период он не мог быть в Одессе. Одесские стихотворения „Рукописей из зеленого портфеля" носят все черты спокойного безмятежного пребывания, ничем не выдавая тревоги укрывающегося беглеца.

Тарутинский егерский полк после июля 1834 г. был расположен в г. Жиздре, Калужской губернии, а также имел временное расположение в Москве на зимних квартирах в селениях близ Ходынского поля. Отсюда очевидно и был прислан фельдфебель за беглецом. Пребывание поэта в Жиздринском уезде кроме документальных данных о расположении полка („Расположение армий и отдельных корпусов", офиц. изд.) устанавливается двумя стихотворениями из автографического сборника стихотворений Полежаева (находится в ИРЛИ, бывш. Пушкинский дом): „Нечто о двух братьях князьях Львовых" („Кто знает в Жиздринском уезде"...) и „Село Печки, принадлежащее тринадцати помещикам". Оба стихотворения содержат географическое, а через это и хронологическое указание. Черты военного быта и солдатского сознания чередуются с прямыми реалиями тягостной двенадцатилетней солдатчины Полежаева:

От стальных тесаков
У нас спины трещат,
От учебных шагов
У нас ноги болят.
День и ночь наподряд,
Как волов наповал,
Бьют и мучат солдат
Офицер и капрал.
Что же, белый отец,
Своих черных овец
Ты стираешь с земли?
Иль мы кроме побой
Ничего пред тобой
Заслужить не могли? („Ай, ахти! Ох, ура", стр. 261).

На протяжении обеих частей „Рукописей из зеленого портфеля" нигде военное ил солдатское сознание в той или иной форме не выступает. Между тем немыслимо пред положить, чтобы четырехлетний тяжелый опыт участия поэта в кровавой кавказской колонизационной войне не отразился в двух книгах стихов как отзвук богатых впечатлениями ушедших годов.

В связи с разысканиями „Рукописей из зеленого портфеля" по указанию И. Н. Розанова нами найден сборник стихотворений „Встреча старого времени с новым". Москва,

1860. В типографии Александра Семена". На последней странице после оглавления— ссылка: „От издателя". „Стихотворения, отмеченные звездочкой в оглавлении, напечатаны с небольшим изменением вторым изданием. Первое издание их—„Рукописи из зеленого портфеля". Москва, 1836 в типографии Августа Семена".

Сборник содержит несколько страниц художественной прозы и 214 страниц стихотворений, в громадном большинстве заимствованных из 1 й части „Рукописей из зеленого портфеля". Сборник представляет собой второе издание первого. Несколько стихотворений — переработанные стихотворения 2-й части „Рукописей из зеленого портфеля". Так в стихотворении XXIII „Говорил он: Когда заблестит..." нетрудно узнать стихотворение „Свидание" („Русские Записки" 1915 г., VI, стр. 89), а в стихотворении XXII—стихотворение „Жертва" (стр. 106); с некоторыми изменениями и в укороченной редакции нашло себе место в сборнике старое стихотворение „Июня 3-го" („Рукописи из зеленого портфеля", стр. 86); его узнаем мы в стихотворении XII „Минута есть, но в жизни этой".

Варианты приводят к выводу, что неизвестный поэт, автор трех сборников: „Рукописей из зеленого портфеля", изданной части 1-й, неизданной (запрещенной цензурой и напечатанной Дуниным) и, наконец, „Встречи старого времени с новым" (М., 1860), в последнем сборнике переработал ранние свои стихотворения и присоединил к ним в виде предисловия отрывок художественной прозы.

В этом позднейшем переиздании стихотворений молодых лет — разгадка непонятного заглавия сборника: „Встреча старого времени с новым".

Многочисленные реалии стихотворений последнего сборника настолько существенно противоречат фактам биографии Полежаева, что не оставляют и малейшего сомнения в ошибочности гипотезы Дунина и в безусловной принадлежности всех трех сборников другому поэту.

Стихотворение XXV „Дремлется в сумерки сладко"—отражение жизни семьянина и горькой утраты ребенка.

На тернистом пути Полежаева, доступного многим утратам, подобной утраты быть не могло.

В авторе прозы, предпосланной сборнику, нетрудно установить знакомство с ближним Востоком (Турция, Черноморье, Бессарабия, Румыния). Опыт и осведомленность Полежаева—в других географических пределах.

Не ставя себе задачей решение вопроса, кто же истинный автор книг, опрометчиво приписанных Полежаеву, настоящий опыт экспертизы автора категорически отвергает авторство Полежаева.

III. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БИОГРАФИИ ПОЛЕЖАЕВА

Прямых документов, устанавливающих точную дату рождения поэта, повидимому не сохранилось. В этом пункте его биографии одни архивные документы конфликтуют с другими. Противоречат например данные Московского университета данным послужных военных списков.

Так в 1820 г., при поступлении в университет, ему показано пятнадцать лет, в 1829 г. в формулярном списке показано 22 года, а в другом позднейшем формулярном списке, составленном в 1837 г. при представлении его к производству в первый офицерский чин, показано 28 лет. Эти документы не уясняют вопроса о годе его рождения, относя его таким образом ко времени между 1805 и 1809 гг. Наиболее достоверною датой следует признать 1805 г.; в датах формулярных военных списков в одних возраст Полежаева преуменьшен, в других—списан с раз установленного подлинника.

Не сохранилось также прямых документов времени детства Полежаева. Тщательно просмотренные исповедные книги ближайшей к с. Покрышкину церкви села Михайловки, а также исповедных книг г. Саранска результатов не дали.

Однако если отсутствуют прямые документальные данные, то разыскания все-таки дали ряд косвенных, которыми значительно и ярко характеризуются его природный отец (юридическим был И. И. Полежаев) Леонтий Николаевич Струйский и та социальная среда, в которой ребенок получил первые впечатления бытия. До нас дошло

несколько характерных записей в метрических и исповедных книгах сел Михайловки (Покрышкинского прихода) и Рузаевки. Эти записи сыграли известную роль в установлении нами реального существования матери поэта Аграфены Ивановны. Благодаря им жизнь Аграфены и ее семьи, матери и сестер устанавливается следующими документами:

1. Многочисленные записи в исповедных книгах рузаевской церкви устанавливают среди дворовых людей А. П. Струйской существование дворовой солдатки Гликерии Ильиной, с дочерьми Аграфеной, Анной и Елизаветой. Мужа Гликерии Ильиной отдают в рекруты около 1800 г., после чего она значится в записях солдаткой.

2. Весной (на страстной неделе) 1804 г. она значится „присутствующей у исповеди и святого причастия". Несколькими строчками выше, вместе с матерью своей А. П. Струйской, значится и отец Полежаева—Леонтий Струйский (исповедная книга одноштатной Троицкой церкви за 1804 г.).

3. 15 января 1805 г. Аграфена Иванова, уже в качестве „вольноотпущенной за честное поведение", повенчана с Иваном Ивановичем Полежаевым, „купецким отроком, прихожанином г. Саранска Спасова собора". Запись в книге о родившихся, брачущихся и умерших рузаевской одноштатной Троицкой церкви.

4. 19 января того же года отпускная (вольная) Аграфены Полежаевой внесена в книгу нотариальных актов Саранского уездного суда. Здесь она вписана в „Вотчинную записную книгу в продаже вотчинных земель с людьми и крестьянами и в закладе вотчинных крестьян без земли" за 1805 г. (стр. 4, 5 за № 8 от 19 января).

5. Церковная запись о смерти матери поэта Полежаевой Аграфены Ивановой: „2-го июня деревни Покрышкина находящаяся у родственницы родной своей сестры Анны Ивановой Саранского купецкого сына Ивана Ивановича Полежаева жена Аграфена Иванова двадцати восьми лет смертью натуральною, погребена приходским священником о. Квитницким на сельском погосте" (книга о родившихся, брачущихся и умерших села Михайловки за 1810 г.).

6. Мать Аграфены, бабка Полежаева по крестьянской линии Гликерия Ильина, умирает в том же году (книга о родившихся, брачущихся и умерших села Рузаевки за 1810 г.).

В деле направления архивных разысканий большое ориентировочное значение следует признать за устною традицией. Несомненно, что уголовная хроника Л. Н. Струйского и дикий крепостнический быт запечатлел в памяти крестьян несколько семейных преданий, которые хранятся целым рядом поколений. Ставя себе целью обследование документации Полежаевых и Струйских, в настоящем обзоре приходится ограничиться лишь следующим указанием: опрос стариков, старожилов Покрышкина, сопоставление записи рассказа сторожа Шигелова, сделанной в Покрышкине в 1861 г. Л. И. Поливановым, и наблюдение за церковными записями приводит к заключению, что кровавая драма, разыгравшаяся в Покрышкине в 1816 г.,—быть может лишь эпилог темной крепостнической хроники Леонтия Струйского[4].

Устная крестьянская традиция считает Аграфену Полежаеву погибшею насильственной смертью.

Прямых сведений о пребывании Полежаева в пансионе швейцарца Визара не сохранилось, но данные для характеристики его пансиона в ближайшие годы сохранены архивом Московского университета. Совет Московского университета периодически ревизовал состояние московских школ и частных пансионов. Сведения о пансионе Визар[д]а содержат:

1) Визитаторский отчет о приходских училищах и пансионах в Москве 1821 г., № 37 профессоров Гейма, Двигубского, Мерзлякова и Болдырева, обозревавших училища московские.

2) Визитаторский отчет профессоров Цветаева, Болдырева и Чумакова по назначению Совета об учебных заведениях, находящихся в Москве в 1822 г., № 34.

3) Регистрация могилы Жана Эли Визар[д]а (1765—1828) на иноверческом кладбище на Введенских горах („Московский Некрополь", Пб., 1907, т. I).

В архиве Московского университета документация жизни Полежаева представлена двумя делами университетского правления:

ПОРТРЕТ ДЕКАБРИСТА А. РЫНКЕВИЧА, ПРИЛОЖЕННЫЙ В КАЧЕСТВЕ ПОРТРЕТА ПОЛЕЖАЕВА К СОБРАНИЮ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗД. 1892 г.



1) № 481 по 2-му столу дело об Александре Полежаеве. Здесь находится его прошенее от 30 сентября 1820 г., писанное чужой рукой, но подписанное Полежаевым. К прошению приложено увольнительное свидетельство, выданное саранским мещанским обществом. Увольнительное свидетельство устанавливает точно год рождения Полежаева: в 1820 г. ему значится 15 лет, что позволяет считать годом его рождения 1805 г. Последнее обстоятельство особенно важно, потому что метрическая запись о его рождении осталась неразысканной. Там же находятся

2) Документы о временном его, Полежаева, увольнении по прошению, вызванному неясными „встретившимися обстоятельствами".

3) В дневных записках университетского совета (14/VII 1826 г., статья 9), стр. 603, 621, 622 имеется суждение о прошении трех вольных слушателей.

Данные о социальном составе студентов Московского университета времени ближайшего к пребыванию в университете Полежаева находятся в деле правления университета за 1827 г., № 189 „О подчинении своекоштных студентов городской полиции".

Кроме дел, касающихся самого Полежаева, архив Московского университета включает в образцовом порядке дела большого числа товарищей Полежаева.

Отставной полковник и рязанский помещик Иван Петрович Бибиков сыграл в жизни Полежаева большую роль. Родственник А. Х. Бенкендорфа (по жене) он в 1826 г. привлекается им к службе в корпусе жандармов и III Отделении. Анонимным доносом Бибиков указывает и предает Полежаева гневу торжествующего победу царя.

Донос губит Полежаева.

Главные источники сведений о Бибикове, его деятельности и прочем сообщаю ниже на стр. 316—317.

Двенадцать лет военной службы Полежаева отложились в делах военных архивов, в числе которых первое место занимает Лефортовский военно-исторический архив. Основным делом о Полежаеве следует считать:

1. „Дело об уволенном из студентов с чином 12-го класса Полежаеве, определенном в Бутырский пехотный полк унтер-офицером. Началось 28 июля 1826 г., кончено 9 августа 1828 г. на 38 листах“ (Лефорт. военно-исторический архив, 1826, св. 102, к. 77).

Первая бумага в деле—анонимный (И. П. Бибикова) донос на Московский университет и Полежаева, с иллюстрирующими его отрывками из поэмы Полежаева „Сашка“. Этот именно донос и имел следствием арест и известный допрос Николаем Полежаева.

Далее следует вся переписка военных учреждений и инстанций, по которым передавался арестованный поэт до того момента, когда после личного допроса Николаем он был наконец водворен унтер-офицером при учебной команде Бутырского пехотного полка в Хорошевском лагере под Москвой в распоряжение командира полка полковника Дурова. В этой же папке следует переписка по вопросу, в чем нуждается уволенный студент Полежаев, закончившаяся отпуском ему из комнатных сумм 160 р. 24 к. на построение обмундирования со следующей далее сметой необходимых на это расходов.

Группу однородных рапортов командира полка полковника Дурова составляют ежемесячные донесения его в Главный штаб о поведении „назначенного по высочайшему повелению“ студента Полежаева. Обычная их форма дает колебание в своей устойчивости лишь в июньском рапорте, а в рапорте от 16 июня полковник сообщает о первом побеге Полежаева.

Кроме указанных рапортов полковника Дурова побег Полежаева составляет особое военно-судное дело.

Дело по отношению Аудиториатского департамента о разжалованном из унтер-офицеров в рядовые Полежаеве решено 13 сентября на 8 листах, № 1584, II отд., 2 стола Инспекторского департамента, 1827 г., св. 652 (№ 12513).

При обыске в помещении бежавшего унтер-офицера Полежаева была обнаружена переписка его с отцом, черновик покаянного письма к дяде в Петербург, собственные Полежаева и чужие стихи. При рапорте полковника Дурова, командира Бутырского полка, все было отправлено начальнику Главного штаба (№ 1228 от 16/VI 1827).

В Ленинградском отделении Центрархива имеется дело 1827/28 г. по конфирмации приговора об унтер-офицере Бутырского пехотного полка А. И. Полежаеве, сужденном за самовольную отлучку от полка; сюда включена полная копия военно-судного дела, произведенного о Полежаеве в комиссии военного суда при Бутырском полку. В последнем имеется копия рапорта полковника Дурова от 17 июня 1827 г. за № 1228, при котором препровождались письма, найденные в квартире Полежаева после его отлучки (письма к отцу в Сибирь и черновое (покаянное) письмо к дяде в Петербург). Писем в подлинниках или копиях к делу не приложено и из переписки видно, что они были признаны не заключающими в себе ничего важного и 2/VII того же года возвращены дежурным генералом полковнику Дурову обратно.

В деле кроме рапорта: три показания Полежаева, врачебное его свидетельство, формулярный список, отзывы начальников о его службе и поведении, показания свидетелей, выписка из дела и сентенция суда, мнение командира полка полковника Дурова и окончательная конфирмация приговора.

(Фонд Аудиториатского департамента Военного министерства. Дело по разн. предметам, I отд., 2 стола, св. 9, № 31.)

Вряд ли можно надеяться на сохранение этих писем полковым архивом. Вероятно они были возвращены поэту обратно.

Впрочем в деле есть прямое указание (оборот листа 9-го): „уведомляю Ваше Высокоблагородие, что возвращенные при сем повелении принадлежащие унтер-офицеру Полежаеву письма, как не заключающие в себе ничего важного до дела касающегося, оставлены при полковых делах“.

Об этом приходится пожалеть, так как переписка с отцом, а также и черновик покаянного письма к дяде Александру Николаевичу много способствовали бы уяснению их взаимоотношений.

„Высочайшее повеление" было объявлено в рапорте начальника Главного штаба к главнокомандующему от 1827 г. за № 2273.

Второе судное дело Полежаева возникло в 1828 г. Оно вписано в его формулярный список следующим образом: „В 1828 г. судим за отлучку из роты, пьянство и произношение фельдфебелю непристойных слов и ругательств по конфирмации начальника сводной дивизии ген.-лейт. Набокова в 17 день декабря 1828 г., № 635, что хотя подлежал бы за сие к прогнанию шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом, прощен без наказания с переводом в сей Московский пехотный полк".

Этот период (1827—1829 гг.) отражен в архивах лишь приведенной выше выпиской в послужном списке, да указанием на уничтожение штрафа по „высочайшему" повелению и на хранение переписки „в конце [дела?] Бородинского пехотного полка" (II отделения, 4 стола, 1831 г., № 1114).

Где находится второе судное дело о Полежаеве 1828 г. — установить не удалось, возможно, что оно затеряно в делах дивизионного архива.

К этому времени относится привлечение поэта по обвинению в участии в „преступном обществе, имевшем целью введение в России конституции". Обвинение явилось вследствие установленного общения поэта с кружком разночинной молодежи, где главная роль принадлежала братьям Михаилу, Василию и Петру Критским, которые учились одновременно с Полежаевым в Московском университете, но на нравственно-политическом отделении. Участие Полежаева в радикальных студенческих кружках не разработано в биографическом очерке по отсутствию документальных данных. Однако косвенные сведения могут подтвердить несомненность участия его в этих ранних революционных кружках едва начавшего себя сознавать разночинства.

Значительный материал, дающий сведения о связях Полежаева с этими кружками, находится в Архиве Революции в так называемом „Деле братьев Критских", точнее это—„Дело по донесению штабс-капитана Бодана и прапорщика Ковалевского о злоумышленном тайном обществе в Москве 1827 г." III Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии, 1 экспедиция, № 269.

Первое указание на причастность бывшего студента Полежаева находим здесь в письме А. А. Волкова к А. Х. Бенкендорфу от 14/IX 1827 г.

Лист 32-й б этого дела содержит ответы, данные Полежаевым по вопросу „о дерзновеннейших стихах, ему приписанных".

Братья Критские были сверстниками Полежаева, поступили в Московский университет в 1823 г., окончили его в 1827 г., учились на нравственно-политическом отделении. Участь всех трех братьев была типична для первых ростков революционного разночинства. Василий Критский, студент Московского университета, заключенный в 1828 г. „за вольномыслие" в Шлиссельбург, умер там 21 мая 1831 г. „от изнурительной лихорадки". Михаил Критский и Николай Попов содержались в 1833 г. в Соловецком монастыре. Первый после 8 лет заключения отправлен на Кавказ рядовым 5-го Черноморского батальона и убит в сражении с лезгинами.

В январе 1829 г. выступила на Кавказ 14-я дивизия. В ее составе — Московский пехотный полк, где Полежаев служил рядовым первого батальона.

Официальные сведения в „Расположении армии и отдельных корпусов за 1829 и 1830 гг." дают возможность установить точный маршрут Московского пехотного полка.

9 января 1829 г. г. Москва; 12 янв. на марше г. Подольск; 17 янв. г. Алексин; 22 янв. на марше г. Серпухов; 31 янв. на марше г. Одоев; 1 февраля штаб-квартира полка на марше Тульской губернии, село Богдановское; 4 февр. на марше г. Белев; 5 февр. г. Болхов; 1 марта Орловск. губ. г. Болхов; 12 февр. г. Карачев; 15 февр. г. Болхов; 1 апреля на марше Орловской губ. г. Брянск; 4 апр. г. Карачев; 10 апр. на марше г. Орел; 18 апр. г. Ливны; 23 апр. Землянск; 26 апр. г. Воронеж; 1 мая на марше ст. Яблочной и Норец; 6 мая Павловского уезда, слобода Михайлова; 30 мая

г. Новочеркасск; 31 *мая на марше* станица Махинская; 1 *июня на марше* станица Кагальницкая; 5 июня станица Нижне-Егорлыцкая; 19 июня г. Ставрополь; 25 июня Кавказской области, Георгиевского уезда станица Горячеводская; 1 авг. станица Горячеводская, с 1-го сентября
1 октября
1 декабря } заштатный город Александров.
1 января 1830 г.

В Архиве Истории Революции в фонде III Отделения за 1829 г. имеется дело:

№ 75-й

1-й экспедиции
Архив
III Отделения
Собств. Е. И. В. канцелярии
О Московском университете и о стихах, приписываемых
студенту Полежаеву
на 19 лл.
Т. о. 1 экспед.
75/1829

Дело возникло после ухода 14-й дивизии на Кавказ, что избавило поэта от многих неприятностей.

Возглавляется дело отношением А. Х. Бенкендорфа к А. А. Волкову:

№ 313 Секретно

Милостивый Государь
Александр Александрович!

Препровождая при сем для соображения к Вашему Превосходительству доставленную мне записку о Московском Университете с приложением стихов, приписываемых бывшему студенту оного Университета Полежаеву имею честь быть с истинным почтением и совершенной преданностью

Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
Подпись: А. Бенкендорф
верно: Экспедитор Феодор

№ 625
9 февраль
Его Превосходительству А. А. Волкову

Карандашная надпись
„От Шервуда":

„Благодетельное правительство наше, обращая непрестанно бдительное внимание на все средства и способы, служащие к благосостоянию народному, во всех своих действиях и предположениях обнаруживает ясно сию высокую цель.

Не смея входить в подробное рассуждение о влиянии, которое имеет просвещение, воспитание юношества и направление его образа мыслей и духа на благосостояние каждого государства, ограничиваюсь токмо некоторыми по сему предмету замечаниями, которые по исследованию и наблюдению правительства могут принятием надлежащих мер к пресечению зла принести существенную пользу.

Обращаясь от древних времен до настоящих, нельзя не убедиться в истине, что вообще просвещение, следовательно и образование юношества имело постоянно величайшее действие не токмо на нравы и характер лиц в настоящее время и грядущее потомство, но даже и на образ управления держав.

Прямое просвещение порождает порядок, устройство и следовательно водворяет общее спокойствие и благосостояние; ложное учение и мудрствование новейших философов, не освященное религией и прямыми понятиями об истине, влечет неминуемо за собою безбожие, разврат, безначалие.

Действия сего ложного учения были в наши времена, как известно, причиною величайших политических потрясений и кровопролитий. Основываясь на сих началах, нельзя не скорбеть душою, входя в исследование вообще теперешнего положения Императорского Московского Университета и направления духа учащихся в оном; заведение сие есть одно из первых, основанных в России. Известные сочинения оным изданные и многие лица, проходившие с честью государственное служение, образовавшиеся в оном, ясно доказывают, какую существенную пользу оное принесло отечеству. (Вся эта тирада (от начала) зачеркнута карандашом.)

Московский Университет, находясь постоянно под управлением начальников, известных даже в ученом свете сведениями благонамеренными, видами и собственными своими учеными произведениями, мог соревновать с первоклассными университетами в Европе. Уважение профессоров и учащихся к лицам начальствующим, внушаемое тем высоким понятиям, которое они по политическому и ученому их положению имели, преграждало путь ко всякому ухищренному ложному учению и направлению. С 1817 г. заметен стал некоторый упадок в Университете, стеснение без основания мнений, строгий надзор за исполнением одних токмо ритуалов религии, слабость к подчиненным, малое уважение к ограниченным сведениям начальствующего, народный ропот, безбожие и либерализм. Образ мыслей при таковом расположении умов естественно более сообщался и увлекал неопытных к ложным мнениям. Враги всеобщего спокойствия отечества, пользуясь всяким способом к достижению предначертанных планов, пользуясь сим направлением духа, раздували по возможности искру либерализма, гнездившуюся в сих юных сердцах. Более тысячи юношей образуются в Университете, в числе оных несомненно находились люди с пылкими чувствами и отличными способностями. Увлекаясь неудовольствием, стеснением неосновательным, подстрекаемы будучи людьми неблагонамеренными, они говорили, писали и увлекали других. Плод сего общего ропота обнаружен в писаниях не токмо учащихся, но и самые профессоры не скрывали в лекциях и сочинениях своих либеральный свой образ мыслей. Для прекращения сего начала были приняты токмо меры ничтожные: из одного факультета профессора переводились в другие, направление же духа студентов было оставлено без малейшего внимания. Сам Государь Император вынужден был обратить свое Высочайшее воззрение на нравственное состояние Университета. Редко начальствующие, следуя высокому стремлению ко общему благу Государя Императора, споспешествуют по их званию содействовать сей высокой цели. Исполнение сей благонамеренной воли остается бездейственно и ропот, происходящий от исполнителей оной, относится токмо к Государю Императору. Деятельнейшие меры к прекращению зла не токмо в настоящем виде полезны, но необходимы. Неоднократное появление стихов, сочиненных против религии, государя, отечества и нравственности, служит ясным доказательством необходимости к пресечению дальнейшего заражения".

В качестве приложения к этой записке на нескольких листах почтовой золотообрезной бумаги приложены копии семи стихотворений Полежаева: „Вечерняя заря", „Рок", „Ренегат", „Песнь ирокезца" (?), „Валтазар", „Живый (?) мертвец", „Цепи".

После текста этих стихотворений следует примечание:

„Означенные стихи, как говорят, написаны бывшим студентом Московского Университета Полежаевым, находящимся ныне в бородинском (sic!) пехотном полку рядовым, и который, как говорят, очень любим обществом офицеров; но оное требует еще исследования".

Источниками для биографии Полежаева кавказского периода служат следующие:

1. Формулярный список Полежаева 1837 г., напечатанный частично в биографической статье о Полежаеве П. А. Ефремова при издании стихотворений (Пб., 1889).

2. Воспоминание о совместной службе с Полежаевым в Кавказском корпусе артиллериста С. А. Карпова („Новые сведения об А. И. Полежаеве". — „Русский Архив" 1882 г., т. II, вып. II, стр. 471—474).

3. Автобиографические произведения А. И. Полежаева кавказского периода: поэмы-дневники: „Эрпели", „Чир-Юрт", стихотворения „Герменчугское кладбище", „Черная коса", „Мертвая голова", „Акташ-Аух", „Тарки" и пр.

4. Письмо декабриста А. А. Бестужева-Марлинского к Н. А. Полевому от 25 января 1834 г. „Русское Обозрение“ 1894 г., октябрь, стр. 833).

5. Рассказ о Полежаеве и Сюльтанет, дочери аварского хана, в книге И. Березина: „Путешествие по Дагестану и Закавказью“. Казань, 1850, 2-е изд., стр. 78—79.

6. „Список офицерам и нижним чинам, получившим награды за отличие в сражениях против чеченцев“. Инспекторского Департамента Главного Штаба II отд., 4 ст., № 11145, 22 окт. 1831 г.

7. Представление унтер-офицера Московского пехотного полка Александра Полежаева к чину прапорщика в 1832 г. (указание на это имеется в памятной записке, приложенной к письму И. П. Бибикова к А. Х. Бенкендорфу от 21 июля 1834 г.).

8. Сведения о стоянках Московского пехотного полка 14-й дивизии. (Расположение армий и отдельных корпусов в 1829, 1830, 1831 1832, и 1833 гг., офиц. издание.)

9. Донесения А. А. Вельяминова и барона Г. В. Розена о военных действиях в Дагестане и Чечне в 1830—1833 гг. (взятие Чир-Юрта, Герменчуга, Гимр. См. Акты закавказской Археографической комиссии, т. VIII, Тифлис, 1880, стр. 687 и др. Статью Н. Волконского „Война на Восточном Кавказе в связи с мюридизмом“.—„Кавказский сборник“, т. XIV, Тифлис, 1890, стр. 107—110).

10. Описание военных действий под Чир-Юртом, Герменчугом и др. различные исторические и мемуарные источники.

Например: *Торнау, Ф. Ф.* „*Воспоминания о Кавказе и Грузии*“.—„Русский Вестник“ 1869 г., №№ 1, 2, 3, 4 и Н. Пауль. „Кавказские картины. Из записок очевидца“.—„Телескоп“ 1833 г., ч. 16, №№ 15 и 16.

11. Различные исторические и этнографические источники для характеристики горцев Дагестана и Чечни в связи с мюридизмом 1829—1833 гг.

12. Полезно сравнение с недавним героическим опытом Красной армии в минувшей гражданской войне: А. Тодорский. „Красная армия в горах. Действия в Дагестане“. Из-во „Военный вестник“. М., 1925.

Воспоминания о Полежаеве в кавказский период его жизни получили отражение в рассказе артиллериста и современника его С. А. Карпова, относящемся к 1830/31 г.

Нам удалось проследить генезис этого живого и ценного рассказа современника. Рассказ явился как коррективом к биографической статье Д. Д. Рябинина („Русский Архив“ 1881 г., январь, стр. 314—365), в которой утверждалось, что к „поэту на Кавказе относились как к преступнику и негодяю“. Старый кавказец, современник Полежаева, почтенный С. А. Карпов, испещрил поля книги „Русского Архива“ решительными заметками, поправками и дополнениями. Из них-то и составилась статья, помещенная им в одном из очередных номеров „Русского Архива“.

С Иваном Петровичем Бибиковым Полежаеву довелось встретиться и познакомиться в Зарайске. Это было в начале 1834 г., когда Тарутинский егерский полк стоял по возвращении с Кавказа в этом городе.

В виду особой роли, какую играл в биографии Полежаев И. П. Бибиков, следует перечислить здесь те документы, которые помогают уяснению сторон темных и неразрешенных.

Об И. П. Бибикове имеются следующие архивные документы:

1. Формулярный список лейб-гвардии Драгунского полка Бибикову Большому о службе его и прочем, составлен в 1817 г.

2. „Из формулярного списка о службе и достоинстве жандармского полка полковника Бибикова, генваря 10-го дня 1828 г.“

3. Дело по высочайшему повелению о пожаловании отставного полковника Бибикова в статские советники с причислением к Герольдии. Вступило и решено 13 февраля 1826 г., № 99 на 4 листах, I отд., 1 ст. 1826 г., № 75, св. 268.

Здесь находится письмо И. П. Бибикова А. Х. Бенкендорфу от 12—13 февр. 1826 г., опубликованное в биографии А. И. Полежаева изд. „Academia“, М., 1933, стр. 72—73. В деле имеется поименованный выше формулярный список л.-гв. Драгунского полка полковнику Бибикову Большому, составленный в 1817 г.

4. Дело по рапорту шефа жандармов, командующего Императорской главной квартирой, ген.-ад. Бенкендорфа об испрошении на помещение в корпус жандармов числяще-

гося при Герольдии ст. сов. Бибикова полковником, на 8 листах, I отд., 1 ст. 1826 г. № 310, св. 285.

5. Дело № 117 по рапорту ген.-ад. Бенкендорфа о увольнении от службы жандармского полка полковника Бибикова. Решено 19 февраля 1828 г., на 11 лл., св. 682.

Здесь находится формулярный список о службе и достоинстве жандармского полковника Бибикова, генваря 10-го дня 1828 г., поименованный выше.

Сведения о деятельности жандармского полковника И. П. Бибикова имеются в следующих источниках:

1. Шильдер, Н. К. „Николай Первый", ч. I, Пб., 1903, Приложение, стр. 781—782 (здесь напечатана инструкция А. Х. Бенкендорфа жандармского полка полковнику И. П. Бибикову).

2. Письмо В. И. Туманского А. С. Пушкину („Переписка Пушкина", изд. Академии Наук, Пб., 1908, стр. 8).

3. Модзалевский, Б. Л. „Пушкин под тайным надзором", 3-е изд. „Труды Пушк. Дома", 1925, стр. 15—19 и 63—64.

4. Троцкий, И. М. „Жизнь Шервуда Верного (очерки и материалы)". М., 1931 (стр. 107—125).

5. Полежаев, А. И. Стихотворения под редакцией В. В. Баранова, предисл. Л. Каменева, изд. „Academia", 1933, стр. 69—74 и 109—116.

Группу неопубликованных архивных материалов об И. П. Бибикове, существенно дополняющих представление о его личности и уясняющих взаимоотношения его с Полежаевым, составляют следующие документы:

I. Дело о поездке И. П. Бибикова по российским ярмаркам. Дело III Отделения Соб. Е. И. В. канцелярии.

И. П. Бибиковым 24 июня 1827 г. было получено предписание: „Обратить внимательный взгляд на первостепенные ярмарки в государстве и собрать точнейшие сведения как насчет рода промышленности и торговли, так и насчет стечения разного звания людей в сии места под разными видами и предлогами временно скопляющихся для многообразных оборотов позволительных и непозволительных".

На поездку Бибиковым была получена тысяча рублей.

Здесь находится полный отчет И. П. Бибикова о совершенной им по предписанию Бенкендорфа служебной поездке для обследования российских ярмарок, содержащий довольно значительный материал, характеризующий Бибикова.

1. Рассуждение о прежней Макарьевской ярмарке и о причинах перевода ее к Нижнему-Новгороду.

2. Краткое обозрение новоустроенного в Нижегородской ярмарке гостиного двора.

3. Замечания о Нижегородской ярмарке и о разных предметах, вообще до торговли и промышленности касающихся.

4. Секретно. Суждение о главной причине упадка торговли и промышленности и о предполагаемых средствах к поправлению оной.

5. Секретно. Политический взор на Нижегородскую ярмарку.

6. Ведомость о количестве и ценах товаров на Нижегородской ярмарке в 1827 году. 20/VIII 1827 г. Ниж.-Новгород, л. 5—43.

7. Политические замечания о Лебедянской ярмарке, л. 43.

II. Десятая Пятница. Стихотворение И. П. Бибикова 1828 г.

Стихотворение записано дочерью И. П. Бибикова Е. И. Бибиковой-Раевской. Тетрадка со стихами последней находится в семейном архиве Мордвиновых. Стихотворение является своеобразным отображением впечатлений, полученных автором в служебной командировке III Отделения. Материал может пополнить вопрос о взаимоотношениях поэта Полежаева и жандарма-литератора И. П. Бибикова.

В заключение следует снова привести знакомые уже читателю:

III. Дело III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии 1 экспедиции о Московском Университете и о стихах, приписываемых студенту Полежаеву, на 19 листах. Т. о. 1 экс. 75/1829 г.

К этому делу в 1834 г. было подшито письмо И. П. Бибикова к бывшему своему сослуживцу и родственнику А. Х. Бенкендорфу от 21 июля 1834 г. Это—горячее за-

ступничество за некогда им же погубленного Полежаева. В русском переводе напечатано нами в биографическом очерке Полежаева (Полежаев, А. И. „Стихотворения". Изд. „Academia". М., 1933, стр. 114—115).

А. Х. Бенкендорф, родственник Бибикова, дал ход его ходатайству в приводимом ниже письме военному министру графу А. И. Чернышеву.

Возникло новое дело „О монаршем воззрении на участь унтер-офицера Тарутинского егерского полка Полежаева". Начато 10 сентября 1834 г., кончено 4 декабря 1834 г.

На 10 лл., № 11097.
№ 6158 по канцелярии № 13349 29 августа
№ 8782 по 2-му отдел. № 11097 1834 г.
инспек. III получено
Департамента 8 сент. 1834
в 36 т/о

Милостивый Государь
граф Александр Иванович!

Частным образом получил я от лица, заслуживающего совершенного доверия, сведение, что бывший студент Московского Университета Александр Полежаев, отправленный в 1826 году по высочайшему повелению вследствие найденных у него предосудительных стихов на службу в Кавказский корпус, совершенно переменил свой образ мыслей и, оказав в двух экспедициях против горцев особенную храбрость, продолжает ревностною службою и отличным поведением обращать на себя внимание начальства, которое якобы уже в 1832 году представило его к награждению офицерским чином.

О сем я долгом поставляю сообщить на милостивое усмотрение Вашего Сиятельства, прилагая у сего доставляемый мне, в некоторое подтверждение вышепомянутой перемены в образе мыслей Полежаева, экземпляр сочиненных им в недавнем времени стихов, в коих выражает он искреннее свое раскаяние и упование на облегчение его участи.

С отличным почтением и
преданностью имею честь
быть Вашего Сиятельства
покорнейший слуга

Подписал Граф Бенкендорф

Верно: Помощник экспедитора (подпись).

Перед словом „упование" зачеркнуто: твердое; после слова «на» зачеркнуто: беспредельное милосердие Государя Императора—все это густо зачеркнуто. При письме прилагалось стихотворение „Тайный голос". Это каллиграфическая копия, сделанная Екатериной Ивановной Бибиковой, с присоединением известных четырех строф, „присочиненных" И. П. Бибиковым.

Отдельно на восьмушке —„памятка" о Полежаеве:

„Унтер-офицер Полежаев в 1832 году состоял на службе в Московском пехотном полку, находившемся тогда на Кавказе (в составе 14-й пехотной дивизии), был представлен от ген.-ад. барона Розена к производству в офицеры, но Высочайшего соизволения не последовало.

Ныне же Полежаев с сентября месяца 1833 года состоит в Тарутинском егерском полку.

Мнение
спросить Главнокомандующего
3 сент."

Министерство
Военное
Департамент
инспекторский
отдел II
стол 3
Санктпетербург
10 сент. 1834
№ 6185

Милостивый Государь
Николай Николаевич!

По поручению г. военного министра имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство почтить уведомлением, каково ведет себя по службе унтер-офицер Тарутинского егерского полка Александр Полежаев, поступивший в службу в 1826 году вследствие найденных у него предосудительных стихов, и изволит ли г. Главнокомандующий 1-ю армиею находить его достойным Монаршего воззрения.

С совершенным почтением имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейший слуга

Подписал генерал-адъютант Клейнмихель
Верно—столоначальник Михаил

Его Превосходительству
Н. Н. Муравьеву
Инсп.
департ.

по 3-му отд. № 6757

получено 5 ноября 1834

по канцелярии
Главнокомандующего
1-й армией
2 отделение
№ 1916
22 октября 1834
Главная квартира
в Киеве

Дежурному генералу Главного Штаба
Его Императорского Величества
Господину генерал-адъютанту и кавалеру
Клейнмихелю

Исправляющего должность начальника
Главного штаба 1-й армии

РАПОРТ

Высочайше повелено производством унтер-офицера Полежаева в прапорщики повременить. Ноября 29 дня 1834 ген.-ад. граф [подпись] по журналу входящ. 1669 докладов исх. № 293

По докладу г. Главнокомандующего армией отношения Вашего Превосходительства ко мне от 10 минувшего сентября № 6185 об унтер-офицере Тарутинского Егерского полка Полежаеве, поступившем в службу в 1826 году, вследствие найденных у него предосудительных стихов,—его сиятельство, имея в виду засвидетельствование ближайшего начальства об усердии к службе и хорошем поведении унтер-офицера Полежаева, признает его заслуживающим монаршего воззрения.

О чем я имею честь донести Вашему
Превосходительству

ген.-ад. Муравьев.

При сем представляется справка.

Документальных данных о Полежаеве за период 1835—1837 гг. в нашем распоряжении не было.

Пребывание поэта в пределах б. Калужской губ. (преимущественно в южной части Жиздринского уезда) фиксируется следующими показаниями (справками):

1. Официальным указателем дислокации армии и гвардии за указанные годы.

2. Наличием ряда локально связанных стихотворений в автографическом альбоме, принадлежащем Лозовскому: „Село Печки“, „Нечто о двух братьях кн. Львовых“, наконец „На память о себе“.

3. „Очерки из истории 67-го пехотного Тарутинского в. герцога Ольденбургского полка“. Составил штабс-капитан Рыжков. Пб., 1896.

Полный формулярный список Полежаева имеется при деле по представлению командира 6-го пехотного корпуса о пожаловании наград нижним чинам, разжалованным в сие звание за проступки из офицеров (св. 1005; начат 25/X 1837 г., кончен 31/I 1838 г. См. лл. 6, 10, 47—54, 80).

Напечатан формулярный его список в части военных операций, участником которых он был, П. А. Ефремовым (стихотворения А. И. Полежаева под ред. П. А. Ефремова. Пб., 1889, стр. XL—XII), а позднее проф. Е. А. Бобровым.

Более ранние формулярные списки Полежаева имеются:

1. В военно-судном деле 1827 г., см. выше.

2. В деле о представлении его к чину унтер-офицера 1831 г. (форм. сп. 1829 г., № 10091).

3. В деле 1834 г. „О монаршем воззрении“ (см выше).

В Лефортовском военно-историческом архиве имеется список офицеров 11-й пехотной дивизии. На обложке надпись: „11-я пехотная дивизия переименована в 17-ю приказом военного министра 26 апреля 1835 г., № 53. Список начат с 8 ноября 1833 г. Составлен по 27 июля 1842 года“. Здесь перечислены все офицеры полков Бутырского, Московского, Бородинского и Тарутинского по старшинству от полковников до прапорщиков с указанием на их старшинство, награды, отпуска, взыскания и получаемое вознаграждение. Список представляет собой исчерпывающий справочник и дает конкретные сведения о сослуживцах, современниках Полежаева. Отсюда биограф Полежаева узнает о командире Тарутинского егерского полка полковнике Святогор-Штепине, Василии Даниловиче. Здесь записан каждый отпуск его и жалованье 550 руб. в год (оборот листа 159); о Любавском, командире Московского пех. полка, кавказском начальнике поэта, представившем его поэму „Эрпели“ начальнику дивизии Розену, за что Полежаев получил от последнего 25 рублей; о майоре Московского полка Филонове, кавказском начальнике Полежаева, убитом при взятии аула Герменчуг. Здесь же находим фамилию прапорщика Перфильева, полкового адъютанта, принесшего Е. А. Дроздовой (ур. Комаровой) известие о жестоком телесном наказании, перенесенном Полежаевым незадолго до кончины.

Представление и высочайшее „утверждение“ рядового Московского пехотного полка Полежаева „за отличие в сражениях против чеченцев“ фиксируется отношением Инспекторского департамента Главного штаба Е. И. В. (отдел. II, стол 4) от 22 октября 1831 г. за № 11145 в Архив Инспекторского департамента.

Последнее представление к офицерскому званию было вместе с тем и последним служебным этапом. Его документирует обширное „дело по представлению командира 6-го пехотного корпуса о пожаловании наград нижним чинам, разжалованным в сие звание за проступки из офицеров“ (Военного министерства Инспекторского департамента отд. III, стола 1, № 669, св. 1005. Началось 25 октября 1837 г., кончилось 31 генваря 1838 г. на 88 лл. — см. лл. 6, 10, 47/54, 80). Испрашиваемая награда, „высочайше“ утвержденная 12 декабря 1837 г. в Царском Селе унтер-офицеру Тарутинского полка: чин прапорщика, с оставлением в том же полку.

Полежаев умер в военном госпитале 16 января 1838 г. Последних его минут коснулись лишь воспоминания Е. М. Дроздовой-Комаровой, да и в них трудно установить с точностью, где кончаются подлинные слова старушки-современницы Полежаева и где начинается обработка Белозерского. Вот почему точнее сослаться на документы. К их числу принадлежат последние документы о Полежаеве:

1. Запись в метрической книге при церкви Московского военного госпиталя за 1838 г. под № 48: „1838 года января 16 дня Тарутинского егерского полка прапорщик Александр Полежаев от чахотки умер и священником Петром Магницким на Семеновском кладбище погребен".

В книге „История Московского военного госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летию его основания, составленная ординатором А. Н. Алелековым при участии главного врача Н. И. Якимова" (М., 1907) нами почерпнуто на странице IX следующее безотрадное признание, сразу дезориентирующее всякие поиски: „Госпитальный архив, к сожалению, исчез; от стародавних времен остались лишь две книги: описи дел, хранившихся в архиве, первая обнимает время с 1819 г. по 1820 г., вторая же с 1829 г. по 1869 г. Никаких дел за этот период не сохранилось".

2. Всеподданнейший рапорт командира Тарутинского егерского полка полковника Святогор-Штепина сообщал 3 марта: „Прапорщик Полежаев, находившийся для излечения болезни в Московском военном госпитале, 16-го числа генваря сего года от легочной чахотки волею божиею помре".

3. „Высочайший" приказ апреля 1-го дня 1838 года. В разряде: умершие исключаются из списков Тарутинского егерского полка прапорщик Полежаев.

Имеются сведения о высочайшем распоряжении похоронить Полежаева в заколоченном гробу. Проверить точность этого сообщения нам не пришлось. Впрочем как отрицательный ответ на весьма вероятный запрос начальства об отдании Полежаеву военных почестей при погребении следует признать это распоряжение весьма возможным.

IV. ПОЛЕЖАЕВ В МУЗЫКЕ. ИКОНОГРАФИЯ ПОЛЕЖАЕВА

Начиная с 30-х годов, стихотворения Полежаева стали перекладываться на музыку. Из сборника стихотворений 1832 г. Виллуаном, учителем и воспитателем братьев Рубинштейнов, переложен романс „Признание" („В душе горит огонь любви". М., 1833 г.) и „Песня" (из Панара. „Как смешон, неумен муж ревнивый"). В 40-х годах А. Н. Алябьевым и в 50-х А. Н. Гурилевым положен на музыку „Сарафанчик" („Сарафанчик, растеганчик"). Обе мелодии пользовались громадной популярностью; „Сарафанчик" по свидетельствам современников обошел всю страну и распевался повсеместно. Названными композициями не исчерпывались опыты переложения на музыку стихотворений Полежаева: в демократических общественных группах, среди разночинства, студенчества и семинаристов были распространены в 40—60-х годах в гитарных песенниках романсы и песни Полежаева, в настоящее время исчезнувшие вместе с истрепавшимися старинными гитарными нотами. В собраниях этих нот, там, где они сохранились, можно найти и по сию пору ряд недошедших до нас в фортепианном изложении гитарных композиций. Сюда относятся: „Грусть" („На пиру у жизни шумной"), „Русская песня" („Долголь будет вам без умолку идти"), „Ахалук" („Ахалук мой, ахалук") и многие другие. Не исключена возможность вместе с нотными знаками найти затерянный текст Полежаева. Иногда достоверность найденного таким образом полежаевского текста может быть вполне вероятна. Кто не согласится например в изданном композитором Виллуаном тексте к его музыке узнать продолжение полежаевского перевода из Панара:

Ах чудна
И жена,
Коль строптива
И ревнива.

Как хотеть
Ей владеть
Лишь одной
Им душой?

Для мужчины
Гименей
не прочней
паутины!

В 1845 г. современником Полежаева, крупным композитором-дилетантом А. Г. Варламовым написана музыка к песне Полежаева „Разлюби меня, покинь меня, доля, долюшка железная". Эта песня может считаться одним из особенно удачных образцов специфического романсно-песенного репертуара середины XIX в. Романсы и песни Полежаева не составляли никогда салонного репертуара; в 50-х и 60-х годах они, в сопровождении музыки русских второстепенных композиторов-дилетантов, звучали на студенческих вечеринках. Аполлон Григорьев находил какое-то внутреннее соответствие между стихами Полежаева, музыкою Варламова и драматическою игрою Мочалова.

В 70-х годах слова той же песни „Разлюби меня, покинь меня, доля, долюшка железная" вновь послужили композитору П. П. Сокальскому. Известны его же композиции к игривой ранней песенке Полежаева „Любовь" („Свершилось Лилетте четырнадцать лет" и песне „У меня ль молодца ровно в двадцать лет"). „Призвание" („В душе горит огонь любви"), привлекшие уже внимание Виллуана в 1833 г., использовано снова в раннем опыте Цезаря Кюи („Шесть романсов", издание М. П. Беляева, Лейпциг, 1858).

В 80-х годах слова Полежаева продолжали служить новейшим музыкальным композициям. Таков романс М. В. Бегичевой (изд. Юргенсона) на слова А. И. Полежаева „Звезда" („Она горит, моя звезда". М., 1881).

В 90-х годах сюжетом для музыкальной работы начали служить классические стихотворения Полежаева.

И. М. Рачинским написана „Песнь пленного ирокезца" („Я умру! На позор палачам").

* * *

Оригиналами большинства портретов А. И. Полежаева следует повидимому считать следующие четыре портрета:

Портрет, рисованный Уткиным (около 1829 г.), литография с которого работы Ястребилова приложена к первому изданию сборника „Кальян" (М., 1833).

Акварель Е. И. Бибиковой, сделанная ею летом 1834 г. в подмосковном селе Ильинском; гравюра-копия, сделанная в Лейпциге, приложена к стихотворениям А. И. Полежаева под ред. П. А. Ефремова (Пб., 1889).

Акварельный портрет, рисованный В. И. Ленцом в Москве в 1836 г., копия-литография в „Историческом Вестнике" (1891 г., апрель) при „Воспоминаниях" Макарова.

Портрет работы неизвестного художника, изображающий поэта на смертном одре. С портрета сделана была художником Сиверсом литографическая копия.

Из перечисленных подлинных портретов Полежаева только один последний его портрет уцелел и хранится в Государственном Историческом музее. Местонахождение прочих не выяснено.

Многочисленные портреты Полежаева, воспроизводившиеся в разных журналах и других иллюстрированных изданиях, чаще всего варьируют на разные лады первый портрет. Изо всех вариантов укажем на один, о котором с похвалой отозвалась Е. А. Дроздова (урожденная Комарова), современница Полежаева, его хорошо знавшая (см. ст. Белозерского в „Историческом Вестника" 1895 г., ноябрь).

В 1838 г. после смерти поэта по требованию цензуры к портретам его, воспроизводимым при сборниках его стихотворений („Кальян", 3-е издание. М., 1838 и „Арфа" М., 1838), стали пририсовывать офицерский мундир и эполеты, каких при жизни поэт никогда не носил. По общему суждению лиц, знавших и помнивших поэта, это особенно плохие его портреты. Лицо первого портрета искажено до неузнаваемости „пошлой улыбкой". Это — официальный портрет Полежаева.

Совершенно мифический портрет Полежаева дан „Нивой" в 1892 г. при стихотворениях поэта под редакцией А. И. Введенского. Воспроизведенный здесь в прекрасно исполненной в Лейпциге Брокгаузом гравюре офицер, нимало не напоминающий Полежаева, оказался корнетом лейб-гвардии конного полка Александром Ефимовичем Рынкевичем. Ошибка вполне установлена заявлениями родственников фигурировавшего (увы и до сих пор еще фигурирующего) в качестве Полежаева лица (Дмитрия Ефимовича Рынкевича и его племянницы Лидии Андреевны Ростопчиной)[5]. В свое время эта ошибка вызвала шум, но со временем эпизод был забыт, а громадные тиражи „Нивы" и отдельное издание, предпринятое тем же Марксом на веленевой бумаге, сделали свое дело.

Качество второго портрета, акварельного, работы Екатерины Ивановны Бибиковой, может быть установлено собственным ее свидетельством на склоне лет, в воспоминаниях ее о встрече с Полежаевым („Русский Архив" 1882 г., кн. 6, стр. 233—234).

„Я тогда недавно начала учиться живописи, портрет этот писан акварелью ученической рукой, но он разительно похож, тогда как оба портрета, изданные при стихотворениях Полежаева, его нимало не напоминают".

Подтверждением сходства портрета несомненно может служить и то, что когда посланному от командира полка за неявившимся в срок поэтом фельдфебелю был показан портрет, он тотчас же его признал.

Через несколько лет Е. И. Бибикова получила от Академии Художеств диплом на звание портретистки.

Третий портрет защитить труднее. Ленц без сомнения был менее искусен в своем мастерстве, да и самая литография „Исторического Вестника“ тоже оставляет желать лучшего. И при всем том безусловное доверие внушает этот неискусный рисунок, изображение замученного, заезженного тяжелою жизнью человека. На этом лице с резким профилем и огромными печальными глазами лежит та особая суровая печать, которая отличает солдата николаевской эпохи.

В марте 1889 г. Е. И. Бибикова-Раевская писала редактору журнала „Русский Архив“ П. А. Бартеневу о желании своем передать в одно из московских книгохранилищ рисованный ею в 1834 г. акварельный портрет Полежаева и просила Бартенева быть посредником. П. А. ответил полною готовностью „быть посредником в передаче полежаевского портрета в вечное хранение в один из здешних музеев“. О том, что передача этой „редкости“ состоялось, мы заключаем из отчета б. Румянцевского музея и библиотеки за 1889—1892 гг., где на стр. 87 внесен акварельный портрет А. И. Полежаева работы Е. И. Бибиковой (№ 109). Несмотря однако на это указание, усилия, направленные нами к разысканию этого портрета, не увенчались успехом, что следует считать результатом беспорядочного распыления коллекций национального значения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] За полным отсутствием рукописных списков этих поэм нет возможности судить, в какой мере цензура в лице цензоров С. Т. Аксакова и И. М. Снегирева распорядилась их текстом. Несколько пропусков было впрочем отмечено П. А. Ефремовым и восстановлено по вставкам на экземпляре, принадлежавшем М. И. Михайлову. Это вставка к „Эрпели“, глава II, стих 9. Цензор не согласился пропустить намек на факт оставления Полежаевым университета — событие, происшедшее по высочайшему повелению.

В другом месте цензура не пропустила сравнения генерала А. П. Ермолова (собственно результатов и быстроты его действий) с азиатской заразой. Этот стих („Чир-Юрт“, гл. I, стих 196) был цензурою опущен. Это конечно единичные пропуски, сохраненные случайными пополнениями, сделанными авторитетной рукой. Многие же стихи выпущены и пропали, оставив в тексте незаполненные бреши.

[2] Оксман, Ю. Г., А. И. Полежаев перед судом николаевской цензуры.—„Ученые записки высшей школы г. Одессы“, вып. I, Одесса, 1921.

[3] Части этого большого послания к А. П. Лозовскому печатались в следующих периодических изданиях: стих. 1—20 „Ты хочешь, друг“ под заглавием: „Другу при посылке стихов“ — в „Галатее“ 1829, ч. 3, № 12; стих. 1—30 „Оставлен всеми, одинок“ под заглавием „Отрывок“ — в „Галатее“ 1829 г., ч. 6, № 30; стихи IV, 27—61 „И я в тюрьме“ — в Галатее“ 1830, ч. 12, № 6. Н. К. Кетчером в издании 1857 г. напечатаны стихи 1—55 „Ты мне чужой“ под заглавием „А. П. Л . . . у“, а стихи 1—10 „Ты хочешь, друг, чтобы рука“..., затем стихи 1—4 и вся III часть („Воспоминанья старины“ — под общим заглавием „К нему же“).

Отрывки этого большого стихотворения кроме того печатались в журнале „Развлечение“ (1860 г., № 19) под заглавием „Отрывки из поэмы „Узник“ и в заграничном издании „Русская потаенная литература“ Н. П. Огарева. Лондон, Трюбнер, 1861, а в 1881 г. с общим заглавием „Спасские казармы“ (?) — в биографической статье Д. Д. Рябинина „А. И. Полежаев“ („Русск. Арх.“, т. I, кн. 2, стр. 343—347). №№ 2 и 6 публикуются по автографическому сборнику ИРЛИ, №№ 4 и 5 — по автографу Госуд. Исторического музея (бумаги Бахрушина, № 45065), № 1 и 3 — по авторитетным спискам из архива Ф. А. Кони, хранящегося в ИРЛИ.

[4] Материал крестьянской молвы (запись за покрышкинским караульщиком Шигеловым Л. И. Поливанова в 1861 г.) указывает на связь Струйского с другой женщиной и убийство ими первой его наложницы. Уголовное преследование, начатое против Струйского в 1817 г., молва связывала с несколькими преступлениями, которые начались убийством его первой любовницы с участием второй. Материалом изустной крестьянской молвы следует пользоваться с большой осторожностью, но для направления архивных разысканий значение этого материала неоспоримо.

[5] См. „Новое Время“ 1894 г., №№ 6489 и 6476, а также статью П. А. Ефремова „Мнимый портрет Полежаева“ в № 6453 и наконец статью самого редактора стихотворений А. И. Введенского в № 6456.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ БУЛЬВАР

От автора

Вам, приятели бульвара
Это посвящаю я,
Знаю, что такого дара
Вы не ждали от меня.
Что же делать, коль не можно
Не смеяться над смешным,
Правду говорить всем должно
И знакомым и чужим.
А кому из вас случится
Свой смешной узнать портрет
Право неначто сердиться
Лучше не смешить вперед.

* * *

Что же в книгах я зарылся?
Солнечный прошел уж зной
И давно бульвар покрылся
Здешних жителей толпой.
Чай давно уж все в параде
И пускают пыль в глаза,
Да и я в своем наряде
Выйду хоть на полчаса.
Ба! Какое же собранье
Щеголей на уголку,
Что за хохот и кривлянье
Руки à la mode в боку.
Критикуют всех прохожих
Полуфранцузским языком,
Но у них какие рожи!
Чудаки все чудаком!
Кто в веснушках, кто в рябинах,
У иного — птичий нос,
Кто в ужаснейших морщинах,
Кто прищуроват, кто кос,
Ну как будто бы нарочно
Все уроды чудаки,
И сказать о них чтоб точно,
Все немецкие сынки!
Вот еще из этой шайки
Запыхавшись весь бежит,
Припевая трай-лай-лай-ки
К братии своей спешит
И с поклоном кувыркальным
Всем твердит coment vous vas?
Он приятелем бульварным
Уж слывет здесь года с два.
Вот собрание другое
Заслонило весь бульвар,
Разна сволочь в сем конвое,
Все спешат как на пожар.
Первый сорт повес скончался,
Начался второй разряд,
Вихрем серый фрак промчался
Освежить свой кислый взгляд.
Машет беленьким платочком
Полвоенный щеголек
И бемольным голосочком
Он мычит как козелок!
Это что за привиденье
Шаркает смотря в лорнет,
Ах, ошибся в заключенье
Это славный петиметр.
Весь он в черном одеяньи,
Тем быть думая милей,
Но у всех на посмеяньи,
Мил в стране лишь он своей,
С ним в мундире синем шитом
Отставной идет жених,
Бывши дураком набитым,
Он хотел поддеть других.
Вот двадцатой линьи житель
Всех толкает под бока,
Не шутите вы: учитель
Он французска языка.
Вот таможенный молодчик
Иму клявшийся любить,
Он в трактир идет дружочек
О разлуке с ней грустить.
Исподлобья выглядая,
Секретарь идет тупой [глупой?]
Взор насмешливый бросая,
Он смеется сам с собой.
В светлосером сюртученке
. . . . катит,
Точно бахус на боченке
У него от пьянства вид.
Он советник титулярной
И с медалькою притом,
Стряпчий самый регулярной
Рад за деньги бить челом.
Вот грузине полновесны
Каракатицей ползут
И свои усы прелестны
Пуще глаза берегут.
Как от смеху удержаться?
И купеческий уж сын
Также вздумал надуваться,
Нарядясь как дворянин!
Бакенбарды отрастивши,

Смотрит козырем на всех,
Деньги плутнями наживши
Нос дерет пред всеми вверх.
Вслед его три брата рядом
В одноцветных сюртуках
С гордым и дурацким взглядом
Выступают на дыбах!
Начался разбор и третий:
Поползли питомцы муз.
Вот словесник разодетый
Мрачен как винновый туз.
Вот историк знаменитый
И географ вместе с тем
Вам являет вид сердитый,
Тьма в его уме систем,
И природы созерцатель
Вышел ум свой освежить,
Бывши мудрости приятель,
Он с амуром стал дружить;
Вот первейший математик
Помешавшийся в уме:
Презабавнейший флегматик,
Сердца вид он дал земле!
Бледные имея лица,
Два Ариста вдруг бегут
Как вырвавшись из темницы
И друг друга берегут!
Вот смешная образина
Академии портретист,
С ним такая ж чудачина —
Долговязый ландшафтист.
Миньятюр угодник дамской
Точно на пружинах весь;
Марширует к Хлое страстной,
Тихи сумерки провесть.
Вот ваятель, друг скульптуры
Смотрит в землю сентябрем,
Вот и сын архитектуры
Вслед катится кубарем!
Живописец наш унылый
В светлосером весь одет
И к своей старушке милой
Розанчик в руках несет!
Вот и виртуоз надменный
Выступает под каданс
И из нот всея вселенной
Мыслит выбрать модный вальс.
С ним магистр недоученый,
Хоть прошел весь курс наук,
В новом фрачке разряженный
Выползает так, как жук!
И танцмейстер наш чудесный
Тут же, лапочка, идет,
В обуви своей прелестной
И ногами он плетет.

Поднялась пыль столбовая
И раздался шпорный звон—
Вот военница родная
Поползла со всех сторон!
Исполинскими шагами
Голову сломя летит
Улан с рыжими усами
Саблей наподряд стучит!
Вот недавно постриженный
Прапорщик, гордель большой,
Натянув мундир зеленый,
Сам любуется собой!
С ним подобной же модели
Подпоручик друг его, —
Точно соскочил с постели
Negligé все у него!
Вот пузатенький поручик
Нос повесил, вид смущен,
Видно уж опять голубчик
В горничную он влюблен.
Капитан в любви несчастный
Тут же кротко прикатил,
Чтоб понравиться прекрасной,
Бакенбарды он обрил!
Но жестокая судьбина
Напротив ему во всем,
Милая Александрина
И не думает о нем!
Вот шалун первостатейный,
Презабавнейший чудак,
Волокита презатейный
И почтеннейший моряк.
Он манерно выступает,
Руки положив назад,
И исподтишка мигает
Всем ветранам наподряд.
Ну как будто на тревогу
Кучей воины летят,
Надобно им дать дорогу,
Все в кондитерску спешат.
И минуты восхищенья
Наступили для сердец!
Вот прелестные творенья
Появились наконец!
Как голландочки одеты,
Три сестры гуськом идут
И свои увядши леты
С воздыханием клянут!
Первой гильдии кокетка
Догоняет их летком
Пучеглазая брюнетка
В желтом платье щегольском.
С нею шаркает ужасно
Щеголь самый записной,
Друг на друга смотрят страстно

И амурят меж собой!
Вот ветрана молодая
С папенькой идет своим,
Взоры модные бросая
Улыбается [к] иным!
Тут же братец ненаглядный
Кавалерии корнет
Сухощавой и нескладной
Все глядит на свой колет!
Что за топот отдается,
Видно множество людей,
Целая кадриль несется
Генеральских дочерей.
Милы все они, прелестны
Помощью румян, белил
И давно уже невесты —
Гименей лишь их забыл.
Вот профессорские дочки
Ищут женихов себе:
Им постылы все денечки
И отрады нет нигде.
Выступают две сестрицы
Гренадерской вышины,
Пречудесные девицы,
Как на диво созданы.
С ними инженер и штатской,
Дорогие братцы их,
Важной поступью дурацкой
Со смеху морят других.
Вот чудесные малютки
С толстой матушкой своей
Выползают так как утки
Подмечая щеголей.
Как на смех судьба жестоко
Их на свет произвела:
То коса, то кривобока,
То чубата и хила.
Все притом они старушки
И все ищут женихов;
Всякий день у них пирушки
Для мужчин их дом готов.
Одинаких перьев птицы
Монастырки две идут,
Устарелые девицы,
Но себя младыми чтут.
С ними же знакомки новы
И в мобире пристяжной
Для отуров все готовы
Доступ к ним пренетрудной.
Вот еще смешна фигура
Чудной нос свой вверх дерет,
Сущая каррикатура:
Дочь майорска в тридцать лет
Размалевана, рябая,
Тошно даже и взглянуть.
И нескладная, дурная,
Только бы в горох воткнуть.
С ней советник титулярной,
Братец миленький ее,
Также пугало бульварной
И великий плут на все.
Вот немецка старокрасса
В черном платьице своем,
Вся в веснушках, рыжевласа
Ну страшилище во всем.
Вот прелестны англичанки
Как зефир летят сам друг,
Вот нескладные голландки
Говорят, собравшись в круг!
Вот в платках предлинных красных,
В желтых шляпках пресмешных
Парочка сестер прекрасных
Из-за моря выписных!
Крепко взявшися под ручку,
Секретарша с муженьком
Его сжавши крепко ручку,
Тащит за собой следком.
Вот с мальтийским кавалером,
В коем жиру двадцать пуд
Самым щегольским манером
Две кокеточки идут.
Но задача пребольшая
Как одну из них назвать,
Говорят, что дочь родная
И притом боюсь сказать!
С муженьком идет пузатым
Миловида из купчих,
Взором страстным хитроватым
Ищет муженьков других.
Дальше молода супруга
С адъютантом муженьком
Ласкают они друг друга
Как голубка с голубком.
Вот профессорские жены
Тащут аргусов своих,
Вы, о старики влюбленны,
Стерегите жен своих.
Подполковница чернявка
Мужа страшного ведет
И за ними до десятка
Разной братьи их ползет.
Это что за стара птица
Чучелой наряжена?
Не шутите вы, девица,
Гравировщица она!
С нею важно выступает
Антик батюшка ее!
Ей тихонько напевает:
Слушай, дочка ты моя.
Долго ли тебе уроду

На моем все хлебе жить,
Бьюсь — нет жениха, хоть в воду
С камнем мне тебя пустить.
Вот почти пол эскадрона
Воспитанниц молодых
Иностранка пансиона
И сама мадам при них.
Все попарно выступают
И улыбкою своей
Добровольно награждают
Проходящих щеголей!
Вот прелестные пастушки
Всем мигают сподтишка,
Превеликие вострушки,
Хочется им женишка.
Мила, ангел красотою
С маменькой своей идет
И улыбкою златою
В души всех отрады льет.
Вот и три сестрицы скромны
Идут важно и гуськом,
Тихо видны взоры томны,
В одеянии простом!
Генеральша пречудная
Матушка их вслед идет,
Дочерей оберегая
С них и глаза не сведет.
Ба! Что это за явленье?
Обращает взоры всех
Не какое ль приведенье
К нам спустилося на смех.
Нет, прелестные графини,
То зефирами летят,
Булеварные богини
Всех улыбкою дарят!
Вертопрашкам и кокеткам
Новы тоны задают!
И блондинкам и брюнеткам
Всем уроки подают.
С ними модными шагами
Гвардии идет гусар
И французскими словами
Так и мечет на бульвар!
Дальше три сестры смешные
Также тон хотят задать,
Устарелые, дурные,
Хоть на выжигу отдать!
Вот кокетка долговяза
Выступает как павлин,
Вдовушка и пучеглаза
Приглядает на мужчин!
Две купеческих ветраны
Братца под руки тащат,
Разодеты, разубраны
И дворян пленить хотят.
Ну теперь для смеху время,
Признаюсь, что началось
Вот купеческое племя
Целой кучей собралось!
Тут-то есть чем любоваться,
Ведь почти гостинной двор,
Но лишь в выжогу годятся
Все купчихи на подбор.
Ба! Да темно что-то стало,
Ночь покров уж стелет свой,
Посмеялся я немало,
Не пора ли мне домой.
Ха! ха! ха! ха!. Ха! ха!

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ДОСТОЕВСКОГО ЗА ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Обзор публикаций 1917—1933 гг.

Обзор В. Комаровича

До революции литературное наследие Достоевского пребывало в довольно-таки беспорядочном виде: не только изданный к тому времени эпистолярный фонд, но и самый печатный текст сочинений Достоевского нуждался в тщательной проверке, в значительном пополнении, а об изучении и издании рукописей Достоевского даже и вопрос не был еще поставлен. Не удивительно, что за истекшие с начала революции 17 лет в деле приближения к читателю творческой личности Достоевского сделано едва ли не больше, чем было сделано до того, за период вдвое больший (после смерти писателя).

Обзору новейших публикаций (за 1917—1933 гг.) печатного и рукописного наследия Достоевского и посвящен данный очерк.

I

В первую очередь должно быть рассмотрено новое изданье сочинений Достоевского, предпринятое Госиздатом и выполненное Б. Томашевским и К. Халабаевым („Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений" Гос. Изд., тт. I—X, 1926—1927 гг.; тт.XI, XII—„Ф. М. Достоевский, Дневник писателя", 1929 г.; т. XIII—„Ф. М. Достоевский. Статьи за 1845—1878 годы", 1930 г.). Редакторами осуществлена большая и ответственная задача: прочно установлен окончательный авторский текст Достоевского. В предшествующих изданиях такого текста мы не имели. Все они (изд. „Просвещение" 1911 г., юбилейное изданье А. Г. Достоевской, изд. Маркса 1894 г. и др.) брали за образец и первоисточник первое посмертное изданье 1883 г., а если и обращались к изданьям предшествующим, то всегда не систематически и случайно. Что касается первого посмертного изданья, то и оно, в свою очередь, воспроизводило текст Достоевского далеко не критически. Почти все, что вошло в него, издано было при жизни Достоевского по нескольку раз, с значительными подчас отличиями первых (журнальных) редакций от редакций позднейших, исправленных. Редакторы посмертного изданья 1883 г. мало с этим считались, руководясь иногда в пределах одного и того же произведенья как журнальной его редакцией, так и редакцией окончательной. В таком хаотическом смешении текст Достоевского дожил до наших дней, искажаясь еще при этом от изданья к изданью орфографическими и стилистическими подновлениями. Издание Госиздата и воспроизводит впервые дефинитивный авторский текст. Для определенья его в каждом отдельном случае необходимо было сопоставить все при жизни Достоевского вышедшие изданья каждого из его произведений; последнее исправленное и подлежало воспроизведенью. Эта сложная черновая работа (по сличению изданий) зафиксирована в примечаньях к каждому тому; здесь находим в особых таблицах для каждого из произведений все разночтенья всех его изданий, вышедших при жизни Достоевского; наиболее крупные варианты выделены особо. Таким образом, восстанавливая на наших глазах дефинитивный текст Достоевского, примечания Томашевского и Халабаева дают вместе с тем исчерпывающий материал для истории этого текста с момента появленья его в печати. Из дополнений к каноническому тексту многое, правда,

и раньше было уже известно благодаря предшествующим отдельным сообщеньям, главным образом в дополнительных томах (XXII, XXIII) к „Собранию сочинений“ издательства „Просвещенье“, где Л. П. Гроссман опубликовал „Забытые и неизвестные страницы Достоевского“; но там эти страницы не связаны, во-первых, с контекстом и его более мелкими измененьями, а во-вторых, не исчерпывают собой всех вариантов печатного текста вообще. Так о существенных отличиях журнальной редакции „Униженных и оскорбленных“ и „Преступленья и наказанья“ впервые узнаем из текстологических приложений Томашевского и Халабаева. Нашли конечно себе здесь место и все дальнейшие (после изданья Гроссмана) приобретенья в области печатного текста Достоевского (варианты журнальной редакции „Бесов“, пропущенная цензурой глава „Дневника писателя“ 1877 г.: „Старина о петрашевцах“ и пр.). Особого вниманья заслуживают томы VII („Бесы“) и XIII. В приложении к „Бесам“ находим так называемую „Исповедь Ставрогина“, т. е. ту главу IX второй части („У Тихона“), которая исключена была из романа и опубликована только в 1922 г.—в двух различных, как известно, редакциях. Параллельное изданье обеих редакций многое уяснило бы в тех спорных вопросах, которые сразу же возникли вокруг судьбы и истории этого ценного художественного фрагмента. В приложении к VII тому дан однако лишь свод из обоих текстов (петербургского и московского). Для некоторых чтений привлечены кроме того новые документальные данные: те из корректурных исправлений московского текста, которые в 1922 г. остались невоспроизведенными, а также копия некоторых из них, снятая А. Г. Достоевской и хранящаяся в Пушкинском доме. При составлении свода предпочтенье отдается всякий раз варианту позднейшему, исправленному. Но чтоб возможен был такой выбор, сперва необходимо было конечно решить более общий вопрос: какой из двух текстов — петербургский или московский — считать последним.

Их сличенье (в „Примечаньях“) приводит к следующим ценным выводам: „первоначальным текстом главы является текст гранок (т. е. московский) в том виде, в каком они были набраны до корректурных правок“ (т. VII, стр. 592); эту же первоначальную редакцию отражает и копия Анны Григорьевны (т. е. петербургский текст), но лишь частично, в пределах 1-го подотдела главы и второй половины самой „исповеди“; в остальном же дает „позднейшую редакцию, в которую введены корректурные правки гранок и развиты намеченные на полях эпизоды“ (т. VII, стр. 592); такая неоднородность копии Анны Григорьевны (петербургского текста) объясняется тем, что „в момент копированья А. Г. Достоевская почему-нибудь не имела под руками всего рукописного матерьяла“ (т. VII, стр. 593). В основу свода и положены те отделы петербургского текста, которые отнесены за счет позднейшей редакции, а все другие отделы заменены соответствующими чтеньями московского текста (с корректурными исправленьями); варианты отнесены в примечанья. С большим тактом и остроумием сделано таким образом все, чтобы художественным фрагментам Достоевского придать цельность и возможную законченность. Рядовой читатель от этого несомненно лишь выиграет; специалист же, изучающий Достоевского, предпочел бы параллельное изданье самых фрагментов.

XIII том объединяет анонимную и полуанонимную критику и публицистику Достоевского, т. е. газетные и журнальные статьи из „Отечественных Записок“ (1846), „Санктпетербургских Ведомостей“ (1847), „Времени“, „Эпохи“, „Гражданина“ (помимо „Дневника писателя“) и сборника „Складчина“; в „Приложеньях“ собраны „произведенья Достоевского, написанные совместно с другими“, и статьи редакционного характера, „относительно которых тоже допустимо предположенье коллективного авторства“. Словом, XIII том нового собранья сочинений как бы подводит итог предшествующим разысканьям исследователей Достоевского в области его анонимного литературного наследия. И это вполне своевременно: свод анонимных текстов, выполненный в 1918 г. Л. П. Гроссманом (в XXII—XXIII тт. собр. соч. Достоевского изд. „Просвещенье“), давно уже стал нуждаться в пополнении и пересмотре; и сравнительно с ним новый свод Б. Томашевского и К. Халабаева—действительно большой шаг вперед как в смысле полноты, так и в смысле точности присвоенья той или иной статьи перу Достоевского.

Здесь — кроме тех пяти статей из журнала „Время“, которые по указанию Страхова давно уже включены в собрания сочинений, и тех многочисленных к ним дополнений, которые собрал Гроссман, — находим еще: вступление к альманаху 1846 г. „Первое апреля“ (в „Приложеньях“), написанное Достоевским совместно с Григоровичем; фельетонную повесть из того же альманаха (тоже в „Приложеньях“), написанную совместно с Григоровичем и Некрасовым (на что впервые указал К. Чуковский); фельетон 1847 г. (изданный В. С. Нечаевой и А. С. Долининым уже после дополнительных томов Гроссмана); затем пять статей из „Времени“, „Эпохи“ и „Гражданина“, пропущенных в свое время Гроссманом и воспроизведенных теперь в качестве литературной собственности Достоевского впервые: это — „Примечанье к письму с Васильевского Острова“ („Время“ 1861 г.), „Славянофилы, черногорцы и западники“ („Время“ 1862 г.), „Чтобы кончить. Последнее объяснение с Современником“ („Эпоха“ 1864 г.), „Заметка от редакции“ („Гражданин“ 1873 г.) и (в „Приложеньях“) „Желанье“ („Гражданин“ 1873 г.), в „Примечаньях“ кроме того воспроизводится, также впервые, целый ряд мелких редакционных заметок к тем или иным статьям „Времени“, „Эпохи“ и „Гражданина“, тоже принадлежащих, надо думать, перу Достоевского (некоторые из них прямо им и подписаны).

Для выяснения авторства Достоевского — помимо известного списка Страхова (анонимных статей Достоевского) и тематической или стилистической связи „новых“ статей со статьями, по отношению к которым авторство Достоевского сомнений уже не внушает, — Томашевский и Халабаев изыскали еще новый критерий: указанья, хотя бы косвенные, из конторских книг журналов „Время“ и „Эпоха“, хранящихся в Музее имени Достоевского в Москве: книги эти помогают „определить авторов анонимных статей, не принадлежащих братьям Достоевским, и тем сузить круг статей, относительно которых остается вопрос о принадлежности“ (т. XIII, стр. 561). Отчасти благодаря этому, отчасти и по другим не менее веским соображеньям отвергнут ряд статей, несправедливо приписывавшихся Достоевскому предшествующими исследователями (Л. П. Гроссманом, М. Лемке, Оскаром фон Шульцем). Так не нашли себе места в новом издании заметки из отдела „Наши домашние дела“ в журнале „Время“ 1861 г., воспроизведенные в качестве принадлежащих Достоевскому Л. П. Гроссманом (в XXII томе „Собранья сочинений“ изд. „Просвещенье“ и в сборнике „Творчество Достоевского“, Одесса, 1921 г.); отпала и статья „Пожары и зажигатели“, перепечатанная из „Сборника статей, недозволенных цензурою в 1862 г.“, с произвольным присвоением ее Достоевскому Михаилом Лемке в его книге: „Политические процессы в России в 1860-х гг.“, 1923 г. (стр. 624—630)[1] справедливо исключена также небольшая заметка в „Гражданине“ 1873 г., приписанная Достоевскому Гроссманом (т. XXII, стр. 272—273). Две других статьи из собранных Гроссманом („Выставка в Академии Художеств“ и „Рассказы Н. В. Успенского“) столь же предусмотрительно отнесены в „Приложенья“ под рубрику: „приписываемые Достоевскому“. Зато излишняя строгость проявлена по отношению к одному из фельетонов 1847 г. (13 апреля). Томашевскому и Халабаеву удалось, правда, бесспорно установить, что в редакции „Санктпетербургских Ведомостей“ автором этого фельетона (подписанного инициалами „Н. Н.“) считался не Достоевский, а его друг А. Н. Плещеев. Были таким образом все основания фельетон 13 апреля в основную часть книги не вносить; ошибка лишь в том, что фельетон не включен в „Приложенья“: он носит явные следы если не авторства, то по крайней мере авторского соучастия Достоевского. Чтоб убедиться в этом, надо припомнить кроме аргументов В. С. Нечаевой, целиком приписывавшей фельетон 13 апреля Достоевскому, статью в „Дневнике писателя“ 1876 г. (январь) „Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь“, где говорится, в плане уже ретроспективных воспоминаний, о „филантропическом обществе“, когда-то мечтавшемся Достоевскому, и о карикатурной его „эмблеме“, т. е. точь в точь о том же, о чем говорит заключительная часть фельетона 1847 г.; больше того: стихотворенье Дениса Давыдова, использованное в качестве указанной „эмблемы“ в фельетоне 1847 г., прямо цитируется в другой статье „Дневника писателя“ 1876 г. („Несколько слов о Жорж-Занде“). А что в 40-х годах именно Плещееву в его литературной работе Достоевский вообще помогал — известно из „Воспо-

минаний" С. Д. Яновского. Отрицать таким образом не только авторство, но и авторскую причастность Достоевского к этому фельетону 13 апреля было бы осторожностью уж излишней. В „Приложеньях", рядом с коллективным предисловием Достоевского—Григоровича к альманаху „Первое Апреля", по праву занял бы подобающее ему место и фельетон Плещеева—Достоевского.

XIII том заканчивается новейшей библиографией литературы о Достоевском (не во всем впрочем точной) и указателем личных имен ко всем 13 томам, что и служит как бы завершительным штрихом той исключительной полноты и тщательности, которыми отмечено все изданье в целом.

Кроме этого собрания сочинений появились за рассматриваемый период и отдельные изданья некоторых произведений Достоевского. Так изданы были фельетоны 1847 г., а рядом с ними—упомянутый фельетон Плещеева—Достоевского („Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева... Редакция Ю. Г. Оксмана", „Academia", 1930); тут же, в виде приложенья,— фельетонная повесть Достоевского, Григоровича и Некрасова (из альманаха 1846 г. „Первое Апреля") „Как опасно предаваться честолюбивым снам" (с сопроводительной статьей Тамары Хмельницкой). Изданы иллюстрированный „Ползунков" (со вступительной статьей В. С. Нечаевой, 1928 г.) и иллюстрированный „Игрок" (1930 г.).

II

Переходя к рукописным текстам Достоевского, рассмотрим их в хронологической последовательности соответствующих произведений.

Конспективные наброски исправленной (неосуществленной) редакции „Двойника" из записных книжек Достоевского 1861—1864 гг. (Исторический Музей в Москве) сообщил и сопоставил с двумя печатными редакциями этой повести Р. И. Аванесов („Достоевский в работе над „Двойником", в сб-ке „Творческая история" под редакцией Н. К. Пиксанова. М., 1927 г.).

„Рассказы бывалого человека" (1848), состоящие, как известно, из двух очерков („Отставной" и „Честный вор"), дополнены теперь третьим очерком—„Домовой", который опубликован Н. Бельчиковым по рукописи Центрархива („Звезда" 1930 г., № 6, отд. „Литературный архив"). Очерк не доведен до конца и обрывается на полуфразе; однако связь его с двумя другими рассказами несомненна: рассказчик как там, так и тут — все тот же „бывалый человек", Остафий Иванович; место, предназначавшееся рассказу в цикле, тоже поддается определенью: оно—посередине между двумя другими рассказами.

Тем же исследователем опубликован (по рукописи Центрархива) вариант VII главы „Неточки Незвановой" (в журнале „Печать и революция" 1928 г., кн. 2), из которого видно, насколько первоначальная редакция этой повести отличалась от той, которая нам известна.

Тот же Н. Ф. Бельчиков опубликовал отрывок рукописных вариантов (из собранья Центрархива) к повести „Крокодил" (в статье: „Чернышевский и Достоевский. Из истории пародии", в „Печати и революции" 1928 г., кн. 5).

Рукописи „Преступленья и наказанья" издал И. И. Гливенко („Центрархив. Из архива Ф. М. Достоевского. Преступленье и наказанье. Неизданные материалы. Подготовил к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ, 1931"). Это — три „записных книжки", перешедшие (под №№ 1, 2 и 3) в Центрархив из собрания А. Г. Достоевской, которой принадлежит и указанная нумерация. Собственно „Преступленью и наказанью" посвящено во всех трех тетрадях 244 страницы. Они-то и изданы[2]. Весь материал расположен в издании в порядке указанных номеров тетрадей. И. И. Гливенко в своей вступительной статье справедливо отметил однако, что „нумерация тетрадей, данная Анной Григорьевной Достоевской", ошибочна (op. cit., стр. 5) и что „записная книжка, имеющая № 2, хронологически предшествовала № 1". К чему было в таком случае придерживаться в издании заведомо ошибочного порядка? Но еще более хаотическая картина ожидает нас, если от порядка тетрадей обратиться к порядку рукописных страниц в издании. Свои тетради Достоевский заполнял текстом как придется, капризно переходя с правой стра-

ницы на левую, или из середины тетради, оборвав запись на полуслове, переносил ее продолженье на первую попавшуюся чистую страницу в начале. При таком размещении в тетрадях текста вовсе, казалось бы, недопустимо издавать его просто в механической последовательности страниц, пронумерованных к тому же не Достоевским в процессе работы, а post factum его женой. Однако как раз эта самая механическая последовательность в издании и выдержана с начала до конца со строгостью, достойной лучшего примененья. Благодаря этому в целом ряде случаев смысловая (не говоря уж о хронологической) последовательность отдельных заметок и даже просто отдельных фраз Достоевского оказалась нарушенной, искаженной. За продолженьем фразы издатель нас сплошь и рядом отсылает на другую страницу книги, далеко отстоящую от той, которую мы сейчас читаем; или так же далеко предлагает нам отыскать начало заметки, невразумительный конец которой у нас перед глазами. Эта путаница, уже сама по себе чрезвычайно затрудняющая ознакомление с книгой, усугубляется еще тем, что комментарий издателя к опубликованному им тексту весьма скуден, а местами и ошибочен. В самом деле: в каком отношении друг к другу, а затем и к печатному тексту романа стоят эти бессвязные нагроможденья в трех тетрадях рукописных набросков и заметок? Ответа статья Гливенко не дает. Отмечая в изданном им материале тематические или композиционные варианты к законченному роману, систематизировать их в приурочении к тому или иному хронологически определенному моменту генезиса романа, к тому или иному первоначальному его плану Гливенко даже не попытался. И таким образом эту необходимую работу приходится проделывать читателю самому.

Наиболее раннюю формацию замысла надо отыскивать в „записной книжке“ № 2, поскольку именно она из всех трех является хронологически самой старшей. По своему содержанью текст этой тетради может быть подразделен на два слоя, резко отличающихся друг от друга качеством материала и приемами работы художника. Отрывочные конспекты, несвязанные друг с другом по смыслу и строю фразы заполняют собой начало тетради и затем самый конец (стр. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12—20, 26, часть 30-й; затем 149—152). Напротив, почти вся середина тетради занята синтаксически связным, последовательно развивающимся повествованьем, прямые (подчас дословные) соответствия которому находим в законченном романе: страница 43, начинаясь на полуфразе и продолжая собой таким образом какую-то другую, неизвестную нам тетрадь, содержит текст, соответствущий последним фразам 1-й части законченного романа (о возвращении Раскольникова к себе домой после убийства); на следующих затем страницах (с пропуском только 44 стр., о которой сведений издание Гливенко не дает) находим такое же соответствие первым главам 2-й части романа; этот отрывок тянется, начиная со страницы 45, почти без перерыва (прерываясь лишь в одном месте, на стр. 94 и 95, конспектом) до конца страницы 109, откуда, обрываясь на полуфразе, переходит прямо на страницу 27 и далее заполняет собою еще страницы 28—33. Чем вызван был такой перенос текста со страницы 109 на страницу 27? Объяснение возможно одно: к моменту заполненья текстом страницы 109 непосредственно следующие за ней страницы были уже текстом заполнены; но на этих как раз страницах (110, 111, 112)—черновик письма Достоевского Каткову, поддающийся датировке: черновик этот набрасывался в Висбадене в первой половине сентября 1865 г.[3] Отсюда заключаем, что и предшествующий ему художественный отрывок начат был незадолго до того, а закончен вскоре после того, как написан был упомянутый черновик. Перед нами следовательно более или менее законченный отрывок той первоначальной редакции „Преступленья и наказанья“, которая под именем „повести“ („от пяти до шести печатных листов“) создавалась как раз в Висбадене в конце августа, в сентябре и в начале октября 1865 г., как это видно, кроме упомянутого письма к Каткову, еще из писем Достоевского к А. Е. Врангелю за тот же период и из позднейших писем к жене. Что же касается конспективных заметок в начале рассматриваемой тетради, то и их нет оснований относить к какому-либо другому моменту генезиса романа; на тот же первый заграничный период работы прямо указывает дата на странице 18-й: „14 октября (на пароходе Viceroy)“[4]. Письмо Достоевского к Врангелю от 8/20 ноября 1865 г.[5] позволяет установить с точностью, когда именно, при возвращении Достоев-

ского осенью 1865 г. из-за границы в Россию, состоялся переезд по морю из Копенгагена в Кронштадт; оказывается—между 11-м и 17-м октября старого стиля; 14 октября (того же стиля) действительно и приходится на те 6 суток, которые провел Достоевский в 1865 г. на борту парохода. Запись под этой датой—одна из последних конспективных записей в начале рассматриваемой тетради; предшествующие ей записи есть следовательно основанья относить к предшествующему дате периоду, т. е. к тому же периоду работы (в Висбадене), что и законченный отрывок из середины тетради. Два особых конспекта (на страницах 26 и 30), связанные между собой сходным заглавием и номерами („Prospectus № 1“ и „Prospectus № 2“), тоже должны быть отнесены к периоду работы в Висбадене, может быть к самым первым фазам этой работы, судя по тому, что предусматриваемая ими редакция не только сходна в основном с той, которую находим в предшествующих конспектах, но и еще более, чем она, схематична, еще менее конкретна. И только наконец конспекты на четырех последних страницах (149—152) по некоторым признакам могут быть отнесены к другому, более позднему периоду работы над „Преступленьем и наказаньем“ (о чем ниже). Каковы же главные признаки этой висбаденской краткой редакции, создававшейся, как видим, на всем почти протяжении тетради № 2?

Самая разительная ее особенность—форма рассказоведения от лица героя (Icherzählung); в этой форме выдержан как отрывок, соответствующий концу 1-й части романа (на стр. 43), так и весь большой отрывок, соответствующий первым главам 2-й части романа (на стр. 45—109, 27—33); неизменно все та же форма предусматривается и в конспективных набросках начала тетради. Никаких намеков на ту форму объективного рассказа от лица автора, которая потом окажется налицо в законченном романе, пока еще нет. Далее, иные тут, чем в романе, имена некоторых персонажей. Будущего Раскольникова Разумихин называет „Вася“, „Васюк“, одинаково в законченном отрывке из середины тетради и в конспектах ее начала; будущий доктор Зосимов последовательно именуется Бакавиным (Бакалиным) тоже как в отрывке из середины, так и в начальных конспектах; квартирная хозяйка Раскольникова, хоть и носит уже, как в романе, фамилью Зарницыной[6], но имя пока у нее другое: Разумихин называет ее не Пашенькой и не Прасковьей Павловной (как в романе), а Сонечкой, или Софьей Тимофеевной, и опять при этом не только в отрывке, но и в конспектах начала тетради[7]. Соответственно этому настоящая героиня романа, будущая Соня Мармеладова, именем „Соня“ названа в конспектах (начала тетради) один только раз, да и то как бы случайно[8], обычно же обозначается здесь словами „дочь“, „дочь чиновника“, „дочь Мармеладова“ или чаще всего просто словом „она“ („она к нему пришла“, „Пошол к ней“ и т. п.).

Есть зато один персонаж — и не последний по предназначавшейся ему роли, — отсутствующий в законченном романе. Это—девочка по имени „Сяся“; отрывок из середины тетради об ней молчит, но видимо только лишь потому, что обрывается раньше того как „Сяся“ по ходу действия должна была бы выступить: конспект на странице 94, прерывающий собою отрывок и намечающий его продолженье, „Сясю“ как раз и упоминает[9]. Говорят о ней и конспекты начала тетради. „Сяся“ должна была явиться к герою-преступнику после убийства и после того, как он сознает себя окончательно выброшенным из жизни; „Сяся“ и является в качестве живого напоминанья об утраченном: „NB. Как воротился от Разумихина с именин, всю ночь ужасных и совершенно ясных рассуждений, а к утру вдруг девочка, Сяся, обнялся с нею“[10]; или: „от Разумихина приходит. Сяся и письмо от матери“[11]. Далее оказывается, что „Сяся—дочь убитой им Лизаветы“, которую знает „она“, т. е. будущая Соня Мармеладова: „NB. Произошло с Сясей так: он ласкает Сясю, а она к нему пришла (от [вдовы] жены) и видно что сама рада была предлогу прийти. Тут она сказала, то дочь Лизаветина [и что она знала Лизавету]. Потом, когда ей он повинился, то вдруг хвать, нет Сяси, это она приходила и увела ее к себе. Он понял“[12]. Признанье Раскольникова Соне о совершенном им преступлении должно было, согласно замыслу, непременно отозваться и в этом сентиментальном эпизоде о девочке-сироте: конфидентка убийцы, чтоб понудить его покаяться, донести на себя, уводит у него Сясю. „Призна-

ется во всем. Расстались. Она взяла Сясю" и т. д.; и еще: „Сяся, разве я не могу любить ее. Лизаветина"[13].

Некоторые эпизоды будущего романа намечены в этой краткой редакции иначе, чем осуществились в романе. Эпизод Мармеладова имеет здесь несколько вариантов. „Встреча с чиновником" приурочивается например к Крестовскому острову [14], а в ряду событий романа не предшествует убийству (как в романе), а случается после него [15]. В связи с этим стоит один, отпавший потом мотив: пьяному чиновнику денег на выпивку дает не дочь-проститутка (как в романе), а убийца из кошелька убитой и ограбленной им старухи [16]; и только как одна из многих возможностей намечается наконец мотив, избранный потом для законченного романа: „1-я встреча в распивочной с чиновником" [17].

Так же неопределенен пока и мотив будущей Сони; здесь у нее не только нет имени, но и ее образ еще неясен; в некоторых записях он намечается гораздо жестче, чем выступит позже в романе; подчеркнуты например „профессиональные" черты проститутки: „встречает раз ее промышляющую. Скандал на улице..."; или: „к дочери пошел По-блядски" [18]. Есть запись, прямо свидетельствующая о колебании художника при выборе между этими чертами и теми, которые возобладали потом в романе: „NB (Дочь чиновника мимоходом, чуть-чуть и оригинальнее вывести. Простое и забитое существо. А лучше грязную и пьяную с рыбой" [19]. Но какова бы она ни была, уже теперь художнику совершенно ясно, что патетический финал романа без нее обойтись не может; финал этот, как он дан в романе, с точностью уже предусмотрен в ряде заметок: „У ней ноги целовал (—Конец). Поклонился народу. Донес на себя"; или „Пошол он к ней так: сначала повалился на Сенной, потом прямо в контору" [20] и т. д. Но любопытен вариант, не нашедший себе места в романе, дающий особую идеологическую мотивировку признанью Раскольникова: „NB. О, зачем не все в счастьи? Картина золотого века. Она уже носится в умах и в сердцах. Как ей не настать — и проч.

NB. Но какое право имею я, я подлый убийца, желать счастья людям и мечтать о золотом веке.

Я хочу иметь на это право.

и вследствие того (этой главы) он идет и на себя доказывает. Заходит только проститься с ней, потом поклон народу — признание" [21].

В рассматриваемой редакции почти отсутствует эпизод, центром которого в законченном романе является Дуня. Правда, в одном из конспектов находим заметку: „История с сестрой. Я хотел его убить, но в это время я занят был любовью" [22]. Можно принять это за намек на Свидригайлова; но в таком случае — это единственный намек на него во всем основном содержании тетради. Нет тут еще и буржуазного жениха Дуни—Лужина. Он выступает только на последних четырех страницах тетради. Ряд заметок, начинающихся на странице 149 и озаглавленных: „Сейчашние справки", посвящен как раз эпизоду Дуни по преимуществу; первая из этих заметок (на стр. 149) намечает ту сцену законченного романа (в 5 гл. 2-й части), где впервые выведен Лужин; последняя же (на стр. 152)—сцену окончательного разрыва с ним Дуни (во 2-й и 3-й главах 4-й части романа). Между той и другой заметкой о Лужине—особая заметка об Аристове: „Аристов и его история"; это—фамилия одного из самых отталкивающих персонажей „Мертвого дома"; характеристика циника, которая ему тут дана, и какая-то неопределенная пока причастность его к судьбе „сестры" позволяют признать в нем прообраз Свидригайлова. Так заключительные страницы тетради № 2 уводят нас от той краткой редакции, которая зафиксирована в основном содержании этой тетради. Эпизод Дуни и Свидригайлова, мало-помалу вступая в свои права, как раз и нарушил сложившийся было замысел, противореча, во-первых, краткости, односюжетности задуманной повести и во-вторых, совсем не мирясь с избранной для повести формой рассказоведения: личные признанья главного героя никак не могли бы охватить собою самостоятельного рассказа о другом лице,—рассказа о последней любви и самоубийстве неисправимого циника. „Повесть" должна была уступить место роману. Замысел действительно подвергся существенным изменениям, лишь только Достоевский возобновил работу по возвращении из-за границы в Петербург в октябре 1865 г. „Засел я работать ускоренно и усиленно, — пишет Достоевский Янышеву 22 ноября, [23] — но работа моя пошла так, что надо

было вновь переработать — и я решился на это". „В конце ноября было много написано и готово,— признавался вскоре потом Достоевский Врангелю.—Я все сжег... мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова" [24]. Эта новая стадия работы над „Преступленьем и наказаньем" зафиксирована в издании Центрархива тетрадью № 1: записи в ней Гливенко справедливо отнес, на основании встречающихся в них дат, именно к ноябрю — декабрю 1865 г. И не вдаваясь уже в подробный их анализ, отметим только, что выбору новой формы рассказоведения, с одной стороны, и эпизоду Дуни — Лужина — Свидригайлова (Аристова) — с другой, тетрадь эта в значительной своей части как раз и посвящена.

Тетрадь № 3 имеет несколько дат, удостоверяющих бесспорно, что записи в ней были сделаны после уже того, как „Преступленье и наказанье" стало печататься в „Русском Вестнике" [25]. Соответственно этому ее страницы не столько освещают генезис романа, сколько служат как бы авторским к нему комментарием. Много вниманья уделяет тут сам Достоевский „идее романа"; немало и авторских „характеристик" отдельных персонажей романа (Разумихина, Свидригайлова и др.). Из существенных фабулярных вариантов здесь можно отметить одно, касающееся финала: „Глава Христос (как сон Облом.) кончается пожаром. — После пожара он пришел с ней проститься. Нет, я еще не готов, я полон гордости"; и еще: „NB. Гордость и надменность его и самоуверенность в безвинности идут все crescendo и вдруг на самом сильном фазисе, после пожара, он идет предать себя" [26]. Мысль осложнить финал эпизодом о пожаре, где Раскольников должен был „наделать громких дел", была у Достоевского и в более ранний период работы [27]. Тем интересней выпаденье этого эпизода из законченного романа с кратким однако упоминаньем (в эпилоге), при перечислении смягчивших судьбу Раскольникова показаний на суде, что когда-то прежде он „во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей". Это—типичный у Достоевского случай, когда мотив ранней редакции выступает и в законченном романе, в рудиментарном лишь состоянии.

Рукописи к роману „Идиот" изданы академиком П. Н. Сакулиным („Центрархив. Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы. Редакция П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. ГИХЛ, 1931"). Материал извлечен из записных тетрадей Достоевского под №№ 3, 10 и 11; текст заполняет собою страницы тетрадей так же беспорядочно, как и в тетрадях с черновиками „Преступленья и наказанья". Зато изданье, выполненное Сакулиным, выгодно отличается от изданья Гливенко. Сопроводительная статья Сакулина: „Работа Достоевского над Идиотом" действительно служит читателю, как говорит автор, „путеводителем по печатаемым материалам". Сопоставление встречающихся кое-где в тетрадях дат со сведеньями из писем Достоевского о ходе его работы над „Идиотом" приводит Сакулина к следующему выводу: „Все, что заключается в тетрадях № 3 и № 11, относится к начальному периоду работы, до появления в печати первых глав. Заметки в тетради № 10 писались уже после того, как роман стал печататься, и следовательно допускают прямое сближенье с текстом печатной редакции" [28]. В издании, соответственно этому, текст из тетради № 11 как непосредственно продолжающий собой тетрадь № 3, предшествует тексту из тетради № 10. Трудней было разобраться в последовательности рукописных страниц. Сакулин справедливо учел невозможность „механически воспроизводить" последовательность в тетрадях и допустил поэтому в своем издании ряд „очень значительных перестановок". Но сделано это с большим тактом, так что трудная задача—размещение рукописных страниц в той последовательности, как их заполнял своими заметками Достоевский, — в общем разрешена тут блестяще и только в редких отдельных случаях принятая Сакулиным пагинация кажется не вполне точной.

Не менее тщательно выполнена и другая задача — систематизация рукописного материала в преемственной смене замыслов или „планов", предшествовавших законченному роману. В исследовании Сакулина этому посвящена особая глава („К творческой истории романа"). Работа над „Идиотом" протекала, как известно, негладко. Начатая в середине сентября 1867 г. (чему соответствует первая запись в тетради № 3 с датой „14 сентября") работа внезапно, в первых числах декабря, была прервана: роман

„перестал нравиться“, пишет сам Достоевский, его „пришлось забраковать“ [29]. К этой „забракованной“ редакции и относятся все записи в тетрадях № 3 и № 11: последняя дата в тетради № 11 — 30 ноября (1867 г.) — прямо подводит нас к тому моменту работы, когда, по словам самого Достоевского, разочаровавшись в романе, он „4 декабря иностранного стиля бросил все к чорту“ [30]. Этот „забракованный“ замысел, как бы распластанный перед читателем в опубликованных теперь черновых набросках, Сакулин и взялся реконструировать. „По моему мнению, — говорит он, — забракованную редакцию можно разделить на восемь последовательных планов и один промежуточный, при чем в пределах каждого плана есть свои ответвления“. „Первым планом и, следовательно, зерном, из которого развернулся весь роман“ оказываются начальные записи в первой из трех тетрадей.

Приводим отсюда все наиболее характерное относительно фабулы и главных действующих лиц.

„Разорившееся помещичье семейство (порядочной фамилии) очутилось в Петербурге. Несмотря на бедность — форс. Главный форс у матери — особа достойная уважения и благородная, но взбалмошная. Семейство состоит из сына (молодой человек балованный матерью, обожаемый, красавец, но умеющий понять свое положение. Ищет места, благороден, из самых буржуазных натур, но имеющий претензию на самобытность и даже поэзию. Есть манера. Свысока — насмешливость. Нежного сложения. Влюблен в одну молодую особу, дальнюю родственницу и жених ея. Та в семейство ходит. Резка и насмешлива. Сестра (М.) сыскала сама себе жениха, дает уроки на фортепиано, что жених сносит. Глупа, жестока и буржуазна. Мать взяла в руки. Жених офицер, дающий под залог деньги... Наконец, отец семейства, бросил его, путешествует за границей, где однакож его притиснули за долги. Возвращается в семейство, сначала форс, потом быстро падает с последними, отчаянными и ужасно глупыми расчетами достать денег. У этих людей, покамест деньги, то если не умны, то по крайней мере они представительны, в числе человеков. Без денег же быстро падают. В семейство ходит двоюродная сестра жениха (героиня) хороша чрезвычайно, высокомерна. (Семейство жениха, — мать в дружбе с матерью другого семейства. 2 старухи, одна тип помещицы, другая петербургской чиновницы). — Старик отец — потаскун... В главном семействе еще приемыш — падчерица сестры матери семейства — озлобленная Миньона и Клеопатра. И наконец Идиот. Прослыл Идиотом от матери, ненавидящей его. Кормит семейство, а считается что ничего не делает. У него падучая и нервные припадки. Курса не докончил. Живет в семействе. Влюблен в двоюродную сестру жениха — тайно. Та ненавидит и презирает его хуже чем Идиота и лакея... Он насилует Миньону. Зажигает дом... Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его — смеется над ним, кто знает — начинает бояться...

Миньону страшно притесняют, держат хуже служанки — это подлая черта в матери. Миньона влюблена в красавца брата и ненавидит его невесту... Идиоту... жених нашел место в канцелярии; тот походил три дня поругался и вышел (описание как поругался, как долго сидел, переписывал (почерк хорош) соблазнился, что все трепещут директора и вот бы плюнуть-то ему в харю). В семействе говорят: с ним это случается, — то смирен и послушен, то вдруг взбунтуется (NB. Все идиотство его есть, в сущности, выдумка мамаши (характер мамаши)...

История Миньоны все равно, что история Ольги Умецкой... Отец семейства не только все промотал за границей, но еще многие чрезвычайные долги его поданы, наконец, за границей из России ко взысканию... Решаются наконец обратиться к дяде... Дядя—лицо капитальное всего романа. Ипохондрик, самопогребенное тщеславие, гордость. Всех подозревает. Образован. С великодушными даже началами, но все извращено и испорчено. Много наболевших ран. Уединившийся ростовщик, но ростовщик с поэзией. В детстве гадко воспитан и развит. Нелюбимое дитя. Пожертвован брату первенцу. Мать семейства была сначала его невестой; но выдана была за старшего. Очутился на петербургских улицах, наживал поденной работой и по копейке. Мильона $1^1/_2$ наверно. Никому не дает... Рассеян и невнимателен; чудак; посягал на самоубийство.

Иногда сплин. Некого любить. Боится быть с людьми, чтобы не переродиться и не привязаться к кому любовью.

Сущность свидания прошла в том, что дядя согласился давать крошечную помесячную помощь (25 р.)... Дядя, собираясь на этот час (ровно час) свидания, был в большом волнении, хотя с виду лед и камень и высокомерно рассеян: он боялся, что увидит прежнюю любовь свою. Но впечатление очутилось комическое и он вышел угрюмый, досадный и свысока презирая себя. Мать семейства разливалась — ораторствовала... Обратил внимание на Миньону: ему рассказали ее биографию при ней, дочь. помещика, не кормили, хотела повеситься, с веревки сняли. Пришла красавица (Героиня). Он обратил внимание на Идиота. Впрочем ему и без того об нем рассказать поспешили. Рассеянно слушал. (Почерк. Конторщик говорил.) А вот я его; у меня плетка; почему ж он Идиот? И никто не знает. Невеста Красавица. Все издеваются над Идиотом. Уходит.

— Миньона влюблена в Красавца и ненавидит его невесту. Она ненавидит и Героиню, потому что Героиня льнет к Красавцу, но так как та ужасно хороша, то Миньона. оставшись наедине, цалует ей руки и ноги (и тем сильней ненависть) (она даже нарочно ноги цалует, чтоб за это ненавидеть еще сильнее. „За это я еще сильнее ненавидеть буду"). Завистница и гордячка. Зарежьте ее, а прощения не попросит, а трепещет как трусиха (нервна). Удавится, а есть не попросит коли не дают. Наивна в желаниях своих: всем отмстит, захлебнется в золоте. С Идиотом они сошлись. Дружба страшная до рабства, но наравне. Миньона перед ним благоговеет... Иногда Идиот и она сходятся и говорят, наивные мечты ее, он угрюм и несообщителен; Миньона ему все свои мечты пересказывает. Она беспрерывно мечтает. Она ненавидит семейство. Она ужасно умна и все примечает. Обыкновенно сходятся и об дне говорят. Потом она начинает воображать, как она отомстит. Идиот говорит, смотрит и чувствует как властелин. Он уходит и шатается по Петербургу...

Идиота выгоняют...—на улицах Петербурга день и ночь он и Миньона. Три дня скитания Миньона тоже взбунтовалась и сбежала — я совершеннолетняя. В дождь, в холод, ночью толкуют о золоте, о богатстве—Миньона хочет скорей быть скверной женщиной" (op. cit., стр. 11—16).

Сакулин прав, отмечая огромную разницу между „этим эмбрионом романа „Идиот" и самым романом. „Мышкин и Идиот первого плана—настоящие полярности". Ближе к персонажам законченного романа женские образы: Миньона и „Героиня",—отдаленные прообразы Аглаи и Настасьи Филипповны. Поразителен своей сложной формацией прообраз Настасьи Филипповны. Это—гетевская Миньона (из „Вильгельма Мейстера") отождествившаяся с Ольгой Умецкой, героиней злободневного в 1867 г. уголовного процесса, за которым Достоевский внимательно следил тогда по газетам [31].

Вслед за приведенным наброском первого замысла, на следующих страницах тетрадей Достоевского дан целый ряд вариантов и поправок к нему. Эти дальнейшие записи двух первых тетрадей Сакулин и подразделяет на восемь (включая основной), последовательно сменивших друг друга „планов". В каждом из них, начиная со второго, перемешиваются или дополняются в том или ином отношении фабульные и образные очертанья первого; и все время колеблются очертанья главного персонажа—„идиота" как везде он тут назван, то сближаясь с будущим Рогожиным, то вовсе уклоняясь куда-то в сторону от имеющего возникнуть романа, пока не приобретают наконец в восьмом плане полной четкости знакомые нам по роману признаки „юродивого князя".

Но при всем внимании к первоначальным формациям романа об „идиоте" Сакулин совершенно почти упустил из виду ту генетическую преемственность, которая связывает этот „забракованный" в 1867 г. замысел не с романом „Идиот", а с позднейшим творчеством Достоевского. Образ „Идиота" первой формации, так мало похожий на князя Мышкина, напротив похож—иногда разительно—на „великого грешника", героя другого куда более обширного замысла, проектировавшегося в виде целой серии романов, но дошедшего до нас тоже только в виде конспективных набросков (1869 — 1870 гг.). Об этом Сакулин почему-то умалчивает, тогда как лишь отсюда понятно бы было отмечаемое им кое-где сходство „Идиота" ранней формации со Ставрогиным: Ставрогин, как известно, генетически восходит к „великому грешнику".

Последняя из трех тетрадей (№ 10) содержит, как уже сказано, наброски ко 2-й и следующим частям романа; заносил их сюда Достоевский начиная с 7 марта 1868 г., т. е. уже после того, как роман начал печататься. И все-таки сплошь и рядом самая фабула, самые очертания главных характеров лишены даже теперь нужной художнику устойчивости. Кто из двух соперников — Мышкин или Рогожин — должен жениться на Настасье Филипповне и каков ее конец, — смерть ли в бордели или смерть под ножом Рогожина, — все это остается Достоевскому неясным до самого конца; неясны и второстепенные персонажи. „Что делать с Ганей?" — записывает например Достоевский. И тут же намечает несколько таких для него возможностей, которые очень далеки от их восторжествовавшего варианта: „Finis" тот, что Аглая предается Н. Ф., а Ганя душит Аглаю"; или позже: „Аглая со злобы выходит за Ганю — и прогоняет его" [32]. Кое-что намечается шире, чем удалось осуществить. Таков прообраз мало выразительного в романе Евгения Павловича; в рассматриваемых заметках он носит имя „Вельмончек" и имеет не только свое лицо, но и свою роль в основной фабуле [33]. Иначе, чем в романе, намечается и роль Ипполита; он — „главная ось всего романа", и именно на нем предстоит „сосредоточить всю интригу"; ему поэтому, а не Рогожину предназначалось сперва самое убийство Настасьи Филипповны; Достоевскому даже мерещилось в нем как будто повторение „прежнего идиота", того центрального персонажа (будущего „великого грешника"), который, будучи уже раз исключен из романа, настойчиво, видимо, просился опять под перо [34].

Пропало наконец кое-что и из намеченного собственно для Мышкина; так пропал например эпизод о „школе у князя" [35].

Нельзя в заключенье не отметить в этих новых страницах Достоевского отдельных заметок, имеющих характер авторского комментария и к создаваемому тут роману, и к творчеству Достоевского вообще.

Назвав например задуманную им сцену „аксантированной" [36], т. е. как бы выделенной среди других особо сильным акцентом, удареньем, Достоевский прямо сам подчеркивает один из основных принципов своей поэтики [37]; или, применив в другом случае сценический термин „coup de théâtre" [38], сам обнажает мелодраматическую традицию своего романа о кающейся камелии; не менее любопытно, что отношение Мышкина к Настасье Филипповне часто обозначается тут просто французским словом réhabilitation; оно невольно заставляет вспомнить réhabilitation de la chair сенсимонистов и связанную с этой доктриной тематику романов Жорж-Занд; есть заметка [39], сближающая „вдохновенную речь князя" (которой в романе соответствует воспоминание о Швейцарии в гл. VII, ч. III) с одним эпизодом в романе Сервантеса, когда Дон-Кихот (в XI гл. I части) произносит перед пастухами вдохновенную речь о золотом веке; но и тут, как в „Преступленьи и наказаньи", „картина золотого века" неизменно тревожившая воображенье художника, места себе в законченном романе не нашла.

Рукописи к роману „Бесы" за последние годы в печати не появлялись; не появлялись и рукописи к „Подростку". Ждут таким образом своей очереди две тетради Центрархива (за №№ 14 и 15 по описи А. Г. Достоевской) с материалами к „Бесам" [40], три тетради того же собрания с материалами к „Подростку" [41] и рукописные фрагменты к тому же „Подростку" из собранья б. Пушкинского дома, изданные уже по-немецки автором данного очерка [42].

Рукописные варианты к „Дневнику писателя" 1876 г. (январь — март), из тетрадей (№ 7/11) Центрархива, опубликовал Н. Ф. Бельчиков в статье „Тургенев и Достоевский. Критика „Дыма" („Литература и марксизм" 1928 г., кн. 1). Поводом для найденных Бельчиковым записей о Тургеневе и его романе „Дым" послужила Достоевскому газетная статья с упоминаньем об „идеях Потугина"; этого было достаточно, чтоб Достоевский снова перечитал ненавистный ему роман, а затем и высказался о нем и его авторе еще раз с предельной злобой и резкостью. Ряд заметок пародирует самого Тургенева — его внешность, его лицо, его привычки, манеры, характер. Упоминается иногда и Потугин. В развертывающейся затем полемике с „потугинскими идеями" исследователь усматривает „целую систему социологии", а причину всей вражды в целом (как личной, так и принципиальной) видит в классовой розни: „Колючий плебей —

Достоевский разжигал высокомерие барина — Тургенева, а от высокомерия барина пуще распалялась желчь плебея: inde ira".

Рукописный вариант (из собранья б. Пушкинского дома) к другому выпуску „Дневника писателя" 1876 г. (май, гл. 2: „Одна несоответственная идея") опубликовал автор обзора в статье: „Петербургские фельетоны Достоевского" (см. сборник „Фельетоны сороковых годов" под ред. Ю. Г. Оксмана. Изд. „Academia" 1930 г., стр. 118—120).

Автором обзора изданы и рукописи „Братьев Карамазовых", пока — только в немецком переводе („Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. R. Piper Verlag, München, 1928"). Книга делится на две части; текстам Достоевского посвящена вторая ее часть.

Тексты эти (из собранья б. Пушкинского дома и из собранья Московского Исторического музея, перешедшего позже в московскую Ленинскую библиотеку) — сравнительно позднего происхожденья; это конспекты отдельных глав романа, непосредственно предшествовавшие их дефинитивному тексту; о каких-нибудь существенных отклоненьях первоначального замысла от замысла, воплотившегося в романе, эти рукописные страницы не говорят ничего. Впрочем особого упоминанья заслуживают первые пять страниц (из собранья Пушкинского дома). Первая из них, 1876 года, среди черновых набросков к „Дневнику писателя" содержит несколько случайных и отрывочных фраз, ведущих к будущему роману; так встречаем тут фамилью „Смердяков", набросок к рассказу о Лизавете Смердящей, несколько характерных выражений, сентенций и т. п., которые перешли потом отсюда на страницы романа, будучи вложены в уста того же Смердякова или Федора Павловича. Страницы 2, 3, 4 и 5 к законченному роману значительно уже ближе; они относятся к сентябрю 1878 г. и являются отрывком составленного тогда (согласно „Воспоминаньям" А. Г. Достоевской), но к сожалению полностью несохранившегося плана к будущему роману в целом, до начала работы над ним по частям; этот синтетический план, даже в виде сохранившегося отрывка, ценен тем, что с особой наглядностью выделяет основной тематический остов окончательного замысла „Карамазовых". Что же касается всех остальных рукописных страниц, то ценны они главным образом как авторский комментарий к тому или иному эпизоду, главе или персонажу романа. Так впервые например узнаем отсюда, что действительный прообраз Дмитрия Карамазова — тот самый молодой дворянин, попавший на каторгу по обвиненью в отцеубийстве, о котором рассказано на первых страницах „Записок из Мертвого Дома"; его фамилия — Ильинский — нередко прямо заменяет собой в рукописях имя Дмитрия Карамазова. Целый ряд рукописных заметок позволяет восстановить также и прообразы старца Зосимы и Ферапонта. Цитата из романа В. Гюго („Les Misérables") сближает одного из персонажей этого романа, сыщика Жавера, с образом Смердякова. Особенно ценны наконец все те заметки, которые касаются Катерины Ивановны: ими восстанавливается сложный генезис этого персонажа и связанного с ним в романе сюжета, — заимствованного, как оказывается, у Жорж-Занд.

По внешнему своему виду рукописи к „Карамазовым" (собранья Пушкинского дома) существенно отличаются от рукописей „Преступленья и наказанья" или „Идиота": вместо переплетенных тетрадей тут перед нами просто пачка со всех сторон исписанных мелким почерком листков почтовой бумаги, без всякой авторской или чьей бы то ни было нумерации; хронологическую последовательность этих листков, их пагинацию, пришлось устанавливать нам, руководясь в каждом отдельном случае либо датами в самом тексте, либо временем работы Достоевского (поскольку оно выясняется из его переписки) над той главой или той книгой романа, которым по своему содержанью данный рукописный листок соответствует; аргументация отнесена в специальный текстологический комментарий. Что же касается приемов воспроизведенья самого текста, то в наши задачи входила не только удобочитаемая передача текста, но по возможности также и передача его внешних особенностей; поэтому, с одной стороны, мы широко пользовались редакторским правом восстанавливать (в особых скобках) недописанные Достоевским части слов, а, с другой стороны, чтоб отнюдь не навязывать отрывочным записям Достоевского произвольной синтаксической связи, искажающей их смысл, и без того не всегда достаточно ясный, — воспроизводился нами по возможности и по-

рядок размещения текста по рукописной странице; если же воспроизвести его было нельзя, он по крайней мере оговаривался нами в подстрочных примечаньях.

Рукописным текстам „Карамазовых" предпослано (в первой части книги) исследованье литературной истории романа — тех проблем литературной его истории, которые могли быть освещены текстами; таковы: философская концепция замысла „Карамазовых" в целом; эволюция завершившегося в „Карамазовых" более раннего замысла „Житие великого грешника"; сюжетное заимствование в „Карамазовых" из романа Жорж-Занд „Мопра" („Mauprat") на фоне всей истории литературных взаимоотношений Достоевского и Жорж-Занд.

III

За последние пять лет обогатилась новыми публикациями и переписка Достоевского, еще так недавно знакомая нам чуть ли не исключительно по первому тому „Собрания сочинений" 1883 г. Правда, еще с конца прошлого века это первое собранье писем Достоевского (под редакцией Н. Н. Страхова) начало пополняться. Такие дополнительные сообщенья отдельных писем не прекращались в печати и за истекшее пятилетие. Большинство из них однако значенье уже утратило после появления (в 1928—1934 гг.) трех первых томов „Писем" Достоевского (первые два — в издании Госиздата, третий — „Academia"). Значенье сохраняют — и то лишь временно, до появленья четвертого тома, где должна быть объединена переписка с 1878 г., — те из этих сообщений, которые касаются переписки Достоевского за последний период его жизни (1878—1881). Кроме того особого внимания заслуживают изданья таких эпистолярных циклов, как например переписка с Тургеневым. Она издана под редакцией и с примечаньями И. С. Зильберштейна (с вступительной статьей Н. Ф. Бельчикова): „Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка. Изд. „Academia", 1928 г. „Сложные взаимоотношенья двух врагов-современников давно уже привлекли к себе внимание исследователей; тем досадней была недоступность или, как полагали, даже отсутствие прочных документальных данных для истории этой вражды: из переписки Тургенева и Достоевского известно было еще недавно всего только 8 писем Тургенева (в „Первом собрании писем И. С. Тургенева", П., 1884 г.) и ни одного письма Достоевского. Письма Достоевского к Тургеневу впервые извлечены были из Тургеневского архива в Париже (наследников Полины Виардо) и опубликованы в 1921 г. André Mazon'ом в „Revue des Etudes Slaves" (1921 г., № 1). Через несколько лет их перепечатал в России И. С. Зильберштейн (в сборнике „Достоевский II" под ред. А. С. Долинина, изд. „Мысль", Л., 1925 г.). Немного раньше стали известны и те письма Тургенева к Достоевскому, которых недоставало в издании 1884 г.; они опубликованы были Н. К. Пиксановым в сборнике „Из архива Ф. М. Достоевского. Письма русских писателей. Гиз, М., 1923 г." Тут же появилось впервые и еще одно письмо Достоевского (с распиской на нем Тургенева), отсутствовавшее в парижском архиве Виардо. Весь этот скопившийся таким образом материал, дополненный еще кроме того распиской Тургенева в получении гонорара за „Призраки" (по автографу Пушкинского дома), и объединен наконец в названном выше издании Зильберштейна, завершающем, как справедливо указывает редактор, „растянувшееся на сорок с лишним лет обнародованье сохранившейся до наших дней переписки Достоевского и Тургенева". Для историка их „вражды" ценен будет и тот неизданный дополнительный материал (письма П. В. Анненкова, М. М. Достоевского и др.), который умело собран редактором в отдельных примечаньях к каждому из писем корреспондентов.

Из двух писем Достоевского (1877 и 1880 гг.) к Суворину (см. „Письма русских писателей к А. С. Суворину". Подготовил к печати проф. Д. И. Абрамович. Изд. Гос. Публ. Библиотеки в Лгр-де, 1927) особенно ценно второе: написанное перед самым отъездом из Старой Руссы в Москву на пушкинские торжества, оно освещает один из интереснейших моментов биографии Достоевского; ценно оно кроме того и тем, что сохранило нам прямой ответ самого Достоевского на известную сплетню его литературных врагов о „глупой", как он тут называет ее, кайме к „Бедным людям" (в издании 1846 г.).

Ответная записка Достоевского (1880) Т. И. Филиппову по поводу „Карамазовых" („Звезда" 1929 г., № 6) ставит на очередь вопрос об отношеньях Достоевского в последний период его жизни и творчества с этим его корреспондентом.

IV

Но все это — membra disjecta будущего IV тома „Писем". Первые три объединяют, как уже сказано, переписку до 1877 г. включительно. Это издание („Ф. М. Достоевский. Письма I. 1832—1867. Под редакцией и с примечаниями А. С. Долинина. Государственное издательство. Москва, 1928, Ленинград"; „Ф. М. Достоевский. Письма II. 1867—1871 . . . . 1930"; „Ф. М. Достоевский. Письма III. 1872—1877 гг. „Academia", 1934 г.") заслуживает самого пристального к себе внимания уже по одному тому, какие заданья предписывает себе в нем редактор: кодифицировать все наличное сейчас эпистолярное наследие Достоевского; для писем, ранее напечатанных, дать более исправный, чем прежде, текст путем сверки его с автографами; дать реальный комментарий к нему и наконец, опираясь на все эти данные, подвергнуть критической проверке биографическую и историко-литературную показательность вообще эпистолярных высказываний Достоевского. С этих четырех точек зренья изданье и должно быть рассмотрено.

Кодификация переписки Достоевского, по словам редактора, выразилась, с одной стороны, в собирании воедино писем, опубликованных ранее и „рассеянных по разным газетам, сборникам и журналам", со страховским собранием в виде первоосновы; и с другой стороны — в „извлечении из архивов как государственных, так и частных писем, до сих пор еще не опубликованных". В результате того и другого мы и имеем свод из 393 писем (за 1832 — 1871 гг., в первых двух томах), которому в издании Страхова соответствует, за тот же период, всего только 125 писем. Цифры сами говорят за себя: эпистолярный фонд, которым может теперь располагать биограф Достоевского, утроился по сравнению с тем, который был в распоряжении первых его исследователей. И при всем том было бы напрасным самообольщеньем считать данную кодификацию исчерпывающей и безупречной. Прежде всего бросающийся в глаза недостаток ее, правда, не зависящий от редактора настоящего издания, — в том, что из общей хронологической последовательности выделено в особое „приложение" (в конце II тома) 25 новых писем (Центрархива), с особой вступительной статьей (П. Н. Сакулина), с соблюдением особых правил изданья и комментированья, с двойной нумерацией, что и усложняет донельзя хронологически последовательное ознакомление с перепиской в целом.

Далека от желанного предела и полнота этого нового собранья. Едва успели появиться два его первые тома, как уже появилось и необходимое к ним дополнение — в „Воспоминаниях Андрея Михайловича Достоевского" (редакция и вступительная статья А. А. Достоевского. Издательство писателей в Ленинграде, 1930). Все значение собранных тут писем Достоевского само собой будет видно при последовательном обзоре тех 268 писем, которыми первые два тома издания Долинина отличаются от страховского.

Первый том „Писем" открывается шестью детскими письмами (1832—1835) к родителям (*к отцу — одно, пять к матери*), *из которых только 2-е — перепечатка, остальные* же появились впервые. Эти 6 писем не исчерпывают однако всю переписку указанного периода и уже сейчас могут и должны быть дополнены еще тремя письмами к матери (за 1834—1835 гг.); их находим в „Приложениях" к упомянутым „Воспоминаниям Андрея Михайловича Достоевского" (стр. 358—364).

Первый, петербургский, период переписки Достоевского (1837—1849 гг.) представлен в собрании Госиздата, по сравнению с собранием Страхова, 18 новыми письмами из них 8 являются в печати впервые (№№ 7, 14, 15, 20, 25, 34, 43, 59), а 10 собраны со страниц сборников и журналов (№№ 11, 46, 48, 49—54, 58). Это письма к отцу (№№ 7, 11), к братьям—Михаилу Михайловичу (№№ 14, 25, 34, 58) и Андрею Михайловичу (№ 20), к московским родственникам Куманиным (№ 15), к Е. П. Майковой, матери друзей Достоевского, Валерьяна и Аполлона Майковых (№ 50), наконец к лицам,

с которыми связан был тогда Достоевский собственно литературными интересами,— к Некрасову (№ 46), Порецкому (№ 43), Старчевскому (№№ 48, 49), Краевскому (№№ 51—54), Григоровичу (№ 59). Письма к отцу, так скудно представленные в собрании Страхова, во всей своей совокупности особенно были бы ценны. Но как раз в этом своем отделе собрание Госиздата очень мало прибавило к прежде уже известному: оба новых письма (одно из которых опубликовано к тому же еще в 1924 г.) далеко не заполняют собой всех пробелов этой переписки 1837—1839 гг. Большую и самую содержательную ее часть находим опять только в „Воспоминаниях А. М. Достоевского": там в „Приложеньях" (стр. 365—379) опубликовано 8 новых писем к отцу; из них 4 написаны совместно с братом Михаилом Михайловичем, а последнее из четырех остальных (5 мая 1839 г.) служит, как выяснилось, началом к письму (10 марта того же года), опубликованному еще у Страхова; и таким образом только теперь, в своей полной редакции, это последнее из писем к отцу, посланное ему накануне трагической его смерти, объясняет нам, почему и когда зародилось у Достоевского то чувство сыновней вины, из которого возникла со временем семейная хроника Карамазовых. Обязаны мы этим однако не собранию Госиздата.

Из четырех новых писем к брату Михаилу Михайловичу (за 1837—1849 гг.) первое (16 августа 1839 г.) опять-таки ценно по своей связи с тем, как пережита была Достоевским смерть отца. Но это — лишь отголосок письма предшествующего, несохранившегося, *написанного в конце июня под первым впечатлением только что полученного* известия; его содержание отчасти восстанавливается из письма Михаила Михайловича к Куманиным 30 июня 1839 г., опубликованного в примечаньях к „Воспоминаниям А. М. Достоевского" (стр. 413—414). Из трех остальных писем к Михаилу Михайловичу одно — 1844 г. (№ 25) — разрешает вопрос, что именно переводил Достоевский тогда из Жорж-Занд; оказывается тот самый рассказ („La dernière Albini"), о котором вспомнил и в статье „Дневника писателя" 1876 г.; другое письмо — 1846 г. (№ 34) — дополняет наши скудные сведения о личных взаимоотношениях Достоевского с Белинским накануне их разрыва; наконец письмо от 22 декабря 1849 г. (№ 58), впервые опубликованное еще в 1922 г., представляет собой документ исключительной ценности: написанное всего несколько часов спустя после отмены смертного приговора, это письмо непосредственно фиксирует тот центральный момент биографии Достоевского, который мы прежде знали лишь в ретроспективно-художественном пересказе (в романе „Идиот") или по воспоминаньям уже позднейшим (в „Дневнике писателя" 1873 г.).

Переписка с младшим из братьев, Андреем Михайловичем, за рассматриваемый период (1837—1849 гг.) представлена в собрании Госиздата только одною, тут впервые опубликованною запиской с просьбою о деньгах (1842 г.). К ней следует присоединить еще две таких же записки 1843 г., опубликованные все в тех же „Воспоминаниях" (стр. 159), и кроме того четыре письма (два — 1846 г., два — 1849 г.), опубликованных там же в „Приложеньях" (стр. 396—398); одно из них (20 июня 1849 г.), посланное из Петропавловской крепости, особенно ценно.

Переписка с московскими родственниками в собрании Госиздата представлена опять-таки только одним, впервые тут опубликованным письмом к А. А. и А. Ф. Куманиным (от 25 декабря 1839 г.), и ценность его осталась бы незамеченной, еслиб не те же „Воспоминанья" Андрея Михайловича. Тут находим, во-первых, ближайшее следующее письмо к Куманиным (от 28 января 1840 г.) и связанное с ним письмо к сестре — Варваре Михайловне: затем, во-вторых, 5 писем к П. А. Карепину, мужу Варвары Михайловны, с припиской в первом из них к ней самой (1843—1844 гг.). Восстанавливаемый таким образом новый цикл ранней переписки Достоевского проливает неожиданный свет не только на биографию писателя, но и на самое творчество, обнаруживая в Достоевском такие переживанья, которые должны были служить как бы личным апперцепирующим фоном для сентиментального сюжета как раз тогда задуманного романа „Бедные люди". Свою сестру в письмах к ней Достоевский называет, как и героиню „Бедных людей", „Варинькой", а замужество ее, тоже судя по этим письмам, пережил он едва ли не так же, как переживает герой „Бедных людей" вынужденное замужество своей „родственницы". К тому же помещик Быков в романе и П. А. Карепин

в переписке с ним Достоевского кое в чем схожи. В письмах к Карепину интересен социальный момент: в этом споре о деньгах и разделе наследства роли распределены так: спорят и враждуют между собой деклассированный наследник разоренной мелкопоместной вотчины (Достоевский) и „вышедший в люди“ разночинец-„приобретатель“ (Карепин). А попытка Достоевского тут же осмыслить социальный нравственный тип этого своего врага аналогиями из Гоголя — как живое воплощенье Чичикова (в письме 19 сентября 1844 г.) — прямо ведет отсюда к пародийным образам самодовольного буржуа в творчестве самого Достоевского: таковы, как известно, Юлиан Мастакович, пятидесятилетний жених семнадцатилетней невесты[43] в фельетоне 1847 г. и в рассказе „Елка и свадьба“ (1848); герой комических повестей „Чужая жена“ и „Ревнивый муж“ (1848); тип „сытого толстяка“ в „Маленьком герое“ (1849) и наконец последний и вполне уже завершенный образ „приобретателя“—Лужин в „Преступленьи и наказаньи“, стилистически восходящий все к тому же Чичикову, а с точки зрения фабулы прямо повторяющий, в плане самосознанья Раскольникова, ту самую роль богатого и „солидного“ жениха сестры, которая в 40-х годах в семейных отношеньях Достоевского принадлежала Карепину[44]. И такая устойчивость этих семейных воспоминаний в творчестве Достоевского удивлять не должна: прямые и бесспорные их отголоски слышатся не только в повести „Дядюшкин сон“ (где г-же Москалевой приписано комическое негодование Карепина на Шекспира, упоминаемое в письме Достоевского 1844 г.), но и в более поздней повести „Кроткая“ (1876), где герой, вспоминая, как он вышел в отставку, вспоминает тут же еще и о том, что как раз тогда „сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался бе гроша на улице“ (гл. II—„Сон гордости“). Точь в точь при таких же обстоятельствах вышел в отставку в 1844 г. и сам Достоевский,—по крайней мере так рисуются эти обстоятельства в его письмах к Карепину 1843—1844 гг. (см. „Воспоминания А. М. Достоевского“, стр. 384—396). Такова ценность этого нового эпистолярного цикла, отсутствующего однако в собрании Госиздата.

Кодификация ранней переписки Достоевского (до 1849 г.), как видим, оставляет желать многого. Все, что прибавлено здесь к соответствущему отделу собранья Страхова (24 письма), отрывочно и случайно; и лишь при сочетании с тем, что опубликованно позже в „Воспоминаниях“ А. М. Достоевского (счетом всего 22 письма), *образуются эпистолярные циклы исключительной историко-литературной ценности.*

Лучше обстоит дело с перепиской следующих периодов. Период от 1854 г. до 1867 г. (т. е. от возобновленья переписки после каторги до отъезда за границу со второй женой) представлен в собрании Госиздата 205 письмами, которым у Страхова соответствует всего лишь 50 писем (из них 6 в „Приложеньях“); из дополнительных 155 писем перечислим лишь те 59, которые в собрании Госиздата появились впервые. Это письма брату М. М. Достоевскому (№№ 73, 74, 77, 84, 87, 93, 102, 105, 111, 114, 115, 118, 120, 121, 127, 131, 191, 201, 202); к брату Н. М. Достоевскому (№№ 172, 206, 239); к сестре В. М. Карепиной (№№ 92, 95, 101); к артистке А. И. Шуберт, которой Достоевский был видимо ненадолго увлечен (№ 147); к начинающей писательнице А. В. Корвин-Круковской, в которую одно время тоже был влюблен Достоевский (№№ 212, 240, 245); официальные письма к кн. В. А. Долгорукому и А. Е. Тимашеву (№№ 138, 143, 139); письма к литераторам или лицам, причастным к литературно-издательским делам Достоевского: Е. И. Якушкину (№№ 97, 103, 106), Б. И. Утину (№№ 162, 163), Н. М. Щепкину (№ 164), И. Н. Березину (№№ 165, 166), А. У. Порецкому (№ 209), А. Н. Островскому (№№ 203, 207, 210, 213), А. А Чумикову (№№ 217, 218), Я. К. Гроту (№ 242), артисту Ф. А. Бурдину (№ 216), Н. А. Любимову (№ 252), А. И. Глазунову (№ 167), С. Федорову (№ 220); два письма к учителю пасынка М. В. Родевичу, сношенья с которым несомненно отозвались позже в пародиях нигилизма и нигилистов в „Идиоте“ (№№ 214, 215); два письма к висбаденскому священнику И. Л. Янышеву, выручившему Достоевского после проигрыша на рулетке (№№ 237, 243); два случайных письма к неизвестным друзьям Достоевского по Семипалатинску (№№ 89, 90) и наконец любопытное письмо к „неизвестному“ с просьбой истолковать поразивший Достоевского сон (№ 144). Благодаря такому вкладу кодификация некоторых циклов действи-

тельно близка к завершению; такова например переписка с братом Михаилом Михайловичем, нуждающаяся теперь, для полного своего освещенья, только в ответных письмах корреспондента; а ее значенье для биографа Достоевского таково, что отдельное изданье всех доступных писем обоих братьев было бы очень желательно. Зато переписка с В. М. Карепиной представлена и за этот период далеко не полно; письмо к Шуберт, дополняя собой два других ранее известных письма к ней Достоевского, тоже только намечает новый эпистолярный цикл, как и три совершенно уже отрывочных письма к Корвин-Круковской. Впрочем пробелы в этих отделах переписки заполнить пока еще нечем, и самый вопрос о возможности их заполненья остается пока открытым. За весь отмеченный период к собранию Госиздата из „Воспоминаний" А. М. Достоевского прибавить можно только два письма: к самому Андрею Михайловичу (29 июля 1864 г.) и к его жене Д. И. Достоевской (13 февраля 1866 г.; см. op. cit., стр. 299, 399).

Переписка заграничного периода (1867—1871) представлена в собрании Госиздата 129 письмами, из которых 44 находим еще у Страхова, 69 собраны со страниц позднейших изданий и только 16 печатаются впервые. Это — 2 письма к А. Н. Сниткиной, матери А. Г. Достоевской (№№ 278, 290), 2 письма к сестре В. М. Ивановой (№№ 295, 299), 9 писем к племяннице С. А. Ивановой (№№ 305, 310, 339, 359, 364, 376, 379, 388, 389) и 3 письма к литераторам: к Ап. Н. Майкову (№ 338), к В. В. Кашпиреву, издателю журнала „Заря" (№ 352), и к А. У. Порецкому (№ 366). Ценнее других письма к С. А. Ивановой: вместе с письмами к ней Достоевского, опубликованными ранее, они почти исчерпывают собой весь этот эпистолярный цикл, которому тоже, как и переписке с М. М. Достоевским, недостает теперь только ответных писем корреспондентки. А для биографа Достоевского ответные письма С. А. Ивановой будут конечно ценны; порукой этому — особая задушевность и содержательность всех писем к ней Достоевского, а также причастность ее самое к замыслу „Идиота": роман этот ей ведь и посвящен. Остальные из 16 вновь опубликованных писем случайны. Их можно теперь дополнить из „Воспоминаний" А. М. Достоевского (стр. 335—351) еще двумя письмами к В. И. Веселовскому (14/26 августа 1869 г.) и к А. М. Достоевскому (16/28 декабря 1869 г.).

Итак „Письма" Достоевского в издании Госиздата далеко не представляют собой édition définitive: одни из отделов переписки представлены, правда, с исчерпывающей почти полнотой (переписка с братом Михаилом и с С. А. Ивановой); другие, напротив, едва намечены (переписка с отцом); третьи наконец не представлены вовсе (переписка с Карепиным).

Гораздо более окончательный результат дала работа над текстом писем, опубликованных ранее. По словам редактора из писем первого тома (за 1832—1867 гг.) сверено с автографами около 90%; из писем второго тома (за 1867—1871 гг.) сверены все за исключением только семи (автографы которых не сохранились). В результате этой сложной работы в письмах, казалось, давно всем известных, восстановлены теперь новые строки и даже страницы, пропущенные первыми редакторами или вычеркнутые в самом подлиннике по соображениям семейной цензуры. Так обогатились теперь ценнейшими подробностями давно известные письма к барону А. Е. Врангелю из Семипалатинска (1856—1857). Большое внимание уделено датировке писем, — прежде всего писем страховского собранья (не датированных самим Достоевским): даты, расставленные Страховым, проверены в примечаньях и в отдельных случаях доведены до большей точности путем указанья на месяц или хотя бы промежуток в несколько месяцев, если Страхов ограничивался только годом.

Из писем, опубликованных впервые (недатированных самим Достоевским), весьма проблематично датировано редактором письмо к Д. В. Григоровичу (№ 59): посланное видимо из Дарового в соседнее с ним Дулебино, именье Григоровича, письмо это может быть точно датировано лишь при выяснении связанного с ним биографического вопроса: когда именно мог Достоевский, одновременно с Григоровичем, навестить родные им обоим места? О такой поездке нет решительно никаких сведений. Понятна отсюда уклончивость соответствующего примечанья; опубликовав письмо не по автографу, а лишь по копии с автографа, редактор склонен даже сомневаться в принадлеж-

ности письма Достоевскому: „если подпись снята правильно и письмо действительно принадлежит Федору Михайловичу (а не Михаилу Михайловичу?)". Авторство Федора Михайловича сомненью однако не подлежит; при ознакомлении с автографом (в Нижегородском Краевом музее) подпись и самый почерк в этом убеждают бесспорно. При выборе года редактор останавливается на 40-х годах, но исключает 1843 — 1847 гг., так как в эти годы „Ф. М. лето (когда могла состояться поездка из Петербурга в Даровое) обыкновенно проводил либо в Ревеле, либо возле Петербурга"; редактор предполагает поэтому, что поездка в Даровое состоялась „в одну из зим или летом 1848 г." Последнее допущенье тоже приходится исключить; в „Воспоминаньях" А. М. Достоевского под 1848 г. читаем: „Братья Михаил и Федор Михайловичи на все лето наняли дачу в Парголове" (op. cit., стр. 178). Вопрос осложняется еще тем, что ведь и Григорович (судя по его „Воспоминаньям") с поступленья в Инженерное училище до 1846 г. в Дулебино не приезжал. Впрочем в 1842 г., как видно из тех же „Воспоминаний", он уезжал из Петербурга в Саратовскую губернию и проездом останавливался в Москве, откуда мог заехать также в Дулебино. В биографии Достоевского этот 1842 г. не освещен вовсе: его писем за этот год мы почти не знаем. Официального отпуска в этом году он, правда, не получал, что видно из указа об отставке в 1844 г. Но отсюда же видно что 11 августа 1842 г. Достоевский был произведен „по экзамену в подпоручики с переводом в верхний офицерский класс" и вероятно тогда же имел место некоторый перерыв в занятиях, которым можно было воспользоваться для поездки в Москву и деревню, не испрашивая официального отпуска. 1842-му году вполне соответствовало бы и общее с Григоровичем увлеченье Бальзаком, засвидетельствованное рассматриваемым письмом.

Среди других дат, предлагаемых редактором „Писем", некоторые оставлены почему-то без объяснительных примечаний (ср. №№ 164, 165, 204, 242).

Примечанья редактора вообще вызывают немало недоумений. Задачи, которые ставил себе здесь редактор, он сам поясняет так: „Наши т. н. научные изданья Писем и Дневников являются классическими по тому обилию сведений, которые даются в примечаньях о каждом упоминаемом лице... Мы же ставим себе задачей: не п р и м е ч а н и я, а к о м м е н т а р и й. Пушкин, Гете, Гюго и т. д. — не сами по себе, а как спутники Достоевского: в его восприятии, в том значении, которое они имели для его жизни и творчества" („Письма" I, стр.36; разрядка Долинина). Такую ориентацию примечаний — на самого автора писем — надо было бы только приветствовать; беда лишь в том, что вопреки заявлению редактора его собственные примечанья вовсе не свободны от тех упреков, которые он делает иным, „классическим", изданьям писем и дневников. Просит например Достоевский в одном из писем к брату прислать ему в Семипалатинск древних историков, перечисляя тут же их имена (№ 62); и вот на двух страницах убористым мелким шрифтом примечанья редактора знакомят нас с Геродотом, Фукидидом, Тацитом, Плинием, Иосифом Флавием, Плутархом и Диодором. И о чем только не узнаем мы тут! И о южных раскопках, производившихся еще в прошлом столетии „в пределах Геродотовой Скифии", и о том, что у Тацита „потрясенная душа" и „величественный торжественный стиль" и т. д. и т. д. („Письма" I, стр. 513 — 514). Не видно лишь одного, чем бы и следовало однако же ограничиться: какое изданье этих историков имел в виду Достоевский: „*они все переведены по-французски*", указывает *он прямо...* При такой щедрости на ненужные подробности тем досаднее явные упущенья или неточности. Отзыв Достоевского (№№ 360, 370) о статьях Константинова (в „Заре" 1870 г.) можно ли было оставить без указанья, что Константинов — псевдоним Константина Леонтьева, и следовательно отсюда и берут начало неприязненные с ним отношенья у Достоевского. Однако примечанья редактора знакомят только со статьями („Письма" II, стр. 492 — 493, 499), а об авторе их предоставляют читателю догадываться. Статья „Смятенный вид" (в „Дневнике писателя" 1873 г. по поводу рассказа Лескова „Запечатленный ангел") названа (в примечаньях к письму № 343, „Письма" II, стр. 466) „Смятенный ангел". Ценны впрочем собранные в примечаньях ответные письма корреспондентов Достоевского (брата М. М. Достоевского, Некрасова, вдовы Белинского, Боборыкина, Лескова, Майкова, Страхова и др. [45]), а также другие документальные реа-

лии к переписке: указ об отставке Достоевского в 1844 г. (I, 477), проездной билет из Семипалатинска в Тверь (I, 543), прокламация Нечаева и статья Огородникова из журнала „Заря“, использованные в „Бесах“ (II, 484, 491—493), письмо Марии Дмитриевны, первой жены Достоевского, к своей сестре (I, 538) и др. Но эту часть примечаний можно было и следовало бы расширить, сократив многое из остального.

Реалиями примечания не ограничиваются. Они рассчитаны еще и на то, чтобы осветить эволюцию мировоззрения Достоевского.

Схема, в которую стремится втиснуть Достоевского редактор его писем, весьма несложна. Достоевский до каторги—„целиком в русле атеистических (или „социалистически-атеистических“) идей Белинского“ (I, 492; II, 425 и др.); десятилетний сибирский период тоже по существу мировоззренья не изменяет, лишь выдвигается Герцен в дополненье к Белинскому (I, 490); временный кризис сконструированного так мировоззрения приурочен только к заграничному периоду 1867—1871 гг. и приписан тоже воздействиям внешним — лиц или обстоятельств: Майкова, с которым однако Достоевский почему-то „люди разных культур“ (II, 448), Страхова, который тоже, несмотря на влияние, „органически чужд“ Достоевскому (I, 556), женевской эмиграции, „причина расхожденья“ с которой Достоевского „не столько в нем, сколько в ней“, в ее недоверии к редактору „Эпохи“ и автору „Преступленья и наказанья“ (II, 402); наконец третий период, названный тут „синтетическим“ и начинающийся не то с 1876 г. (I, 483), не то с 1874 г. (II, 514), характеризуется опять всего только тем, что „ослабевает ненависть к Белинскому“ (II, 514), „тень которого снова с любовью начинает приближать к себе“ Достоевский (I, 483). Такова схема Долинина. Но еслиб она соответствовала действительности, мы стояли бы перед неразрешимой загадкой: кто же написал „Бедных людей“, „Преступленье и наказанье“ и „Карамазовых“? Их автор и носитель сконструированного Долининым мировоззренья отождествлены быть не могут: слишком оригинален первый, слишком банален второй. И чтоб уже вполне убедиться в несостоятельности этой странной теории о Белинском-„двойнике“ Достоевского, достаточно одного примера тому, как поступает Долинин с фактами, если они не укладываются в его схему. Пишет например Достоевский брату 26 ноября 1846 г., т. е. как раз в тот момент, когда назревает разрыв с Белинским не только у него самого, но и у всей группы его друзей и единомышленников по „Отечественным Запискам“ и кружку Бекетовых с Валерьяном Майковым во главе: „Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе“ (№ 41). Для всякого непредубежденного читателя самоочевидно, что упрек этот „литературными мнениями“ Белинского не ограничивается; явно подразумеваются тут (в слове „даже“) еще какие-то другие „мнения“ Белинского столь же шаткие, как и те. Если при этом принять во внимание, что как раз осенью 1846 г. Белинский с обычной для него решительностью отрекается от недавнего своего увлеченья социальными утопистами (что и сказывается тотчас же в его полемике с В. Майковым), а Достоевский, напротив, в том же письме 26 ноября 1846 г. тотчас после упреков Белинскому восторженно восклицает о „благодеяниях ассоциации“, т. е. заявляет себя фурьеристом, тут же упоминая о своих „добрых друзьях“ Бекетовых,— если принять все это во внимание, можно ли будет сомневаться, что упрек Белинскому со стороны Достоевского вызван между прочим принципиальными их разногласиями накануне окончательного разрыва? Но Долинину необходимо устранить даже самый вопрос о разногласиях принципиальных. Комментарий поэтому дан в искусственно усеченной фразе, с пропуском слова „даже“ (у Белинского „в литературных мнениях пять пятниц на неделе“ — см. „Письма“ I, стр. 494). Благодаря такому приспособлению текста к собственным заданьям комментатора и оказывается в самом деле возможным весь вопрос свести только к авторскому самолюбию Достоевского: упрек Белинскому вызван будто бы его отрицательным отзывом о „Прохарчине“ или о „Романе в 9 письмах“, и ничем больше. Укрепленная такого рода „аргументацией“ (в примечаньях) теория о Белинском-„двойнике“ Достоевского изложена еще раз, без всяких уже аргументов, в редакторском предисловии ко II тому, на котором можно поэтому не останавливаться. Но на предисловии редактора к I тому не остановиться нельзя.

Оно посвящено в основной своей части обзору переписки за 1867.—1871 гг., несмотря на то, что самая переписка за эти годы отнесена во II том. Чем обусловлен этот несколько неожиданный выбор темы для редакторского вступления к первому тому, поясняет нам сам редактор; его, как оказывается, интересует „вопрос о взаимоотношении между „Бесами“ и неисполненным замыслом „Житие великого грешника“ (I, 15) или, верней, „произвольные, фантастические“, как он их называет, гипотезы писавших до него об этом взаимоотношении. Указана при этом статья автора настоящего обзора („Ненаписанная поэма Достоевского“ в сб-ке „Достоевский“ I. Изд. „Мысль“, 1922 г.). На выделенном так вопросе редактор „Писем“ и решает остановиться „особенно подробно“. „Покажем на решении его, — говорит он, — насколько вообще ценен этот эпистолярный материал для изученья творчества Достоевского, и в то же время пусть попутно выдвинется несколько основных положений и методологического характера: как именно следует пользоваться подобным материалом, с какой осторожностью следует к нему подходить и как далеко, до каких пределов, должна простираться эта наша осторожность, наш законный скепсис по отношению к показаниям, имеющимся в письмах, в которых автор является лицом всегда более или менее заинтересованным“ (I, 16, разрядка цитируемого автора). Стремясь затем по-новому осветить взаимоотношение двух замыслов 1868—1870 гг., один из которых „Атеизм“ (несколько позже — „Житие великого грешника“), а другой „Бесы“, Долинин исходит из предположенья о заведомой неточности некоторых признаний Достоевского в письмах к друзьям, в особенности к Страхову. В этом и состоит „основное методологическое положение“ Долинина. Достоевский уличается Долининым в заведомом укрывательстве от этих своих корреспондентов „действительной правды о ходе работы над „Бесами“ (I, 26); в письмах к ним Достоевский систематически преуменьшал будто бы действительные размеры и художественную значительность своего труда над этим романом (для „Русского Вестника“) в пользу своего замысла („Жития“), значительность которого, напротив, столь же умышленно, на взгляд Долинина, преувеличивалась Достоевским для того, чтобы набить ему цену в редакции журнала „Заря“, к которой близко стояли и Страхов, и Майков. Но этот кропотливый подбор улик едва ли кого-нибудь убедит. Первенствующее, по сравнению с „Бесами“, значенье для Достоевского в тот период его неосуществившегося замысла („Атеизма“ — „Жития“) подчеркнуто, с особенной даже резкостью, в письмах к племяннице С. А. Ивановой-Хмыровой, правдивость которых не заподазривает и Долинин; а подчиненность замысла „Бесов“ в последней его формации (1870) замыслу неосуществленному („Жития“) обнаруживается из столь же бесспорных признаний письме к Каткову (8/X 1870 г.), с чем тоже вынужден в конце концов согласиться Долинин (I, 25). И таким образом подобранные им улики теряют всякую убедительность. В своем „скепсисе“ (о „законности“ которого пусть судит читатель) Долинин переступает последние пределы правдоподобия, а в виде вывода и утверждает наконец „несостоятельность гипотезы о влиянии „Жития“ на „Бесов“ и на следующие романы Достоевского“ (I, 27). Но как объяснить тогда тематическое сходство, а подчас и тождество конспективных записей к „Житию великого грешника“ (1869—1870) и хронологически совпадающих с ними „Бесов“, затем „Подростка“ и наконец „Братьев Карамазовых“? Из „единой системы символов, которая объединяет все творчество Достоевского второго периода“, отвечает Долинин (I, 27—28). Так; но ведь эта-то самая „система“ — если не отвлекать ее от законченных романов, а отыскивать именно как генетическую их первооснову, как синтетический замысел — только и известна нам по конспективным записям „Жития“, синтезирующую роль которого в истории своего творчества настойчиво подчеркивал сам Достоевский [46]. Но Долинину нужна „система“ более емкая, охватывающая собой не только последние три романа, а и предшествующий им — „Идиот“. Это — „группа символов пра-„Атеизма“ (II, 437), синтетический замысел, предшествующий и „Атеизму“, и „Идиоту“ и якобы охватывающий собой все романы Достоевского от „Идиота“ до „Карамазовых“ включительно. Но что говорит о существовании такого замысла? Отвлечь от отдельных романов (с учетом хотя бы и рукописных версий) и обобщить родственные им всем черты в „систему“ не значит еще указать генетическую их первооснову. „Пра-„Атеизм“ Долинина—именно такая

абстракция; напротив, конспекты „Жития“ — документальное свидетельство о синтетическом замысле, подлинно существовавшем. „Скепсис“ исследователя опять приводит его от напрасно заподозренных документальных данных к произвольно измышленным фикциям. Словом, если уж говорить о системе задуманных художником символов, т. е. об их организованном и сколько-нибудь устойчивом единстве не post factum, не в „собрании сочинений“, а в процессе становленья, генезиса, — конспекты к „Житию“ (1869 — 1870) своего значенья для литературной истории „Бесов“ и последующих романов Достоевского не потеряют никак, сколько бы ни стремился лишить их его чересчур пристрастный к высказываньям своих предшественников исследователь. И недаром, заговорив сперва о „единой системе символов“, Долинин вынужден далее ссылаться на нечто совершенно противоположное ей — на образы-символы, всего только „странствующие“ в творчестве Достоевского: отыскивая среди сменявших друг друга замыслов 1868—1870 гг. синтезирующую их систему, нельзя не притти к „Житию великого грешника“, а для того чтобы говорить о „странствующих“ образах, можно обойтись и без документальных данных. Отсюда неизбежное противоречие Долинина с самим собой. Так например, в примечании к словам из письма (А. Н. Майкову) от 11/23 декабря 1868 г.: „огромный роман „Атеизм“—читаем следующее: „Замысел „Атеизм“ претерпевает целый ряд изменений, переходя в замысел „Житие великого грешника“, тоже неосуществленный, и реализуясь разными элементами своими во всех больших романах 70-х годов вплоть до „Братьев Карамазовых“ (II, 437). Эта-то мысль и составляет основной тезис той самой статьи („Ненаписанная поэма Достоевского“), с которой так некстати полемизирует Долинин в своем введении, противореча затем самому себе в указанном примечании.

Переписка, собранная в III томе,— за 1872—1877 гг. — представлена 219 письмами; из них только восемь имеются у Страхова; около 180 собрано со страниц позднейших изданий; и тридцать писем печатается впервые; это — письма: сестре В. М. Ивановой (№ 401), племяннице С. А. Ивановой (№№ 397, 422), брату Н. М. Достоевскому (№№ 449, 459, 463, 472, 502, 534, 573, 576, 602), сыну (№ 469) и дочери (№ 471), Полонскому (№ 399), Страхову (№№ 413, 423), Тургеневу (№ 473), Всеволоду Соловьеву (№ 536), Оресту Миллеру (№ 461), Победоносцеву (№ 453), кн. Мещерскому, (№ 452, 454, 465); сотрудникам „Гражданина“ Пуцыковичу (№ 421) и Порецкому (№№ 432, 578); книгоиздателям Надеину (№ 574) и Кехрибаржи (№ 534); безвестному драматургу Кишенскому (№ 448) и начинающему литератору Федорову (№ 425, 451). Из них только письма к брату Николаю Михайловичу, при всей их бесцветности составляют, тем не менее, что-то вроде эпистолярного цикла; остальные же более или менее отрывочны, хоть некоторые из них и имеют большую документальную ценность. Таково например письмо к С. А. Ивановой (№ 397), помогающее уяснить все еще до конца невыясненную историю пропуска в „Бесах“ так называемой исповеди Ставрогина.

Остальное — не новое — содержание книги распадается приблизительно на пять эпистолярных циклов; это — письма: к Павлу Исаеву, к метранпажу Александрову, к Всеволоду Соловьеву, к жене и к случайным корреспондентам из числа читателей „Дневника писателя“. В письмах последнего цикла немало можно найти пояснений к отдельным философско-публицистическим темам не только „Дневника“ (письмо к Ковнеру), но даже „Братьев Карамазовых“ (письмо к Алексееву). И тем не менее основной слой в переписке Достоевского за этот, так странно выделенный Долининым период составляют письма к жене, достаточно хорошо всем известные по взданию Центрархива (1926 г.) Их тут числом всего 92, то-есть без малого половина всех писем в книге, а с другой стороны — больше половины всех вообще писем Достоевского к Анне Григорьевне (всего их 162). Стоило ли, спрашивается, ограничивать третий том 1877-м годом, наполовину превращая его тем самым в простую перепечатку сравнительно новой книги...

Есть в III томе досадные пропуски. Они касаются цикла писем к метранпажу М. А. Александрову. Из восемнадцати писем к этому адресату, помещенных в томе, шестнадцать, как сообщается в „примечаниях“ Долинина, имели первичную публика-

цию в кн. IV „Русской Старины“ за 1892 г., а два письма (№№ 575 и 608) „печатаются впервые“. Последнее указание неверно. Оба письма были уже опубликованы в сообщении Г. Прохорова „Ф. М. Достоевский. Письма к метранпажу М. А. Александрову“, напечатанном в „Звезде“ 1930 г., кн. VI, стр., 260—262. В этой публикации, оставшейся неучтенной Долининым, помещено кроме того, еще пять писем Александрова, из которых два нашли себе место в III-ем томе (№№ 539 и 548) однако без указания на источники публикации (первое письмо повидимому напечатано по факсимиле из издания А. Е. Бурцева „Мой журнал. Для любителей искусства и старины“, выпуск VII и XIV, СПБ. 1913 г.), три же письма (1873, 1876 и 1877 гг.) оказались пропущенными и не вошли в III том.

Недостаточно точен III том и в текстологическом отношении. Например письмо к А. Ф. Кони (№ 464) печатается, как гласит примечание, „по подлиннику, хранящемуся в Центрархиве“ (III, 319); почему же этот подлинный (?) текст отличается от факсимильного издания письма, о котором Долинин даже не упоминает.

Редакторские „Примечания“ Долинина нуждаются местами в фактических поправках. Письмо А. П. Философовой (№ 590) впервые опубликовано не в сб-ке „Памяти А. П. Философовой“, как указано в „Примечаньях“ (op. cit., 385), а в „Русской Старине“ 1883 г., кн. X, стр. 231. — Письмо к неизвестному (№ 596), впервые опубликованное в „Русской Старине“ 1884 г., оставлено без указанья на инициал фамилии адресата, который в „Русской Старине“ имеется (Н.). А письмо стоит того, чтоб заинтересоваться адресатом: в нем есть любопытные припоминанья Достоевского о своей юности.

Особое место в литературном наследии Достоевского занимают его показания следственной комиссии 1849 г. по делу Буташевича-Петрашевского. Документ этот, характеризующий Достоевского-революционера, издан был уже не раз; и тем не менее некоторые его отделы, как оказывается, продолжали оставаться до самого последнего времени неизвестными вовсе. Их впервые издал недавно Н. Ф. Бельчиков („Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев“, „Красный архив“ 1931 г., тт. 45 и 46). Это — более или менее краткие ответы Достоевского на поставленные ему во время следствия вопросы,— ответы, по большей части хронологически предшествовавшие тому обширному „объясненью“, которое только и было до сих пор известно в печати. Из содержанья последнего впрочем видно, что какие-то показанья Достоевский давал и до него, уже раньше: „Сообразуясь с первым допросом моим“, пишет тут Достоевский. Этот-то „Первый допрос Ф. М. Достоевского“ прежде всего и находим в публикации Бельчикова. Достоевский здесь назван „Достоевским 1-м“, и следовательно документ относится к первым шести неделям после ареста (22—23 апреля 1849 г.), пока не был освобожден тоже арестованный тогда Достоевский Михаил Михайлович[47]. Далее, вслед за ответами на „первый допрос“, идут ответы на „отдельные вопросы“, каждый ответ на особом листе, не датированные, но тоже относящиееся по большей части к первым месяцам после ареста, потому что в одном из них Достоевский пишет: „Я и другие в э т и д в а м е с я ц а з а к л ю ч е н и я вытерпели“ и т. д. (разрядка моя.—*В. К.*). Впрочем в одном из ответов — о либерализме — есть уже ссылка на „объясненье“.

Что же нового узнаем мы отсюда о Достоевском-петрашевце?

Узнаем прежде всего, кто из петрашевцев был Достоевскому близок. „Ближе всех, — пишет он, отвечая на вопрос о знакомых,— с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским и с Филипповым“. Первые трое в качестве друзей Достоевского известны были и прежде; но к ним присоединяются теперь Головинский и Филиппов — оба среди петрашевцев из числа наиболее радикальных. Головинский, больше других занятый вопросом об освобождении крестьян, не останавливавшийся, в случае необходимости, перед мыслью о революционной „диктатуре“, как выясняется теперь, и введен-то был в кружок Петрашевского ни кем другим, как Достоевским (см. т. 45, стр. 138). Не менее показательна близость Достоевского с Филипповым. Филиппову вместе со Спешневым принадлежала, как известно, главная роль в деле организации тайной типографии[48], но, как удостоверяет, с другой стороны, известное письмо Ап. Майкова к проф. Висковатову[49], мысль об организации типографии увлекала и Достоевского. Личная близость с Филипповым лишний раз подтверждает теперь причастность Достоевского к одному

из самых смелых начинаний революционных кружков 1849 г. Причастен, как выясняется, Филиппов и к другому связанному с именем Достоевского эпизоду следственного дознанья: письмо Белинского к Гоголю, прочитанное перед петрашевцами Достоевским, переписано было (видимо в целях распространенья) Филипповым „с рукописи Достоевского“ (т. 45, стр. 134). Понятно отсюда, почему один из „ответов“ Достоевского целиком посвящен Филиппову, с которым, как оказывается, Достоевский познакомился „прошлого лета (1848) на даче в Парголове“ и который им потом и „был введен“ в кружок Дурова (т. 46, стр. 166—167). Другой „ответ“ знакомит нас с кружком Дурова и с самим Дуровым. „Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы,— пишет Достоевский.— Нас сблизило сходство мыслей и вкусов... Скоро мы, т. е. я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще. Брат написал проект издания“ (т. 46, стр. 165). Это совместное литературное выступление петрашевцев осуществиться к сожалению не успело. Из отдельных характеристик, которых в показаньях Достоевского вообще немало, кроме характеристики Дурова интересна херактеристика Тимковского, как бы предваряющая собой образы мономанов вроде Кириллова в позднейшем творчестве Достоевского. „Тимковский — один из тех исключительных умов, которые, если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими, в ущерб другим. Его поразила... изящная сторона системы Фурье“ (т. 46, стр. 163).

Словом, Достоевский в опубликованных теперь документах рисуется куда более тесно связанным с революционными кружками 1849 г., чем это можно было предполагать до сих пор. Это делает понятным тут же в следственном „деле“ встретившийся отзыв о Достоевском видимо кого-то из членов комиссии: „Один из важнейших“ (т. 45, 132). Таковым признавал сам себя и Достоевский, если верить позднейшим его признаньям (в „Дневнике писателя“). И недаром бунтарь Раскольников вынашивает свою „мечтательную“ идею как раз там, где событиями 1849 г. захвачен был бунтарь Достоевский,— художественный штрих никем пока кажется не отмеченный: ведь Раскольников ютится где-то в переулке между Садовой и Вознесенским: „Я Родион Романыч Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шиля, здесь в переулке...“ (гл. 6., ч. II).—„Дом Шиля — Раскольников“, отмечено и в изданных Центрархивом рукописях (op. cit., стр. 35). Но вот где арестован был в 1849 г. Достоевский, согласно опубликованной теперь Бельчиковым жандармской справке („О лицах, посещавших собрания Петрашевского“): „Достоевский 1-й Федор Михайлович, отставной инженер-поручик, литератор. Жительство: 1-й части 2 кварт. на углу Малой Матросской и Вознесенского проспекта в д. Шиля“ (т. 45, стр. 132), „Дом Шиля“ двадцать лет спустя перешел в „Преступленье и наказанье“.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] После М. Лемке в защиту авторства Достоевского по отношению к этой статье высказался—с существенными, правда, оговорками — Б. Козьмин („Братья Достоевские и прокламация „Молодая Россия“, в журнале „Печать и революция“ 1929 г., кн. 2—3). Однако возраженья Томашевского и Халабаева бесспорно решают вопрос в отрицательном смысле (т. XIII, стр. 613). Открытым пока остается вопрос об авторстве Достоевского по отношению к другой статье, тоже запрещенной цензурою в 1862 г., отрывок из которой приводит Б. Козьмин в своей названной выше работе. Документы, освещающие цензурную историю журналов „Время“ и „Эпоха“, опубликованы А. Долининым („К цензурной истории журналов Достоевского“ в сб-ке „Достоевский“, II, 1925 г.).

[2] Отрывки отсюда изданы были тем же И. И. Гливенко в „Красном архиве“ (т. VII) и в „Печати и революции“ (1926 г., кн. 4).

[3] См. „Достоевский. Письма, I“. Гиз. 1928, стр. 581.

[4] Op. cit , стр 88.

[5] „Достоевский. Письма, I“, стр. 423—424.

[6] В отрывке; op. cit., стр. 111.

[7] Ср. в отрывке: „Это Сонечка хозяюшка твоя“; „Сонечкой зовет. Ах ты рожа повадливая, —сказала Настасья...“; „Нехудо, Настасьюшка, чтоб Софья Тимофеевна бутылочки две пивца скомандовала“. — Op. cit., стр. 140, 148, 139. — В конспектах: „NB. Мамаша прислала 40 руб. с купцом и письмо.., а Разумихин сказал что Сонечка подождет“.

[8] „Соня, дочь чиновника“—Op. cit., стр. 84.—Напротив, в конспектах конца тетради имя „Соня“ вполне уже закреплено за главной героиней, чем и доказывается сравнительно поздний характер этих записей.—Ср. op. cit., стр. 165.

9 Op. cit., стр. 143.
10 Op. cit., стр. 81.
11 Op. cit., стр. 83.
12 Op. cit., стр. 86.
13 Op. cit., стр. 87.
14 Op. cit., стр. 80, 90.—В законченном романе на Петровском острове (вм. Крестовского) Раскольников видит свой жуткий сон об истязании лошади.
15 Op. cit., стр. 86.
16 Op. cit., стр. 90—91.
17 Op. cit., стр. 86.
18 Op. cit., стр. 87, 91.
19 Op. cit., стр. 163.
20 Op. cit., стр. 84, 86.
21 Op. cit., стр. 89.
22 Op. cit., стр. 90.
23 „Достоевский. Письма, I“, стр. 425.
24 „Достоевский. Письма, I“, стр. 430.
25 Последняя из встречающихся тут дат—„13 ноября“ (op. cit., стр. 212) — относится конечно, подобно всем предыдущим, к 1866 г., а не к 1865 г., как полагал И. И. Гливенко.
26 Op. cit., стр. 177, 178.
27 Ср. сходные заметки в тетради № 1, op. cit., стр. 60, 73 и др.
28 Op. cit., стр. 204.
29 „Достоевский. Письма, II“, стр. 71.
30 Ibid., стр. 60.
31 См. об этом в статье В. С. Дороватовской-Любимовой: „Идиот“ Достоевского и уголовная хроника“ („Печать и революция“ 1928 г., кн. 3).
32 Op. cit., стр. 150, 152.
33 Op. cit., стр. 149, 150, 151 и др.
34 Op. cit., стр. 158, 160.
35 Op. cit., стр. 148.
36 Op. cit., стр. 84.
37 См. о нем в нашей статье „Роман „Подросток“ как художественное единство“ в сб-ке „Достоевский“, II. Изд. „Мысль“, 1925 г.
38 Op. cit., стр. 100.
39 См. op. cit., стр. 158.
40 См. „Документы по истории литературы и общественности. Ф. М. Достоевский“. Изд. Центрархива. М., 1922 г., стр. IV.
41 Ibid., стр. III, VI.
42 В книге „Der unbekannte Dostojewski“, München, R. Piper Verlag, 1926.
43 Варвара Михайловна Достоевская вышла замуж (в 1840 г.) 17 лет; о сватовстве к ней Карепина рассказывает в своих „Воспоминаниях“ Андрей Михайлович: „жених был... лет 40 с хвостиком“ (op. cit., стр. 113).
44 В „Воспоминаниях“ племянницы Достоевского М. А. Ивановой („Новый мир“, 1926, кн. 3) сохранилось указанье самого Достоевского, будто в лице Лужина он изобразил своего племянника А. П. Карепина, сына П. А. и В. М. Карепиных. Но все, что попутно рассказывает мемуаристка об издевательствах Достоевского над этим Карепиным-младшим, не объяснимо иначе, как только при допущении, что былую свою вражду к Карепину-зятю Достоевский перенес с годами на Карепина племянника. И если М. А. Иванова верно запомнила, что Лужин—Карепин, то не ошиблась ли она в выборе между отцом и сыном или не ввел ли ее умышленно в заблуждение сам Достоевский: когда писалось „Преступленье и наказанье“ П. А. Карепина в живых уже не было и Достоевскому едва ли было удобно разоблачать перед племянницей свою неизжитую вражду к умершему уже родственнику.
45 Письма корреспондентов Достоевского (Майкова, С. Д. Яновского, П. Исаева, редакции журнала „Русский Вестник“) опубликованы также Е. Покровской и Г. Прохоровым в сб-ке „Достоевский“, II, изд. „Мысль“, Лгр., 1925 г.
46 „Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни — не в денежном одном отношении. Это главная идея моя, которая только теперь в последние два года во мне высказалась... Эта идея — все, для чего я жил“. Так характеризует Достоевский (в письме к С. А. Ивановой 26/14 декабря 1869 г.) задуманное им „Житие великого грешника“ шесть дней спустя после того, как приступил к составлению его конспекта: первая в нем запись датирована, как известно, 20/8 декабря 1869 г. Подобных же отзывов немало и в других письмах.
47 О шестимесячном пребывании под арестом Михаила Михайловича см. „Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского“. Лгр., 1930 г., стр. 209.
48 См. сб-к „Петрашевцы“, т. III под ред. П. Е. Щеголева, 1928 г., стр. 194.
49 См. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“. Сб-к под ред. П. Е. Щеголева, 1926 г., стр. 20—26.

СООБЩЕНИЯ

ГЕРЦЕН—ПРУДОН—ТОЛСТОЙ

Сообщение Н. Мендельсона

В 1861 г. Л. Н. Толстой при содействии Герцена познакомился с Прудоном и беседовал с ним на всевозможные злободневные темы. Сам по себе этот факт был давно известен, но никаких особенных выводов из него не делалось. В работе Б. М. Эйхенбаума о Толстом [1] этому факту придано большое значение — и не без основания. Беседы с Прудоном, как доказывает Б. Эйхенбаум, отразились на страницах „Войны и мира"; самое название романа повидимому не случайно совпадает с заглавием книги Прудона „La Guerre et la Paix", которую он закончил как раз в момент появления Толстого в Брюсселе. Книга эта вышла в мае 1861 г. и имела большой отклик в России, а в 1864 г. появилась в русском переводе. В статье Драгомирова, направленной против взглядов Прудона на Наполеона и на войну, сделан намек на их сходство со взглядами Толстого. К фактам, собранным и сопоставленным Б. Эйхенбаумом, мы имеем возможность прибавить еще кое-что, касающееся Герцена, Толстого и Прудона.

П.-Ж. Прудон, знаменитый автор работ „Что такое собственность?" (1840) и „Система экономических противоречий" (1846), произведших сильное впечатление на Герцена еще до его эмиграции, сблизился с ним после революции 1848 г. Через посредство Ш.-Э. Хоецкого [2] Герцен оказал материальную помощь Прудону для издания его газет „Peuple" и „Voix du peuple". Начиная с 1858 г., когда вышла книга Прудона „De la justice dans la révolution et dans l'Eglise" („О справедливости в революции и церкви"), отношение Герцена к Прудону, интимно-дружеское, позволявшее Герцену посвящать его во все подробности своей семейной драмы, начинает меняться. „Над ним [Прудоном] тоже совершился рок... Человек, который смог написать целый том (в 200 с лишком страниц) римско-католической клеветы против женщин — не свободный человек", писал Герцен М. Мейзенбуг 4 июня 1858 г. [3] „Давно мне не было так невыносимо больно, как при чтении книги Прудона", писал Герцен ей же через несколько дней [4]. Любопытно, что это не помешало Герцену 15 мая 1860 г. напечатать в 71 л. „Колокола" следующую рекомендацию второго, бельгийского, издания возмутившей его книги Прудона: „Прудон издает вновь свою книгу „О справедливости в революции и церкви", ливрезонами. К каждому ливрезону прибавляет он главу „Опыт популярной философии". Обращаем внимание почитателей великого диалектика социализма на его новый труд. Вот заглавие: „Essais d'une philosophie populaire. De la justice...", par P.-J. Proudhon. Bruxelles, office de publicité, Montagne de la Cour, 39 [5].

Отрицательное отношение Прудона к национально-освободительным движениям, в частности к Польше, способствовало окончательному разрыву отношений между ним и Герценом.

Толстой навестил Герцена в то время, когда этот разрыв еще только назревал.

Прудон интересовал Толстого давно. Еще во время первой заграничной поездки он записал в дневнике под 13/25 мая 1857 г.: „Читал логического, материальн[ого] Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бессильность ума, всегда выражающуюся односторонностью, еще лучше видишь эту [6] односторонность в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь [одно слово неразобр.] в одно все эти взгляды, и есть единственный, непогрешительный закон человечества" [7]. Вероятно еще до личного знакомства с Прудоном, перешедшего в „самые близкие отношения" [8], Толстой неодно-

кратно беседовал о нем с Герценом. Речь шла наверное не только об ошибках Прудона-материалиста вообще, но и конкретно об ошибках Прудона как автора книги о справедливости.

Б. Эйхенбаум извлек из „Correspondance“ Прудона незамеченное прежними исследователями письмо к Gustave Chaudey (от 7 апреля 1861 г.), в котором Прудон описывает свое свидание с Толстым:

„Один из моих московских друзей, замечательный Александр Герцен, изгнанный пятнадцать лет назад, собирается вернуться в Петербург. Вся Россия охвачена восторгом. Царь издал свой указ об освобождении по соглашению с дворянами и посоветовавшись со всеми. Зато надо видеть гордость этих ex-nobles. Один очень оброзованный человек, г. Толстой, с которым я беседовал на-днях, сказал мне: „Вот это настоящее освобождение. Мы не отпускаем своих рабов с пустыми руками, мы даем им вместе со свободой собственность“. Он сказал мне кроме того: „Вас много читают в России, но не понимают важности, которую вы приписываете вашему католицизму. Только после того, как я побывал в Англии и Франции, я понял, как вы были правы. В России церковь — нуль“.

Этот рассказ Прудона о беседе с Толстым мы можем дополнить до сих пор не появлявшимся в печати воспоминанием последнего. Оно находится среди черновиков педагогических работ Л. Н. Толстого (1862 г.) и в самом непродолжительном времени будет опубликовано в VIII томе „Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого“, выходящего под общей редакцией В. Г. Черткова. С разрешения последнего привожу строки, непосредственно относящиеся к Прудону:

О значении народного образования.

В прошлом году мне случилось говорить с Г-ном Прудоном о России. Он писал тогда свое сочинение о праве войны[9]. Я ему рассказывал про Россию, про освобождение крестьян и про то, что в высшем классе общества заметно такое сильное стремление к образованию народа, что стремление это выражается иногда комично и переходит в моду. — Неужели это в самом деле правда? сказал он мне. Я отвечал, что, насколько можно судить издали, в русском обществе проявилось теперь сознание того, что без образования народа никакое государственное устройство не может быть прочно. Прудон вскочил и прошелся по комнате. — Ежели это правда, — сказал он мне как будто с завистью, — вам, русским принадлежит будущность. Я привожу этот разговор с Прудоном потому, что в моем опыте это был единственный человек, который понимал значение народного образования и книгопечатания в наше время.

* * *

В распоряжении редакции „Литературного Наследства“ имеется кроме того копия письма Прудона к Герцену от 11 апреля 1861 г., в котором Прудон упоминает о беседе с „одним ученым“ — Толстым. О существовании этого письма было известно по письму Прудона Герцену от 21 апреля того же года (напечатано в XI томе переписки Прудона и в собр. соч. Герцена под ред. Лемке, т. XI). Рауль Лабри, автор книги „Герцен и Прудон“ (Raul Labry. „Herzen et Proudon“. Paris 1928) говорит, что пропажа этого письма „особенно досадна, так как оно было исходной точкой их идейного размежевания в вопросе о Польше“. Из текста письма видно, что это предположение ошибочно: о Польше здесь ничего не говорится. Интересно это письмо тем, что оно проливает некоторый свет на историю размолвки Герцена с Прудоном, относящейся к этому времени. Несомненно Герцена задел тот факт, что Прудон поверил слухам о его возвращении в Россию; обиженный, он написал Прудону раздраженное письмо; на которое Прудон отвечал упомянутым выше письмом от 21 апреля.

Приводим текст письма по копии, сделанной в Париже, к сожалению не вполне исправной:

Bruxelles, rue du Bunil, 8; 11 avril 1861

Cher Monsieur Hertzen,

Je possède vos deux dernières lettres, l'une de 24 dbre 1860, l'autre du 19 janvier 1861.

La première m'apportait le portrait de notre ami Bacounine, dont je vous suis bien reconnaissant; elle m'annonçait en même temps la visite de M. Serno, un excellent jeune homme qui m'a fait grand plaisir à voir et à l'entendre.

Je crois avoir eu aussi la visite de M. Zapornik qu'annonçait votre 2-me lettre: mais je n'ai pas gardé souvenir de ce monsieur; les visages russes se confondent tous un peu dans ma mémoire.

Enfin, j'ai eu ces jours derniers M. Tolstoï, un savant, qui s'est présenté à moi d'autre part.

Je suis heureux, cher Monsieur Hertzen, de la sympathie que me témoignent les démocrates de votre pays: à présent que l'Empereur Alexandre a décrété l'émancipation des paysans et que la liberté d'aller et venir est aussi grande en Russie qu'en [France?] [10]. On dit que, le cas échéant, la terre moscovite [вырвано слово], à defaut de la terre belge, pourrait m'être hospitaliaire, ce que certes ne serait pas arrivé sous Nicolas.

Je vous ai expédié, il y a une 15-e de jours, par la poste les deux dernières livraisons de mon livre de la Justice, édition Belge. Malheureusement, j'ai adressé par mégarde à votre ancien domicile, Park-house, Fulham. Avez-vous reçu ce paquet?

Si vous vouliez le réclamer.

On me dit que vous songez à rentrer en Russie. Mon ami, ce que vous fairez bien, si votre liberté n'y est pas compromise. De mon côté, je songe à rentrer en France, bien que les choses ne rient pas, il s'en faut de beaucoup, telles que les avait fait espérer le diner du 26 dbre.

La France, de plus en plus aplatie, est en même temps divisée dans tous les sens. La raison publique est à l'eau et la morale au diable. Tout marche en Europe, la France seule, tout en brandissant son grand cable, rétrograde. Les... [оторвано] s'agitent: hier c'était la... [не разобрано] qui exploitait l'empire, faisant de Napoléon III leur instrument; aujourd'hui c'est le St.-Simonisme, la camarille du Siècle et celle du Palais-Royal. A travers toutes ces intrigues le Peup[le] se tait et se meurt.

Donnez-moi, avant de vous embarquer pour Pétersbourg, un dernier mot de souvenir, serrons nous la main au nom de la Révolution européenne.

Tout votre

P. J. Proudhon

Перевод:

Брюссель, улица Бюниль, 8; 11 апреля 1861

Дорогой г. Герцен,

Я получил два последних ваших письма, одно от 24 декабря 1860, другое от 19 января 1861 г.

Первое принесло мне портрет нашего общего друга Бакунина, за который я вам очень признателен; в то же самое время оно сообщило мне о визите г. Серно, превосходного молодого человека, видеть и слышать которого было для меня огромным удовольствием.

Кажется, что навестил меня и г. Запорник, о посещении которого сообщало ваше второе письмо; но я не сохранил воспоминания об этом господине; все русские лица как-то сливаются в моей памяти.

Наконец на этих днях был у меня г. Толстой, ученый, который явился ко мне иным путем.

Я счастлив, дорогой г. Герцен, той симпатией, которую мне изъявляют демократы вашей страны в настоящее время, когда император Александр декретировал освобождение крестьян и когда свобода передвижения так же велика в России, как и во Франции. Говорят, что в случае надобности земля московская [вырвано слово], за недостатком земли бельгийской, могла бы оказать мне гостеприимство, чего разумеется не могло бы случиться при Николае.

Недели две назад я отправил вам по почте два последних выпуска моей книги О справедливости, бельгийское издание. К сожалению по недосмотру я адресовал на вашу старую квартиру — Park-house Fulham. Получили ли вы этот пакет?

Не написали бы вы о книге? Говорят, что вы мечтаете о возвращении в Россию. Друг мой, это было бы прекрасно, если бы только ваша свобода там не была поставлена под угрозу. Со своей стороны я мечтаю о возвращении во Францию, хотя события и не веселят; нужно нечто большее, такое, на что заставлял надеяться обед 26 декабря.

Франция, все более и более унижаемая, в то же время разъединена во всех отношениях. Общественная мысль пошла ко дну, мораль послана к чорту. Все движется вперед в Европе. Франция только одна размахивая своим огромным канатом тянет вспять [Оторвано]... действуют: вчера это была..... (?), которая эксплоатировала империю, делая из Наполеона III свое орудие; сегодня это сен-симонизм, камарилья Siècle или Palais-Royal. И посреди этих интриг народ молчит и умирает.

Прежде чем сесть на корабль перед отъездом в Петербург пришлите мне последнее слово на память, пожмем друг другу руки во имя европейской Революции.

Весь ваш

П. Ж. Прудон

Первое... общего друга Бакунина. Об этом письме к Прудону с приложением пертрета Бакунина, сделанного в Иркутске, Герцен упоминает в письме к сыну (т. X, стр. 478). Было еще несохранившееся письмо Герцена к Прудону от 13 апреля 1861 г. с извещением, что он не едет в Россию (т. XI, стр. 86—88).

Серно — Серно-Соловьевич, Николай Александрович (1834—1866) — видный деятель оппозиционного движения конца 50-х начала 60-х годов, сотрудник „Колокола", энергично помогавший Герцену и Огареву поддерживать их русские связи.

Zapornik — предполагаю, что здесь ошибка безграмотного и плохо читавшего почерк Прудона лица, делавшего копию, и что речь здесь идет об Александре Запаснике, который изучал за границей финансовое, в частности банковское дело. Он был знаком с Герценом и Огаревым и мельком, но в дружеских тонах, упоминается в их эпистолярии.

Толстой — Лев Николаевич Толстой.

* * *

В заключение еще один документ — письмо Герцена к Прудону. Оно находится в автографе в московском Литературном Музее.

21 Novembre 1861. Orset House
Westbourne Terrace

Mon cher Monsieur Proudhon,

Cette fois je prends la plume pour Vous communiquer une excellente nouvelle. Notre ami Mich. Bakounine s'est enfin sauvé de la Sibérie. Il a pris la route énorme de la Manjurie, a traversé le Japon et m'a adressé une lettre de S. Francisco (le 15 oct.) — il est sain et sauf et viendra à Londres le 1 janvier.

Je voulais me donner le plaisir de Vous avertir immédiatement. Cela va bien en Russie, nous sommes pleins d'espérances.

Tout à Vous

A. Herzen

Перевод:

21 ноября 1861 г.

Мой дорогой г. Прудон,

На этот раз я берусь за перо, чтоб сообщить вам превосходную новость. Наш друг Мих. Бакунин наконец спасся из Сибири. Он проделал длиннейший путь по Манчжурии, пересек Японию и прислал мне письмо из С.-Франциско (15 окт.) — он жив и здоров и прибудет в Лондон к 1 января.

Я хотел доставить себе удовольствие немедленно известить вас.

В России все идет хорошо. Мы полны надежд.

Весь в'ш

А. Герцен.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Эйхенбаум, Б. М., Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. „Прибой". Л., 1928, стр. 383—392. Книга вторая. ГИХЛ. Л.-М., 1931, стр. 281—309.

[2] Письма Герцена к Хоецкому впервые опубликованы, с комментариями Л. Б. Каменева, в сборнике „Звенья", II, „Academia", М.-Л., 1933, стр. 369—382.

[3] Герцен. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. IX, стр. 251—252. В „Комментариях" к „Былому и думам" (ГИЗ. 1932, стр. 345) Л. Б. Каменев ошибочно счел это письмо адресованным к М. К. Рейхель.

[4] Там же, стр. 253.

[5] Герцен, т. X, стр. 316.

[6] В подлиннике описка: это.

[7] По подлиннику.

[8] Маковицкий, Д., Яснополянские записки. Стр. 55.

[9] „La Guerre et la Paix". Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens".

[10] Заключенное в прямые скобки здесь и ниже вставлено лицом, снимавшим копию.

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Н. Г. ПОМЯЛОВСКОГО

Сообщение Н. Белавина

Эпистолярное наследие Помяловского так невелико, что каждое найденное письмо вносит новые и притом весьма существенные факты в его мало изученную биографию и литературную деятельность. За годы революции нам известны две такие публикации. Первая — письма к М. М. и Ф. М. Достоевским (в сборнике „Из архива Достоевского“, М., 1923), очень интересные для характеристики его сотрудничества во „Времени“ и разрыва с ним, когда журнал этот во второй половине 1862 г. резко повернул вправо. Вторая — в № 5 „Нового мира“ за 1927 г., где В. В. Гиппиус напечатал письмо Помяловского к А. Н. Пыпину и несколько писем к нему, из них два — того же Пыпина. Переписка с Пыпиным, связанная с сотрудничеством в „Современнике“, относится к последним месяцам жизни Помяловского и представляет несомненный интерес для исследователей революционно-демократической литературы 60-х годов. Она ярко рисует невыносимо тяжелое материальное положение писателя, цензурный гнет, заставлявший его нередко с омерзением думать о литературном труде, дает некоторый материал для характеристики отношений Помяловского с редакцией „Современника“ в 1863 г., т. е. после ареста Чернышевского, отношений, которые были повидимому не лишены подчас некоторых шероховатостей. Переписка связана с одним из посещений Пыпина Помяловским, когда он принес Пыпину письмо с просьбою о деньгах (в счет платы за обещанные „Современнику“ литературные произведения), „ответа на которое ожидал у подъезда“. Письмо это не было до сих пор известно и фигурирует в комментариях В. В. Гиппиуса как „не дошедшее“ до нас. Между тем оно сохранилось в Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук (ныне передано в Институт русской литературы) и, поскольку представляет большой интерес как само по себе, так и в связи с опубликованной В. В. Гиппиусом перепиской, мы считаем необходимым его напечатать. Вот его текст:

„Между нами“.

Добрейший Александр Николаевич!

Приходится сознаться, что я наглупил своими к Вам письмами, тем более, что Вы человек больной, и я встревожил Вас своею ерундою. Но что же делать? На сумасшедших не должно сердиться. Дело в том. что я долго пил и много пил, дошел почти до пятой в своей жизни белой горячки. Вы должны знать, что при делириуме трементальном сосостоянии[1], при сильном развитии чувствительности кожи, постоянных приливах крови к голове алкоголисту все представляется в мрачном цвете, и, кроме того, алкоголист начинает сильно глупить. Образчиком глупостей алкоголизма могут служить мои к Вам последние два письма. Повторяю: страшно пил,— и говорить, так договаривать. Только моя, как и Боткин говорит, крепкая натура могла вынести то непомерное пьянство, которое совершилось со мною в последние два месяца. Я постоянно пил, а за неделю тому назад, в продолжение двух суток,

с тремя пьяницами, как и я, распил: две бутылки джину, бутылку хересу, ведро водки и еще полуштоф. Ошалела магдалина... При хроническом алкоголизме, повторяю, алкоголисту все представляется в мрачном цвете и вверх ногами. Так случилось и со мною. В пятницу, будучи в редакции, я вообразил, что и Вы, и Салтыков, и Антонович, и Головачев — все смотрели на меня с глубочайшим презрением и отвращением... Мне бросился в голову вопрос: „вру я, что ли?“ И действительно, говоря о С[усло]вой[2], я не отступил от правды ни на пол-ногтя. Под влиянием алкоголизма мне тошно стало. Я пошел из редакции и жестоко напился. На основании этих данных и объясняйте сумасшествие моего последнего к Вам письма.

Романа я не сжег и не разорвал — домашние не позволили...

Пишу это письмо хоть и отравленный алкоголем, но в полном сознании и рассудке. Студенты, добрый народ (студенты м[едицинской] академии), сказали мне: „вы должны работать... мы не дадим вам ни одной рюмки водки: будем чередоваться при вас — и относительно водки вы лишены прав своей воли. Станете противоречить — мы стащим вас к Болинскому (психиатру м[едицинской] академии)“.

Я понять не могу, где причина моего пьянства. Правда, была причина, пять лет тому зародившаяся, да она теперь не существует — как-то выдохлась. Я изучал свое пьянство, а знаю весь процесс его развития, все мельчайшие признаки и подробности этого гадкого дела, но — остановиться трудно, трудно, трудно: с лучшими докторами советовался и ничего поделать не мог. Говорят, что от запоя есть еще средства, а от пьянства нет их. Что мне делать? Что предпринять? Если бы можно было оправдаться тем, что — пьян по наследству, зачат пьяным отцом, то еще можно было бы чем-нибудь извиниться, но мой отец был трезвый человек, мать — тоже. Если бы не скверный мой порок, я и работал бы много и доволен был бы собой. Но теперь разъедает душу проклятая кокоревщина[3]... не презирайте меня. Я болен.

Но, несмотря на болезнь, исполню свои обязательства к „Современнику“.

При встрече с Вами, не напоминайте мне о моих письмах, потому что л е ж а ч е г о н е б ь ю т.

Вполне преданный вам П о м я л о в с к и й.

1863 г.
Сентябрь 16.

На обороте приписано:

„М е ж д у н а м и“.

Александр Николаевич!

Некрасов говорил Благовещенскому, что достаточно от меня 10 п. листов, чтобы покрыть мой долг „Современнику“ (мне кажется, что это очень роскошно). Я Вам, в продолжение этих двух месяцев, дам 17 листов, но под условием: если Вы дадите мне теперь, в самый скорый срок, помимо месячной платы в 75 р.,— 150 р. с., чрез это избавите меня от многих забот, мешающих спокойно сидеть дома и заниматься делом. Чем скорее выхлопочете нужную мне сумму денег, тем скорее сделаете д о б р о е дело. Просить лично Вас я посовестился. Но деньги до того необходимы, что я, несмотря на обещание — поставить для „Современника“ две статьи, не сделаю этого, если не будут у меня деньги, нужные мне, п о н е о б х о д и м о с т и, потому что должен буду потратить время для добывания их на стороне, а на стороне добыть их очень мало шансов, а потому очень много хлопот. Будьте так добры,

ответьте „да“ или „нет“. В случае отказа с Вашей стороны на мое письмо, я надеюсь, что Вы, разорвав его, никому не сообщите его содержание.

Вполне преданный Вам Н. Помяловский.

P. S. Хорошо если бы хоть часть нужной мне суммы Вы выслали бы теперь же с кем-нибудь из своей прислуги. Во всяком случае, ответьте что-нибудь. Я не знаю, что и делать мне. — Я ожидаю ответа у Вашего подъезда. Сами не ходите, потому что мне будет неловко. Вышлите деньги либо ответ с прислугою.

Письмо производит прямо-таки ошеломляющее впечатление.

Помяловский является одним из самых талантливых писателей радикальной мелкой буржуазии 60-х годов. Оставленное им литературное наследие представляет большую художественную ценность, а в идеологическом отношении обнаруживает в нем типичного „шестидесятника“. Это видно не только по таким характерным для 60-х годов произведениям, как „Молотов“ и „Мещанское счастье“, но и по „Очеркам бурсы“, особенно в их первоначальной редакции. Полного текста этого произведения мы к сожалению не имеем, но в архиве Института русской литературы Академии Наук СССР сохранилась (с пропуском нескольких страниц) рукопись четвертого очерка „Бегуны и спасенные бурсы“, который был повидимому совершенно изуродован цензурой и представляет исключительную идеологическую ценность: тут и материализм, и атеизм, и разумный эгоизм (утилитаризм), столь характерные для мировоззрения людей 60-х годов [4]. Очень интересен замысел начатого Помяловским романа „Брат и сестра“; дошедшие до нас наброски и отрывки свидетельствуют о том, что он хотел показать жизненный путь молодого человека, приехавшего в столицу и постепенно опускающегося на дно, изображение которого и было повидимому в центре внимания автора. Откуда же предполагал Помяловский почерпнуть материал из жизни столичного люмпен-пролетариата? Он стал пропадать по целым неделям в трущобах Сенной площади, а так как еще со времен бурсы у него осталась привычка к водке, то, вращаясь среди населения трущоб, он все более и более поддавался этой слабости, пока наконец не дошел до такого состояния, что уже без медицинской помощи не мог излечиться. В водке он искал и забвения от разочарования и апатии, которые охватили его в связи с реакцией, отчетливо обозначившейся в 1862 г.: воскресные школы, которыми он так увлекался, были закрыты, „Современник“ временно запрещен, Чернышевский арестован и т. д.[5] С другой стороны, он неоднократно намекал близким ему лицам на какую-то несчастную любовь, оставившую в нем глубокую сердечную рану. Повидимому это же имеет он в виду и в публикуемом нами письме, когда говорит, что была причина его пьянства, „пять лет тому зародившаяся, да она теперь не существует, как-то выдохлась“.

Сознавая, что он все больше и больше делается рабом страсти, ведущей его к гибели, в то время как у него зрели прекрасные творческие замыслы, Помяловский в неоконченном романе „Брат и сестра“, давая картину физического и морального падения спившегося человека, с горечью восклицает: „О, препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху?.. Великий русский народ, расшиби ты поганую посуду с поганой сивухой, наплюй в окна кабаков и в рожи их производителей... Но чую, чую взбешенной душой, что это все напрасно написано... Значит, так тому и быть, на роду, что ль, нам написано это?.. Проклятая жизнь и проклятая ты, природа!..“

Этот вопль погибающего человека становится особенно понятен, когда прочитаешь письмо Помяловского к Пыпину, которое и писано-то, по собственному признанию автора, в состоянии отравления алкоголем. Говоря о неимоверном количестве выпитого, он сообщает, что „дошел почти до пятой в своей жизни белой горячки“, и с безнадежным отчаянием спрашивает: „Что мне делать? Что предпринять?“ Не одного из писателей 60-х годов водка преждевременно свела в могилу, но едва ли у кого из них взгляд на свою страсть как на неизлечимую болезнь доходил до того трагизма, какой выражен в публикуемом нами письме.

Письмо датировано 16 сентября 1863 г., а через 19 дней после этого Помяловский умер. В сентябре 1863 г., излечившись от приступов белой горячки, он увлекся писанием „Поречан“ и замыслом нового романа „Гражданский брак“; в этом романе Помяловский хотел сатирически изобразить людей, искажающих близкие ему революционные идеи 60-х годов, в частности взгляды на женщину и брак, видевших в них лишь очередную моду, и вместе с тем защитить молодое поколение от несправедливых нападок. Он решил „работать, работать“. Но внезапно у него на ноге обнаружилась опухоль, цырюльник неумело поставил пиявки, и 5 октября 1863 г. Помяловский, отвезенный в клинику, умер от заражения крови на 29-м году жизни, в расцвете таланта, полный интереснейших творческих замыслов.

Из опубликованной В. В. Гиппиусом переписки Помяловского с Пыпиным мы знаем, что последний, не имея нужной Помяловскому суммы, обещал попросить у Панаева и уведомить его о результате. После этого Помяловский опять пишет Пыпину о безвыходности своего положения, просит похлопотать о деньгах у Некрасова, обязуется представить редакции „Современника“ „Каникулы“ (другое название „Гражданского брака“), отказывается дать „Очерки бурсы“, тем более, что редакция, как ему кажется, не желает их помещать, относительно же романа „Брат и сестра“ заявляет, что разорвет „все тетради“ так как ему „опротивела цензурная литература“ и он хочет „дела, а не сипондряции“, если же дела не будет, то станет пить „мертвым поем“. Пыпин в следующем своем письме выражает удивление по тому поводу, что Помяловский „ожидал у подъезда“, извиняется, что не разглядел его, когда он вошел, опять подтверждает, что у него действительно не было денег, видит недоразумение в словах Помяловского о нежелании редакции „Современника“ печатать „Очерки бурсы“, оправдывается в отрицательном отношении редакции „Современника“ к идее „Каникул“ и в конце письма убеждает Помяловского не бросать литературной деятельности.

Таким образом из рассмотрения содержания всей переписки повидимому с несомненностью следует, что опубликованное нами письмо является, так сказать, исходным пунктом и должно быть поставлено первым. Но, с другой стороны, в напечатанном В. В. Гиппиусом письме Помяловский говорит о намерении сжечь или разорвать начатый роман, а здесь сообщает, что не сжег и не разорвал его; из этого как будто следует, что публикуемое нами письмо было написано после того. Но вероятно к мысли разорвать роман и прекратить литературную деятельность Помяловский обращался неоднократно, о чем мог писать Пыпину и раньше, например в тех упоминаемых им, но не дошедших до нас письмах, в которых он по собственному его выражению „наглупил“.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Делириум тременс — белая горячка.

[2] Кокорев, Василий Александрович (1817—1889) — откупщик, наживший на спаивании народа многомиллионное состояние.

[3] Суслова, Надежда Прокофьевна (1843—1918) — первая в России женщина-врач, в то время вольнослушательница петербургского университета.

[4] По этому вопросу см. нашу заметку: „К вопросу об идеологическом значении „Очерков бурсы“ Помяловского“ в № 9—10 „Звезды“ за 1930 г. Полный текст „Бегунов и спасенных бурсы“ опубликован И. Ямпольским в сборнике „Шестидесятники“ (М., 1933).

[5] См. М. Борисов: „Без живого дела“ („Наша Заря“ 1913, № 9).

ТРИ АВТОГРАФА ДОСТОЕВСКОГО

Сообщение В. Нечаевой

Достоевский не раз пользовался сравнением своей жизни в 60—70-х годах с „каторгой“. Это обычное в повседневном языке метафорическое сравнение наполнялось в речи Достоевского самым реальным содержанием. Беглое сравнение развивалось у него в противопоставление, при чем каторге отдавалось преимущество перед теми тяжелыми условиями жизни, в которые он попадал в эти годы. На каторге было „спокойно“, как он написал однажды.

Основное содержание новой „каторги“—материальная нужда, необходимость насиловать себя как писателя из-за соображений денежного характера, унизительные просьбы о займах, мучительное сознание невыполненных обязательств, постоянная зависимость от кредиторов, вплоть до необходимости скрываться от них и т. д. и т. д.

Эти гнетущие переживания, жертвой которых был Достоевский в 60-х и 70-х годах, нашли яркое отражение в трех дошедших до нас его автографах. Это черновики официальных документов, которые Достоевский написал так, как он обычно писал подобные бумаги: весь трепеща от обид, жалоб, негодования, вкладывая жар личных чувств в канцелярские „отношения“.

Первый автограф—отрывок из длиннейшего объяснения (сохранилась лишь девятая страница, как это видно по нумерации), которое Достоевский предназначал очевидно кредиторам, осаждавшим его после окончания издания „Эпохи“. Взятые им на себя долги по журналу умершего в 1864 г. М. М. Достоевского, еще увеличенные неудачным продолжением издания, положили начало всем тем материальным невзгодам, жертвой которых Достоевский был почти до самых последних лет жизни. Биографически момент этот довольно хорошо освещен в многочисленных письмах Достоевского этого времени. Новый документ еще раз подтверждает тяжелую долю, которая выпала Достоевскому в связи с журнальным наследием его брата. Документ сохранился в архиве Е. М. Достоевской и передан в Музей Достоевского ее наследницей Е. Н. Люба вместе с другими бумагами семьи Достоевских. Среди них сохранился еще один листок-автограф Ф. М. Достоевского, относящийся к этой же поре расчетов при ликвидации „Эпохи“. Достоевский составлял для себя план работы по приведению в порядок запутанных денежных дел и обязательств подписчикам и набросал ряд пунктов, которые требовали выяснения (см. документ 2-й).

Как еще одну иллюстрацию к этому же моменту в биографии Достоевского приведем здесь следующие строки из неопубликованного письма младшего брата писателя Ник. Мих. Достоевского к его сестре Вере Мих. Достоевской-Ивановой в 1865 г. (хранится в Музее Достоевского).

„В семействе покойного брата (т. е. М. М. Достоевского.—*В. Н.*) бываю раз в месяц. Брата Федора вижу там же. Впрочем, я бываю, когда заведутся копеек 50, тогда, несмотря ни на что, я спешу повидаться с детьми покойного и с братом Федором. Я не видал подобного человека. Брат предался весь семейству, работает по ночам, никогда не ложится спать ранее 5 часов ночи, работает как вол; а днем постоянно сидит и распоряжается в Редакции журнала. Надо пожить и долго пожить, чтобы узнать, что за честнейшая и благороднейшая душа в этом человеке; а вместе с тем я не желал бы быть на его месте, он по моему мнению самый несчастный из смертных. Вся жизнь его так сложилась. Он никогда не пожалуется и не выскажет всего, что у него может быть накипело на сердце; вот почему эти строки и вырвались у меня...“

Последний публикуемый нами автограф относится к 1880 г. и сохранился в архиве писателя, переданном А. Г. Достоевской в Исторический Музей (в настоящее время находится в Рукописном отделении Всесоюзной Публичной Библиотеки им. В. И. Ленина). Это черновик обращения Достоевского к министру внутренних дел с просьбой о снятии с него полицейского надзора. Автор „Бесов" и „Дневника писателя" продолжал внушать опасения самодержавному правительству, которое не переставало следить за „политической нравственностью", как выразился Достоевский, своего апологета. Строки болезненно оскорбленного самолюбия, возмущения вырвались у Достоевского: недоверие власти как бы откликалось на те глухие сомнения, с которыми он вел непрерывную борьбу в течение двух десятилетий, как бы не признавало ценою многих жертв доставшуюся ему „победу" над Достоевским—социалистом и революционером.

Чужой передовой молодой России, он не стал вполне „своим" и в лагере ее врагов, несмотря на сделанные усилия доказать ему свою преданность и единомыслие.

О том, что Достоевский находился под полицейским надзором до 1880 г., мы знаем из „Воспоминаний" А. Г. Достоевской. Она подробно рассказала один эпизод, имевший место в Старой Руссе в апреле 1875 г.

Узнав от старорусского исправника, что Ф. М. Достоевский находится „под секретным надзором", А. Г. Достоевская сообщила это известие мужу, смеясь над нелепостью этого факта. Однако Достоевский реагировал на известие иначе. „Федор Михайлович принял принесенное мною известие с тяжелым чувством. — Кого-кого они не пропустили из глаз из людей злонамеренных, — сказал он, — а подозревают и наблюдают за мною, человеком, всем сердцем и помыслами преданным и царю и отечеству. Это обидно". Далее А. Г. Достоевская рассказывает о систематическом перлюстрировании, которому подвергалась корреспонденция ее мужа, и о волнениях Достоевского по этому поводу. Заканчивает рассказ она следующим сообщением: „Сам Федор Михайлович не возбуждал вопроса об освобождении его из-под надзора полиции, тем более, что компетентные лица уверяли, что раз ему дозволено быть редактором и издателем журнала „Дневник писателя", то нет сомнения, что секретный надзор за его деятельностью снят. Но, однако, он продолжался до 1880 г., когда, во время пушкинского празднества, Федору Михайловичу пришлось говорить об этом с каким-то высокопоставленным лицом, по распоряжению которого секретный надзор был снят" („Воспоминания А. Г. Достоевской", ГИЗ, 1925, стр. 200).

Публикуемый нами автограф написан может быть именно в связи с упоминаемыми А. Г. Достоевской обстоятельствами 1880 г. Так как Достоевский в автографе говорит о том, что прошло 25 лет с момента возвращения ему гражданских прав, которые ему были возвращены в 1856 г., то дата автографа приходится именно на последний год его жизни (1880—1881).

Слова, зачеркнутые Достоевским в автографах, заключены нами в прямые скобки. Слова, вставленные между строк и вынесенные на поля, внесены нами в текст.

I

и повестки, по 3 копейки за письмо, составляли в год до 300 руб. серебр. По этому примеру можно заключить о том, что стоила самая переписка и канцелярская часть? Все это может быть проверено с строгой очевидностью и подтверждено многими свидетелями. Одним словом мы утвердительно мож[но]ем сказать, что не выставлено в расход более 10.000 рублей, передержанных собственно на один журнал [ибо расходы на содер]. Эт[и деньги мы]у сумму я, Федор Достоевский, принужден был перетратить из своих собственных последних средств, ибо хотя я, Федор Достоевский, не был ни наследнико[в]м, ни даже [собственником] участником в праве издания журнала; но как брат покойного, видя что семейство его осталось после его смерти в нищете и в долгах и рассчитывая, что поднятием журнала, в случае успеха, можно не только уплатить долги, но даже придать изданию, освобожденному от долгов, даже некоторую ценность [в пользу семейства покойного брата] и я,

побудив вдову покойного, Эмилию Достоевскую, к продолжению издания журнала, естественно должен был взять на себя и весь риск неудачи. А потому истратив 10.000 своих собственных денег, т. е. все что имел я, [и даже продав за бесценок право] [состояния] на журнал, я при ежегодно усиливающейся падучей болезни моей, остаюсь при приближении преклонных лет, безо всяких средств к существованию, кроме тяжелой литературной работы моей. Вдова же покойного находится в совершенной нищете, явной и всем известной и существует только воспоможением Общества литературного Фонда — во уважение литературных заслуг ее покойного мужа. Таким образом, для уплаты остающегося на нас долга, до пятнадцати тысяч рублей,

II

1) Определить количество долга, оставшегося по векселями по смерти брата и по другим обязательствам.
2) Какое после брата осталось имущество?
3) Какое количество книг должно было додать до 65 года?
4) Сколько дополучили за эти книги в 64 году?
5) Сколько получили с подписки за 65 г.?
6) Во что обошлась средним числом каждая книга?
7) Количество в настоящее время моего долга?
8) Количество подписчиков в 64 и 65-м году?

III

ЕГО ВЫСОКО.... Г-Н. . . . М. . . . ВН. . . . ДЕЛ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОТСТАВНОГО ПОДПОРУЧИКА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

Всемилостивейшим производством меня в прапорщики в 1856 году из [рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я [из] по отбытии четырехлетних каторжных [гражданских] работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моем, выданном мне при отставке [из] 30 июня 1859 года в городе Семипалатинске, не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр сей продолжается, как то мне [б] н. пр. было сообщ[ено]аемо [бывшим С.-Петербургским Генерал Губернатором, князем Суворовым в пере] в 3-ьем Отделении Собственной Его Величества канцелярии [куда], в которую я, отправляясь за границу, всегда должен был обращаться с особою просьбой, и наконец еще в 1875 году, когда я проживая зиму 1874—1875 годов в г. Старой Руссе узнал от самого Старорусского исправника, что состою у него под надзором.

Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. На сотнях страниц выска[зывал]зал я и высказываю свои убеждения и политические и религиозные. Убеждения эти, я надеюсь, таковы, что не могут подать повода [в том] к тому, чтобы заподозрить мою политическую нравственность, по этому я и позволяю себе просить, дабы полицейский надзор за мною был прекращен.

Х Р О Н И К А

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Сообщение В. Бонч-Бруевича

I

Материалы в Музей поступают в некоторых случаях целыми архивами, как архивы А. Белого, Бартенева, Гершензона, К. Ф. Некрасова, Лескова, Трефолева и др., иногда специальными коллекциями, например коллекция автографов от Н. И. Тютчева, и, наконец, отдельными или случайно соединенными и между собой внутренне не связанными единицами. Постепенно из этих архивов, коллекций, случайных поступлений формируются фонды отдельных писателей — Пушкин, Толстой, Тургенев и т. п., выделяются специальные коллекции, например коллекция альбомов, собрание мемуарных материалов и пр.

Таким образом, поступая из разных источников, постепенно формировался фонд Пушкина, который продолжает все время пополняться новыми поступлениями.

II

Богатейший материал для пополнения писательских фондов дает исключительно ценное собрание автографов Н. И. Тютчева, приобретенное нашим Музеем. Оно состоит из 126 номеров, почти сплошь состоящих из интересных документов: один автограф К. С. Аксакова «Ты чудо из божьих чудес...»; автограф неизданного письма К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу; 11 автографов стихотворений Е. А. Баратынского, в том числе «Нежданное родство с тобой даруя...», эпиграмма «Хотите ль знать все таинства любви...» с карандашным профилем перед текстом, в котором можно подозревать автопортрет Баратынского, автограф неизданного стихотворения «Вот верный список впечатлений...» и наконец 8 стихотворений из альбома С. А. Энгельгардт. Кроме того автограф письма Баратынского к А. П. Елагиной. Пять стихотворений П. А. Вяземского, из них 4 автографа, в том числе неопубликованное «Читал я сумерки твоих осенних дней...», датированное 18 апреля 1884 г., копия с собственноручными поправками и подписью автора: «Я знал майором вас когда-то...» и автограф неопубликованного письма П. А. Вяземского к А. Ф. Тютчевой. Ф. Н. Глинка представлен тремя стихотворными автографами; Н. В. Гоголь — автографом письма к Н. В. Путяте; А. С. Грибоедов — неопубликованным письмом к неизвестному лицу на французском языке. И. И. Давыдов — автографом стихотворения «Весна природы и человека»; Д. В. Дашков — десятью письмами к бар. А. А. Дельвигу. На одном из них — автограф неопубликованной записки А. А. Дельвига к. И. В. Оленину. Кроме этого в собрании имеется тетрадь Дельвига с автографами одиннадцати стихотворений, его же копия с поправками автора и замечаниями «Отставной солдат» (русская идиллия) — Е. А. Баратынского и копия стихотворения «Четыре возраста фантазии»; автограф записки Дельвига к П. А. Вяземскому и ответ Вяземского. Кроме автографов самого Дельвига в собрание включены подлинные «Одобрительное свидетельство, выданное Санкт-Петербургским Вольным Обществом Любителей Российской Словесности бар А. А. Дельвигу. Генваря 3 дня 1821 г.» и «Диплом на звание действительного члена Общ-ва Любителей Российской Словесности, выданный бар. А. А. Дельвигу 1829 г. декабря 23 дня». Г. Р. Державину принадлежит автограф письма к Н. Н. Новосильцеву и стихотворения «Молодому Капнисту при отдаче пера...» с неопубликованными зачеркнутыми вариантами, а также копия письма к А. А. Лопухиной от 11 апреля 1803 г. с припиской и подписью автора. И. И. Дмитриев представлен автографами двух писем и двух стихотворений. И. М. Долгорукий — автографом письма и стихотворения. А. П. Елагина — подлинниками одиннадцати неопубликованных писем к С. М. Баратынской 1860—1861 гг. В. А. Жуковскому принадлежат автографы трех писем и одного стихотворения, Н. М. Карамзину — автографы двух писем, И. И. Козлову — стихотворение «Касатка» — рукопись за подписью автора. Кроме того

в собрание включены автографы: К. Р. (вел. кн. Константина Константиновича) — два стихотворения и письмо к А. Ф. Тютчевой со стихами «Опять твое раздалось пенье...»; И. И. Лажечникова — запись в альбоме кн. Д. И. Долгорукова; М. Ю. Лермонтова — стихотворение «К портрету» («Как мальчик кудрявый резва...») с пометами В. Ф. Одоевского и П. А. Вяземского; А. Н. Майкова — два стихотворения; Мерзлякова—письмо к Ф. М. Вельяминову-Зернову 1813 г.; А. Мицкевича — автограф записи с его подписью; И. П. Мятлева — стихотворение «Отличилася Анета...»; Н. А. Некрасова — стихотворения «Стихи, Стихи! свидетели живые...»; В. Ф. Одоевского — записка к Г. В. Карамышеву от 13 сентября 1866 г. и строчка в альбоме княжны Долгорукой 1864 г.; Я. П. Полонского — письмо к Г. А. Кушелеву-Безбородко и стихи «Цыганка»; А. С. Пушкина — стихотворение «Твоих признаний, жалоб нежных...» и записка к Н. В. Путяте на французском языке. Кроме автографов Пушкина в собрании имеется современный список стихотворения «Кинжал». С. Е. Раичу принадлежит автограф стихотворения «Ответ». Е. П. Ростопчина представлена автографами десяти стихотворений, из которых одно с пометкой П. А. Вяземского, и письмами к П. А. Вяземскому 1842 г. Кроме того в собрании имеется печатный экземпляр стихов «19 мая 1854 г.» («Сей славный день, сей день благословенный...») с припиской автора и стихи бар. Лютцероде, посвященные Ростопчиной и ею переписанные. В собрание сверх этого входят автографы: Ю. Ф. Самарина — неопубликованное письмо к Н. В. Путяте от 10 января 1869 г.; С. А. Соболевского — эпиграмма «Все, что лишь логике противно...»; Вл. С. Соловьева — стихотворение «Опять надвинулись томительные тени...» и черновик рукописи перевода из Виргилия; Н. В. Сушкова — стихотворение; А. К. Толстого — неопубликованное письмо к А. Ф. Тютчевой от 19/7 марта 1863 г.; Л. Н. Толстого — письмо к М. П. Боткину; Д. И. Фон-Визина — письмо к гр. М. И. Воронцову; А. С. Шишкова — письмо к кн. А. А. Долгорукову; Н. Ф. Щербины — рукопись стихотворения «Напутствие некоему бессребреннику старцу Михаилу Погодину...», стихи «Тосты на новый год» и записка к К. Н. Хитрово. Кроме того в собрание включено стихотворение неизвестного «Где ты, добрый Дельвиг мой...», датированное 21 января 1823 г.

К числу таких же собраний ценных автографов можно отнести альбом Прасковьи Арсеньевны Бартеневой, приобретенный в Париже через наше полпредство. Он представляет собой коллекцию автографов известных писателей начала XIX в., вписывавших свои стихи, изречения, мысли в альбом известной певицы. Среди этих автографов, кроме уже отмеченных нами выше пушкинских, имеется собственноручная запись М. Ю. Лермонтовым стихотворения «Скажи мне, где переняла ты обольстительные звуки...», В. Золотарева — «Соловке» («Я слышал песню соловья...»), И. Козлова — рукопись другой рукой за его подписью «Когда ты нежностью своей лелеяла мое томление...», Н. Павлова «Не правда, ты не соловей...», В. Сологуба «Там, где немец горделиво...» и др.

III

Таким же источником для пополнения писательских фондов являются архивы известных собирателей и исследователей.

Мы обратили серьезное внимание на то, что некоторые из них разрознены, находясь в руках наследников и других лиц, которым были проданы или переданы после смерти самих собирателей. Многие десятилетия они находились в частных руках и не было никакой возможности их исследовать и проибщить к литературному наследству предыдущей эпохи. От этого наследства мы, по завету Владимира Ильича, отнюдь не отказываемся. Мы всемерно желаем осмыслить и критически претворить его в нашем сознании на базе марксистско-ленинско-сталинских установок и принципов нашего литературоведения.

К таким богатейшим архивам прежде всего принадлежит архив П. И. Бартенева, известного издателя «Русского Архива» и собирателя всевозможных материалов, касающихся нашей литературы. Этот архив, помимо тех частей, которые находятся в Историческом музее, был разбит в руках нескольких владельцев. С пятью из них нам удалось завязать самые тесные отношения. Результаты этих отношений у нас налицо. Мы приобрели, прежде всего, знаменитую эпистолярию П. И. Бартенева, которая состояла из 60 переплетенных томов писем от разных лиц. В каждый из этих томов в среднем входит до 400 писем. Сохранились сведения о том, что Бартенев в высшей степени щепетильно относился к своей колоссальной переписке, из которой ничего не уничтожал. Уезжая в Эстонию, он давал лучшим эстонским мастерам, не понимавшим русского языка, переплетать эти письма. На корешке оттиснуто золотом «Письма к П. И. Бартеневу» и год, за который в данном томе собрана корреспонденция.

До сих пор нами обнаружено четыре местонахождения писем. Однако имеются указания, что отдельные томы сохраняются еще в нескольких руках. Нами приобретено в настоящее время 52 тома и некоторое количество разрозненных пачек этой переписки, чрезвычайно богатой по содержанию. Мы имеем множество писем, начиная с 40-х годов XIX ст. до первого десятилетия XX в. Все эти письма можно разбить на две группы:

1) Письма к П. И. Бартеневу. Среди его корреспондентов — П. А. Вяземский (очень большое количество писем), Я. К. Грот, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, И. С. Аксаков, А. П. Елагина, А. Н. Плещеев,

Ю. Ф. Самарин, Н. И. Тургенев, И. С. Тургенев, А. Онегин, Н. М. Языков, А. М. Жемчужников, М. Ф. Де Пуле, Н. И. Второв, Н. П. Барсуков, А. Д. Блудова, М. М. Лонгинов, К. П. Победоносцев, С. П. Жихарев, Л. Н. Трефолев и множество других. Особый отдел составляют письма к Бартеневу от членов его семьи. Эти письма имеют большое биографическое значение.

2) Вторую группу составляют письма, адресованные не Бартеневу, а лишь собранные им. Иногда это отдельные письма, иногда целые собрания, как например письма А. П. Елагиной к В. А. Жуковскому (46 писем), А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову (94 письма с 1834 по 1841 г.), А. И. Кошелева к М. А. Максимову (38 писем и 9 записок), Нессельроде к Рибопьеру (25 писем), гр. Хвостова к В. М. Перевозчикову (67 писем), Евгения — митрополита Киевского (55 п.), А. В. Измайлова к И. И. Дмитриеву, Б. Н. Чичерина к Победоносцеву, Д. В. Дашковой к Е. Г. Пушкиной (25 п.) 1822—1827 гг., А. Ф. Кони (14 п.) и т. д. В меньшем количестве имеются письма А. Н. Островского, М. И. Погодина, Т. Н. Грановского, И. И. Лажечникова, Никитина, Батюшкова, Кн. Р. Воронцова, М. М. Сперанского, письма Н. К. Второва к М. Тульнову, письма С. А. Соболевского к С. Д. Нечаеву, одно из них с четверостишием поэта. Большая книга в коричневом замшевом переплете заключают в себе выдержки из переписки сестер — Софии Оркандо-де-Лабанди и баронессы Юлии Беркгейм. В переписке приводятся обстоятельные выдержки из писем В. Крюденер к княгине Голицыной.

Очень интересные письма К. С. Аксакова к матери — копии с пометками И. С. Аксакова, письма в копиях Герцена к Аксакову, письма Михайлову от студентов, сосланных в Сибирь, и его ответ в стихах и прозе; письмо Л. Н. Толстого к Энгельгардту; письма Маркова к Кристину в отдельном томе с 249 иллюстрациями; письма А. Лабзина к преосвященному Парфению; Н. Ф. Ртищева к разным лицам, в том числе к Поздееву, Измайлову, Ключареву, Державину и др. Собрание писем к гр. Петру Львовичу Санти и старинные документы рода Санти. Письма поэтессы А. П. Буниной, А. Муравьева, Северина и многих других. Эпистолярией далеко не исчерпывается содержание архива.

Большой интерес представляют рукописи самого П. И. Бартенева по самым разнообразным вопросам. Особую ценность имеет его автобиография объемом до 4,5 печатных листов, его записки (5,3 печатн. листа), записная книжка гимназических и студенческих годов и целая коллекция записных книжек с самыми разнообразными, имеющими историческое и литературное значение записями. Кроме этих книжек записи, заметки, целые статьи Бартенева разбросаны по всему архиву. Здесь и рассказ Тьера о кончине императора Павла I, и анекдот о Жуковском, копия письма Даламбера, запись Бартенева о Т. Г. Шевченко, целый том записей, касающихся Пушкина и его окружения, тетрадь с записями об Александре I и о Сперанском, о Муханове с записью его рассказов о 14 декабря 1825 г., а также об Урусове и Муравьевых; пояснения, сделанные рукою Бартенева к записке Н. И. Греча, и множество других. Наряду с автографическими записями самого Бартенева в архиве сосредоточен ряд творческих рукописей видных писателей — Вяземского, Языкова, поэтессы А. П. Буниной (современницы Пушкина), А. Бестужева, С. А. Соболевского (51 стихотворение, часть которых переписана Бартеневым), стихи поэтессы Жадовской с поправками Вяземского, рукопись Серно-Соловьевича под заглавием «Царевна Елена Ивановна, супруга Александра Ягеллона» с письмом от Серно-Соловьевича к Бартеневу и многие другие.

Из архива можно выделить целую коллекцию мемуаров, дневников, воспоминаний писателей, государственных и общественных деятелей и т. д. Некоторые из них представляют собой объемистые, иногда многотомные рукописи, имеющие большой исторический, бытовой и литературный интерес. Очень интересны записки А. И. Тургенева: 1) Письма-дневники 1841 г. январь и 2) дневник 1841 г. февраль—март; дневник И. В. Рождественского, члена свят. Синода, 5 т. (1852—1867 гг.), записки матроса Егора Киселева, находившегося в дальнем плавании на шлюпке «Восток» в 1819—1821 гг., и т. д.

Богато представлены материалы в подлинных документах и всевозможных записях по истории рода ряда старинных фамилий, имеющих несомненно большое историческое значение: род Яковлевых-Герцен, Барятинских, Чебышевых, Туркестановых, описание имения Бестужева-Рюмина (318 стр. большого формата), документы семьи Евреиновых, Колычевых и др. В отдельной папке собраны материалы о кн. Дмитрие Ивановиче Долгоруком.

В архиве представлены в большом количестве чрезвычайно интересные старинные документы — приказы, рапорты, челобитные, духовные завещания, справки и пр.

Кроме перечисленных разделов в архиве сосредоточены самые разнообразные материалы — некрологи, записи об отдельных лицах и исторических событиях, литературных работах, по вопросам жизни и творчества писателей, материалы о посмертных и прижизненных юбилеях писателей и общественных деятелей, по истории декабристов, о масонстве, военных поселениях, убийстве Павла I, истории военных походов (венгерский, Крымская кампания, Турецкая война, завоевание Кавказа и т д.), об убийстве Верещагина в 1812 г., хлыстовщине и т. д. и т. д.

В этом разделе можно особо отметить материалы о чествовании И. А. Крылова в 1828 г. Сюда входит письмо В. А. Жуковского к Мятлеву о торжественном обеде

2 апреля, приветствия, адресованные Крылову в день его рождения, совпавшему с 50-летием его литературной деятельности, художественное меню обеда, письмо В. Бенедиктова к П. А. Вяземскому о подписке для крыловской стипендии, сообщение Княжевича Вяземскому о том же, письма Д. Васильчикова и других к Вяземскому об учреждении этой стипендии и т. д. Имеются также материалы по истории сооружения памятника Крылову.

Интересно письмо Григория Строганова к П. А. Вяземскому по делу опеки над изданиями и имуществом А. С. Пушкина. Библиография (в рукописи) сочинений и переводов И. С. Баркова, рукопись неизвестного о Мицкевиче, три рукописи П. Л. Юдина, письмо В. С. Попова о высылке Сперанского и Магницкого. В отдельной папке собраны материалы о К. Н. Батюшкове. Отдельную папку также составляет переписка о проповедях московского священника магистра богословия Михаила Федорова Тут же находится предписание о запрещении М. Федорову выступать с проповедями. Небезынтересен рассказ, написанный собственноручно Татьяной Потемкиной о возвращении из ссылки крестьян деревни Гастилицы, сосланных за учиненный ими бунт и помилованных через несколько лет по просьбе новой владелицы имения, — автора рассказа. Можно отметить еще рукопись «Мнение об известной речи г-на сибирского губернатора Магницкого» с собственноручными пометками П. А. Вяземского. Материалы о казни Верещагина составляют особую папку.

В дополнение к архиву П. И. Бартенева ЦМЛ приобретено у его наследников собрание писем к его сыну С. П. Бартеневу от П. В. Жуковского (76 п.), Д. А. Хомякова (32 п.), М. А. Балакирева (21 п.), С. Ляпунова (5 п.), С. И. Танеева (7 п.), М. М. Ипполитова-Иванова и многих других.

Из тех же источников приобретено большое количество иконографического материала, в том числе альбом, принадлежавший П. И. Бартеневу, с 33 фотографиями, им лично аннотированными, большой портрет Е. А. Жуковской, жены поэта, 101 фотография и гравюра с портретами Булгакова, Державина, Воронцова, Елагиных, Кошелева, Гончарова, Н. Муравьева, Н. И. Тургенева, Одоевского, Баратынского, Плещеева, Н. Н. Пушкиной, Шереметьевых и др.

Архив П. И. Бартенева дает большое количество совершенно новых, неопубликованных ранее материалов. Многие из них потребуют больших самостоятельных исследований и публикаций в «Летописи» Музея, первые тома которой в настоящее время скомплектованы и переданы редакторам для обработки.

IV

К числу больших и весьма ценных архивов, приобретенных ЦМЛ, несомненно относится также архив М. О. Гершензона. Хотя некоторая, и довольно значительная, часть материалов этого архива была использована самим покойным Гершензоном и другими исследователями в работах, ими опубликованных, тем не менее архив еще достаточно богат документами, никогда не появлявшимися в печати.

Этот большой по объему архив делится на несколько разделов. Наибольшее место занимают материалы, касающиеся Н. П. Огарева, Н. И. Сатина и Тучковых. Эта часть архива состоит из подлинных писем Н. П. Огарева к Н. А. Огаревой, к Тучковым, Сатиным (98 писем); Н. П. Огарева к М. Л. Огаревой (30 писем); М. Л. Огаревой к Н. П. Огареву (36 писем), письма и стихотворения Н. П. Огарева к Лизе Герцен; письма Н. А. Огаревой к родителям (25 писем); письма Н. А. Тучковой к Н. А. Герцен. Тут же записки А. С. Долгорукова, письмо Т. П. Пассек; 65 писем Лизы Герцен; 4 письма Реклю к Н. П. Огареву; 77 писем Н. А. Огаревой к А. И. Герцену; письма Н. А. Герцен к Огаревым; 24 письма Н. М. Сатина к Тучковым и Огаревым, письма Сатина к Кетчеру, письмо Ган к Сатиным, письма различных лиц к Сатину — среди них мы находим письма Огарева, Анненкова, Нащекина, Кетчер, А. Тучкова и других, всего 130 писем. 23 различных письма к Е. А. Сатиной, 14 писем различных лиц к Н. П. Огареву, 30 писем различных лиц к старикам Тучковым, письма Е. А. и Н. А. Тучковых к Н. А. Герцен (всего 13); 5 писем Мэри Сеттерленд к Н. П. Огареву и др.; тут же копия с метрики Н. П. Огарева, свидетельство о его бракосочетании с М. Л. Рославлевой, завещание М. Л. Огаревой, ее дневники, записные книжки, неопубликованные тетради, отдельные листки с записями, бумага о разводе Н. П. Огарева с М. Л. Огаревой, дневник Н. А. Огаревой. Кроме того бумаги экономического характера, в которых мы находим договор Н. П. Огарева с К. Я. Маршевым о фабриках и заводах, опись Тальской фабрики, сделанная рукой Н. П. Огарева, и пр. Имеются автографы стихов Н. П. Огарева, целая тетрадь с поэмами; большой альбом М. Л. Огаревой с автографами Авд. Панаевой, Некрасова, Майкова, Штеренберга и др. и множество рисунков различных художников. Деловые бумаги Тучковых, семейные их письма, военные бумаги А. А. Тучкова. В собрание входят письма А. И. Тургенева к Ф. Н. Толстому, Бахметьева к Н. И. Тургеневу, Т. Астракова, Т. П. Пассек, Г. В. Вырубова, Г. Благосветлова, Летурно, М. К. Рейхель и много других. Здесь же мы находим генеалогию рода Тургеневых, стихотворение Огарева Грановскому, семь писем Грановского; три собственноручные корректурные вставки Чернышевского, три тетради с народными писаниями середины XIX в., записка Е. Баратынского; копии различных писем к Герцену, письмо А. Жемчужникова, 11 писем Некрасова, 3 письма Панаева, письма Мадзини, Гарибальди, за-

писку М. Бакунина, 3 письма Н. Щепкина, два письма В. Боткина, письмо Е. Корш, письмо Л. Н. Толстого к Е. Ф. Корш (копия), тетрадь стихотворений Н. Грекова, «Бородинское поле» Д. Давыдова, письмо Н. Ф. Павлова к Сатину, письмо Н. П. Огарева к Дж.-С. Миллю, 8 стихотворений Сатина и мн. др.

Особое место в архиве занимают материалы Римских-Корсаковых, среди которых находится 20 подлинных тетрадей-дневников Г. Римского-Корсакова и переписка М. И. Римского-Корсакова с сыном Григорием (247 писем).

Третью группу составляют материалы для работы Гершензона по Чаадаеву. Они заключены в пакет, на котором рукой Гершензона написано: «Чаадаев, для второго издания». Как известно, это второе издание никогда не было осуществлено. Тут мы находим письмо М. Я. Чаадаева к тетушке (копия), пять писем Жихарева к М. Я. Чаадаеву (1 подлинное и 46 копий), два письма М. Я. Чаадаева к Жихареву (копии), три письма к П. Я. Чаадаеву различных лиц, в том числе Я. Полонского, Мудрова и др. Тут же находится большой конверт со множеством листочков, на которых рукою М. С. Гершензона записаны всевозможные сведения о П. Я. Чаадаеве, и несколько писем к П. Я. Чаадаеву от разных лиц. Кроме этого пакета среди материалов имеется письмо к Гершензону с библиографическими сведениями о Чаадаеве, запись о нем самого Гершензона, рукописи Мих. Як. Чаадаева в двух тетрадях, 11 писем П. Я. Чаадаева к брату (копии), письмо (копия) П. Я. Чаадаева к Жуковскому, два автографа П. Я. Чаадаева (письмо и расписка), прошение об отставке с военной службы П. Я. Чаадаева, копия письма Свербеева к П. Я. Чаадаеву.

Если принять во внимание, что нами приобретено еще несколько автографов Чаадаева, в том числе его письмо — у Лясковского, фотографические снимки переписки Чаадаева с различными лицами, хранящейся в настоящее время в одной из заграничных библиотек, а также подлинный дневник М. Я. Чаадаева объемом свыше 300 страниц, можно утверждать, что в Центральном музее литературы уже сейчас образуется значительный уголок Чаадаева, в котором исследователи могут серьезно работать для выяснения этой в высшей степени красочной и замечательной для своей эпохи личности, столь преследовавшейся действительно ненавидевшим его Николаем I.

Отдельный раздел в этом архиве занимают интересные материалы, собранные Гершензоном о Печерине. На пачках с этими документами рукой Гершензона сделана надпись: «Новые материалы». Здесь мы находим копии с писем Печерина к кузине В. Ф. Печериной (Трегубовой), к Иноземцеву, к родителям (27 писем), к Чижову (14 писем автогратов), 10 писем к Никитенко, 22 письма Пояркова к Печерину, 3 письма Никитенко, копия с переписки Печерина с Чижовым на 300 стр. (1865—1876 гг.) неопубликованная, копия формулярного списка Печерина, копия его университетского билета, дело о Печерине из архива III Отделения собственной его имп. велич. канцелярии на 40 страницах, копия статьи Печерина «О греческой эпиграмме». Переписка М. О. Гершензона с редемпристами и католическим монастырем, в котором был Печерин, — 30 писем на английском языке. Библиографические и другие заметки Гершензона на отдельных листках. Судебное дело о сожжении библии в Дублине 7 декабря 1855 г. Процесс Печерина — брошюра на английском языке 1856 г. и др.

Последний раздел архива составляют бумаги Киреевских, а именно: точная копия дневника Ивана Васильевича Киреевского 1852—1854 гг. и подлинный дневник Марии Васильевны Киреевской 1825 г.

Всего в архиве М. О. Гершензона, приобретенном Центральным музеем литературы, насчитывается 3 400 документов.

V

Нами приобретена также часть исключительно интересного архива Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых, в который входит 41 номер. Среди них имеются: письма Репина по вопросам искусства, В. А. Серова о его творческой деятельности с описанием поездки в Италию, дающее интересный материал для характеристики личности Серова. Письма М. А. Врубеля с описанием его художественной работы для павильона Всероссийской выставки 1896 г.; несколько писем по разным вопросам К. А. Коровина; 15 писем И. С. Остроухова по вопросам художественной, общественной и семейной жизни. В. Д. Поленов в своих письмах высказывается по вопросам художественной жизни, о работе в частной опере и пр. М. М. Антокольский в громадном собрании писем (148) сообщает о своей работе, затрагивая разные вопросы искусства и общественной жизни с 1873 по 1900 г., делясь впечатлениями о Риме и других городах Италии, Германии и Франции. Имеются также письма художников: М. В. Нестерова, Н. В. Неврева, скульптора В. А. Беклемишева, архитектора Ропета, А. В. и М. В. Праховых; 20 писем В. М. Васнецова. В письмах В. В. Стасова много данных о первых постановках опер «Снегурочка» и «Садко», о музыкальной жизни того времени. Н. А. Римский-Корсаков пишет о своей творческой работе, о постановке его опер в Мамонтовском театре, об отдельных исполнителях опер, сообщает свои соображения о бюрократизме императорской оперы, о цензуре. Цезарь Кюи, В. С. Серова и В. С. Калинников пишут о музыкальной жизни, Ф. И. Шаляпин — о впечатлениях от первой поездки за границу, К. С. Станиславский — о первых постановках Художественного театра и о театре вообще. В архиве собраны телеграм-

мы и письма Шаляпина, Коровина, Серовой, Поленова и многих других по поводу смерти С. И. Мамонтова в 1918 г. Речь В. М. Васнецова на 15-летнем праздновании мамонтовских спектаклей. Воспоминания К. С. Станиславского, Васнецова, Поленова — на гражданской панихиде по Мамонтову в мае 1918 г.; 230 писем, записок и документов различных артистов, композиторов и деятелей искусства, характеризующие Частную Оперу Мамонтова.

В этом же архиве мы находим записки и дневники самого С. И. Мамонтова, начиная с 1850 г., его автобиографию (незаконченную); так называемый Киреевский дневник семьи 1850—1860 гг.; летопись сельца Абрамцева 1870—1880 гг. Она написано коллективно С. И. и Е. Г. Мамонтовыми, их детьми, совместно с друзьями, постоянно гостившими в Абрамцеве. Летописи событий в Абрамцеве с упоминанием о приездах И. С. Тургенева, Г. Н. Федотовой, о жизни и работах Репина, Васнецова, Поленова, Коровина и других художников. В шутливой форме, прозой и стихами, в ней описаны нравы Абрамцева, характеры и отношения его жителей, семейная хроника семьи Мамонтовых.

В архиве сохранились записи-тетради Е. Г. Мамонтовой с описанием жизни в Италии и встреч с художниками: Поленовым, Репиным, Антокольским и другими, а также подробные сведения о зарождении и первых шагах деятельности Мамонтовского кружка в Абрамцеве (две тетради); переписка и документы, характеризующие деятельность С. И. Мамонтова как душеприказчика В. Ф. Чижова по устройству ремесленных училищ. Дневник С. И. Мамонтова с описанием поездки за границу с К. А. Коровиным — тетрадь с рисунками Коровина. Много фотографий — групп и отдельных лиц — гостей Мамонтовского кружка, а также различных моментов жизни кружка, начиная с 70-х по 900-е годы. В этом же архиве сохранились документы, касающиеся железнодорожного строительства Мамонтова и судебного процесса 1899—1900 гг.

VI

Постепенно в нашем Музее сосредоточивается архив Барсуковых. Из этого архива к нам поступило письмо С. А. Рачинского на имя Н. П. Барсукова, тетрадка с копией рукой Барсукова рукописи С. Панчулидзева о Павле I. Повидимому рукопись эта ходила по рукам нелегально, ибо при царской цензуре она не могла быть напечатана. Из этого же архива поступило 95 писем Вениамина — архиепископа Якутского к епископу якутскому Дионисию (1875—1883 гг.) и 18 писем архиепископа Иннокентия (алеутского и камчатского — 60-е годы). Тут же мы находим заметки этого Иннокентия, его предположения касательно благоустройства камчатской епархии, 10 отдельных донесений старосты к помещику (1845—1869 гг.) и другие материалы.

В этом же архиве мы приобрели автограф знаменитого рассказчика из народного быта И. Ф. Горбунова от 5 января 1886 г., письмо Т. И. Филиппова к историку М. П. Погодину, письмо историка-редактора «Русской Старины» М. И. Семевского к М. П. Погодину, три собственноручные записки историка М. П. Погодина, письмо П. И. Савваитова к М. П. Погодину от 6 июля 1870 г., а также много различных документов исторического содержания, старинные грамоты, начиная с 1817 г., и пр.

В одной из посылок от Барсукова нам были доставлены письма В. И. Семевского, Е. К. Пекарского, В. А. Вахтерова, проф. Введенского, Скабичевского, 9 писем И. Порошина, 5 — этнографа Ончукова, Иванчина-Инсарова, Н. Анненского, Григория Благосветлова, письма различных лиц, записные тетради, визитные карточки, программы и пр. В этом же архиве имеется пять писем Липранди к М. П. Барсукову и целый ряд других документов. Подлинное письмо Н. М. Карамзина от 2 октября 1875 г., подлинные письма Л. Н. Толстого, Жуковского (от 2 сентября 1815 г.), письмо А. Майкова от 5 декабря 1867 г., письма, записки и стихи Шевырева к М. П. Погодину (1844—1846—1857 гг.) на 17 страницах. В другой присылке нами получено письмо Л. Н. Толстого к Погодину от 22 августа 1872 г., письма императрицы Екатерины II к графу Румянцеву-Задунайскому (1770—1777 гг.), собственноручное письмо М. П. Погодина к некоему Александру Васильевичу (фамилия неизвестна), собственноручная рукопись М. П. Погодина «Лондон» с его заметками на полях от 7 декабря 1864 г., автограф императора Александра I, различные сочинения того времени с пометками на полях А. Н. Барсукова, письмо А. М. Губарева к М. П. Погодину (1874 г.). Рукопись-автограф о деле Булгарина, письмо писателя Ф. Н. Берга к Н. П. Барсукову 1860 г., автограф стихов А. И. Измайлова, посвященных кашинским и калязинским рекрутам 1827 г., письмо М. П. Погодина к историографу Полоцкому на 23 страницах, семь писем Иннокентия — епископа архангельского и камчатского и многие другие. Все эти материалы в наш архив поступили благодаря особой внимательности и любезности С. И. Барсукова, живущего в настоящее время в Смоленской губернии и тщательно собирающего для нас все остатки архива его дяди и отца, находящиеся в разных семейных архивах. Мы надеемся, что этот богатейший архив, так же как и архив Погодина, в конце концов будет воссоединен в нашем Центральном музее литературы. Тогда мы наконец увидим все материалы, которые остались от М. И. Барсукова по его огромному труду: «Жизнь и труды Погодина», два последних тома которого он составил, почти подготовил к печати и умер, не опубликовав. Все эти материалы до сих пор хранятся в семье Барсуковых. Мы убеждены, что если

С. И. Барсуков пошел навстречу нашей общественности и стал нам присылать все, что он имеет, как из архива своего дяди Михаила Барсукова, так особенно из архива И. П. Барсукова, известного своими монографиями, то и другие Барсуковы, у которых сохраняются до сих пор неиспользованными различные части архива, так же культурно подойдут к этим вопросам и на тех или других условиях передадут их в наш Музей.

VII

Продолжает передачу материалов своего архива Н. О. Лернер.

От него мы получили книгу: сочинения А. С. Пушкина: «Борис Годунов» 1831 г. с автографической надписью поэта: «Елиму Мещерскому», портрет М. В. Воронцовой, выведенной Л. Н. Толстым в «Хаджи-Мурате», портреты В. Брюсова с автографами, большое количество материалов, касающихся чествования памяти Гоголя 1902 и 1909 гг.; автографы Н. Т. Морозова, писателя 30-х годов; К. Коцебу, М. П. Щербины, записку барона О. Франка, одесского сослуживца Пушкина, Максима Горького, С. А. Толстой — неизданное интересное письмо автобиографического содержания, два письма Л. Ф. Пантелеева, В. К. Зайцева, два письма Ст. Пшибышевского и др. Большое количество редакционных бумаг журнала «Столица и усадьба»; юнкерская тетрадка 800-х годов, в которой имеются копии трех скабрезных поэм Лермонтова, имеющих значение для исследования лермонтовских текстов. Материалы для биографии профессора М. П. Розберга, в которые входит много писем и других документов. Эта переписка интересна для характеристики литературных нравов и отношений 30-х и 40-х годов. В ней встречаются имена Пушкина, Полевого, Веневитинова, Шевырева, Ротчева, Зонтаг, Елагиной, Лихонина, Любимова, Стурдзы с других. Имеется целый ряд музыкальных автографов на слова русских поэтов и среди них неизданные романсы Фридриха Листа, Гуно, Юрия Арнольда, Танеева и Иванова. Очень интересны снимки с коллекции японской резной кости, собранной М. Горьким, с приложением корректуры неизданной беседы с ним, снимки с рисунков В. А. Жуковского, Е. Я. Колбасина, Я. С. Рославлева, автопортрет Л. Андреева и этюд в красках Л. Андреева «Иуда».

Из собрания Лернера нами приобретены книги с автографами писателей, среди которых интересны автографы А. П. Чехова, И. А. Гончарова, А. А. Блока, А. Шеллера-Михайлова, Н. Лескова, Константина Леонтьева и других. В эту же коллекцию входит 16 альбомов на литературные темы и целый ряд весьма редких книг; шесть неизданных рисунков художника Ткаченко к повестям Даля: «Невольные соперники», «Где потеряешь — не чаешь» и др.; очень редкая русская гравюра 1820 г. «Черты злодея Лувеля», убийцы герцога Беррийского, и 18 портретов различных авторов, до сего времени неизданных. Кроме того записки А. Блока, три письма В. П. Титова (20—30-х годов), письмо декабриста П. П. Титова, неизданное автобиографическое письмо Г. К. Градовского (Гамма), письмо Б. К. Зайцева, рисунок поэта Г. Иванова, автограф поэта Ф. К. Соллогуба, отдельные оттиски неизданной драмы А. С. Суворина «Мать Ивана Грозного» и письмо его к С. Андриевскому об этой драме, два письма А. Стурдзы, автографы Максима Горького и Жорж-Занд. От Лернера же получена фотография З. П. Ахочинской, корреспондентки И. С. Тургенева, и брошюра Н. Ф. Щербины «Ефигения в Тавриде» с автографом автора 1815 г.

Им также прислано нам довольно значительное собрание разных изданий произведений Тургенева, начиная с 1848 г., книга украинских народных рассказов Марка Вовчка в переводе И. С. Тургенева, СПБ., 1859 г., на первой странице которой написано рукой Тургенева: «От переводчика», русский заграничный сборник под названием «Пора», часть II, тетрадь 1-я с надписью И. С. Тургенева на титульном листе; «2 июня 1864 г., Париж. От Н. И. Тургенева». В ней напечатана между прочим записка Н. И. Тургенева об освобождении крестьян.

VIII

Помимо крупных архивов частично, а иногда и целиком поступают в наш Музей более мелкие собрания писателей, исследователей, собирателей и частных лиц.

От Д. И. Посталова нами приобретена часть архива Волынского, который, мы надеемся, со временем сосредоточится у нас весь целиком и полностью. Поступившая часть составляет архив конца жизни писателя. В ней мы имеем 5 писем Волынского к Луначарскому, 16 писем его же к Посталову, несколько телеграмм, газетные материалы и пр.

К нам поступил также архив Георгия Чулкова, в котором сосредоточено много материалов и законченных исследований, статей, касающихся Пушкина, Хомякова, Тютчева, Достоевского, до сих пор неизданных, черновики и материалы для исследований вышеназванных писателей, а также автобиографический материал. Кроме того ряд повестей, рассказов, фрагментов совсем неизданных или изданных в сокращениях и с цензурными пропусками произведений. Библиографические заметки о Пушкине, Хомякове, Некрасове, Рылееве, Одоевском Веневитинове и др. Много исторических материалов, касающихся дела петрашевцев и декабристов, и сверх того 48 писем автографов поэта Ф. И. Тютчева.

От Л. Б. Модзалевского поступили рукописи: донос Я. Ростовцева на декабристов (*современная копия*), письмо А. И. Тургенева к Вяземскому, письмо Ансло, копия другого письма Ансло к А. И. Тургеневу с поправками последнего; интересная кол-

лекция афиш великосветских спектаклей, живых картин и пр., всего 39 номеров, а также афиши «Горе от ума» 1823 г., представления «Где тонко, там и рвется» 1859 г. и наконец интересный альбом с нотами эпохи 30—40-х годов.

От П. П. Анненкова мы постоянно получаем весьма интересные для нашего архива материалы. Между ними отметим письма И. С. Тургенева к П. В. Анненкову, фотографии Герцена, записки Пыпина о Чернышевском, автограф стихотворения Огарева и интересные черновые записи П. В. Анненкова на 53 листах убористого письма, писанные им во время пребывания в Париже вместе с Герценом, Огаревым, Бакуниным в феврале — марте 1848 г.

Материалы по Чернышевскому пополнены даром Н. А. Пыпина, передавшего в Музей книги покойного Пыпина, которые он отсылал Чернышевскому, когда последний был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. На этих книгах имеется надпись рукой Пыпина «Равелин». Через Пыпина мы получили также полный комплект «Современника» того периода, когда он редактировался Чернышевским, экземпляр печатного объявления о часах приема Чернышевского в редакции «Современника», две визитные карточки О. С. Чернышевской, а также портреты А. Н. и М. Н. Чернышевских, А. Н. и Е. Н. Пыпиных.

Из Нижнего-Новгорода (теперь г. Горький) от В. Е. Чешихина мы получаем частями материалы из его архива. В первую очередь нам переданы письма В. Чешихина (1898 г.), фотографии В. Чешихина, его стихотворение, озаглавленное «После чтения «Двенадцати» Блока», письмо Евгр. Вас. Чешихина, письмо А. Г. Штанге и др., а также материал, касающийся нового языка «Непо».

Кроме того Музеем приобретено 1268 писем из архива проф. А. Е. Грузинского, представляющих собой интересную переписку последних 40 лет. Среди корреспондентов отметим Л. Андреева, А. Белого, В. Я. Брюсова, П. Д. Боборыкина, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, М. Горького, Б. Зайцева, Н. Н. Златовратского, Т. А. Кузьминскую, И. Е. Репина, А. С. Серафимовича, Е. Чирикова, С. А. Толстую, А. Л. Толстую, Т. Л. Сухотину-Толстую и др.

Собрание писем из архива С. Шамбинаго также передано нашему Музею. Оно состоит из 116 писем писателей, художников, композиторов конца XIX и начала XX вв., в том числе В. Я. Брюсова, А. М. Васнецова, Г. Э. Конюс, С. С. Мамонтова, Б. Л. Модзалевского, Т. А. Щепкиной-Куперник и других.

Из семьи Португаловых начинают поступать значительные материалы о покойном литературоведе М. В. Португалове, между ними письма Нефедова к Португалову, четыре письма А. Ф. Кони, письма В. Г. Вешнева, Чернышевской-Быстровой и других лиц к нему же, рукописи Португалова, документы, к нему относящиеся, его фотографии, некрологи, воспоминания о нем и пр., а также материалы о Нефедове, его литературной деятельности и смерти.

IX

Многие частные лица и собиратели охотно пошли нам навстречу и не только сами предложили свои собственные архивы, но и, что самое важное, стали энергично пропагандировать идею нашего Музея и архивохранилища, разыскивать архивы в частных руках, сообщать нам о них или направлять самих владельцев к нам для переговоров. К таковым несомненно относится В. С. Арсеньев, живший в Москве. Он очень много помогал нам с первых шагов организации Музея. Между прочим через него поступило к нам 44 письма Галахова к Свищевым, одно письмо Свищевой, два рисунка карандашом В. Соллогуба, автограф художника А. С. Сурикова, рукопись А. П. Арсеньева «Фауст в России», два письма И. С. Тургенева, два письма Кавелина, три письма Елагина, выписка из духовного завещания императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, и др. Кроме того ряд материалов он принес Музею в дар. Он же направил к нам А. А. Арсеньеву, у которой мы приобрели том писем Хрущевых и ряд других документов. Многие материалы мы могли приобрести только благодаря деятельности В. С. Арсеньева.

Собиратель А. Е. Бурцев также отзывчиво откликнулся на наш призыв помочь делу организации фондов нашего архива и прислал нам несколько ценных пожертвований, в том числе 36 номеров различных фотографий, литографий, карикатур и других репродукций, касающихся писателей, их произведений, юбилеев и похорон. Кроме того мы приобрели у него значительное количество эпистолярных и фотографических материалов. Среди них отмечаем два альбома Случевского и один альбом, носивший название «Блины Исторического Вестника», с большим количеством записей различных литераторов того времени, фотографические карточки, группы, карикатуры; большое собрание писем из архива писателя Лейкина. В нем мы находим три письма А. Чехова к Лейкину, два письма Надсона, письмо А. Е. Достоевского, три письма П. Якубовича, три письма Н. С. Лескова, письма Н. Ежова, А. Амфитеатрова, К. Баранцевич, Михневича, В. Авенариуса и других к Лейкину. Кроме того письма Д. Цензора, Гаршина, Цертелева, Гнедича, Миролюбова, 7 писем Н. Михайловского к разным лицам, 17 писем А. Лугового, 18 писем И. Ясинского, письма Мажуева, Султановой, Львова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, 5 писем Н. Морозова, 14 писем Мордовцева, письма Модзалевского, Чеботаревской, Чешихина, 24 письма Е. Чирикова и многих других представителей русской литературы.

К лицам, особенно деятельно и сочувственно относившимся к собирательской за-

даче нашего Музея и архива, несомненно необходимо отнести П. С. Шереметева, благодаря которому в наш Музей поступил ряд весьма ценных материалов. Между ними отметим: прошение Ник. Афанасьевича Гончарова, женатого на Нат. Ив. Загряжской, тестя Пушкина, и прочие документы семейства Загряжских и Гончаровых, всего 11 документов. Интересна записка Дм. Вас. Григоровича «О художественно-промышленном музеуме», читанная им в Попечительном Совете Музея 28 февраля 1866 г. и до сих пор ненапечатанная.

От Шереметева нами получен кроме того ряд документов, касающихся кавказских войн, среди которых особенно интересен формуляр кавказского генерала Мирбаха, который послужил для Л. Н. Толстого прототипом коменданта Петропавловской крепости в романе «Воскресение».

Интересны также бумаги делопроизводителя следственной комиссии при наместнике Царства Польского В. Н. Гладкова из архива Висковатого, 8 карикатур художника Н. Степанова времен Крымской кампании, издание 1855 г., фотографический портрет М. А. Бакунина большого размера и наконец великолепный акварельный портрет изумительной сохранности А. Н. Гончаровой — сестры Н. Н. Пушкиной.

Весьма интересные материалы к нам поступили через Н. В. Голицына. Из них укажем: 5 писем П. В. Долгорукова к Л. Т. Голицыной, рожденной Барановой, 3 письма Н. П. Ланской-Пушкиной к Барановой же; 4 письма К. Р. к С. Ф. Голицыной, письмо В. С. Соловьева, ценный архив декабриста Д. Арцыбашева, где находится дневник, веденный им в Тамани в 1827 г., записки о походе на Арзрум в 1829 г. и прочие сведения. В этом же архиве имеется собственноручное стихотворение Константина Аксакова, перевод «Идеалов» Шиллера 1888 г., копии объяснений, представленных комитету о невозможности объявить имя автора статьи о духовенстве в № 31 газеты «День» 1862 г., а также переписка его по этому поводу. Кроме того 15 писем И. С. Аксакова к Елагиным, письма П. А. Бессонова к В. Л. Елагину, 14 писем П. Н. Языкова к сестре Е. М. Хомяковой, 28 писем, относящихся к семье Д. А. Валуева, и другой эпистолярный материал.

Через В. Н. Ивойлова, живущего в Ленинграде, нами получено довольно много материалов и между ними 130 листов, исписанных рукой психически больного Глеба Ивановича Успенского. Это — записи, представляющие собой взволнованные обрывки фраз, мыслей, образов, адресованных разным святым, с постоянным повторением эпитета «бесконечный». Этот эпитет относится к школам, к крестьянским общинам, к полям, к земству и т. д.

Автографические записи Н. И. Михайловского с биографическими данными о Г. И. Успенском дополняют фонд Г. Успенского в нашем Музее.

Вместе с другими, ранее поступившими материалами об Успенском, относящимися к последнему трагическому периоду его жизни, полученные рукописи могут быть положены в основу подробного изучения психического заболевания Глеба Ивановича.

В собрании Ивойлова имеются кроме того визитные карточки Добролюбова, письмо Л. Краевского 1878 г., письмо Ал. Толстого, письмо Плюшар (1857 г.), два письма Георга Брандеса, автограф Блока — список стихотворений гр. Ростопчиной, письмо И. Л. Сургучева, часть рукописи О. В. Аптекмана, автографы на книгах, визитных карточках и гранках, переводы произведений русских писателей на иностранные языки, повестки, афиши, билеты на литературные вечера и спектакли и прочие материалы.

Очень большую деятельность по снабжению нашего Музея ценным материалом развил в Ленинграде народный учитель-этнограф И. С. Абрамов, давнишний любитель старины и собиратель рукописей и эпистолярной литературы XVIII—XIX вв. Им прислано в Музей семь писем И. А. Порошина, два письма С. И. Смирнова, а также письма А. Г. Горнфельда, Б. Л. Модзалевского, Чебышовой-Дмитриевой, Э. К. Пекарского, А. Лавриновича, Н. К. Ончукова, В. Чернышева, С. Н. Введенского, А. М. Скабичевского, Е. О. Скуревич, тетрадка В. Г. Короленко, автографы А. А. Коринфского, А. В. Луначарского, артиста Варламова, целый ряд исторических документов, редких брошюр и книг, а также много фотографий и групп, интересное собрание, заключающее в себе большое письмо Хераскова от 3 августа 1796 г. на имя Над. С. Урусовой, его записку на имя Сергея Юрьевича 1795 г., рисунок маслом работы актера Каратыгина и много газетных вырезок по литературным вопросам. Кроме того у Абрамова мы приобрели бумаги из архива Н. П. Белозерской, в том числе 310 ее писем к разным лицам и 12 писем к ней и ее сестре от Кокшарова; интересную книжечку, не поступившую в продажу, о том, имеются ли основания говорить о ««неплюевщине» и «неплюевцах», ценную для истории так называемого «неплюевского братства».

Им же доставлено редкое первое издание первой части «Евгения Онегина» 1829 г., весьма интересная группа редакции журнала «Жизнь», закрытого в Петербурге в 1901 г., автографы рукописи Н. А. Морозова «Поезд сознания», Л. И. Андрусона — «Лесная тишина», С. Ф. Либровича — «Путь к свету» и два автографа П. Н. Ариан.

Большое содействие нашему Музею оказал также Ю. А. Бахрушин, через которого мы получили большое количество первоклассных материалов. Между ними мы находим 23 письма Лонгинова к О. И. Смирновой. Очень интересные документы святейшего Синода по поводу благодарственного молебна в 1825 г. после усмирения

восстания декабристов, довольно значительное количество масонских материалов; кроме того 9 писем к М. Е. Салтыкову, два листа рукописи Гончарова «Фрегат Паллада» с поправками автора; несколько манифестов Екатерины II и Павла I, письма Ульянинского, Коченовского, В. Щепкина, Сергеевича и других, а также интересные тетрадки шифров русских посланников всех дворов XVIII в.

Весьма значительную помощь нашему Музею оказал и продолжает оказывать М. М. Успенский, живущий в Москве и постоянно приобретающий для нас и направляющий к нам значительное количество материалов. Между прочим мы получили через него книгу — поэма «Собаки» Я. П. Полонского (1892 г.) с автографом автора и вклеенным его письмом 1893 г.

X

За это время в Музей поступило значительное количество документов, относящихся к Л. Н. Толстому и его окружению. Материалы эти поступали от многих лиц — С. И. Барсукова, Дружининых, В. С. Арсеньева, И. С. Абрамова, Н. А. Пыпина, Фролова, Сопоцько, Танеевых, Ш. Соломона, М. М. Фокиной, М. Л. Чистяковой, К. П. Злинченко, Кондурушкиной, из Лавки Писателей, через наши полпредства в Варшаве и в Париже, от В. М. Феокритовой, В. А. Розенберга, С. Н. Арендт, В. С. Ляпуновой, Гариной, Средина, из архива Бартенева, из архива Лескова, от К. С. Шохор-Троцкого, Е. В. Оболенской-Толстой, С. Л. Толстого, А. П. Иващенко, Е. П. Иванова и др.

Постепенно создалось большое собрание писем как самого Толстого, так и членов его семьи, ближайших друзей и единомышленников. В архиве имеются письма Л. Н. Толстого к М. П. Погодину (2), Чистякову (4), Дружинину (8), Кошелеву-Безбородко (писарская рукопись с автографичной подписью), к В. А. Иславину (8 писем и 1 телеграмма периода 1877—1879 гг. с пояснительной запиской об отношении Л. Н. Толстого и Исланевым-Иславиным), 2 письма к Филиппу Николаевичу (фамилия адресата не установлена) и недописанное письмо к Л. Н. Толстому, очевидно ответ того же Филиппа Николаевича; неопубликованное письмо к Е. И. Сытиной, письмо к М. П. Боткину, К. М. Фофанову, Ф. Н. Королеву (2), А. Н. Маклакову (1), М. А. Сопоцько (4), С. И. Танееву (1), Ш. Соломону (11) — фотокопии, в редакцию французской газеты (фотокопия), А. Шкарвану (21), Д. П. Маковицкому (11) — фотокопии, А. Ф. Кони (1) — фотокопия, студенту Арсеньеву (1) — фотокопия, И. П. Балашеву (1) — фотокопия, фотокопия начальных строк письма к А. Ф. (Кони), А. Л. Столыпину (1) — фотокопия, И. Грушевскому — фотокопия неотправленного письма, Л. М. Кузминскому по делу Лисицына — фотокопия, телеграмма к Вогюэ в копии и др.

Имеются письма к Л. Н. Толстому от П. А. Буланже (в копиях), И. Косенко, Ф. Н. Королева (черновик), А. Овсянникова, Сугмана и др. Переписка членов семьи Толстого и его ближайших друзей представлена письмами С. А. Толстой, Т. Л. Толстой-Сухотиной, А. Л. Толстой, О. К. Толстой, Т. А. Кузминской, Д. П. Маковицкого, письмами И. С. Тургенева к сестре Толстого Марии Николаевне и ее мужу В. П. Толстому, письмо Ильи Толстого с наброском портрета Льва Толстого. Часть этих писем — автографы, часть — фотокопии с автографов. В копиях же получен нами дневник Д. П. Маковицкого, многочисленные отрывки и отдельные фрагменты рукописей Л. Н. Толстого, в том числе на отдельной страничке рукой Толстого список имен для повести «Хаджи-Мурат», отрывки из этой повести и начало XV главы ее, написанное рукой Софьи Андреевны.

Кроме того у С. Л. Толстого нами приобретена рукопись неопубликованных воспоминаний учителя детей Толстого в Ясной Поляне Ивакина, а от К. С. Шохор-Троцкого и др. — обширная иконография Толстых и Ясной Поляны. От С. П. Прокопенко, имевшего постоянное общение с Толстым, к нам поступила переписка Бодянского, Судаковой, М. С. Дудченко, Ширмана, П. И. Бирюкова, Н. Н. Гусева, Чертковых, Нарбекова, Д. А. Хилкова, а также самого Прокопенко.

Фотокопии некоторых писем и рукописей Толстого, а также материалы из архива Д. П. Маковицкого поступили в Музей через наше полпредство в Праге, по указанию которого эти документы, хранящиеся в чешских государственных хранилищах, были сняты специально для нашего Музея.

Среди фотокопий, присланных из Праги, имеются фотографии со стихов «Пасс» и «Пахарь», написанных В. Д. Ляпуновым, поэтом, погибшим молодым от чахотки. Материалы о Ляпунове не исчерпываются этим поступлением. Вдовой его В. С. Ляпуновой переданы в ЦМЛ произведения Ляпунова и интересное свидетельство от 4 сентября 1901 г. о службе жены его Веры Сергеевны Ляпуновой у Толстых. Свидетельство написано рукой С. А. Толстой и подписано ею и Л. Н. Толстым. В этом свидетельстве Толстые дают лестную характеристику своей служащей. В скромном архиве Ляпунова сохранилось несколько фотографических снимков, изображающих Ляпунова в семейной обстановке и за чтением своих стихов семье Толстых. Кроме автографов, неопубликованных рукописей поэта в его архиве имеются копия письма М. Горького на имя Татариновой о Ляпунове, письма Ляпунова к разным лицам и пр. В дополнение к этим материалам Музеем приобретено подлинное письмо В. Г. Черткова к В. С. Ляпуновой и письмо к ней же от Марии Львовны Толстой 90-х годов.

Кроме перечисленных материалов в архиве П. А. Буланже, частично переданном нам его дочерью, имеются оригиналы писем П. А. Буланже к А. Л. Толстой за 1913—1914 гг., письма Хирьякова, М. А. Стахович, А. Л. Толстой, В. М. Феокритовой, П. И. Бирюкова, Т. Л. Сухотиной, Урусова, Попова, Хилкова, Т. А. Кузминской и 282 копии писем Л. Н. Толстого с 1881 по 1890 г.

Это собрание толстовских материалов пополнено А. М. Щепкиной, передавшей в Музей автограф неизвестной речи Л. Н. Толстого по организации народных изданий 1904 г., три собственноручных письма Л. Н. Толстого к М. Н. Щепкину, визитную карточку Н. Н. Ге с рекомендацией Толстого, письмо С. А. Толстой к М. Н. Щепкину, две гранки «В чем моя вера» с исправлениями Л. Н. Толстого и один экземпляр книги «В чем моя вера» издания 1894 г., напечатанной в 50 экземплярах. В Музей поступила сверх того неопубликованная статья Фаресова «Мое знакомство с Л. Н. Толстым».

XI

В архиве ЦМЛ сосредоточивается постепенно значительная тургеневиана. Материалы по Тургеневу поступают из многих мест и от разных лиц. Прежде всего по распоряжению наркома просвещения А. С. Бубнова нам передана Орловским Музеем рукописная тетрадь И. С. Тургенева с автографом комедии в 5 действиях «Судент» на 36 нумерованных страницах. На полях тетради имеются зарисовки Тургенева и мелкие записи. Из Книжной Лавки Писателей поступил автограф рукописи на 153 стр. «Нахлебник», комедия в 2-х действиях. Париж, 1848 г.». В Музее имеется второй экземпляр рукописи «Нахлебника», писарской список с автографом И. С. Тургенева, подарившего ее П. Я. Чаадаеву. От К. С. Шохор-Троцкого получена повесть Тургенева «Вешние воды», оттиск из № 1 «Вестника Европы» 1872 г. Текст прокорректирован и собственноручно выправлен И. С. Тургеневым. Нами установлено 27 поправок и две авторских вставки. Таким образом это является последней авторской правкой повести. Особенно богато представлено в нашем Музее эпистолярное наследство Тургенева. Имеются письма Тургенева к П. И. Борисову, 28 писем к П. В. Анненкову, поступивших главным образом от сына его П. П. Анненкова, около 300 писем к дочери Полине Тургеневой (Брюэр). Эти письма частично опубликованы Е. Семеновым за границей в журнале «Mercure de France» и в книге его, вышедшей отдельным изданием того же журнала «La vie douloureuse d'Iwan Tourguéneff». Нашим полпредством письма эти приобретены у внучки Тургенева Жанны Тургеневой, живущей в Париже. Кроме этих документов у разных лиц приобретены письма Тургенева к Х. Д. Алчевской, Ф. А. Веселовскому (фотокопии), М. И. Глинке, М. Н. Каткову, Н. Л. Островской, Я. П. Полонскому, к орловскому губернатору К. Н. Боборыкину с черновым ответом на него Боборыкина, 2 письма к П. Ф. Самарину, 3 письма к Ф. А. Свечину, 14 писем к гр. В. А. Соллогуб, 7 писем к М. Н. Толстой (машинописная копия), 3 письма (копии) к В. П. и М. Н. Толстым, 6 писем (копии) к Д. П. Толстому, письмо к Рудольфи на немецком языке, к Н. Н. (Толстому), фотокопия письма к Фанни Тургеневой, 8 писем к А. А. Фету, письмо к И. Ф. Циону на французском языке о высылке Лаврова, письмо к Д. И. Яздовской (из альбома В. Н. Петровой-Званцевой), письмо к неизвестному с рекомендацией В. П. Боткина, письмо к П. И. Бартеневу с приложением копии просьбы Н. С. Оленина (документ конца XVIII ст. из семейного архива) для напечатания, 13 писем к А. В. Дружинину. К письмам Тургенева присоединилось некоторое количество адресованных ему писем, например от А. И. Герцена, от Жорж-Занд (из альбома В. Н. Петровой-Званцевой), пригласительный билет П. Виардо и др., а также автографы Тургенева на книге: т. I его сочинений и на книге А. С. Пушкина, т. II, поднесенных В. Я. Карташевой; хозяйственные документы, заграничный паспорт, выданный 24 августа 1881 г. с удостоверением причта русской церкви в Париже о смерти и отпевании, документы по делу о наследстве между дочерью Тургенева и семьей Виардо (21 документ), документы о похоронах Тургенева, из которых многие представляют собой автографы Д. В. Григоровича (31 документ), довольно значительная иконография, вырезки из журнала «Современник» первой публикации произведений Тургенева, большое собрание газетных и журнальных вырезок о Тургеневе (от Чешихина, Португалова, Емельянова и др.).

Детальное описание всех материалов по Тургеневу, в настоящее время законченное, составит содержание первого выпуска «Бюллетеней» нашего Музея. Самые документы будут публиковаться в отдельном томе «Летописей» Музея.

XII

Нами приобретен архив К. Ф. Некрасова, включающий значительное число материалов, писем и документов, касающихся Н. А. Некрасова. Сюда входят: полное духовное завещание Некрасова 1855 г., акт душеприказчиков об исполнении воли завещателя за подписью Унковского и Ермакова; духовное завещание сестры Н. А. Некрасова Анны Александровны Буткевич. Тут же находится 26 писем отца поэта А. С. Некрасова к сыну Ф. А. Некрасову; 18 писем родственников поэта по матери; 6 писем Г. С. Буткевич, 3 письма Гербеля. 5 документов книжного склада Стасюлевича, 29 писем С. Колошина из-за границы, 2 письма А. Островского, 3 письма Ветровой, 2 письма поэта к жене брата, 6 автографов Н. А. Некрасова (письмо о заве-

щании брату Константину земли в Новгородской губ. На обороте рукой Ф. А. Некрасова — перечисление завещанных земель. 2) Запись адреса на расписке Дзичканца. 3) 2 счета нотариуса, заверенные Некрасовым. 4) Телеграмма от Н. М. Романова с автографом Некрасова. 5) Стихи «К матери» 19 октября 1883 г. и «Обнаруженная тайна», 35 разных семейных документов о роде Некрасова, 18 писем С. Звонарева к Н. А. Некрасову о делах «Современника», 19 писем Н. Лукашевич, 2 автографа стихотворений Н. Гербеля и Остолопова. Всего в этом архиве находится 78 документов.

Кроме этого архива нами в разное время были приобретены значительные материалы по Некрасову и среди них подлинная рукопись поэмы «Пир на весь мир», чернозая тетрадь рукописей Некрасова 1854—1855 гг. (74 стр. — эпиграф), гранки стихотворения «У парадного подъезда» с правкой Некрасова и печатный экземпляр «Волга, Волга...» с его автографом, письма Некрасова к Якушкину 1862 г., к А. В. Дружинину, записка П. А. Ефремову, письмо И. Т. Лисенкову, проект условия с пайщиками «Современника» за подписью Некрасова и Панаева, вышеуказанный автограф в собрании Н. И. Тютчева, 4 неопубликованных рукописи А. Панаевой, рисунок Григоровича «Дача Панаева» и др.

Большой литературной значимости архив А. В. Дружинина поступил в наш Музей полностью. В этом архиве мы имеем дневник самого Дружинина, дающий картину литературного быта эпохи, большое количество его рукописей, частично неопубликованных (73 номера), 23 рукописи других авторов, а также огромную эпистолярию, включающую в себя 425 писем. Среди них необходимо особенно отметить письма: Толстого (9), Некрасова (6), Григоровича (16), его же рисунки, Анненкова (3), Афанасьева (2), Гаевского (11), Гончарова (7), Даля (2), Майкова (2), Н. Михайлова (2), Островского (2), Потехина (6), М. Е. Салтыкова-Щедрина (5), И. С. Тургенева (15), Писемского (16), Энгельгардт (18), Панаева (4) и т. д.

Довольно обширная коллекция автографов В. А. Жуковского пополнилась пятью письмами его к Арбенину, приобретенными у Е. В. Гольдингера и целым собранием писем, полученных от Лясковского. У Гольдингера кроме того нами приобретены стихотворения Ап. Григорьева, письмо Островского к Н. И. Шаповалову и рукопись «Свои собаки грызутся, чужая — не приставай» с автографом Островского, два стихотворения Н. Шаповалова с его фотографической карточкой, 22 письма Н. Силачева к Н. И. Шаповалову, а также записка и семь стихотворений Е. Растопчиной.

XIII

В нашем архиве начинает сосредоточиваться в фотокопиях и частично в оригиналах огромный архив семьи Салиас, большая часть которого в настоящее время находится в Варшаве, и из которого мы уже засняли громадное количество писем. Помимо этого мы приобрели подлинники писем Е. А. Салиас к дочери Евдокии, в которых упоминается Тургенев, Огарев, Бакунин, Толстой, Герцен и другие писатели; от Петрово-Соловово — записки самой Салиас (Тур), ее дневник путешествия в 40-х годах, письмо Огарева к Е. В. Сухово-Кобылиной, 2 письма драматурга А. В. Сухово-Кобылина, 6 писем А. Е. Сухово-Кобылиной к сестре, 7 писем графини Салиас, письмо Огарева к Сухово-Кобылиной, а также хороший портрет писателя Сухово-Кобылина и целый ряд других материалов.

Из Варшавы, где так удачно делаются снимки с автографов, получены нами письма Бакунина к Коссиловскому, Дементовичу, Милославскому, Л. Иодзко, Милевичу, а также два портрета Бакунина, всего около 40 архивных единиц.

Интересно поступление от Е. П. Иванова, в котором мы нашли 39 писем Салиас (Евг. Тур) к А. П. Розановой (Сусловой), письмо В. В. Розанова к К. И. Ивановой, 6 писем Н. П. Сусловой к А. П. Сусловой-Розановой, 10 писем Данилевского к брату, стихотворение «Молитва», автограф Плещеева, музыкальная запись из стихотворения Гофмана, 2 письма А. П. Розановой-Сусловой, неизданная рукопись А. Розановой, а также многочисленные плакаты, рисунки и записи из коллекции Е. П. Иванова.

В дополнение к этим материалам от А. С. Глинки мы получили весьма интересное письмо В. В. Розанова о его первой жене Сусловой с ее интимной характеристикой.

Н. П. Поливанова, сестра известного политкаторжанина Поливанова, так долго находившегося в заключении в Шлиссельбургской крепости, переделала нам большой архив, в который входит 581 письмо, среди которых находим письма П. Н. Поливанова с детского возраста до последних дней его жизни. Здесь же имеются и ответы на эти письма его родственников, а также письма Е. С. Поливановой, рожденной Норовой, к Надежде Поливановой и письма к ней же Петра Николаевича Поливанова. В этом же архиве сохранилось письмо С. И. Гладкова, письма В. Н. Бестужева-Рюмина к ее мужу (38 писем), письма А. Г. Гладкова к П. Н. Поливанову, письма А. С. Норова к А. И. Кошелеву, письма А. Жеребцовой к ее матери, записка Чаадаева и многие другие материалы.

Семья Коновницыных передала нам письмо Хомякова к Е. П. Нарышкиной, урожденной Коновницыной, жене декабриста М. М. Нарышкина.

Кроме того от них же мы получили портрет декабристов Одоевского, портрет Л. Г. Розен и его жены, портрет Платона Зубова, письма Коновницыных друг к другу, письмо А. И. Чернышева, А. Лиха-

рева, а также письма известной авантюристки игумении Митрофании.

От Е. Г. Шемота получены три фотографических карточки П. Карповича и его же 23 письма.

Нами приобретен также архив, в котором находится 102 письма, среди которых — письма Шахматова, Щепкина, Е. Якушкина и других лиц, В. Е. Якушкина, Н. Некрасова к Якушкину 1862 г., переводы из Гейне (в рукописях) поэтов: Грекова, Васильева, Ознобишина и других, а также около 100 писем различных лиц к П. Ефремову.

Из собрания К. С. Шохор-Троцкого к нам поступили: конец письма В. К. Кюхельбекера к иркутскому генерал-губернатору И. Б. Цейтлеру; открытое письмо 79 петербургских литераторов по поводу побоища 4 марта 1901 г. на Казанской площади. Среди подписавших это письмо имеется подпись М. Горького. Вследствие этого протеста, как известно, был закрыт Союз взаимопомощи русских писателей. Из того же источника получено еще несколько книг с автографами Островского и Блока и др., а также карикатура И. В. Галлера карандашом.

В наш Музей поступает частями архив И. С. Никитина. В первом поступлении мы приобрели тетрадь с автографами 40 стихотворений Никитина и его поэмы «Кулак». При сравнении с опубликованными текстами устанавливаются не только разночтения, но и наличие ряда мест, совсем не использованных А. Г. Фоминым, редактором сочинений Никитина. Эти разночтения и дополнения требуют своего выявления и публикации. В этой же тетради Никитина мы находим два его автографа, посвященные Второву и Александрову-Дольник, и одно письмо к редактору «Воронежских Губернских Ведомостей» В. А. Средину.

В двух других тетрадях собрано 124 письма Никитина к Второву и Придорогину, при чем в трех письмах имеются стихотворения Никитина; 4 черновых письма Никитина к Александру II, императрице Марии Александровне, императрице Александре Федоровне и великому князю Константину Николаевичу. Все эти письма не опубликованы.

В отдельной тетрадке собрано 5 писем и 1 телеграмма Де-Пуле, А. Перелешина и Зиновьева о болезни и смерти Никитина.

У Второва же приобретено 24 письма к Никитину от разных лиц, книга его стихотворений с автографом большого стихотворения, посвященного Второву, и другие материалы.

Фонд С. Н. Надсона только начинает составляться. Нами получено от Владиславлева письмо С. Я. Надсона к Гайдебуровым, письмо М. В. Ватсон с припиской Надсона и автограф черновика его стихотворения. Кроме того одно письмо и материалы, касающиеся травли Надсона Бурениным.

Поступлением от В. А. Барбашевой положено начало собрания материалов по И. И. Лажечникову. Между материалами, полученными от нее, отметим книгу «Первые опыты в прозе и стихах Ив. Лажечникова», изданную в Москве в 1812 г., с автографом автора на имя его двоюродного брата Ник. Емел. Лажечникова и несколько портретов самого Лажечникова и его жены.

Из архива той же Барбашевой к нам поступило 2 письма Майкова на имя В. А. Барбашевой и автограф стихотворения поэта Берга, посвященного В. Н. Барбашевой.

Постепенно собираются в нашем Музее материалы по Засодимскому из его архива, который до сих пор был разбросан в различных местах. В первую очередь от М. П. Чистякова к нам поступили 7 его писем. Затем Е. В. Павлова передала довольно большое количество документов, в том числе рукописи Засодимского, 48 писем к нему от разных лиц, печатные материалы о нем, документы, к нему относящиеся, фотографии, вырезки, статьи, ему посвященные и пр. Это последнее поступление дает основание думать, что значительная часть архива Засодимского находится в нашем распоряжении.

У сына Мачтета нами приобретена записная книжка покойного писателя, два портрета Некрасова, пять писем различных лиц к Мачтету, рукопись Мачтета «Иван», а также диплом от Житомирского русского драматического общества, выданный Г. А. Мачтету.

Собрание материалов по Эртелю продолжает пополняться. Долининым передано в наш музей 47 писем А. И. Эртеля к М. И. Эртель, 88 его же писем к И. В. Федотову, по одному письму к В. В. Огаркову и Г. В. Благосветлову, две тетради (13 листов) стихотворений Эртеля, рукопись «Полоумный» и несколько фотографий. Письма Эртеля поступили также от М. Н. Слепцовой и других лиц.

XIV

В настоящее время у нас сосредоточено большое количество писем А. Ф. Кони, в том числе 27 писем к Н. А. Семпликевич, письма к нему от разных лиц, рукописи, заметки, записи, воспоминания Кони, различные документы, собранные в его архиве, книги с автографами, портреты его разных возрастов, а также интересный экземпляр четырехтомного издания «Театр» Кони, который принадлежал его отцу, с собственноручной дарственной надписью отца к сыну.

Одна из мракобесных фигур последних трех царствований — К. П. Победоносцев — освещена в нашем архиве большим количеством писем, которых поступило до 1000. Письма эти приобретены нами у разных лиц. В них имеется много интересных, чисто литературных сведений, например указание на требование Победоносцева, чтобы ответ на письмо Софии Андреевны Толстой по поводу отлучения от церкви Л. Н. Толстого

распространялся бесплатно. Некоторые письма Победоносцева отражают писательскую деятельность его самого. В этом отношении особенно интересны 79 писем его к С. Д. Войту, заведывавшему синодальной типографией.

Почти целиком поступил в наш Музей архив С. С. Кондурушкина. Он заключает в себе: 1) 263 письма от разных лиц, в том числе М. Горького (3), Н. К. Михайловского, Г. Лопатина (предсмертное стихотворение и записка), В. Г. Короленко (2), Ф. Сологуба, С. Сергеева-Ценского, М. Шагинян (17), Л. Андреева (2), Д. Альтмана (3), В. Муйжеля, Скитальца, Ремизова, С. И. Подъячева, Пришвина, А. Чеботаревского и др. Черновики писем С. С. Кондурушкина к М. Шагиняц, С. И. Подъячеву, Шмелеву.

2) Записные книжки-дневники с 1904 по 1916 г. на 1168 листах, отражающие общественную жизнь, войну 1914 г. и дающие характеристику писателей - современников: Л. Н. Толстого, М. Горького, Куприна и др., путевые впечатления и заметки во время многочисленных поездок автора.

3) Рукописи автографы «Бецалель», «Пловцы», «Ливан», рукопись-копия «Сердце женщины».

4) Рукописная тетрадь с черновыми статьями «Письма из Сибири».

5) Альбом с рисунками Кондурушкина — процесс Бейлиса.

6) Автографы на книге «Сирийские рассказы».

7) Книги из библиотеки Кондурушкина с автографами В. Короленко, И. Бунина, П. Соловьевой, Г. Чулкова, С. Е. Елпатьевского, Н. Манасеиной и др.

8) Многочисленные фотопортреты, фотографии с Новой Земли и др.

9) Три тетради с газетными вырезками, содержащие статьи Кондурушкина, критику на него и пр.

Музеем приобретен также весь архив И. А. Белоусова, состоящий из 40 тетрадей и 13 папок его рукописей, среди которых многие неопубликованы, альбома стихотворений, значительного количества рукописей других писателей, альбома с автографами Коринфского, Б. Зайцева и др., рукописной тетради с стихами и рассказами разных писателей, в том числе Клюева и Бунина, рукописного сборника поэм «Борцы за угнетенный народ», писем от разных лиц к Белоусову в количестве 2552, в том числе крестьянского поэта Вдовина—383, М. Горького—16, Л. Андреева—52, Б. Зайцева—11, А. Коринфского—20, Телешева—125, Е. Чирикова—21, А. П. Чехова—13, Короленко—10, Бунина—85, Трефолева—36, Серафимовича—21 и т. д., 43 письма семейных, дающих материал для биографии писателя, телеграмм, адресов по случаю 25-летия литературной деятельности, газетных вырезок, подобранных по разным вопросам, фотографий и наконец 21 книга с автографами А. П. Чехова, Нечаева и других.

Нам удалось собрать почти весь архив В. В. Брусянина, состоящий из громадного количества рукописей (до 100 листов), частично неопубликованных, всевозможных документов и весьма интересной переписки того периода, когда он был вечно преследуемым полицией редактором различных газет. Эта переписка включает в себя, помимо писем писателей и родных, довольно значительное количество писем рабочих, с которыми покойный писатель имел постоянные сношения. Среди этих писем в одном сообщаются подробности убийства безработными инженера Берса, брата Софьи Андреевны Толстой. Кроме писем и рукописей в архиве имеется 16 книг с автографами различных авторов, в том числе Фаресова, Белоусова, Юшкевича, Дрожжина, Порошина и других.

М. Н. Слепцова начала частями передавать нам свой архив. Среди полученных от нее материалов имеется 9 писем Мамина-Сибиряка, 3 письма Н. К. Михайловского, 20 писем П. А. Кропоткина и других лиц, всего 66 писем, адресованных к ней, и 20 писем к А. А. Слепцову, документы М. Н. Слепцовой, рукописи, шаржи, карикатуры, письма А. Слепцова, конспиративные письма о ссыльных, о смерти А. Серно-Соловьевича, статья-автограф Н. Серно-Соловьевича, фотографии, письмо Элизе Реклю, письмо Д. Мордвинова и пр.

Собрание писем П. А. Кропоткина пополнено поступлением четырех писем на французском языке через наше полпредство в Париже (1906, 1907 и 1913 гг.).

Г. П. Сазонов, живущий в Ленинграде, также пересылает нам частями свой архив. Пока он прислал черновик собственной рукописи «Полгода в народе», которая была напечатана в былое время в очень сокращенном цензурой виде. В ней подробно описана наглая эксплоатация артели крупными капиталистами того времени. Им же присланы 15 тетрадей 80-х годов с описанием его путешествия по Уралу, рукописная тетрадь с записями по сектантскому вопросу, письмо Витте от 14 декабря 1914 г., гранки статьи Витте, рукопись в карандаше: «Открытое письмо графу Витте», автобиография Г. П. Сазонова и прочие материалы.

Из Саратова от дочери недавно умершего литератора и сотрудника «Русского Богатства» И. Д. Сазонова мы получили в дополнение к прежним поступлениям последнюю часть его литературного наследства, а именно: 41 рукопись его рассказов, из которых многие не были напечатаны, 26 писем к нему, вырезки из газет с его статьями, записные книжки, издательские договоры, деловые и черновые бумаги, а также книги и отдельные оттиски его работ. Таким образом можно сказать, что весь архив, заключающий в себе литературное наследство этого писателя, соединен в нашем Центральном музее литературы.

XV

Из Парижа получен архив известного историка А. Рамбо, в котором мы находим письма Д. Аверкиева, П. Бартенева, Н. Берга, К. Бестужева-Рюмина, В. Бильбасова, А. Бычкова, А. Веселовского, К. Веселовского, П. Волконского, А. Гацисского, А. Головквастова, Гр. Данилевского, М. Драгоманова, К. Д. Кавелина, П. Кулиша, Н. Кареева, О. Миллера, иезуита Мартынова, Асокина, А. Пыпина, А. Петрушевского, О. Смирновой, И. Срезневского, Е. Салиас, С. Татищева, Е. Утина, Н. Утина, С. Шубинского, С. В. Энгельгардта и многих других.

XVI

В самое последнее время нами приобретен альбом А. Ахматовой с многочисленными записями и рисунками представителей той литературно-художественной среды, в которой тогда вращалась эта поэтесса.

В пополнение к этим собраниям Музеем приобретены у Д. А. Айзенштока автографы двух стихотворений Блока, письма Блока, Е. Чирикова, 4 иллюстрации Клевера к произведениям Горького и несколько автографов Бальмонта у Е. Л. Лебедевой, письмо Куприна от Е. П. Иванова, письмо Горького от Владиславлева и в Книжной Лавке Писателей «Краткая автобиография» Л. Андреева, им подписанная и датированная 5 июня 1910 г., рукопись Л. Андреева «Предстояла кража», автографы С. Дрожжина, авторизованная рукопись лекций А. В. Амфитеатрова «Заря русской женщины», которую он читал в Русской школе соц. наук в Париже в 1906 г., рукопись В. Маяковского «Рождение столицы», авторизованная машинописная рукопись М. Горького «Беседа о жизни рабочих и крестьян», автографическая статья «Мелочи жизни», подписанная псевдонимом Л. Андреева — Джемс Линк, альбом автографов, принадлежащий Д. Мордовцеву, письмо Я. П. Полонского к Зарину, по одному письму Ф. Соллогуба, Г. Благосветлова, Плещеева, Короленко, Чехова, Дрожжина и других.

XVII

Постепенно начинают сосредоточиваться в нашем Музее архивы журналов, издательств, литературных обществ и организаций. Так от М. К. Иорданской мы получили 9 писем Георгия Валентиновича Плеханова, исключительно относящихся к его сотрудничеству в журнале «Современный Мир», письма Анненского к Н. К. Михайловскому, 2 письма Чирикова, 4 письма И. А. Бунина, письмо А. Андреевой с рукописью Л. Андреева, письма М. Арцыбашева и С. Юшкевича и др.

У Д. Д. Гиммера приобретен архив редакции «Голос Минувшего», в который входит переписка В. И. Семевского с С. П. Мельгуновым, а также письма сотрудников журнала, всего более 550 писем, рукописи, статьи, заметки и газетные вырезки. Этот материал для истории журнала «Голос Минувшего», особенно благодаря огромной переписке В. И. Семевского, является почти исчерпывающим.

В. П. Ютанов передал нам дела литературного общества «Звено» и литературного отдела «Дворца Искусств».

К нам перешла также часть архива Московского Общества любителей художеств и так называемых «капустников», устраивавшихся этим обществом. В нем помимо переписки и документов сохранились портреты артистов с автографами, рисунки, шуточные стихотворения и пр.

XVIII

Среди отдельных поступлений отметим автограф письма Достоевского от Комаровского с вводной его статьей и комментарием; письма Жемчужникова, Глазунова, Ф. Нансена, рукописи Корещенко, Антонова и др. от Е. Н. Лебедевой; автограф стихотворения Лермонтова, рукопись Гончарова «Уха», подлинные духовные завещания А. Н. Плещеева, А. С. Суворина и литератора Ивана Щеглова, записная книжка (15 л.) Шеншина с записями и автографами стихотворений Языкова, Демидова и других; два тома писем (в переплете) Н. В. Трубецкой и документы, касающиеся Ровинского, — из Книжной Лавки Писателей; письмо Т. Н. Грановского к В. А. Черкасскому и автограф Жуковского 1843 г.

У Э. Ф. Голлербаха приобретены письма Я. П. Полонского, Н. А. Морозова-шлиссельбуржца, 4 письма Д. Стасова, 5 писем В. Соболевского, 2 письма А. Веселовского. Письма Ромен Роллана и Короленко поступили от А. П. Иващенко. Письмо Гегеля к И. В. Киреевскому на немецком языке — от Лясковского.

Г. И. Барышев доставил нам неопубликованное письмо Чернышевского, письмо Щепкиной-Куперник, два черновика рукописей Мясницкого, фотографию Сурикова с автографом стихотворения, фотографии с картины Яковлева «В тихой монастырской обители». Проф. Демков передал в Музей из своего архива заметки о И. А. Гончарове, сведения об архиве Галаганова, список своих трудов, рукописи, переписку и пр.

От Е. П. Иванова получены рукописи поэта Рославлева, рукопись и 17 рисунков романиста А. М. Пазухина, рисунок Шаляпина, страница его дневника 1903 г., письмо Собинова, дневник авантюриста Савина, его портрет с автографом, письма, прошения и документы.

В небольшом собрании Дефабр нами приобретены автографы В. Гюго, А. Дюма.

От А. А. Оленина мы получили воспоминания о композиторе Балакиреве и более ста писем самого композитора.

XIX

В особую, все более увеличивающуся группу следует выделить материалы, касающиеся художников. Нами приобретены помимо вышеуказанных письма К. А. Савицкого к разным лицам, письма Сомова к Званцевой, портрет Званцевой работы Репина и несколько ее фотографий в разных возрастах, кроме того рукописи Репина «Сказка», «Смертная казнь», датированная 26 ноября 1914 г., и др. От И. С. Абрамова в Музее поступило 11 писем художника Н. Н. Ге. к сыну П. Н. Ге, 22 письма А. Ге, жены художника, к сыну П. Н. Ге и его жены, урожденной Забелло, одно письмо Забелло к Екатерине Ге, 66 писем Анны Ге к Н. Н. Ге и 66 писем ее же Е. И. Ге, кроме того ряд писем и телеграмм Анны Ге к детям и разным лицам, и диплом Н. Н. Ге на звание профессора. От него же — автограф художника Крамского на фотографическом снимке с картины «Майская ночь».

XX

Отдел мемуаров, дневников и воспоминаний продолжает пополняться поступлениями из разных источников.

У проф. А. А. Соколова нами приобретено два рукописных томика интересного дневника Барятинской (1836, 1838 гг.), в котором имеются сведения о Пушкине, его окружении, а также о придворной и аристократической жизни того времени.

От Микулич-Веселицкой поступили ее неопубликованные записки-дневники. Эти записки являются чуть ли не самым последним ее произведением; они касаются времени от начала войны и почти до современности.

От В. Ф. Боцяновского получены воспоминания поэта В. С. Лихачева и некоторые другие материалы, от Леоновича — его рукопись «Записки сельского учителя» эпохи 1905 г., а также маленький эпистолярный архив, в котором между прочим сохранились письма Барбюса к нему.

Кроме этих отдельных мемуарных единиц нами приобретено огромное собрание Клячко, куда входит 38 рукописей разного размера воспоминаний государственных, общественных деятелей царствования Александра III и Николая II и документы о них. Среди них мы находим: 1) воспоминания Муратова, 2) 3 тома воспоминаний Вельяминова (поездка в Саратов, Александр III, Сипягин и др.), Щегловитовой — воспоминания о муже; допрос Гучкова; Изгоева — «Невышедшая книга», «Падение самодержавия», «Булыгинская дума» и др.; Поливанова — «Воспоминания»; Путилова — «Период князя Голицына»; Шинкевич — «Встречи и воспоминания»; дело о столкновении Куропаткина с Витте; организация политического розыска; переписка гр. Милютина с Сабуровым; Петрищев и Бакунин; разгром 10-й армии (подпись неразборчива). Переславский — «Армяно-татарский погром»; «Воспоминания о Распутине» (Сазонова) редактора газеты «Россия»; Переславский — «Ленин в Ленинграде»; Икскуль — «Обыски и аресты»; рукопись «За гробом Станкевича», копия дела об убийстве Кокошкина и Шингарева. Копия этого документа нами тотчас же передана в Институт Маркса-Энгельса-Ленина, так как в деле имеются в копиях распоряжения Владимира Ильича, подлинники которых до сего времени не найдены.

XXI

Через Лавку Писателей нами приобретено весьма редкое издание Апполона Григорьева: сборник стихотворений, вышедший лишь в 40 экземплярах; сочинения Державина 1798 г. с авторскими пометами; 4 тома стихотворений Беранже с многочисленными надписями Курочкина, на основании которых мы наконец можем восстановить полный текст перевода Беранже, сделанного Курочкиным, без тех искажений со стороны цензуры и редакции, которые до сих пор имеются в опубликованных переводах его произведений.

Приобретен также экземпляр двухтомного издания стихотворений А. Полежаева с пометками и дополнениями П. А. Ефремова. Эти пометы и дополнения дают нам возможность установить полные тексты стихотворений, которые николаевской цензурой не были пропущены в печати.

Полный комплект редакционного экземпляра «Нивы» за 50 лет приобретен нами у Розинер. Все томы имеют гонорарные разметки с раскрытием псевдонимов авторов, участвовавших в журнале.

Нами собирается особого вида эпистолярная литература: надписи различных авторов на книгах. Этот отдел нашего Музея заключает уже много интересных автографов различных авторов.

Абрамов пополнил наше собрание автографами И. С. Тургенева на I томе сочинений самого Тургенева и на II томе сочинений Пушкина. Оба посвящения обращены к В. Я. Карташевской. Им же доставлен нам I том романа Гончарова «Обрыв» с надписью автора: «Надежде Александровне Белозерской глубоко признательный за 2 февраля 1882 г. Автор. Январь 1884 г.».

В нашем собрании имеются автографы на книгах Сухово-Кобылина, А. К. Толстого, Чехова, Лескова, А. Блока.

У Званцевой мы приобрели книги «Сонеты» Мицкевича издания 1826 г. и два томика его поэзии, напечатанных в Вильно в 1823 г. с автографами Мицкевича на польском языке, адресованными Н. А. Полевому. Интересен автограф Н. С. Лескова на книге «Мелочи архиерейской жизни» И. А. Гончарову.

В нашей научной библиотеке постепенно составляется подбор газетных и журнальных вырезок о разных литературных событиях

и газетные материалы, связанные с жизнью и творчеством ряда писателей.

XXII

Из иконографического материала поступили следующие интересные портреты и гравюры: портрет Бутурлина, фотография усадьбы Станкевича, очень интересный портрет Тараса Шевченко, рисунок Мануйловой: «Маяковский в гробу», подлинные рисунки Дмитриева-Мамонова, среди которых мы находим портреты С. А. Рачинского, М. А. Максимовича, Беляева, Хомякоза, два портрета Гоголя, О. К. Брюлова, Н. М. Языкова, Н. А. Елагина.

У Слепневой приобретены многие портреты русских писателей, кроме того от наследников художника Башилова семь подлинных иллюстраций к «Губернским очеркам» Щедрина, пять литографий к тем же очеркам, а также рисунок-портрет Грибоедова, исполненные М. С. Башиловым. Через М. Успенского приобретено 20 рисунков акварельных портретов — шаржей писателей. Художник Кузьмин продал нам свои иллюстрации к Кузьме Пруткову и к «Евгению Онегину».

У художника Дарана приобретено девять его иллюстраций к рассказам М. Горького.

У Розинер приобретена акварель Репина «Гаршин в гробу».

В особую группу мы выделяем рисунки писателей. Нами приобретены у А. А. Сидорова подлинный рисунок В. А. Жуковского, а из других источников — несколько оригинальных рисунков М. Волошина и подлинный рисунок Т. Шевченко.

XXIII

Помимо приобретенных материалов довольно много интересных книг, рукописей, медалей и прочих материалов присылается Музею в дар от разных лиц.

Особенно ценный вклад сделал К. П. Злинченко, доставивший нам большое количество (154) писем, автографов рукописей, биографий русских и иностранных писателей, дававших свои произведения в сборники, издававшиеся за границей во время войны. Им же принесено в дар 58 автографов, писем и анкет писателей для вступления в члены секции Союза советских журналистов.

Среди них автографы Луначарского, Горького, Бродского, Репина, Ромен Роллана, Рубакина, Барбюса, Андреева, Серафимовича, Е. Ярославского, Семашко, И. Рукавишникова, Е. Чирикова, И. Бунина.

Пожертвования поступили также от Пыпина: 2 письма Т. Шевченко, 5 писем О. Н. Пыпиной к Некрасову, книги, которые находились в Алексеевском равелине у Чернышевского.

XXIV

Вот далеко не полное перечисление тех материалов, которые поступили к нам за время с 1 апреля по 1 октября 1933 г. Дальнейшие весьма значительные и крайне интересные поступления будут нами описаны в следующем номере «Литературного Наследства». Мы однако не должны останавливать наши поиски все новых и новых материалов, нужных для нашего Музея и архива. Их еще слишком много находится в частных руках, в различных больших и маленьких библиотеках, в домах отдыха, в местных краеведческих и иных музеях и архивах, в архивах учебных заведений, особенно университетских. Все это требует концентрации, извлечения, изучения и публикации. Надо твердо знать, что подлинные литературные документы, эти своеобразные уники, должны храниться в одном месте для того, чтобы их бережно сохранить на вечные времена, в полной неприкосновенности, как это отлично делает Музей Маркса-Энгельса-Ленина. Вместе с тем необходимо всемерно помочь местным краеведческим музеям организовать отделы и уголки писателей, имевших отношение к местной жизни.

Фотографирование текстов, писем, рукописей теперь так совершенно, что эти отделы и уголки могут быть прекрасно обставлены фотоснимками для общего показа. Мы сами снимаем множество текстов во всех концах света и богато пополняем наш архив фотографическими факсимильными рукописями, в силу чего многое, до сих пор недоступное для изучения, стало открытым для всех.

Мы убеждены, что именно таким способом мы наиболее целесообразно подойдем к вопросу концентрации документально-текстовых материалов по истории литературы, критики и общественной мысли.

Отв. ред. Л. Авербах Зам. ред. П. Парадизов Зав. ред. И. Зильберштейн

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

КАРЛ МАРКС И ФР. Т. ФИШЕР. ЭКСЦЕРПТЫ МАРКСА ИЗ „ЭСТЕТИКИ" ФИШЕРА

I. Общий характер марксовских эксцерптов из „Эстетики" Фишера; II. Политическое развитие Фишера; III. Развитие эстетики Фишера (от Гегеля до Дильтея); IV. Миф и реализм у Фишера и Маркса; V. Фишер и современность.

Исследование Г. Лукача 1

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЕЖАЕВА

1. Венок на гроб Пушкина. 2. Гальванизм или послание к Зевсу. 3. Три нации. 4. Антихрист. 5. Пир духов. 6. Гимн Нерона. 7. Два острова. 8. Видение.

Публикация Н. Бельчикова 57

ДОСТОЕВСКИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КРУГИ 1870-х ГОДОВ

Статья Леонида Гроссмана.

Приложение: I. Письма К. П. Победоносцева. II. Письма Т. И. Филиппова. III. Извещение Дворцовой Конторы. IV. Письма Д. С. Арсеньева. V. Записки Константина Романова 83

КАК МЫ НАЧИНАЛИ. ИЗ ЖИТЕЙСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ РАБОЧЕГО ПОЭТА АВЕНИРА НОЗДРИНА

Предисловие и примечания М. Сокольникова 163

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Статья И. Ямпольского 201

ОБЗОРЫ

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ПОЛЕЖАЕВА

Обзор В. Баранова 221

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ДОСТОЕВСКОГО ЗА ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Обзор публикаций 1917—1933 гг. В. Комаровича 258

СООБЩЕНИЯ

ГЕРЦЕН — ПРУДОН — ТОЛСТОЙ

Сообщение Н. Мендельсона 282

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Н. Г. ПОМЯЛОВСКОГО

Сообщение Н. Белавина 287

ТРИ АВТОГРАФА ДОСТОЕВСКОГО

Сообщение В. Нечаевой 291

ХРОНИКА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Сообщение В. Бонч-Бруевича 294

Адрес редакции: Москва 6, Страстной бульвар 11, тел. 4-28-45

Тех. ред. С. Ардашникова. Зак. тип. 429 Сдано в набор 21/IV 1934 г.
Обложка работы И. Рерберга. Заказ. изд. № 183 Подписано к печати 22/VII 1934 г.
Корректировала Н. Скалова. Объем 20¼ л. Формат бумаги 72×110
Уполномоч. Главлита № В — 90876 Тираж 7500 экз. Печ. знаков в печ. л. 71280

Номер выпущен типографией Журнально-газетного объединения (1-й Самотечный пер., д. 17)